

В ПОИСКАХ
БЕЛОВОДЬЯ

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА

LXVII

Leo
2017

В ПОИСКАХ БЕЛОВОДЬЯ

Приключенческий роман повесть
и рассказы



Георгий Гребенщиков

**Сокровенное сказание
о Беловодье**
легенда

Великий князь Владимир Красное Солнышко, желая переменить веру, отправил шесть богатых посольств в чужие земли, чтобы поразузнать, какая вера там, а затем, сличив, полагал выбрать самую лучшую для себя и всего своего народа.

Вскоре после проводов посольств, пришел к великому князю странник, отец Сергей, который в малолетнем возрасте попал к торговым людям из Киева в Царьград, на святой горе Афонской был обращен в христианство, воспринял пострижение и, прожив там до тридцатилетнего возраста, вернулся обратно. Так как мир его не понял и с миром он идти не мог, то определенного места жительства он не захотел иметь. Занимаясь самоуглублением и созерцанием души, он странствовал круглый год по землям великого князя и по соседним, смотрел, как люди живут, помогал каждому в чем мог, поверял достойным свет истины и обращал в христианство. Через каждые три года отец Сергей заходил в Киев и навещал великого князя.

Велика была радость отца Сергея, когда он узнал об отправке посольств и особенно, что одно из них отправлено было в Царьград, ибо, по его убеждению, не было веры выше православной.

Великий князь тоже порадовался его приходу, но потужил, что тот не пришел раньше, ибо хотел именно его послать во главе посольства в Царьград.

Великий князь поведал также отцу Сергию, что во снах являлся ему старец, указывающий, что еще одно, седьмое, посольство должно быть отправлено, но что он не знает, куда его снаряжать — просил указать, куда посылать таковое.

Отец Сергей, помывшись, ответил, что так как посольство в Царьград отправлено, то он более иных путей не знает и не ведает.

Но великий князь стоял на своем и наказал ему в семидневный срок надумать, куда послать седьмое.

Отец Сергей, желая помочь великому князю, строго постясь, молитвенно просил Всевышнего ниспослать ему откровение, какой ответ давать великому князю.

На седьмую ночь, во сне, явился отцу Сергию настоятель Афонского монастыря, в котором его постригли — и напомнил ему о древнем сказании про Беловодье. Отец Сергей, пробудясь, возблагодарил Господа за дарованное откровение и ясно припомнил слышанное им от настоятеля, в бытность свою в монастыре, следующее.

В глубокой древности один Византийский царь, не довольствуясь верой своей и своего народа, собрав мудрецов всей страны, просил их сказать, куда послать посольства для выбора новой, лучшей веры.

После долгих пересудов один из мудрецов, приехавших с Востока, сказал, что ему, в свое время его учитель, старец мудрец, поведал, что далеко на востоке существует где-то страна Беловодье, — сказочная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по его разумению, и нужно обращаться за советом, но что одна из особенностей той страны та, что не всякий ее может найти, туда доехать и в нее проникнуть, а только избранный — кто позван.

Царю сказание понравилось, и он снарядил посольство на Восток, во главе с мудрецом. Через 21 лето мудрец вернулся, но только один, все другие, уехавшие с ним, погибли.

Царь с восторгом слушал удивительные рассказы вернувшегося. Все настолько было хорошо и разумно, что он отказался от своей веры и, по совету мудреца, ввел новую. Но не все, что рассказывал мудрец, было понятно: многое казалось

невозможным и над ним потешались, полагая, что он говорит складные небылицы.

Это сказание отец Сергей передал Великому князю Владимиру, который настолько воодушевился слышанным, что также решил послать на Восток, в неведомую страну, посольство, во главе которого и поставил отца Сергия.

После многих хлопот посольство было собрано.

Отцу Сергию было дано шестеро, из людей высокого рода в помощники, много знатных воинов и большое число слуг. Всего народу в посольстве было 333 человека.

Как только прошло половодье, посольство тронулось в путь на Восток. Полагалось, что года через три оно возвратится. В первом году приходили известия, через соседние земли, что посольство встречали в его пути на Восток. Затем все замолкло. Три, семь и двенадцать лет прошли, но о посольстве не было вести. Сперва ожидали его, затем опасались о его судьбе, потом тужили о пропавших, и лет через 28, когда все еще не было вести, начали о нем забывать, и время все покрывало...

Через 49 лет после этого из Царьграда, с одним из посольств, прибыл в град Киев старец монах, который, прожив семь лет отшельником и предчувствуя скорость кончины, на исповеди, поведал нижеследующую тайну, которая должна передаваться из уст в уста, как сокровенное сказание. Сказание это станет достоянием народов Земли, само по себе, лишь когда для этого срок подойдет и будет наступать новое время.

"Я тот монах отец Сергей, который, 56 лет тому назад, был послан Великим князем Владимиром Красное Солнышко, с посольством искать Беловодье.

Первый год мы ехали хорошо. В стычках, при переправах, погибало мало людей и скота. Проехав много разных земель и два

моря, на второй год продвигаться стало труднее: люди и скот погибали, дороги стали непроходимы, при расспросах ничего нельзя было узнать. Началось недовольство людей, которые, не видя приближения цели поездки, роптали.

К концу второго года путь проходил по пустыне. Чем дальше ехали, тем больше попадалось на пути костяков людей, коней, верблюдов, ослов и других животных. Доехав до места, которое сплошь было покрыто костями на большом пространстве, люди отказались ехать вперед.

На общем совете решили, что желающие поедут назад, и только два человека согласились ехать со мною дальше вперед.

К концу третьего года пути, сперва один, затем и другой мой спутник занемогли, их нужно было оставить в селеньях.

Во время ухода за последним больным, мне удалось узнать от начальника селенья, что примерно лет тридцать тому назад, проезжал здесь также искатель Страны Чудес, ехавший на Восток. С ним был караван на верблюдах. Проводник этого каравана еще жив, до него лишь три дня пути. За ним я послал, и он согласился вести меня дальше и сдать дальнейшему проводнику, если его удастся разыскать.

Меня проводников, я продвигался медленно дальше. Один из следующих мне поведал, что по сказаниям здесь и раньше проезжали желающие найти Заветную Страну, лежащую на Востоке. Эти сведения радовали меня и я, горячо молясь, просил Господа вести меня дальше.

Еще несколько проводников сменилось, и я попал на такого, который мне рассказал, что ему известно со слов приезжавших с Востока, что где-то там на Востоке, примерно в 70 днях пути, лежит диковинная страна, в высочайших горах, куда многие стремятся, но только редко кто может проникнуть и мало кто возвращается.

Чем дальше я ехал, тем сведений поступало больше. Не могло быть сомнения, что страна, куда я стремился, существует на самом деле. Некоторые называли ее "Страной Запретной", "Страной Белых Вод и Высоких Гор", другие — "Страною Светлых Духов", "Страною Живого Огня", "Страною Живых Богов", "Страною Чудес", или давали еще много различных названий, которые относились все к одной и той же стране.

Наконец, мы доехали до селенья, в котором мне сказали, что Запретная Страна начинается на расстоянии трехдневного пути. До этой границы меня проведут, но дальше не могут вести, ибо проводник погибает, путешественник же, идя дальше один, иногда, не находя дорог, возвращается назад, иногда же, что очень редко, остается и живет там подолгу. Об остальных молва говорит, что они погибают.

Помолившись, с последним проводником я тронулся в путь.

Дорога, поднимаясь, становилась все уже, местами по ней возможно было только с трудом пройти одному.

Высокие горы со снеговыми вершинами окружали нас.

Переспав третью ночь, на рассвете, пройдя недалеко, проводник, заявил, что дальше он не может меня провожать.

По различным сказаниям, на расстоянии от 3 до 7 дней пути, держа направление на вершину самой высокой горы, есть селение, но до него доходят лишь редкие.

Проводник оставил меня. Шаги возвращающегося затихли...

Восходящее освещало белоснежные вершины гор, и отблеск лучей создавал впечатление, что они в огненном пламени.

Ни души кругом... Я был один с моим Господом, приведшим меня после столь долгого пути сюда. Чувство неопишемого счастья, восторга, неземной радости и в то же время душевного

покоя охватили меня. Я лег на тропу головой к самой высокой горе, целовал каменистую почву и, проливая слезы умиления, благодарил без слов, как умел, Господа за его милости.

Я пошел дальше. Вскоре был перекресток, обе тропы, казалось, одинаково направлялись к самой высокой горе. Я пошел по правой, либо она шла навстречу бегу солнца.

С молитвой и песней шел я вперед.

В первый день было еще два перекрестка. На втором перекрестке одну из троп переползала змейка, как бы преграждая мне путь, я пошел по второй тропе. На третьем перекрестке, на одной из тропинок лежало три камня: я пошел по свободной.

На второй день был один перекресток, четвертый, где тропа троилась. На одной из тропинок порхала бабочка, я выбрал эту тропу. После полудня путь мой пролегал вдоль горного озера. С восхищением и удивлением я любовался красотой его и легкой зыбью, придающей водам озера, в связи с освещением, удивительную, своеобразную белизну.

На третий день пути лучи восходящего солнца, как и предыдущие дни, освещали белоснежные покровы самой высокой горы и окружали ее огненным пламенем. Вся душа моя рвалась ввысь — и я глядел и не мог досыта налюбоваться красотой. Творя молитву и не спуская глаз, сливаясь душою с пламенем, окружающем гору, мне стало видно, что ожил этот огонь: в его потоках появились, белоснежно сияющие, фигуры ангелов, непрерывно подлетающих красивыми хороводами к горе. Скользя по поверхности ее, они поднимались к вершине, возносились и исчезали в безбрежных небесах.

Солнце поднялось из-за горы и чарующее видение исчезло.

На третий день было три перекрестка...

На пятом перекрестке, вдоль одной из троп, сбегал, белопенясь, изумрудный журчащий ручей. Я пошел вдоль него.

К полудню дошел я до шестого перекрестка: он имел три тропы. Одна из них проходила мимо горы, имеющей вид огромного истукана, как бы охраняющего эту тропу. Не задумываясь, я выбрал ее.

Дойдя до седьмого перекрестка, имеющего тоже три тропы, я пошел по той, которая была сильнее освещена лучами солнца.

Я не был одинок, ибо чувствовал и сознавал, что все окружающее меня по-своему, по-разному, живет и возносит, как умеет, хвалу Предвечному Творцу.

К вечеру я уловил первый звук, летевший мне на встречу. Вскоре, на откосе горы, направо, я увидел жилье, освещенное последними лучами заходящего солнца. К нему я и пошел. Оно было сложено из камня. Возблагодарив Создателя, дающего мне пристанище, я безмятежно уснул.

На рассвете я был разбужен голосами. Передо мною стояло два человека, говорящем на незнакомом мне языке. Но странно, каким-то внутренним чувством, я понимал их — и они понимали меня.

Они спросили, имею ли я нужду в пище. Я ответил: имею, но только в духовной.

Я пошел с ними. Они привели меня в селенье, где я и пробыл некоторое время. Со мной много беседовали, и на меня был возложен ряд занятий и работ, выполнение которых давало мне величайшее удовлетворение.

Затем повели меня дальше, сказав, что настал для этого срок.

В новом месте встретили меня, как родного, и вновь, когда наступил срок, повели дальше и дальше...

Я потерял счет времени, ибо не думал о нем. Каждый день приносил мне все новое, удивительно мудрое и чудесное. И

казалось мне иногда, что все, что я переживаю и что со мною происходит, диковинный сон наяву, чему я не нахожу объяснений.

Так время текло; наконец, мне сказали, что подошел срок к моему возвращению домой, и что путь мой будет лежать чрез Царьград.

Пока ум человеческий не может вместить того, что я там видел и чему научился. Но и для этого познания срок подойдет — и в свое время Господь откроет достойнейшим еще несравненно большее, чем мне.

Покидая сей мир, расскажу, что возможно.

Страна Беловодье не сказка, но явь. В сказаниях народов она зовется всюду по-иному. В дивных обителях там пребывают лучезарные, кроткие, смиренные, долготерпеливые, сострадательные, милосердные и прозорливые Великие Мудрецы — Сотрудники Мира Высшего, в котором Дух Божий живет, как в Храме Своем. Эти Великие Святые Подвижники, соединяющиеся с Господом, и составляют один Дух с Ним, неустанно трудятся, в поте лица своего, совместно со всеми небесными Светлыми Силами, на благо и на пользу всех народов земли.

Там Царство Духа Чистого, красоты, чудных огней, возвышенных чарующих тайн, радости, света, любви, своего рода покоя и непостижимых величий...

Много людей отовсюду стремятся в Страну Заповедную, но за каждые сто лет проникает туда лишь семь позванных, из них шесть возвращаются, унося с собою сокровенные знания, развитие новых чувств, сияние души и сердца, как я, — и только один остается.

Находящиеся там живут, сколько хотят и сколько им нужно. Для них остановлено время.

Что творится в Мире, все там известно, все видно, все слышно. Когда дух мой окреп, мне давали возможность, вне тела, бывать на самой высокой горе..., в Царьграде, Киеве, а также знать, видеть и слышать, что пожелаю.

Там точно известно, что православная вера, для великого князя и всего народа нашей страны — самая лучшая: нет веры духовнее, величественнее, чище, светлее и красивей ее. Только ей суждено соединить народы нашей страны и быть с ними неделимой.

1000 лет силы ада, с бешеной яростью, будут, бушуя, наступать безуданно и потрясать нашу Русь до основы... Чем страшнее напор, тем сильнее вера спаяет народ воедино — и ничто не заслонит ему путей ко Всевышнему. Силы чистого света, огня неземного низложат врагов. Живые Огни залечат раны счастливой страны. На развалинах старого возродится Великий Народ, красотою духа богатый. Лучшие избранные понесут Слово Бога Живого по всем странам земли, дадут Миру мир, человекам благоволение и откроют Врата Жизни Будущего Века..."

Записано 15/27 июля 1893 года со слов о. Владимира, иеромонаха Вышинской Успенской мужской пустыни, Тамбовской губернии, Шацкого уезда.

В.Г.

Историческая справка первого переписчика

При князе Игоре, сыне Рюрика, существовала уже в Киеве православная соборная церковь св. Илии.

Жена князя Игоря, великая княгиня Ольга, крестясь, стала заботиться о распространении христианства.

По сказаниям летописцев, внук великой княгини Ольги, великий князь Владимир, очень долго исследовал вопрос, какую

из религий принять. В 986 году он вел переговоры с волжскими Болгарами — магометанами, Хазарами — иудейского вероисповедания, немцами — западными христианами и греческим мудрецом Кириллом.

Отправка посольства в Беловодье, на основании этих исторических данных, могла состояться, согласно сказанию, весной 987 года. Крещение великого князя Владимира и Руси совершилось в 988 году. По данным сказания, кончину отца Сергия можно отнести к 1043 году - при Ярославе Мудром (987+56=1043).

1893 г. В.Г.

Как было записано "Сокровенное сказание о Беловодье"

12 июля 1893 года я приехал с тремя моими младшими братьями в Вышенскую Успенскую мужскую пустынь, Тамбовской губернии, отстоящей от села Заметчина, где мы жили, примерно в 60 верстах (65 километрах). Эта пустынь была основана в 1625 году и расположена при устье реки Выши, на левом берегу. Особенно известна чудотворной иконой Божьей Матери.

В монастыре нас встретили очень радушно, как старых знакомых, ибо мы были там уже в 1890 году летом и прогостили неделю. Кроме того, отнеслись к нам более чем сердечно, так как уважали нашего отца за его любовь к монастырю, его искреннюю веру, жертвенность и многократную помощь монастырю советом и делом.

При посещении игумена, я между прочим просил дать мне возможность беседовать с одним из начитанных монахов, который помог бы мне разрешить ряд вопросов, возникших при чтении Евангелия и в обыденной жизни.

К примеру, какой вопрос может интересовать тебя? - спросил игумен. На это я упомянул о двух вопросах, которые несчетное число раз задавал очень и очень многим, но не получал, по моему разумению, удовлетворяющего ответа.

1. Не сомневаясь, что сила, исходящая от Иисуса Христа, исцелила женщину, страдающую кровотечением, пробуждала умерших, изгоняла бесов, исцеляла больных, я хотел бы знать, не сказано ли где в житии святых угодников, творивших тоже немало чудес, что-либо более подробно об этой божественной силе?

Игумен ответил: Богу Господу все возможно и Его пути неисповедимы, и чем искреннее мы будем верить, тем счастливей будем.

На это я, в свою очередь, сказал: в Евангелии сказано: стучите — и откроется вам, просите — и дастся вам, поэтому я и стремлюсь говорить с духовно начитанным и развитым человеком, для получения желательных пояснений.

2. Чем возможно объяснить, что в 1885 году иеромонах, сопровождавший чудотворную икону Вышенской Божьей Матери, предсказал моей матери, что молитва ее Владычицей услышана и ее желание исполнится, что, действительно, и совершилось через 18 месяцев. Мать просила даровать ей дочь - и таковая родилась.

На это игумен сказал: инокам и вообще людям богатым духоразумием, Божественные Силы много больше открывают, чем другим.

Затем игумен, поговорив о красоте духовной жизни, по отечески отнеся ко мне, сказал, что даст мне возможность говорить с весьма начитанным иноком, но что в духовных интересах моих желает, чтобы я больше верил и меньше умствовал.

После вечерней службы подошел ко мне послушник и сказал, что после ужина он проводит меня к иеромонаху Владимиру, желающему со мною беседовать.

Иеромонах встретил меня очень приветливо. Двухчасовая беседа прошла незаметно.

На другой день было 15 июля, день нашего Ангела. После молебна мы встретились вновь. Между прочими вопросами я спросил: известна ли ему легенда о замке Грааля и как нужно понимать ее? На это иеромонах Владимир сказал, что эта легенда западных народов интересна и поучительна и что она, как и многие другие легенды, имеет свое основание и таит в себе глубокий смысл. Легенда эта, как и большинство других, изложена символически и доступна пониманию каждого, в зависимости духоразумения.

Я спросил: нет ли и у нас подобной легенды?

Через некоторое время иеромонах Владимир ответил: легенды не знаю, но мне лично доверено одно древнее сокровенное сказание о Беловодье, которое я мог бы некоторым образом, по духовному смыслу, сопоставить этой легенде, несмотря на первый взгляд кажущееся различие сюжетов.

Я очень просил рассказать мне это сказание, но иеромонах Владимир молчал. Почувствовав в душе, что у него возникло какое-то сомнение, и видя, что он все еще не отвечает, я не задумываясь, вновь повторил свою просьбу, сказав, что если знание сказания к чему-либо обязывает, то я заранее обещаю исполнить любое требование.

На это иеромонах Владимир ответил: ты первый, который просишь меня поведать это сказание. Я чувствую, что ты особый счастливец, тебе я могу его доверить, зная, что поставленное условие обета молчания ты соблюдешь. Передать в первый раз это сказание ты имеешь право лишь тому, кто усиленно тебя об этом

будет просить. После этого обет молчания снят. Но это будет не скоро... В это время ты будешь, пожалуй, старше меня! Теперь же мне исполнился 61 год.

Сам, по своей воле, до тех пор не рассказывай его никому, - не поймут и тебе будет тяжело... Да и в будущем только редким смысл его будет доступен...

Вечером пойдем в бор, там на приволье достойней касаться высоких вопросов, к разумению которых хотя и стремится душа, но в силу своего еще недостаточно развитого сознания, обнять пока не может.

Вечером после ужина, захватив с собою карандаш и тетрадь, я встретился с иеромонахом Владимиром. После нескольких минут ходьбы мы были в чудном бору, окружающем обитель.

Усевшись на пенё, иеромонах Владимир начал свой рассказ. Испросив разрешение, я дословно записывал.

Иеромонах Владимир иногда вставал, ходил и вновь садился. Продиктовав несколько предложений, он попутно высказывал свои соображения и отвечал на мои вопросы.

С его слов, сказание было доверено ему лет 30 тому назад, на последней исповеди, старым монахом и могло быть им, в свою очередь, передано лишь тому, кто об этом будет просить, в противном же случае и он обязан передать сказание, по счету от начала в 28 раз, лишь почувствовав скорость кончины, своему духовнику.

Он в памяти много раз воскрешал сказание и стремился проследить и пройти описываемый в нем путь, причем дерзал воображать себя на месте отца Сергия. При этом он всегда ощущал приятный душевный трепет, иногда даже дивные чувства, граничащие с блаженством... и время текло незаметно.

Когда стало темнеть, мы прекратили писание. Я передал иеромонаху Владимиру написанное - с просьбой проверить.

На третий вечер работа была окончена.

Продолжая по вечерам беседовать с иеромонахом Владимиром, я пробыл в обители еще несколько дней.

От души поблагодарив иеромонаха Владимира за чудные, незабвенные часы бесед, и получив благословение, с чувством большого удовлетворения, счастливый и довольный, покинул я гостеприимную обитель.

Ноябрь 1893 года.

В.Г. Село Заметчина, Тамбовской губ. Моршанского уезда.

* * *

В дальнейшей жизни, при разговорах, казалось, вопрос о Беловодье не возбуждал интереса у моих собеседников. Протекло незаметно ровно полвека и вскоре исполняется мне 65 лет.

28/15 июля 1943 года я встретил на курорте Чехочинек впервые человека, который в разговоре со мною спросил, не знаю ли я что-либо о Беловодье, о существовании которого он слышал, но, несмотря на старания, ни от кого ничего узнать о нем не мог. Это был известный русский народный поэт и гуслиар - Александр Ефимович Котомкин, имя которого, с его согласия, здесь сообщается.

Узнав, что я имею сказание, он был очень обрадован и убедительно просил меня передать таковое ему, что я и сделал. Предвидение иеромонаха Владимира сбылось.

Обет молчания теперь с меня снят и сказание становится достоянием народов Земли, ибо срок подошел и наступает Новое Время...

28/15 июня 1943 года.

В.Г. Курорт Чехочинек близ правого берега реки Вислы

Михаил Плотников

Беловодье

(эскиз старинной сибирской хроники)

*Сыну моему
посвящаю*

1. Земля древняя

Темный нерукотворный Спас со строгими глазами, казалось, кивал при трепетном свете тяжелой хрустальной, на кованых серебряных подвесках лампы, тягучей как мед, речи такого же строгого, темного, с длинной белой бородой старца.

Каильный дым — синий, — где свет хрустальной лампы ткал золотую паутину, и белый, как зимний туман, — где конечные нити лампадной паутины терялись, ходил по прокуренной моленной, касаясь застывших лиц, собравшихся слушать чудный сказ о древней земле, о земле древнего обрядового безнравья, именуемой Белыми водами, страной дальней и свободной.

«Объявитель сего раб Иисуса Христа, Кирилло, — лился поток старцевой речи, а в правой руке его, как голубь, трепетала “тайна странническая”, знак верующих, — уволен из Иерусалима-града Божия в разные города и веси ради души прокормления, грешному же телу ради всякого озлобления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работати с прилежанием, а пить и есть с воздержанием, против всех не прекословить, токмо Бога славословить; убивающих тела не бояться, но Бога бояться и терпением укрепляться, ходить правым путем во Христе, дабы не задержали беси раба Божия Кирилла нигде. Утверди мя, Господи, во старых заповедях стояти и от Востока Тебя, Христа, к Западу — сиречь к Антихристу, не отступати. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь. А кто мя ради веры погонит, тот яве ся с Антихристом во ад готовит».

Старец, повертев в руках желтую бумажку с уставными знаками тайны страннической, бережно поцеловал и спрятал за

пазуху, потом встал и широко перекрестился длинными худыми пальцами на Спаса. Вперегонку с ним замелькали руки собравшихся.

Долго мелькали руки, слышались вздохи и отбивались широкие поясные поклоны. В чьих-то руках курилась струйка благовонного ладана и ритмично чакала медная кадильница с осьмиконечным крестом.

«Раб Иисусов, странник Кирилло, — четко и отдельно бросил старец-уставщик, — объяви нам свою тайну во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».

Все сели.

«Велика мать земля, — снова полился мед старцевой речи, — велика земля и неузнаны пути Господни. Не древние ли пророки и угодники святые предсказали нам, что по злобе первенец сатанин в мир приидет, и те, кои примут его суть, его верноподданные. Они поклялись ему, яко помазаннику, а он помазанник Сатаны; мы же не кланяемся ему, не приносим чести и покорения с Петра-немчина всем государям и царицам и не хотим писаться в книги антихристовы и платить дани орлу двухголовому и души своей никонианской ереси в плен не даем имати. А за это за все муки тяжкие имеем и гонимы, как звери, на земле живем, в лесах скрываясь.

Но уходим мы из миру, а Антихрист по нашим следам идет, и вечно. И вечно, и всегда будет так, пока землю древнего благочестия не обрящем мы.

Смутные вести ходили о дальней святой земле, и многие усумнились.

И я, грешник, по слабости души моей, как Фома неверный, тако ж думал. Но сподобил меня, раба немощного, маломощного, Господь своими очами узреть ту землю.

Странник я по гроб своей жизни, бегун по духу моему. И был я во граде воеводском Тобольском, маломощна вера там, и был я во граде Тюменском, а из града Тюмени в дальне-сибирские страны ходил. Был я у Ямышева озера в степи Джунгарской, где люди сибирские с азиатцами торг ведут.

Ходил в крепости недавние, Омскую, Семипалатинскую, да на устье реки Ульбы, где острожец Усть-Каменгорный стоит.

И встретил я старца веры твердой и великой, и тот старец сказал мне: “Решилась ныне истина, Антихрист угнездился на царском престоле и нет истинного священства на Руси”.

А потом тот старец сказывал мне о земле Беловодской, путь ему ведом был туда от одного человека.

И пошли мы туда.

И далек тот путь и проход туда весьма труден. И там нужно идти неверными.

Двенадцать суток ходу морем и три дня голодной степью. И дойдешь до высокой каменной горы и через нее проход труден и отсюда еще дивно ходу. Всего три месяца с половиной надо идти. И вот пошли мы от той реки Ульбы в землю Беловодскую со старцем и сподобил нас Господь увидеть ее.

Дивно, за горами великими, за лесами дремучими, где белые воды текут, есть страна Божия. Сто сорок церквей там и при них много епископов, которые по святости своей в мороз босиком ходят. Жизнь там беспечальная. Нет в той стране окладов двойных, царских податей и повинностей.

Земли там хорошие, хлебопашественные, народ не мног и духом крепок, в реках быстрых, с гор великих исходящих, рыбы множество, а в лесах темных зверь черный и красный в изобилии плодится.

А самое главное и первое — в Беловодье сохранилась вера старая, непомянутая, со всеми благодатными путями спасения. Занесли туда сокровище веры люди русские, от гонений еретика Никона бежавшие.

И совет держал я с тремя старцами схимниками, в пещере живущими.

И сказал мне первый старец, имя моего не спрашивая: “Раб Божий, Кирилл, вижу духом тебя и говорю тебе: “Никто не уйдет от Антихристовой печати, если на землю Беловодскую не ступит””.

Изрек второй старец мне: “Радостно сердцу моему; не умерла праведная вера Христова на Руси, иди в мир, Кирилла, а ты, Хрисанф (так старца спутника моего звали), оставайся здесь и молись за странников, с Руси идущих в землю Беловодскую”.

Тут сказал мне старец ветхий, двадцать лет молчавший: “Мир — блудница есть. В мире неудобь, можно сохранить добродетель и начати бегати мира и жить в пустынях. Но маломощному не под силу тот искус. Антихрист силен и долго его царство продолжится. Кто хочет праведной смерти и ограды против козней его, да не устрашится путей трудных и дальних в землю Беловодскую. Иди в мир и скажи так. Больше ничего не говори”.

Старец замолчал и вздохнул в белую бороду. За ним тихо вздохнули все и в моленной наступила тишина.

— Чего ты нам присоветуешь? — спросил голос.

«Ничего, — ответил старец, — ничего, родимый, я только труба недостойная».

И трепетно звеня и срываясь, заговорил Иосаф: «Это перст Божий, то перст духа. Разве не в аду мы живем? Ныне среди людей не осталось ни Бога, ни православия, ни веры. Разве не в аду мы живем, разве не ждет нас ад? Разве мы соблюдаем чистоту, живучи в мире? Разве не кругом нас табачники и бритоусцы? День страшного суда близок, не спасут нас белые одежды и гробы холодные. Не спасет нас огонь очистительный. Через сожжение тело сжигается. Может ли огонь душу спалить? Разве не идет смятение в наших сердцах, разве не отстали слабые от веры праведной из-за пыток мучительных? И дети наши: “корень горести выспрь прозябай”***. Мое слово, может, и не по чину сорвавшееся, — наперед старших, но я готов принять мучения великие и смерть, но пойти в страну Беловодскую».

Как лопнувшая струна, оборвался голос, и снова родилась тишина в моленной.

*** Т. е. курят табак.

И слышал старец, что духом многие в страну Беловодскую ушли и новый мед розлил он — сладкий и пахучий по дрогнувшим сердцам.

«Я пришел по указу святителя, я никого не зову с собой. После благолепия Беловодского тяжело мне здесь, как в темной яме острога за стражей великой, в железах.

Язык мой немощен обсказать все о древней земле. Кто пойдет со мной, кто возьмет крест Иисуса, будет мне братом-попутчиком».

«Мы с тобой», — дрогнуло несколько голосов. Позвякивая кадильницей, Иосаф соскочил с лавки и неистово закадил на лик Спаса.

Люди, охваченные видением Беловодья, поднялись и запели радостно и протяжно: «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние, победи благоверным рабам твоим на сопротивные даруй и своя сохраняя крестом люди».

А там, за высокими алмазными хребтами для незримых очей духовидцев горела куполами многих церквей земля древняя, земля правой веры, земля Беловодская и колокольным звоном многих звонниц звала к себе.

2. За Камнем

Неизведанными путями, нетореными дорогами пошел народ в землю Беловодскую из лесов Уральских, с заводов царских от тяготы великой, от гонений за правую веру, минуя заставы крепкие и хитрость воеводскую.

«И стала великая пустота в селах тех, — писали воеводы, — и убыль царской казне».

Но народ, что великая, буйная, полая вода — запрудой ее не удержишь, когда многие врозь идут.

Напрасно бирючи, по древнему обычаю, кричали в уездах по торгам и малым торжкам о беглых тех людях, бежавших в лес и поле, о воровстве их и строгом царевом указе.

Никто не слушал бирючей, памятуя тягость свою.

Дивно с вожакон старцем Кириллой вышло, и много на пути пристало гулящих беглых людей.

Кто от судового государства дела бежал, а судовое дело-то тяжелое: «били за него нещадно на правее и <в> тюрьму бросали, а тюрьма земляная, — рассказывали царские плотнички, — мы оцинжали и перепухли с голода, некоторые умерли, а слабодушные давили и резали до смерти себя от того судового дела».

— Как не принять тех людей, — судили беловодцы и принимали их, — не помешают.

Много на Руси несчастных, не одни царевы плотнички.

Пристали к беловодцам и холопы беглые, от неволи боярской бежавшие, и крестьяне монастырские, от монастырского смирения, смотря по вине, бежавшие, и солдаты петровские, и крестьяне-бобыли из разных вотчин, и другой всякий люд.

Твердой рукой вел Кирилла, видно запомнил путь дальний в землю Беловодскую, да приключилась с ним хворость.

Сначала перемогался старец, не подавал виду людям, только желтел лицом, глухо кашлял, мерз ночами.

Но осилила его хворость, занедужил, ноги отказались служить, лег в телегу под бараний тулуп в июньскую жару и сухим костлявым пальцем указывал путь.

«До места бы, — вздыхали беловодцы, поглядывая на воскового Кириллу, — до места бы дошел».

Не случилось так. Накануне Петрова дня многие слышали вечером: петух поет. Петуха никакого и нет, а слышится, мерещится.

Не к добру петушиное пение к вечеру — к покойнику.

Оно так и случилось.

Только светать начало, еле брезжить, стал звать Кирилла народ.

Повскакали, кто спал, растолкали, подошли к старцу. Сел он на телеге, вздохнул, закашлялся и только и успел сказать: «Смерть пришла, смертушка. Простите меня... Иосаф, веди далее народ. Умираю я».

Повалился Кирилл и дух испустил.

Горевал народ, плакал, больше всех Иосаф убивался, ближе всех он к старцу был — огненностью своей полюбился ему.

Выкопали на пригорке могилу, выдолбили колоду, снарядили старца, пелены наложили и с молитвами и со слезами в землю закопали, а на холмик колья положили, да медный крест над могилой в сосну врезали.

«Тебе, Иосаф, старец наказал вести. Будь вождем, ведем», — сказал народ.

Закраснелся Иосаф и заплакал: «Братья мои, — сказал он, — может, вы думаете, что, дай ему царство небесное, рай Иисусов, старец Кирилл мне путь в Беловодье открыл. Все собирался старец открыть мне путь... Так и не собрался. Какой я вам вождь и передовщик, когда пути не знаю, в первый раз в этих местах. Ослобоните, люди добрые, меня».

Еще больше закручинился народ.

«Тогда старики, пусть старики рассудят, это их дело. Пусть выручают, обезножели мы».

На этом все согласились.

Старики оставили народ у табора, а сами в лес пошли на беседу, совет держать.

Долго старики разговаривали, народ томился, тоже совет промеж себя держал. Маломочные каялись, что на край света пошли.

Пришли старики и такое слово молвили:

«Слыхали мы примерно от покойного старца Кириллы, где земля Беловодская, а истинно, где она есть прямой дорогой, нам неведомо. От одного берега мы отплыли, а к другому не пристали. Может, Беловодье ближе, чем думаем. Решили мы идти вперед, пока сил хватит, а не найдем пути, не допустит нас Господь, выберем место пашенное, осядем, где Господь Бог рукою щедрой рассыпал всякого добра на поживу человека. Силы наберем, передовщиков пошлем разведовать о Беловодье, а может, Господь Бог пошлет и человека, знающего о стране Беловодской. Вот все, что Господь нас надумил от нашей

глупости и от нашего разума вам присоветовать. Кто может лучше присоветовать — послушаемся».

Лучше никто не присоветовал, и пошел народ своим путем без твердой руки старца, искать землю Беловодскую, пошел без веры в сердце, уповая на благодать вышнего.

Не оставил старец покровительства своего. Темной ночью, когда все спали, пришел он к Иосафу, белый, распеленанный, и сказал ему:

«Ты не бойся, дурачок, меня, я Кирилла. Вижу скорбь вашу и пришел к тебе. Пока я только до третьего неба дошел, буду наставлять тебя, а когда сподобит Господь на седьмое небо подняться, оставлю. Не горюйте, на верном пути вы. Идите дальше, близко земля Беловодская, а путь вам я показывать буду. Припади к земле и колокольный звон услышишь. Это я ангелов буду просить, чтобы в мир они врата открывали и небесный звон вам слышно было».

«Отче, — взмолился Иосаф, — укажи лучше путь мне, при жизни своей праведной ты обещал мне, да смерть твоя помешала. Укажи, благодетель, великое облегчение было бы народу».

И потряс тут старец бородой и строго сказал Иосафу:

«Иосаф, сын мой, в безбрачии жизнь я провел и неведом мне птичий грех, сыном по духу зову я тебя. Не могу я открыть тебе пути, ибо я умер и уста мои запечатаны».

Благословил старец Иосафа и тихонечко в лес ушел.

Утром коротко старикам Иосаф сказал: «Видение мне было», — и рассказал по порядку.

Подумали старики и, указывая на чудские бугры, что на правом берегу реки Убы в землю вросли, сказали Иосафу: «Не болтай пока народу о видении, может, от этих могил наваждение идет».

Прошло два дня и ятно услышал Иосаф колокольный звон, так ятно, что не утерпел и стариков позвал.

«Слушайте, может, меня обводит, припадите к земле. Колокольный звон многих церквей я слышу».

Припали старики к земле. Слушали. Кто слышит, кто не слышит. По праведности видение открывается. Под конец все стали слышать и народу об Иосафовом видении и о звоне колокольном многих церквей небесных объявили.

Острог Устькаменогорский обошли, что на реке Ульбе стоит, о котором старец Кирилл рассказывал, дикими тропами пошли, а все же стороной узнали, что за камнем земля богатая, где жить в легкости можно и никто там не сыщет.

Тут вскоре второе виденье Иосаф увидел. Пришел старец Кирилл, с просветленным лицом, вокруг головы венчик золотой святительский горит, и посмотрел он на Иосафа ласково и в легкости молвил ему:

«Скоро предстану пред лицом самого Господа Бога, на седьмое небо взойду. Пришел к тебе проститься до встречи в садах райских. Слушай, Иосаф, ведомо мне, народ устал, ропщет народ на дальность пути, место дикое. Маловерных число умножается. Вижу я, скорбишь ты духом о маломощности плоти и духа людей. Все время тебя думы не оставляют. Извелся ты совсем. Слушай, Иосаф, сын мой нареченный, близко есть река, край дикий. Пусть народ отдохнет. А сам не теряй веры, ищи страны Беловодские, ищи. Да будет Иисус Христос с тобою. Аминь».

Благословил старец Кирилл Иосафа и как дым стаял, не дал слова молвить.

Объявил видение свое Иосаф старикам, а старики народу, и порешил народ идти до пригожих земель и отдых иметь недолгий, чтобы с новыми силами дальше странствовать.

Еще шли три дня, а потом старики созвали сотоварищество и собрались все в круг.

Самый старей, Иван Хмелев, объявил народу:

«Дали мы зарок идти три дня. Прошло три дня, и теперь нам надо наше житье временное обсудить. Шли мы сотовариществом, как одна семья, людно. Теперь конец пути. Земля здесь большая и свободная, места много. Пусть каждый любит место для житья себе, строит починок. Жить мы будем сотовариществом, дела

наши решать миром. От врагов наших защиту держать дружно — скопом. Кто жаждет пустынного житья, пусть идет с Богом за наши грехи молиться».

Иван Хмелев поклонился.

Зажужжал народ, обрадовался: умаялся и отошел от дальнего пути, и на житье временное, на новых местах согласился.

Только Иосаф духом скорбел о земле Беловодской.

Разбрелся народ врозь вскоре. Затюкали топоры в глухих лесах, закурился дымок на починках, выгоняя зверей вверх к алмазным белкам.

Вместе со зверями ушел беспокойный духом Иосаф на пустынное жительство в горы, ближе к Богу.

3. Каменщики

Путников Кирилловых тридцать душ пришло на землю новую. А земля та новая не совсем пуста была. На реке Ульбе за хребтом, Холозуном именуемом, люди старой веры, хотя в малом числе, но живали. А дальше за ущелинами горными жили иноземцы азиатцы киргизские, а подале еще царство Китайское начиналось, Богдо-Хану подвластное.

Радостная встреча произошла с теми тремя людьми, которые спервоначалу за Холозуном жили.

Расселился народ по рекам Бухтарме, Белой, Язовой и другим, которым имени было не дадено. Кто избы построил из кондового леса, берестом покрыл, кто в пещерах землянушечкистроили, а праведники в горы ушли.

С народом тамошним киргизьем и калмычьем ознакомились, скота немного выменяли и о хлебушке на новых местах стали думать.

Плохо было одно — в тамошних местах соли не было, а без соли какая еда для крещеного человека, слабость телесная от несоленой еды доспеваается.

На реке, Безымянной прозванной, а потом Околелихой она стала, поселились пять душ: Иван Околелов с бабой Ульяной, да двое братьев Порогудовых — Макся с Лукой, да старик Соврасов

Козьма. Неподалеку в горах Иосаф спасался, около сотоварищей прокармливаясь.

И вот как встреча произошла с людьми теми, в горах укрывшимися.

Скучал Иосаф, духом мутился, все в настоящее Беловодье стремился, не находил себе покою. То молился в своей пещере, слезами обливаясь, то в Околелиху шел, лошадь брал у братьев Переваловых и куда-то ездил, а то и пешком ходил.

Стал народ о соли скучать.

И пришел тут Иосаф к Ивану Околелову:

«Немочно мне, — говорит, — чует сердце, народ на здешней земле обживется и о земле Беловодской забудет».

«Большую тяготу ты на себя взял в летах молодых, — на это слово Ульяна ответила. — Другой ты совсем стал после смерти Кирилловой, царство ему небесное».

«Одна надежда есть, — сказал Козьма, — ты не горюй шибко. Соли в здешних местах нету, народу не выдюжить. А мне заметно, земля та Беловодская близко, если Господь в здешней местности соли не сотворил».

Макся Перевалов, черный да волосатый, почто его больше Черным Максей звали, не твердый в вере человек, приобретательный, усмехнулся да и брякнул:

«Что горюешь, соболи здешние добрые, мест скотопитательных и пашенных достаточно. Народ в безвестии будет жить, как в своем царстве. Вот ежели ты о соли позаботился, соли поискал, дело бы доброе сделал».

Ничего не сказал Иосаф Максе Черному, перекрестился и вышел.

Неделю не спускался с гор, а через неделю пришел с тремя людьми, сам четвертый и сказал:

«Послушал тебя, Макся, пошел соль искать, нашел людей веры истинной, весть о старце Кирилле получил».

И после этих слов все по порядку рассказал:

«Правильно ты, Макся, сказал. Если соли не будет, народ обессилит и не дойдет до Беловодья. Ты не так сказал, а я

обдумал по-другому. Пошел я бродить. Дошел я до устья реки Черной, до заимки Архипа, пошел дальше и набрел я на пещеру, а в пещере той соль увидел. Обрадовался я немало, взял на язык, отведал. Нет, не соль, земля, соли подобная. Дальше пошел и дорогою на другую пещеру наткнулся. Дымком нанесло. Думал, почуялось. Нет. Людей нашел. Вот они сами...»

Угостили тех людей, чем Бог послал. Поели они немного, и старшой из них свою жизнь за Камнем обсказал:

«Пришли они втроем, как есть и в эту пору, чтобы жить в легкости, старую веру сохранить в чистоте.

Сначала жилье свое обосновали на реке Ульбе за хребтом Холзуном. Потом к ним четвертый пристал, странник Кирилла, в Русь направляющийся.

Недолго пожил Кирилла, пошел дальше. Поймали его. Спрашивали, кто такой, откуда родом. Где жил. Близко казаки ходили от нас, думали, что откроют.

Не открыли, видно, Кирилла не выдал.

Испужались мы, бросили свое жительство, дальше в камни ушли. Потом проводили, когда ваш народ пришел. Боялись открыться. А дальше, знаете, инок Иосаф нас открыл, и сердце радостью наполнилось. О земле Беловодской ничего не знаем, и старец Кирилла нам про то не рассказывал».

Приняли Околеловские людей пришлых в сотоварищество. Построили они зимовье рядом и зажили.

Вскоре проведаль народ о стране вольной, к тому же рудное дело в горах Алтайских князей Демидовых стало шибко развиваться.

Сначала не слышно было о заводах княжеских, а потом, когда крестьян в кабалу записали и тяжесть жизни учинилась великая, народ валом пошел за Камень на реку Бухтарму — земли вольные.

Сказывают, сначала шмельцеры Битков и Плотников бежали. Словили их власти царские, под кнутом их о бегстве допросили, и сказали они: что в землю Бухтарминскую бежали, чтобы никто их никогда отыскать не мог и чтобы жить в легкости.

С этих пор весть пошла о Камне, больше пошел народ в бега, чаще посылались солдатские команды, и жизнь беспокойнее стала.

Киргизишки тоже не дремали, пакостили. А китайцы им помогали и оберегали.

Началась волчья жизнь, тяжелая, но вольная. Закалялся народ в безначалии и про Беловодье забыл.

Скорбел инок Иосаф, не сходил с горы из своей кельи, ел мало, святым духом подкармливаясь, и, когда приходил народ (чудесную силу он приобрел), укорял в малосильности:

«Плотью к земле мы прилепились и забыли о земле древлей. А, может, Камень перевалить, да землю Китайскую перейти, обрели бы мы землю истинную».

Хмурился народ приходящий, а иногда и отвечал:

«Земля здесь не пахана, хлебородная, одно только беда — соли нет».

А охальник Макся Черный не стеснялся инока и говорил:

«Без соли еще дюжить можно, а без бабы совсем чижало».

Сорамшинник Макся, а инок все же снисходительно относился:

«Эх, Макся, Макся, брехун ты, а доброй души человек и в бабе гибель твоя».

Слово за слово предсказал инок Иосаф про Максину гибель и про первое убийство на Бухтарме.

Снюхался Макся с Ульяной — бабой Околелова. Не хотел бабу делить. Отделиться захотел. Построил себе избу новую, переманил Ульяну. Баба-дура, ушла, и жить с ней стал.

Не стерпел Околелов, к старикам и народу обратился.

«Грех пошел, старички почтенные, — начал он обсказывать свое дело. — Макся Черный Ульяну переманил. Я спорить не стал из-за бабы, но грех тут идет. Надо змея убить».

Недолго старички судили и порешили:

«Вернуть Ульяну к мужу, а Максю пристыдить».

«Неправильно, — взъерыжился Макся, — раз баба ушла добровольно, пусть Околелов на Руси себе добывает другую. У

бабы душа есть. Бабы были святые угодницы. Так решать нельзя».

«Ты закон не ломай, — ответили старички, — смуту не сей, а то на тебя управу найдем».

«А если так, — крикнул Макся, — то и я управлюсь с вами».

Плюнул и ушел.

Как старики постановили, так и все произошло. Ульяну к мужу палкой березовой пригнали, а Макся куда-то скрылся. Не стало, как сквозь землю сгинул.

Немного прошло время — объявился Макся, да не один, а с командой воинской, знать, недоброе задумал.

Сбодоражился народ.

«Ратуйте, кто за веру православную, кто против антихриста и никониан поганных», — клич пошел.

Собрался народ на конях, оборуужился и силой пошел, а вперед для розыску передовщиков-дозорщиков выслал. Пошли тропами дикими, где козлы одни ходят, навстречу воинской команде.

Выследили и схоронились, а когда ночью солдаты стали кашу варить, пальбу открыли.

Испугались солдаты, бросили кашу и в бегство обратились. Мало ушло, все больше косточки свои в долинке схоронили.

Не ушел и злодей Макся Черный, подстрелили его, как козла горного, изловили и на суд народный доставили.

«Твоя вина известна. Помолись перед смертью», — сказал суд народный.

Не задумался Макся.

«Ладно, помолюсь, — ответил, — но наперед хочу у инок Иосафа исповедаться. Поди в этом мне не откажете».

«Черного кобеля не вымоешь добела», — сказали старики, но за Иосафом послали.

Пришел он, исповедал и горько так молвил:

«Макся, не я ли тебе сказал о твоём смертном дне. Вот он пришел».

Потом Иосаф к миру обратился и огненно укорил мир:

«Маломощные, судом человеческим вы судите», — крикнул он и, не взглянув ни на кого, ушел на горные выси.

Задумался мир после этих слов.

«А правильно сказал Иосаф, — судили старики, — надо суд Божий».

— Верно, верно, — вторил народ.

И тогда вышел Иван Хмелев, поклонился миру и веское слово сказал:

«Не дадено людям судить своей рукой. Не хотим мы убийства Макси. Пусть будет суд Божий. Возьмем, свяжем плот, посадим Максю, дадим ему еды на два дня да шест в руки да пустим в Бухтарму. Коли выберется Макся, Бог не судил умереть ему, потонет — Божья воля, Божий суд».

Согласился народ с Хмелевым. Живо связали ветхий плот, который и курицу не выдюжит, посадили Максю, дали ему шест в руки да ковригу бросили, как псу, и от берега толкнули.

Завертелся плот, закружился и понесся по быстрой реке, кувыркаясь через камни, как щепка малая.

Не пристал Макся Черный к берегу, так и умер без погребения.

4. За солью

Перевалили в степь.

Поехали в Кулунду за солью. Артель собралась в пять душ: Егорка Бугров, Лука Перегудов, Алешка Быков, Васька Загуменный да инок Иосаф. Перед отвалом инок к артели пристал. Смеялся народ шибко: «Инок, иначе, за бабой поехал», — говорили зубоскалы.

В каменщиках баб было мало, все мужики, а поэтому за бабами, как за зверем, охотились, — воровали на Руси.

Степь не Камень. Простор великий, трав обилие и мрачности нету. Как на ладони все.

За Камнем лес и горы небо заслоняют, а в степи до самого края, где земля с небом сходится, все видно. Колочки зеленеют,

березки богомолки стоят, сосняк, увальчики малые, озера, как горная слюда, в траву брошенная, на вольном солнце блестят.

Нету строгости в степи, радости в ней, солнца больше, и для спасения души по этому самому она мало пригодна.

Взять хотя бы журавля, птицу длинноногую, посмотришь на него, как около озера он топчется, невольно смех берет.

Васька Загуменный, когда колком ехали, вперед ушел да и затянул во все горло без чина всякого:

«Птица райская, завомая Сирин,
Глас ее в пении весьма силен.
На востоце, в Эдемском рае пребывает,
Непрестанно пение красно воспевают.
Праведным будущую радость возвещает.
Которую Господь святым своим обещает.
Временем влетает и на землю к нам
Подобно сладкопесенно поет, якоже и там.
Всяк бо человек, во плоти живя,
Не может слышати гласа ея.
Аще кому слышати случится,
Таковый от жития сего отлучится,
Но не яко там он пребывает,
А вослед ея теча над умирает».

«Нашел место песню петь, — недовольно буркнул Лука. — Егорка, догони его да заткни ему печурку».

Егорка поехал нагонять Ваську, но тот уже перестал петь.

«Пусть поет, — проговорил инок Иосаф, — засиделись мы в темноте за Камнем, а теперь как-то душе свободнее. Петь не грех. Слышишь, как птицы гладкогласно поют, от радости».

«Чудной Иосаф, — подумал Лука, — то праведность великая его разбирает, то соблазн одобряет. Нетвердой души человек».

Не высказал своих дум Лука, а только Иосафу сказал:

«Петь здесь не место, могут киргизы перенять. Жизнь наша волчья», — и недовольно плюнул в желтые душистые цветы.

«Далеко, што ли?» — спросил Алешка Быков.

«Хватит еще, паря, похлыняем», — ответил мрачно Лука, который на обратном пути замыслил добыть себе бабу.

Не выходит из головы. Думал он, склонив голову: «Маломощна плоть, видно, нашего рода Перегудовского. Макся, царство ему небесное, сгиб от плоти».

Вечером в колке станом стали. Похлебку сварили, бадану^{****} попили и спать легли, чтоб до свету выехать.

Инок Иосаф молиться остался, да за однемя и караул держать.

Как раз в эту самую ночь и случилась беда.

Киргизишки учуяли. Днем в стороне держались, издали по следу шли, а ночью колок обложили кругом и осаду повели издали.

«Отъели мы шанежек да каралек», — начал было Васька Загуменный, да сразу притих, когда киргизья, как волки, завыли.

«Богородица в головьях, — лязгая зубами, начал Лука, — андели по стенам, архандели по углам, вокруг нашего дома каменная ограда, железный тын, на каждой-то тынинке по маковке, на каждой-то маковке по кресту, на каждом крестике по анделу и по арханделу. Андели, архандели, спасите нас в сегодняшнюю ночь от врагов-супостатов».

Пригодился тут инок Иосаф. Сразу верховодство взял.

«Васька, иди к лошадям и вяжи к деревьям ближе, — командовал он, — а вы, сотоварищи, порох на полках перемените, кремни направьте и место поудобнее выберите и, когда скажу, стреляйте».

Сделали, как сказал инок. Потом он новое надумал, когда Васька вернулся.

«Иди, Васька, запаливай на той полянке костер».

А в темной степи выли киргизы, сила их была, и ближе все вой слышался.

На полянке, на самом конце колка, пламя к небу взметнулось — Васька сушник зажег. Завыли пуще прежнего киргизы и давай поливать стрелами из темноты по костру.

^{****} *Бадан* — *Saxifraga crassifolia*, растение, употребляемое вместо чая.

«Теперь стрелять приготовляйся ты, Лука, да без промашки, сейчас киргиз на огонь налетит», — распоряжался инок.

И верно, близко к костру удалой джигит подлетел на коне.

«Господи, сподоби», — приложился Лука, и не стало джигита, а конь, как стрела, в степь ускакал.

Стих вой киргизский, видно, коня джигитова ловили, а тем временем Иосаф приказ отдал:

«Не устоять нам против силы киргизской, много их, как волков, садись на коней и поедem в степь, может, выедем из орды».

Киргизы растерялись от одинокого выстрела, изловили коня и завыли еще громче и звонче, а тем временем каменщики в правую сторону колка ударили, потом в степь выехали и мимо киргиз проехали. Не поняли, видно, киргизы, за своих приняли.

Перед утром дождь сильный ударил и стер следы конские и выручил артель из беды великой, погони киргизской. Всю ночь под дождем ехали каменщики, далеко ушли вперед к соленым озерам, от соли не отступились: полные кожи повезли за Камень.

На обратьи другой дорогой поехали: Лука настоял — беспрерменно бабу надо залучить; на слабость плоти жаловался.

Артель думала, что инок заупрямится, а он сразу согласие дал:

«Поедемте, только без убивства бабу добывать», — сказал он.

Поручило и на этой охоте каменщикам. Покос стоял на Руси. Покосы от деревень дальние, которые за тридцать верст будут. Вот и порешили ехать покосами, так как на покосах малолюдство: семьями косят, да и от скорой погони можно быть в безопасности.

Ехали с опаской от начальства, да и от крестьян тамошних. Мужик ведь не киргизишка, со сноровкой человек.

Заприметили один покос. Вдалеке станом стали. Ваську, как помоложе да побойче, разведовать послали.

Поехал Васька, песню запел, да на кержацкое пение-гнушение та песня больше походила, чем на скоморошество никониан.

Подъехал. Видит, два мужика, три бабы косят. Поздоровался, слез с коня. Мужики сумнительно посмотрели, да не растерялся Васька:

«Твое прозвание как будет?» — после здоровканья спросил он рыжего мужика.

«А тебе что?» — ответили мужики.

Тут Васька как ни в чем не бывало и говорит: «Мне-то незачем, да вот начальство с заводу приехало и всех мужиков требует в деревню. Я с начальством пришел, нездешний, ну вот по покосам искать поехал. Начальство значит послало».

«Ястри его, — выругались мужики, — и всегда этому начальству в страдно время приспичит».

А потом пристально на Ваську посмотрели да и брякнули:

«Раз ты с начальством приехал, тогда бумагу показывай. Без бумаги не поедem».

Струхнул Васька и думает: каку им бумагу представлю. А мужики побойчели, пристали: «Показывай, а то тебя живой рукой свяжем».

«Бумагу вам показывать не след, — ответил он, — так как от начальства воли не имею, а раз вы угрозы наговариваете, так покажу я вам бумагу».

Вынул с груди молитву с ангелами, расписанными лазурью, и показал мужикам.

Как взглянули мужики на ангелов, лазурью расписанных, так и ахнули, давай вшей чесать.

«Вот тебе, паря, и покосили», — говорят друг другу.

Тут Васька опять маху не дал:

«Че, — говорит, — покосили, бабы-то у вас зачем, пусть бабы косят, а вы езжайте, а мне ближний покос укажите, поеду дале народ собирать».

Мялись, мялись мужики и порешили: баб косить оставить, а самим в деревню ехать. Ваське покос ближний рассказали.

Поехал Васька, как будто на покос, а сам кругом да кругом, да к артели и вернулся.

«Ну, Лука, быть тебе с бабой», — сказал он и объявил все как было.

Обождала маленько артель, чтоб мужики уехали да стемняло. А когда стемняло, поехали на покос. Тихо подъехали, даже собак не разбудили, к табору пошли.

Залаяли собаки, заревели бабы, бежать было хотели. Да где им! Изловили двух девок, одну молоденькую, другую постарше. Связали их, да и на коней.

Всю ночь ехали без отдыха, перед утром коням дохнуть немного дали, поехали дальше. Погони боялись. Ушли благополучно. Девочек развязали и дорогой же делить начали. Васька взял помоложе — Марью, а Лука постарше — Катерину.

А когда на знакомые тропы выехали да к Камню стали подъезжать, облегченно вздохнули.

Тут Лука к инокѹ обратился:

«Давай, Иосаф, свенчай меня с Катериной».

«Нету книг, — ответил Иосаф, — уж дома свенчаю».

Васька не стал ждать, сам свенчался. Уволока девку в кусты на ночь, а утром опять на коня вперед себя посадил, обнял ее и заорал во всю глотку:

«У города у Туруханского
Стояли ворота трое — широки,
В первы ворота — сокола пролетали,
Во вторы ворота — бояры проезжали,
В третьи ворота — женихи проезжали,
Красных девок провозили».

Весело ехали: с солью и бабами: много лишнего позволяли. Только Иосаф опять мрачен ликом стал. Видно, чуяло его сердце, что худые дни для закаменской вольницы, — не за горами восходят.

А Васька-нахальник Марье на ухо шептал: «Вишь как инок лицом потускнел. Видно, скушно ему без бабы вертаться».

5. Худые дни

Множились люди за Камнем, но не множилась вера истинная в людях, капля за каплей, как вода из дырявой крынки, истекала.

Множились люди худые, заводились ссоры да распри, доходило дело до схваток и ножей. Заводские крестьяне, беглые солдаты, тати, воры, разбойники-душегубцы верх взяли и мутили народ.

Слабые духом, некрепкие в вере пристали к ним; и не стало житья от тех грабежей и насильств.

Черная хлебопашеская работа за необычай была тем, кто в легкости привык жить, кто кроме бражничества да озорничества никакого дела с малолетства не знал.

Разгневался Господь на беззаконие людей и послал неурожай хлеба в земле Бухтарминской три лета подряд.

И наступил голод лютей. Стал народ молотым корьем питаться и от болезней помирать.

В этот год Васька Быков да Яшка Загуменный с братней очень шибко разгулялись. У многих каменщиков последний хлеб уворовали, Лосихинской починок сожгли да в горах одного инок удушили — думали богатства найти.

Восстал народ против злодейств душегубцев и порешил: изловить и казнить всю шайку смертью лютою.

Узнали воры через передатчиков и в лесные дебри ушли. Да недолго они шатались, скоро узнали их логово и оттуда выкурили. Связали по рукам и ногам, по китайскому обычаю, по колоде на шею привязали да на суд приволокли.

Долго бы не судили, да особый случай вышел, видно Антихрист тем людям помог.

В ту самую пору, когда на смерти злодеев народ порешил, приехал китайский ноен с тчурчутами.

«Земля здесь китайская, — сказал тот ноен, — а потому тех людей вы судить не можете».

А народ ему в ответ:

«Уж дивно мы на этой земле живем, голыми руками мы ее обрабатывали, потом полили, а поэтому земля эта наша и суд должен быть наш».

Повертел ноен головой, потряс шариками на шапке и снова говорит:

«Судить я этих людей не позволю, может быть, они безвинны».

И велел он тут тчурчуту своему слезти с лошади и злодеев развязать.

Только тчурчут слез с лошади и хотел было идти, как Савва Лаптев из пушкана в него дернет, ну и нехристь сразу ляшками задержал и издох.

Тут народ за ружья схватился, китайцы тоже заволновались, и не миновать бы кровопролитию, да инок Иосаф вмешался.

«Оставьте пушканы, — закричал он на народ, — если добра желаете».

Послушался народ, опустил пушканы.

Тогда Иосаф подошел к ноену и сказал ему:

«Останови своих людей и не допускай дело до кровопролития. Давно мы живем с вами по соседству, честный торг ведем. Мы вам рухлядь мягкую, соболей, лисиц возим, а вы нам китайки, канчи, канфу, фанзу, чашки, ножи, огнива и другой товар промениваете. Зачем нам немирно жить. Те люди, которых мы к смерти присудили, разбойники и душегубцы. Покою от них нет, и жизнь с ними тягостна. Верно, наш грех, убили мы сгоряча твоего воина, за смерть его по вашему закону тебе заплатим».

Выслушал ноен, помотал головой, потряс шариками и ответил Иосафу:

«От платы я за тчурчута не отказываюсь, а этих людей приказываю освободить, так как я сам их буду судить, а вы живете на китайской земле и китайским законам должны подчиняться».

Сколько ни доказывали ноену, на своем настоял. Развязали Быкова, Загуменного, его братню, заплатили за смерть азиатца

ноену мзду достаточную и разъехались в большом горе и смятении.

Ноен не стал судить разбойников, в тот же день их с дороги отпустил на все четыре стороны, а разбойники, озлобившись, стали еще сильнее лютовать и злодействовать.

Убили вскоре Ваську Быкова и Яшку Загуменного, но семя злое было посеяно и плевелы взошли.

Снова собрался народ о житье своем говорить. К иноку Иосафу обратились:

«Иосаф, преподобным старцем Кириллой ты в вожди был допреж избран. Многими молитвами и советами мы благодарны тебе. И вот теперь спрашиваем тебя, что присоветуешь нам делать».

Поклонился Иосаф совету народному и ответил:

«Спасибо вам на слове добром. День и ночь у Господа Бога я совета прошу, и открыл он мне, рабу грешному, видение, не объявлял я его, но теперь, видно, настало время.

Приходил ко мне старец Кирилла, радостный, веселый, венчик кругом головы, золотом сияющий. Пришел ко мне и говорит: “Сын мой нареченный, не угасает огонь, а разгорается в тебе. И вот утешить я тебя пришел. Шли мы в землю Беловодскую, Господь взял меня, а народ немного не дошел до той земли. Вижу я муки народные и советую искать Беловодье, в нем одно спасение”».

Выслушал народ. Немного народу видение одобрило, больше старики, а остальные недовольны остались.

«Легко сказать, искать Беловодье, а где оно? Почто старец Кирилла прямую дорогу не укажет? Все говорит, ищи да ищи, а где ищи, не сказывает».

Помолчал народ, стал опять советоваться промеж собой.

Вышел мужик Околелов, поклонился и сказал:

«Дозвольте мое немудрое слово молвить».

Говори, всем разрешено.

Сколько голов, столько умов.

Снова поклонился Околелов, книжной мудрости был человек, хотя и мужик, и так начал:

«Загонят зверя охотнички со всех сторон, вот он и мечется. Так и мы в земле нашей. Верно будто и своей волей живем и свою силу имеем. Как будто так, а глубже в воду, дно не видно. Заводы рудные растут и близятся. Никонианцы все ближе и ближе к нам, а с другой стороны китайцы. А мы посередине. Кто же лучше — еретики ли никонианцы или нехристи китайцы? На то ли мы боронили святоотеческую православную церковь, чтобы с никонианцами хлеб один иметь и через осквернение пасть в яму страдную душами и телесами нашими? Мудрый вопрос, а ответ ребячий. Если нажмут на нас никонианцы, ну и дух из нас вон, всю веру нарушат, сожгут нас на кострах. Китай же народ хотя и поганый, хуже собаки, но к вере нашей злобы не имеет и молиться нам не мешает. Вот я и раскидываю умом слабым и думаю: настало время к китайскому государству пристать, ведь живут же беловодцы в стране опоньской дальней».

Зашумел народ, как осы. Третий путь хотелось найти: не приставать к китаям, но и от никониан отбиться и жить в легкости.

Сколько ни судили, ни рядили, но все же решили перейти к китаям — один путь.

Думали, инок Иосаф обидится, что его совет не приняли, а он нет, как будто обрадовался.

«Хорошо решили, — народу сказал он, — по пути и про Беловодье разведем, недаром мне видение было. Если передовщиков по этому делу посылать будете, пошлите меня. С радостью пойду».

Принял народ просьбу Иосафа, еще выбрал передовщиков, и всего того народу шестьдесят душ набралось с женами и детьми. Кто передовщиками шел, а кто искать землю Беловодскую, ибо сильнее тяга была в народе в землю ту.

6. Кобдо

«Не та вера свята, которая мучит, — говорили бухтарминцы, снаряжаясь в дальний путь, — а та, которую мучат».

Земля дальняя, земля неведомая, подобно раю небесному манила к себе немногих праведников бухтарминских и была утехой их печали о том, что на всей Руси старая вера в ослабе и крест латинский осенил всю землю благочестивых отцов и прадедов.

Не может же земля держаться без трех праведников. Ведь должна же Церковь Христова с богопреданным священством и епископами стоять до скончания века.

Не один Кирилла праведник сподобился вхождения в землю Беловодскую. И Марк Топозерский ятно путь описал и твердо глаголил: «восточных странах, иде же от времен древнейших блюдется истинная вера».

Сумленные и изверившиеся отговаривали.

«Зачем идти скопом через пустыни китайские, когда немногие передовщики разведать могут и весть сию принести нам могут», — говорили они.

А странники отвечали им: «Захребетники вы, к земле прилепившиеся».

«Когда ране в страшном суде ошиблись, — не унимались сомневающиеся, — то и в этом можно в обман впасть».

И вспомнили странники, как гробы холодные в лесу они строили, как долго в тех гробах бока отляживали, ждали трубы архангельской, распевая:

Деревян гроб сосновый
Ради мене построен.
В нем буду лежать,
Трубна гласа ждать.
Ангелы вострубят.
Из гробов возбудят,
Я, хотя и грешен,

Пойду к Богу на суд,
К судье две дороги —
Широки и долги.
Одна-то дорога
В райские земли,
Другая дорога
В адские бездны.
Иисусе, мне внемли,
Иисусе, мне внемли.

Без ответа оставалась заунывная песня, отошав и охрипнув от пения, гробокопатели покидали колоды и шли обратно себе в скит, а там оголено и украдено все было: ясашной мордвой и хромцами безногими — никонианцами погаными.

И после того крепкими словами лаялись гробокопатели и не знали, кого они лают: мордву или обманувшего их архангела с своей трубой.

«Эх, — говорили третьи, которых мало манило загадочное Беловодье, как холодные воды Светло-Яра, где спрятался град Китеж, — что там говорить и загадывать, пойдем мир посмотрим да и от кнута избавимся. То и гляди начальство с командой придет и будет тебя в срубе жечь, это не в колоде лежать».

Снарядились в путь, простились со слезами и воем и пошли к Китайской стороне — караулу Чингистаю. Явились к китайскому ноену не все, снарядили шесть человек с Иосафом и стали ответа ждать.

Ждали день, ждали два, ждали три; никто не возвращался и ответа не было.

Стали совет держать, что делать и как дальше быть.

Долго не думали и на одном все стали:

«Пойдем все к китаю, все шли, все и умирать будем».

Увидел ноен новых людей с бабами, детьми, развел руками с длинными ногтями, как у антихриста, затряс косой до пяток и объявил им, задаренный дарами великими: «Ничего я не могу вам сказать и вырешить самолично. Если хотите, отправлю вас в город Хобдо, где главный китай начальник живет, он и вырешит все».

Согласились и на это, что делать, и поехали по чужой стороне местами пустыми, под караулом тчурчутов в город Хобдо татарский.

Ехали тридцать три дня горами, пустынями великими, мимо соленых озер, пустыней Гоби, что у Марка Топозерского прозывается Губанью неприветливой.

В той пустыне живет народ немирный, китайскому богдыхану подчиненный, называемый мунгалами. И народ тот, мунгалы превеликие, стада скотские имеет, живет кочемных юсилах и по этим пустыням со стадами кочует.

Ехали и все присматривали, не объявится ли путь в землю Беловодскую. Спрашивали тчурчутов, спрашивали через толмача китайского мунгалов, не знают ли они о земле Беловодской, да все напрасно, не знали они, где та земля.

Только один монах ламский из дальних гор Тибецких, что за Губанью лежат, сказывал, что до моря Опоньского очень далеко, а о русских людях в тех странах он никогда не слыхивал.

На тридцать третий день в город Хобдо приехали к главному китайскому ноену.

Пошел под стражей Иосаф к ноену.

Посмотрел на него ноен и спросил:

«По какому делу ты пришел, сказывай».

Поклонился ноен погани китайской и через толмача объявил:

«Мы люди мирные, на реке Бухтарме проживающие, а та Бухтарма в царстве Китайском находится. Жили мы мирно, никого не трогая в своей вере, в той земле, много лет. И еще бы жили, сколько Господь сподобил, да стали русские на нас напирать. А русские другую веру, поганую, имеют, и если русские нас возьмут, то в свою веру приведут, а кто не захочет ересь никонианскую исповедовать, лютой смертью тех людей замучают. Вот и пришли мы к тебе просить взять нас под свою защиту, так как живем мы на вашей земле».

Никакого ответа ноен не дал Иосафу, а велел всех каменщиков в казарму под стражу посадить, кормить и поить и никуда не отпускать.

И после этого тяжелые дни шли, как годы. Томился народ в каменной казарме и не знал, что ему будет.

Китайские законы строги. Чуть не каждый день по приказу китайского ноена около казармы головы рубили разным людям и почти всегда по-пустому.

Казнили и вора, и хозяина, у которого вор добро украл. Вора казнили за воровство, а хозяина за недосмотр.

Заволновались каменщики, насмотревшись на казни безвинные.

«Не подходят нам законы китайские, — говорили они, — не угодно нам жить по китайским законам, иди, Иосаф, проси, чтобы нас домой вернули».

Не пришлось Иосафу идти, вскоре ноен всех вызвал, и писцы грамоту прочитали, а толмачи ту грамоту разъяснили.

В грамоте листе сам царь китайский Богдо-хан, в Пекине проживающий, объявлял, что «русских людей в свое государство и в свою защиту принять не может, так как и без того у него разных народов много и управляться с ними большие хлопоты. Пусть, — написано в листе дальше было, — каменщики в свою землю идут и живут как хотят. А так как они с дороги оголодали и обнищали, Богдо-хан приказывает дать им на дорогу по лошади, у кого нет, да сарачинского пшена с бараниной на всю братию».

Хотя и не принял в подданство Богдо-хан каменщиков, но приказал ноенам помогать им и помощь оказывать.

И поехали тем же путем каменщики. Давило сердце каждого, и казалось, под конскими копытами земля, как кисель, колыхалась.

Вспыхнул Иосаф на обратном пути и сказал братии:

«Чует мое сердце, что нашей вольности конец и нашей вере великое оскудение. Далекий путь мы совершили с вами, многие из вас веру в землю Беловодскую утратили, но говорю вам, есть та земля, иначе мир бы не держался на великих столбах каменных».

7. Земля колышется

Ушел Иосаф в горную келейку, в молитве и посте прожил студеную зиму.

Засветило солнышко. Зашумели немолчным гулом ручьи, запели переливчато, как струны звонкие, а в ответ им в синих небесах зазвенели птичьи голоса, несмолкаемые и день и ночь.

В щель, окном кельи именуемую, луч солнышка прокрался и заиграл ласково и весело по строгому Спасу Нерукотворному. И строгий Спас, принимающий только молитвы да вздохи, заулыбался.

Не стерпело сердце Иосафа, не шли молитвы на уста, вышел он из темной пещеры и обрадовался солнцу, и траве зеленой, и почкам набухшим. А внизу, где темный лес, как щетина, с гор спускается, где реки текут, видно было: дымки синие курятся — бабы на заимках лепешки пекут.

Радостно стало Иосафу, сел он на камень и заплакал, не зная почему.

Стал Иосаф в слезах беспричинных разбираться, в одиночестве он привык, как рыбак в сети, мысли беспричинные ловить и на этот раз поймал себя в слабости и маломощности. Но не поворотил он мысли греховные, не убил змея-обольстителя, а предался им, силу и слабость свою чувствуя.

Вспомнилось ему озеро Святоярское, свечи многие в руках верующих горящие, часовенки и звон колокола тайного. А потом он увидел лицо девичье, белым платком подвязанное. Лицо бледное, как мел горный, а гла- <далее в рукописи пропуск страницы>.

Подумал, подумал и начал с горы спускаться тропинкой нетороной.

Пришел на заимку к Околелову. Бабы обрадовались, шанег на стол ставили, угощают:

«Скушай, праведник Иосаф».

«Не праведник я больше», — отрезал Иосаф, а бабы так около голбца и обмерли, как Лотова баба.

«Не праведник, — еще раз повторил Иосаф, — не праведник, потому что не знаю, откуда мой искуc исходит. От Бога или от него... Вспомнил я сегодня старое, что давно забыл, и понял как будто, что живем мы не так, как надо. Молимся, плоть убиваем, вериги носим, все Богу думаем угодить, а может, ему только одну доuku делаем. В праведники все лезем, а не лезли бы в праведники, поди меньше грешили».

И рассказал тут Иосаф о своей жизни.

«Там на Керженце одну девушку я полюбил крепко. Заперли ее в монастырь к старухам. Богу, мол, обещана, а не тебе, Иосаф. Извелась девка, угробили ее молитвами. А по какому такому закону? По священному писанию? Нет, врите, нельзя на священное писание все сваливать. Вон птицы и звери без писания живут, а что — грешнее нас?»

Совсем испугались бабы, даже закрестились:

«Ну, че испужались, поди, думаете, умом я рехнулся, — продолжал Иосаф. — Ум мой крепок, а плоть немощна, и перебарывать ее грех».

Пришли мужики обедать, бабы шепнули: «Иосаф-то заговаривается».

Отмахнулись мужики: «Больше хлопайте».

«Ну, Иосаф, как поживал? — спросили они. — Читать давай заобедную».

Причитал Иосаф молитву заобедную, сел обедать с мужиками и снова начал выкладывать:

«Радость у меня на душе была великая. Словно весь мир радовался. Пошел я в келью свою, пал на колени и потушил я эту радость, как лампаду неугасимую. А зачем я это сделал? Да потому, что мы радости боимся, в печаль облеклись, заботами себя сковали. Знаем одни поклоны и больше ничего».

Переглянулись мужики.

«Ты че-то, отче, заговариваешься, — заметил Околелов, — разве от безлюдства затмение на тебя нашло».

«Нет, откровение я обрел, откровение, а не затмение, — ответил он, — и вижу теперь я, вы все во тьме ходите, лбами стучась, друг дружки ненавидя. К вам солнце, а вы в подполье, да давай поклоны махать. Кто больше отмахал, наступал, тот, мол, и больше заслужил, тот мол ближе к Богу».

Никто не стал спорить с Иосафом. А он тоже замолчал и с грустью думал: «Разве летучей мыши солнечный свет нужен?»

После обеда опять на гору к себе пошел.

По дороге его с узелком нагнала Софьюшка.

«Отец Иосаф, отец Иосаф, — запыхавшись, кричала вслед, — калачики возьми с собой».

Долго не слышал Иосаф Софьюшку. Наконец, нагнала его она:

«Вот калачики, — скороговоркой начала она, — да еще, отец Иосаф, я хотела тебя спросить, куда та девка девалась, которую ты полюбил. Наши не поняли, — она указала вниз, — а я поняла: сегодня она в сердце тебе стукнула, весной-то».

Улыбнулся Иосаф, сел на траву, усадил с собой Софьюшку и как на духу вспомнил еще раз свою неворотимую любовь.

8. Конец Бухтарминской вольницы

Теснее сжималось кольцо заводов вокруг вольной Бухтармы. Все чаще и чаще рыскали, как волки, горные команды и казаки, чиня разор и пожары.

Люди уходили от злодейства в горы и леса, а избушки сжигали никонианцы. С тяжелым сердцем возвращались на потухшие угли сожженных заимок каменщики и горько жаловались темному лесу и дальнему небу, где должен проживать добрый Бог.

«Докуда мы будем, как звери лесные, метаться и жить в великом страхе и постоянном бережении».

За последние годы много пришло в бега за Камень люду никонианского: из беглых заводских крестьян, солдат и варначья разного.

Недружный народ тот был: злой, буйный и не артельный. Жил он сам по себе и кержацких законов не придерживался.

«Мы не старoverы, — кричали они на сходках, — и вашего мира не признаем. Мы сами по себе, а вы нам не указ. Пусть ваш мир со своими порядками заткнется».

«Раз на одной земле с нами живете, — отвечали им старoverы, — и власть цареву не признаете, как и мы над собой, то надо порядок держать».

«Вы держите, а нам порядку не надо, — галдели беглые, — устали мы от порядку».

Пришла почти под Бухтарму партия горных рабочих с начальством. Ждали, что опять будут палить заимки, но вышло иначе. Начальство не потревожило каменщиков, другим было занято, да и боялось своего малолюдства в диком краю.

Осмелели и каменщики.

«Пойдем, попытаем начальство, — решили они, — что нам будет за объявление».

Хотели послать Иосафа, как всегда делали, да тот наотрез отказался.

«Как антихриста, душа власти не приемлет», — диким голосом заревел он.

Оставили его в покое и пошли к начальству.

«Заводы подходят ближе к нам, жить стало тяжелее, решили мы русской царице объявиться. Скажи нам, как это можно сделать», — спросили посланные начальство.

«Я не по этой части, — заявило начальство, — я по горному делу, а если вы объявляться хотите, то надо послать своих людей с прошением на Бухтарминский рудник».

Собрали вскорости весь мир, долго кричали, шумели, спорили: ставить ли под державу царицы или в бегах находиться, и все-таки порешили: «если полное прощение будет, то под державу стать, а если не будет — в бегах находиться».

Послали в Бухтарминский рудник беглого драгуна Быкова и стали ждать худого или хорошего.

Приехал Быков с чиновником Приезжаевым. Вычитал тот чиновник, что хорошо быть гласными правительству, платить подати и защищать землю русскую от иноземцев. Потребовал у них перепись всего населения.

Делать нечего, согласились каменщики, сочинили грамоту царице о прощении и с тяжелым сердцем разъехались по заимкам ждать решения.

Не успокоился Иосаф. Все молчал он, а когда пришла весть о прощении, заговорил, как гневный протопоп Аввакум:

«Продали вы душу свою антихристу на веки вечные, и нет вам теперь спасения. Маломощные, самое великое вы продали за чечевичную похлебку. Не здесь ли в лесах была земля Беловодская, не здесь ли вы обрели свободу и жили без антихристовой печати и никонианской власти. Свободу свою вы продали и в яму темную спустились. Нет, я не с вами, отыде от меня сатано».

И самое чудное случилось потом: выпрямился Иосаф, как гневный пророк Илия, и голос его, как труба архангела, загремел:

«Слышите вы, маломощные, звон дальних колоколов? Слышите, как они поют звоном немолчным? Слышите, как бухает тысячный колокол? Это в Беловодье, а оно недалеко. Вижу я незримыми очами эту страну и не покорюсь я печати царской. Пусть мои кости истлеют в пустыне дальней, пусть жажда сожжет меня, как траву степную. Не покорюсь я. Не у всех у вас вера умерла. Братья, кто не боится трудов великих, пойдем со мной в ту землю свободную. Мы найдем ее».

Заколебались многие. Как колокол беловодский, как мед пьяный, была та речь громка и пьяна. И многие услышали дальний звон и незримыми очами увидели ту землю дальнюю.

«Мы с тобой, Иосаф», — сказали они просто.

Вскорости они снарядились в дальний путь, и тяжело было то прощанье и расставанье с оставшимися под царицыной рукой.

Вспомнилось о многом, как старец Кирилла их вел в Беловодье и как веровали их сердца в святость земли. А потом

пришли сюда, обжились, прилепились к земному и отстали от тех немногих, что с Иосафом уходят.

Проходили года, слабела и дробилась древняя вера стариновская, изменился народ-дуб, а вера в далекое Беловодье не умирала. Она, как тлеющий костер, то чадила, то вспыхивала вновь ярким пламенем, и новые толпы уходили из-за Камня на поиски той земли, в Опоньское царство.

В одном скиту, в темном углу, далеко от икон, висит черная, потрескавшаяся от времени «икона». Ей не молятся, но святость она имеет. Наивный художник, видимо, беглый монах-живописец, по заказу старинов написал ее.

На ней изображен Иосаф, огненный человек, борец за правду и бегун в землю Беловодскую.

Сохранилась и его келейка. «Как будто на костях», — говорят староверы, видимо, вспоминая многие скиты, построенные на костях мучеников за старую веру, и высказывая тем самым сожаление об отсутствии мучеников в Бухтарме.

Скоро умрет наивная вера в старую Беловодскую землю, ибо человечество на путях к новому Беловодью, более прекрасному и более реальному и близкому.

Мир старине.

Лев Гумилевский

Белые земли

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ДВА ПУТНИКА

Шли два приятеля вечернею порой
И дельный разговор вели между собой
Крылов
Умный товарищ—половина дороги.
Пословица

Весною лет двадцать, не больше, тому назад вечером к станции Бударинской, лежащей на Гурьевском тракте, приближались два пешехода. Из-под свинцового слоя пыли на ногах их просвечивала меловая пыль Белых горок, в тени которых прячется Уральск. Запоздавшие путники сделали за день не малый переход.

Они шли не рядом, а гуськом, один за другим, хотя в том никакой нужды не было: почтовым трактом хаживали казацкие полки. Видимо, делалось это по привычке или по уговору и не мешало им беседовать друг с другом.

Впрочем, говорил больше тот, что шел сзади. Был он высок, худ, прям и весел, как расстриженный дьякон, впервые показавшийся на улице без стеснительных своих одежд. Он шел бодро, шумно и с какой-то приятной наглостью поглядывал кругом, часто посмеиваясь. Такая веселость охватывает людей, только-что вышедших из тюрьмы или больницы.

Наоборот, шедший впереди его человек был угрюм, неуклюж, осторожен в движениях, мешковат на ходу и мал ростом. Он производил впечатление горбуна: руки его были неестественно длинные, голова сидела глубоко в плечах и в ходьбе его и манерах чувствовалась неловкость.



Однако никаких внешних признаков горба заметить было невозможно. Обстоятельство это, бросавшееся в глаза при первом взгляде на путника, делало его незабываемым.

Сумрачный, как посеревшие от зноя поля вокруг, он оглядывался по сторонам ее реже, чем его товарищ, но делал это без всякого оживления. Похоже было, что осматривался он из Осторожности; характеру его, действительно, было присуще это качество. Веселость спутника ему не нравилась. Он не раз искоса поглядывал на него, прислушивался к его мечтательной болтовне, выбирая минуту, чтобы и за то попрекнуть.

Но повода к тому не находилось.

— Ну, будет эта станица последнею! — говорил между тем тот, закидывая назад голову и плутая веселыми глазами по кручам сиреневых облаков, сдвигавшихся над закатом.—А там... ударимся с тобой в степь, Алексей! Много у нас денег набрано?

Он примолк на минуту, ожидая ответа. Угрюмый товарищ его не счел нужным ответить, но, как-то по-птичьи подпрыгивая, зашагал быстрее, словно не желая и слышать пустой болтовни.

Спрашивавший принял это без обиды. Может быть, были в характере его опутника иные черты, ради которых не обращал он внимания на эти, проявлявшиеся столь резко; может быть, просто привык он к его молчаливости.

В самом деле, тот почти не разговаривал, а если и отвечал иной раз назойливому своему спутнику, то, не оглядываясь на него, отвечал небрежно, без всякой охоты поворачивая язык.

Оба они были, в монашеских полукафтаниях и скуфейках, «о разговор их носил характер мирской и житейский.

— Иду и сочиняю речь казакам, — вновь заговорил высокий, мало заботясь о том, слышит ли его товарищ, — любят у нас сказки про хорошую жизнь! За цветистое слово приветят, за сказку накормят, а за песню и бражки поднесут... Ух, ты! —

воскликнул он вдруг. — Жрать-то как хочется! Да и не ел я давно ничего легкого. Ты уральский каймак едал. Алексей? — подумав, спросил он.

Алексей на этот раз пробормотал что-то, но ветер снес его слова в сторону, и шедший сзади ничего не разобрал. Он помолчал, поджидая, не прибавит ли чего-нибудь еще неразговорчивый его спутник, и от скуки оглянулся на поле, где ветер крутил вихрь пыли.

Солнце сползало к земле. Кое-где в просветах Прибрежных рощ показывались спокойные воды Урала. Они блистали в лучах заходящего солнца, как литое по степи золото. Засмотревшись, приостановился мечтательный путешественник, и бог весть, какие мысли вдруг и куда унесли его от действительности.

— Что стал? — резко окликнул его ушедший вперед приятель. — Ночевать в поле будем, что ли?

Тот догнал товарища.

— А слышал ты, Алексей, — глухо спросил он, — что около Калмыкова, в ярах ка| Урале вымыло кости мамонта? Ох, древние эти поля! Много они видели... За Покровским монастырем, под Уральском были каменные могилы, лет по пять тысяч каждой... Теперь их следа нет, а мальчишкой я видывал... Что за люди тут жили? Какие звери таились? Жили, жили — и нет ничего...

Нет, решительно был этот человек веселого нрава; он и здесь нашел повод для смеха и рассмеялся с ребяческой резвостью.

Спутник его обернулся наконец и, подождавши, пока он высмеялся, сказал:

— Дивлюсь я, Мелетий, зачем ты в Покровский монастырь попал... Да еще мальчишкой.

— На каникулы к матери крестной ездил,—ответил тот, — я ведь не то, что ты, Алексей, я в семинарии учился...

— По руке видно, как пишешь!

Разговор оборвался. Алексей втянул голову в плечи и стал походить на огромного ворона, прыгающего впереди своего хозяина. Длинные руки его, засунутые в карманы полукафтаны, выпячивались из плеч от своей длинноты и напоминали ключицы сложенных крыльев. Тонкие ноги с большими ступнями выглядывали из-под подоткнутого подола, как птичьи лапы. Сходство это не укрылось от Мелетия.

— Ты в переселение душ веришь? — спросил он вдруг и настолько серьезно, что спутник его тотчас же откликнулся.

— Нет! — буркнул он, но хриплый звук его голоса только довершил сходство с вороном и вызвал смех у товарища.

— Жалко! А то я сказал бы тебе, кем ты раньше был!

— Что ж, разве и этому в семинарии учат?

— Да, учат! — неохотно подтвердил Мелетий и замолчал, дивясь нраву спутника своего, которого так-таки и не удавалось ему склонить на шутку.

Но собственный его характер был не таков, чтобы он мог промолчать слишком долго. Не сделал он в молчании и десятка шагов, как уж снова подступила к горлу охота поговорить.

— Вот и Бударинская! — закричал он, помахивая палкой и вглядываясь в даль, где темнели неясные призраки станичных изб, ометов соломы и колодезных журавлей. — Отмахали мы больше шестидесяти верст... Хорошо, брат, ходить по тракту: нет-нет да и подвезет добрый человек! Так вот она какая, Бударинская, вот какая, — повторил он несколько раз и добавил задумчиво: — Слышал я об ней, слышал!

— Про что это? — не без тревоги осведомился Алексей.

— Так, сказки, — отвечал тот. — В жизни без сказок не обходится... Говорят: тут где-то разбойники зарыли будару, полную золотом и серебром. Многие клад искали да не нашли...

А за станицей так и осталось прозвание Бударинской. Да, не нашли... Не было, значит, счастья никому!

— Попытай ты, — сухо посоветовал монашек и впервые, кажется, за всю дорогу хриповатый смешок выкашлянул он из груди, — ты счастливый ведь!

— Нет, в нынешние времена счастье не помогает, — заметил Мелетий, не обратив внимания на насмешку, — а я только умен да смел... Смелые-то городами владеют! Из этой самой Бударинской Пугачев начал двигаться на Яицкий городок. Здесь он и титул императора принял, отсюда и киргизскому хану письма писал... Разве т счастье он его поймал? На хитрость! Тот помогал Пугачеву, а клялся губернатору... Пугачев толк в людях знал: надо запрашивать больше... Сколько ни уступить потом — все с прибылью... Где же тут счастье? Счастья тут нет!

— А что есть?

— Голова на плечах, весело пояснил Мелентий, — а более того и не надо ничего. Вот видишь, — продолжал он, взявшись за подол своего полукафтання и потряхивая им, как делают женщины, показывая шелковую шумящую юбку, — что значит голова на плечах?— Кому нас узнать в этих хламидах? Идем — никто нас не трогает...

— Типун тебе на язык! — перебил его Алексей. — Гляди, не хвалился заранее... Дело-то еще не кончено!

Мрачность маленького человека не заражала его приятеля.

— Не велики птицы станичные начальники, откупимся! Нет, Алексей, теперь бояться нечего: в любой избе укроют...

— Посмотрим! — не смягчаясь нисколько, остановил его Алексей. — Что зря болтать?!

Он продолжал идти вперед как вожатый и, видимо, хотел руководить шедшим вслед за ним не только в дороге, но и в

житейских делах. Тот подчинился и в самом далее более о том не говорил.

Так шли они несколько времени молча.

Вечер и тишина покрывали поля. Солнце упало в темно-серые облака над синей полоскою леса; тонкой каймою он бежал по берегу Урала. Едва лишь скользнули длинные тени до черным полям, заверещали кузнечики. Стоном стал в степи неумолчный свист. Шорох шагов не слышался далее придорожных столбов. В сумерках, издали глядя на путников, можно их было принять разве за черные призраки, только вставшие из могил; кладбище, кстати, только-что они миновали, приближаясь к станице.

У околицы друзья остановились и сошлись, совещаясь. На этот раз говорил однако Алексей; спутник же его лишь слушал, кивая головой.

— По-моему, сейчас же, сейчас же, — настаивал тот, — надо объявляться. Нечего тянуть время, да и пешком идти надоело... Пусть везут отсюда хоть с колокольцами... Вся станица, почитай, старoverы. Хоть в первую избу пойдем...

— Пойдем. А там ход вещей покажет!

Уродливый монашек снова выдвинулся вперед, входя в станичную улицу и принимая на себя бешеную атаку деревенских дворян. Отбившись от приступа дубовым своим посохом, он свернул к первой избе и п стучал в окно.

На стук вышел бородатый казак. Он посмотрел на гостей неприветливо, должно быть, ожидая просьб о подаении.

Алексей, всюду являвшийся проводником своему товарищу, выступил вперед и поклонился.

— Не знаешь ли, добрый человек, — строго и не без сознания своего собственного достоинства спросил он, — где бы могли мы переночевать у хороших людей, сироты или вдовицы, чтобы могла принять от нас за ночлег?

Гости такого рода встречались на почтовом тракте нередко. Не многие из них все же заговаривали о платн. Казак, не отвечая, попробовал дознаться о самих прохожих.

— А вы кто? Откуда?

— Из большого далека, люди прохожие!

— Монахи?

— Монашеское одеяние и послушники носят.

— Куда идете?

— Да только до тех мест, куда посланы.

Осторожный монашек понравился хозяину. Он почувствовал в нем гонимого и спросил о главном:

— Како веруете?

На этот раз гость ответил с истовостью верного хранителя старой веры:

— Как деды и прадеды, держимся древлего благочестия и иной веры не знаем.

Он окрестил себя высоким и строгим крестом двуперстного сложения; хозяин стал приветливее.

— Зайдите хоть к нам, — сказал он, растворяя калитку, — понравится — и заночевать можете.

Он оглянулся, поджидая, пока войдут во двор гости, чтобы за ними запереть. Тогда-то он и увидел сцену, крайне его удивившую. Ведший с ним переговоры острословый монашек низко поклонился своему спутнику, приглашая его войти. Когда тот величественным кивком изъявил согласие монашек метнулся вперед, с почтительным проворством, широко распахнул перед ним дверь и держал ее так, поклонно нагнув голову до тех пор, пока тот не миновал калитки.

Казак чуть не разинул рта. Монашек же, как ни в чем не бывало, забежал вперед своего спутника и таким же порядком держал перед ним дверь в сенях, потом в избе. Входя, тот

благословил с порога все окружающее, а потом, крестясь и благословляя, вошел в просторную горницу.

Хозяин забыл об открытой калитке. Он настиг монашка и схватил его за плечо.

— Стой, — прошептал он, — стой, говори: кто это? Кого это ты так чтишь? Почему?

Вошедший, не слыша, что делалось сзади него, погрузился в молитву перед темными ликами святых. Божница занимала весь передний угол и стеклянными крыльями прихватывала стены с обеих сторон до окон; она укрыла загадочного гостя. Только силуэт его пал тенью на зеленое серебро риз.

Тогда монашек поднялся на цыпочки до хозяйского уха и прошептал:

— Посол святейшего патриарха, преосвященный Мелетий, епископ Беловодский! Вот кто!

Несколько мгновений казак находился в оцепенении. Застыл ли он в немом уважении к высокому посетителю или был он подавлен новым и достоверным известием о Беловодьи, трудно сказать. Во всяком случае оправился он не раньше, чем монашек, почтительнейше истребовав от епископа шелковый плат, предъявил его хозяину.

— Вот и грамота святейшего патриарха, — сказал он, — прочти-ка, хозяин!

Смущенный казак не знал, как взять ее в руки.

— Да я того, брат мой... Не ведаю я грамоты, — бормотал он, принимая документ, — не учен я.

Он держал на вытянутых руках тонкий шелковый платок как сорочку новорожденного, дивясь ее легкости и неуклюжести своих рук. Монашек спросил, нет ли в доме грамотея, и тогда он обрадованно затряс рыжей, как дубовый клин, бородою.

— Как нет! Есть, есть! Сын родной у меня здоров, на грамоту, всякое читает. Тит! — заревел он вдруг, поворачиваясь к двери, — Тит, поди-ка сюда! Живо!

На| зов явился коричневый кривоногий паренек. Он был немножко смущен и присутствием постороннего и странным предметом, лежащим на вытянутых руках отца, но тотчас же оправился и в отношении грамоты проявил большое любопытство. Оно обнаружило в молодом казаке не малую образованность.

— Пергамент, что ли? — делая ударение ш последнем слоге: *Пергамент*, — пробормотал он, принимая и ощупывая осторожно шелковый платок. — Не видывал никогда, чтобы- на таких писали...

— Да вряд ли доводилось тебе и читать такое! — грубовато добавил Алексей. Он постепенно менял свой тон в зависимости от поведения хозяев.

Хитрая славянская вязь грамоты нисколько не смутила Тита. В древних старообрядческих книгах, потаенно хранимых дедом, он привык в ней разбираться.

Без затруднения прочел он отцу:

«Божией милостью, мы, смиренный Митрофании, патриарх славяно-беловодский, камбайский, японский, индостанский, Ост-Индии а Фест-Индии, и Юст-Индии, и Африки, и Америки, и Земли Хили, и Магелланской земли, и Бразилии, и Абиссинии, в заботах об изыскании средств для поддержания и украшения святых церквей Беловодского края повелеваем любезному во Христе брату нашему Мелетию, епископу Беловодскому, приняв образ кротости и смирения, с единым послушником отправиться в земли Святой Руси, на Урал и за Волгу и на Кавказ собирать пожертвования на святое сие дело. Возлюбленных же во Христе Иисусе братьев наших, живущих в

сих землях, призываем внести свою лепту на веление храмов Беловодья, где единственно блюдется древнее благочестие и преемственное от апостолов священство».

Роспись патриарха, несколько витиеватая, не сразу далась чтецу. Но руководимый монашком, прочел он и ее. Она гласила: *Смирнейший Митрофаний, старой веры хранитель, патриарх славяно-беловодский*. Вслед за тем была так же прочтена, оцупана и взята на зуб огромная восковая печать с изображением двуперстного сложения, окруженного в треугольнике тем же высоким титулом:

«Патриарх славяно-беловодский, камбайский и прочая и прочая.

Отвечая на безмолвный вопрос отца, сын солидно кивнул головою. Так утверждал он всякие хозяйственные сделки его, если они сопровождались письменными документами. Отец верил сыновним глазам, как своим. Он принял от него грамоту, словно священный, переполненный драгоценным миром сосуд, с осторожностью необычайной коснулся ее губами и так же благоговейно передал платок монашку. Затем, широко крестясь, он направился к послу патриарха. Сложенными в пригоршни руками он потребовал от «его благословения.

Благословив и протянув руку к губам мужика, предупредил его тихо высокий гость:

— Прими меня, как странника, чужим не твори Своим же, блюдушим древнюю христову веру и верным, объяви скорее. Я долго у тебя не буду... От слуг же царевых береги. Сыну накажи... Не будет прибежища гонимым, коли откроем пути в Беловодье поганым никонианцам!

Монашек, блаженно улыбаясь, кивал головою в такт наказу преосвященного. Хозяин поманил сына и, толкая его к гостю принять благословение, приказал коротко:

— Слыхал? Блюдись сказать что лишнее!

Тот подошел к епископу без большой охоты и проделал церемонию без всякого удовольствия. Обряд, столь распространенный у церковников, был неведом лишенным священников староверам. Титу он показался диким. Руки благословлявшего давно не знали воды и мыла. К тому же, едва лишь он наклонился по примеру отца ткнуться в них губами, как отец закричал:

— Как стоишь, Тит?

Тит приложился к руке епископа скорее носом, чем губами, и торопливо оглянулся на отца. Он не понял, чем мог его прогневить. Отец подошел к нему и пинком составил его ноги плотно друг к другу.

— На молитве ног не расставляют, бес проскочит! — проворчал он.

Смутившийся парень поклонился еще раз высокому посетителю и отошел. Он глядел, как вслед за ним стали подходить вызванные с жилой половины мать, бабушка, сестра. В сумрачном углу, охваченном стеклянными крыльями божницы, сам темный, как лики святых на закопченном серебре их риз, благословлял подходивших епископ. Улыбка его понравилась молодому казаку, но монашек, суевившийся возле, был отвратителен. Длинные руки, худые и жесткие свисавшие с угловатых плеч, действовали уже как-то слишком проворно и ловко. Голова же, втянутая в плечи как у горбуна, была в противоположность рукам недвижна, и в этом несоответствии было что-то неприятное.

Впрочем, у парня не доставало времени составить себе более определенное мнение о гостях. Отец приказал позвать деда, а затем пойти оповестить соседей о прибытии столь редкостных и

необычайных странников. Волнение, охватившее отца, плохо скрытое под личиною благоговения, передалось и сыну.

Тит бежал гумнами, задыхаясь: ему чудился набат. В семье его, как во всех других казацких семьях, из уст в уста передавались рассказы о чудесном Беловодьи. Не без участия их, Кафтанниковых, были отправлены с Урала ходоки вызнавать о загадочном крае. Лет тридцать назад один из неугомонных дядьев Тита ушел в праведную страну и остался гам. О богатой и счастливой жизни его ходили прочные слухи. Убаюкивая маленького Тита, мать пела над ним сказку:

— Вырастешь, Титушка, будешь храбрый и смелый и вольный казак. Отправившись в степь, далеко-далеко, отсюда не видать никому, к дяде родному Прохору Федоровичу, заживешь на воле богато и счастливо... Будешь служить не царю, а господу Иисусу Христу, сыну божию...

Эту сказку знал он наизусть. С нею и вырос младший Кафтанников. Слышал от него дед не раз, как, сверкая калмыцкими глазенками, гордо закидывая кудрявую, под кружок стриженую головку, кричал он:

— А мне нет места на свете божьем, что ли? Я как дядя Прохор Федорович! Я в Беловодье уйду...

— Дед учил внука премудростям древнего благочестия. От корявой головки пахло воском и переплетами в тайниках хранимых трехсотлетних книг. Но учитель не забывал и земных обязанностей ученика,

— Твоя служба, Тит, царю нужна! — напоминал он.

— Богу еще нужнее! — спорил тот.

И вот с той странной неожиданностью, с какою приходит к нам все то, чего мы подолгу упорно и страстно ждем, вдруг превратились в живую действительность сказка юности при появлении живых беловодских гостей.

Мудрено ли, что слышался Титу серебряный набат беловодских храмов? Мудрено ли, что с каждым шагом вперед охватывало молодого казака все большее и большее волнение?

Глава вторая

БЕЛОВОДЬЕ

Хорошо житье казаченькам,
Только служба тяжела.

Казацкая песня

Не всякая песня до конца допеваётся.

Пословица

Был вечер, граничащий с ночью, похожей в этих краях на черную мантию, осыпанную осколками бриллиантов. Уже спускалась мантия, прикрывая собою всю землю, и загорались звезды внутренним своим огнем, когда станичники начали потихоньку постукивать в тяжёлую калитку крайней избы.

Не скрипели ржавые петли, не звякали запоры, не хлопали двери. Бесшумно проходили в чистило горницу казаки и молча ожидали повествования о порядках и обычаях далекой страны. Были плотно прикрыты ставни снаружи, завешаны стекла изнутри. Но и при этом лишь одними лампадами освещалась горница.

Двести лет притеснений, гонений и прямого преследования, доходившего иной раз до невероятной жестокости, оставили неизгладимые следы в характере старовера.

Необходимость таиться, прятаться и лукавить привла ему дух конспирации; он стал основным его свойством, как и уверенность в праве на ложь и обман.

Дух конспирации не вымер и тогда, когда стеснения и ограничения для раскольников были несколько смягчены.

Распространение раскола, проповедь о нем были запрещены. Одно это гнало ревнителей старой веры в подполье. Нет ничего удивительного по этому в том, что без всякого шума и суеты разнеслась в станице Бударинской дивная весть о загадочных странниках, остановившихся переночевать у Кафтанникова¹.

Внук старика Кафтанникова, разносивший известие, действовал как нельзя более осторожно. Он ни разу не показался на широкой станичной улице; он обошел все дворы по гумнам, через сады и огороды, заходя с задних дверей. Даже знакомый цветастый сарафан, мелькнувший в переулке возле колодезного журавля, не вынудил его показаться на людях. Он только вздохнул и поглядел вслед девушке, не посмевши ее окликнуть.

Помолившись, передавал он известие верным людям и с ним приглашение побывать попозднее у деда. С крестом и славословием, укрытые все в ту же личину спокойствия, принимали новость хозяева. С поклоном же уходил и Тит. Он не прибавлял по молодости и наказанной сызмальства скромности ничего от себя и, уйдя, лишь жестоко казнился своим волнением, которое не мог, не умел, как казаки, скрыть.

Так же разносилось известие и дальше. И так же без всякой заметной озабоченности и волнения, наря-

- 1) Уральское казачество — на добрую половину свою старообрядческое — нисколько не было в лучшем положении, чем всякий иной класс русского населения. При казанском архиепископе Луке Конашевиче, лютом ревнителе православия, в царствование Екатерины II, оно подвергалось жесточайшим стеснениям в отправлении своих служб и обрядов. Это обстоятельство сослужило не малую службу Пугачеву, за которым и пошло яицкое воинство, мстя правительству, попустившему гонение на старую веру.

дившись в свои долгополые кафтаны, с такой же истовостью, как в обман и ложь, двигались станичники к крайней избе.

Сам старик, дед Тита, тяжелый и тучный, приоткрывал дверь входившим и указывал им с низким поклоном место. Только в дни больших торжеств распоряжался он у сына. В эти дни отец Тита чувствовал себя не менее робко, чем Тит.

Величавое гостеприимство старика Федора Прохоровича придавало собранию характер почти богослужебный. Павел Федорович, сдав старшинство, не вмешивался в распорядок и, пожалуй, был рад побыть в качестве гостя. Он располагался не проронить ни единого слова. Не надеясь на собственный слух, он выставил вперед Тита, к окну, возле правого киота божницы. рядом с монашком, сидевшим подле высокого гостя.

Предосторожность излишняя! Не было в тот вечер в горнице ни одного человека, в чьем уме не выжигались бы слова рассказчика с резкостью высеченных в мраморе. Да и могло ли быть иначе, если перед слушателями находились люди из сказочной страны, куда уходили многие, но откуда еще никто никогда не возвращался обратно!

Епископ с вниманием наблюдал за приходящими. Каждому отвечал он глубоким поклоном и всякий раз, пока тот молился, отодвигался в сторону, чтобы не закрывать молящемуся икон. Сделать это было нелегко. Сан его требовал первого места; божница же составленными друг к другу киотами занимала стены так далеко, что сколько он ни сторонился, не мог не прикрыть собою кого-нибудь из святителей. Черные лики их были строги и мрачны. Среди них и посол патриарха в своем черном полукафтаны и обслуживавший его длиннорукий уродец производили впечатление строгости и благочестия. Смягченные улыбкой суровые черты лиц их располагали к доверию.

Так угрюмая чистота горницы, загроможденная мрачными иконами, умерялась смехом огромных гераней. Пурпурно-красные потоки цветов скатывались с зеленой листвы, выбрасывались из окон, распространяя в комнате масляную пахучесть. Она не смешивалась с запахом сундуков и кладовок, принесенным на новых, не часто надеваемых кафтанах, но плавала над ними, как ладан над толпою в моленной.

Тит стоял у окна. Запах цветов кружил ему голову. Он мечтал о прекрасной стране, глядя на пришельцев оттуда.

Между тем хозяин впускал все новых и новых гостей. Длиннобородым станичникам нехватало места на скамьях. Они становились по стенам, затем стали выходить на середину комнаты и наконец заполнили ее, как в моленной, от дверей до икон.

Епископ пошептался с долгоруким своим прислужником. Тот пробрался к Фёдору Прохоровичу. Все замерли на мгновение. Тогда в тишине явственно было слышно, как монашек спросил:

— Все ли верные люди, хозяин?

— Все верные, все братья, за всех отвечаю как за себя! — поручился старик Кафтанников.

Монашек двинулся назад донести о том пославшему, и враз масляные головы и расчесанные бороды совратились туда. Епископ кивнул головою и спросил с ласковой улыбкой:

— Все ли видели, братья, грамоту пославшего меня святейшего патриарха? Все ли читали? Не сомневается ли кто?

Сомневающихся не было. Шелковый плат с древнеславянской вязью, передаваясь из рук в руки, дошел в тот час до молодого казака, пришедшего последним.

Он отнес в пригоршнях рук грамоту монашку. Епископским прислужник принял ее бережнее переполненного сосуда. Епископ же сказал:

— Теперь, братья, послушайте слово мое!

Передав благословение патриарха собравшимся, гость сообщил им прежде всего о цели своего путешествия. По словам его, беловодские храмы, не уступающие по благолепию своему самым богатейшим церквям в мире, испытывали недостаток в средствах на поддержание своего вида. В самом Беловодьи, рассказывал он, жители, исполняя закон христов, мало радели о серебре и золоте и, хотя были прекрасными мастерами и готовы были работать безвозмездно, все же нуждались в иноземных материалах. За материалами и намерен был направиться епископ, после того как будет пополнена патриаршая казна добродетельными даяниями русских братьев. Тем самым, добавил он, могли они объединиться с братьями беловодских общин в одном святом рвении послужить господу.

Все это было выслушано с глубоким вниманием. Даже монашек, сопровождавший епископа, слушал с открытым ртом и блистающими глазами. Казалось, для него-то уж не могло быть ничего нового в словах его высокого покровителя, и между тем и он был зачарован красноречием рассказчика и задушевной нежностью его тихой речи.

В заключение епископ обратился к слушателям с просьбой не стесняться размером жертвований.

— Знаю, братья, — тихо признал он, — не все могут оторвать от своего хозяйства жертву, равную рвению его перед господом... Знаю! Велики мирские соблазны, не все могут отказаться от них... Знаю и не осуждаю... Но, конечно, каждый из вас может принести десяток и два и три рублей...



Хотя в этом месте тишина в комнате странно нарушилась шорохом казацких бород, скромный посол патриарха продолжал свою речь.

— Те же, — говорил он, — кого господь возвеличил достатком среди остальных, пусть внесет и сто и двести рублей. Ни одного даяния господь по молитве святейшего патриарха не оставит не оправданным. Рачительный хозяин пусть это знает... Верные не будут обойдены господом ни в сем мире, ни в будущем!

Вслед затем епископ поделился с присутствующими и чисто деловыми соображениями. Он заметил, что в долгом пути ожидают его многие опасности, преследования и гонения, вследствие чего придется путешественникам и таиться и убегать, полагаясь лишь на свои малые силы да помощь божью. Чтобы в пути не стесняли их деньги, просил он по возможности приносить жертву в бумажках высокого достоинства, а не мелочью и серебром или тем более тяжелую медью.

И эта часть речи была выслушана. Когда же гость смолк, выдвинулся из толпы худой старик и спросил:

— Долго ли пробудешь у нас, брат?

— Не долго, — ответил тот, — день или два... Зачем навлекать на себя внимание? Да и время наше нужно тому, кому служим.

Старик поклонился.

— Раскроем кубышки, вынем сколь можем, — заявил он и вдруг со страстью, неожиданной в тощем и хилом этом человечке, воскликнул: — Скажи же теперь нам, брат, скажи, что за земля твоя, где ты поставлен на епископство? Какие там люди? Вера? Обычаи?

Собрание затихло. Старик сделал шаг к столу. Его продвигала вперед воля стоящих позади. Они сверлили его

зоркими глазками из-под суровых бровей. Он действовал не за себя только. Оттого с такою настороженностью все прислушивались к трескучему его тенорку, поднимавшемуся выше и выше, как тоска к сердцу.

— Вот ты нам о чем скажи, — кричал он а мы на беловодские церкви рубахи исподние отдадим... Мы от всего казачества ходоков посылали кругом земли обойти, а Беловодье сыскать! Да слышь ты, вернулись они ни с чем, стоят на том, что нет никакого Беловодья: все измерено, все сыскано, в книги, антихристовы записано — и нет больше вольных земель! Ведь стало быть, есть оно, Беловодье?

— Как видите, есть — усмехаясь, ответил гость указывая на себя и монашка. — Нужно ли большее тому доказательство, чем сами мы?

— Нет, нет! Не испытую тебя! — провозгласил старик с истерической страстностью. — А вопрошаю, вопрошаю, как предстатель на молитве перед лицом иисусовым от всей общины нашей. Говори, что знаешь о том краю?

Сам старик Кафтанников был смущен страстностью вопрошавшего. Он пробрался к епископу и пояснил ему в извинение нарушения благочестивой стройности собрания, что старый казак, действительно, почитается всеми за ум, начитанность, знания и честную жизнь и выбран старшим в общине. Горячность же начетчика он объяснил желанием казаков уйти от нестерпимых гонений в святой Беловодский край, где каждый молится по-своему и верит, как хочет.

— Уже три века притесняется и угнетается вера правая на Руси, — сказал он. — Три века преследую! нас, хранителей древнего благочестия... Многие из нас таятся в лесах, уходят в пещеры, забиваются в горы, прячутся в тайге... Ведомо ли тебе об этом? — с любопытством спросил он.

— Ведомо, — отвечал епископ, — ведомо, и скорбит святейший патриарх о том день и ночь!

— А ведомо ли ему, что с каждым годом все труднее и труднее становится избегать печатей антихристовых гонимым? — продолжал Кафтанников, призывая взглядами в свидетели всех собравшихся. — Уже молитвы отправляем в тайне, в подпольи, ибо старые часовни разрушились, а новые закон строить не позволяет. Великими поборами откупаемся от слуг антихристовых, и сил уж нет... Верно ли, братья, говорю я?

— Верно, верно! Истина! — завопили станичники, теснясь вперед, ближе к гостю. Он представлялся им божьим посланцем. шитом и прибежищем:

— Только вчера запечатали у меня в доме моленную, — заявил один, — требуют двадцать пять рублей... Наберу, снесу — отпечатают. Да надолго ли?

— Как деньги начальству понадобятся, так опять пойдут печатать всех под ряд! — прибавил Кафтанников. — Разве наготовишь на всех?

— И не утаишься, — заговорил другой казак, не пожелавший даже выйти вперед со своей маленькой заботой. — Таились мы целый год, а на Пасху опечатали!

— Мою завтра ломать будут! — сухо сообщил третий, и вдруг расступились казаки, чтобы мог видеть епископ говорившего. — Триста рублей надо! Не смог... Сто давал — слышать не хочет...

Тит увидел отца той самой девушки, что мелькнула вечером в цветастом сарафане у колодезного журавля. Он покраснел бы, если бы могла краска пробиться сквозь коричневый загар.

Дед спросил коротко:

— За что они на тебя так?

— За дочь, — объяснил тот угрюмо, — за Татьяну. Не отдал за писаря; вот теперь все на меня...

— Так чего ж откупаться? Только зря деньги бросать!

— С начальством не тягайся, — подтвердили другие, — лучше стерпи...

— Знаю, — отвечал тот.

Казаки отвернулись от-него как от безнадежно больного.

Епископ заявил, что он желает немедленно и подробно ответить на все вопросы, обращенные к нему. Станичники прошуршали бородами, вскидывая масляные головы, чтобы видеть рассказчика, и вдруг все утонуло в напряженном внимании.

— Дорогие братья! — воскликнул он. Исполнено сердце мое горя великого, глядя на все то, что делается у вас... Знайте, ничего не утаю и от патриарха, и вознесет он свои молитвы о вас в святых беловодских храмах, которые подновим мы на ваши доброхотные даяния! Заблестает богатство ваших приношений пред алтарем наших церквей на радость всем нам, и увидит господь ваше рвение и поможет вам снести гонение, защитит и благословит...

Тут епископ понизил свой голос и перешел к рассказу о чудесном крае, откуда он явился.

— Мы, братья, не знаем ни притеснений, ни гонений. Вольны мы и жить и молиться, как хотим... Уже три века стекаются в Беловодье все теснимые, все обремененные, все гонимые... У нас сохранялись и священство и епископство преемственно от иерархов дониконианских, блюдущих древнее благочестие, осмиконечный крест, двуперстное сложение, сугубую аллилуйю. многоголосое пение, древнее иконописание, старый текст священных книг и имя Иисусово! Только у нас и

осталась правая, старая вера христова... Слыхали ли вы о том братья?

Шорохом бород и гулким шёпотом отвечали станичники утвердительно. Тихая улыбка не сходила с лица епископа и голос его слово от слова становился мягче. Он видел, как на суровых казацких лицах, изъеденных морщинами, скользили тени надежды.

Это одушевляло его.

— Много на востоке государств, но только в Беловодьи живут православные русские люди, — продолжал он, — живут без царя, без помещика, без урядников и исправников, живет каждый по-своему! Каждый верит по-своему, и никакой вере нет там никакого теснения! Держатся же там все старой веры, древнего благочестия. Много поселенцев и с Урала и с Волги, бежавших от царского гонения. Нет у нас ни паспортов, ни записей, ни печатей дьявольских, ни списков антихристовых... Живет каждый по совести, по воле божией. Оттого нет у нас ни чиновников, ни начальников... И без слуг дьявольских великий порядок во всем: дверей не запирают, подвалов не строят, стен не ставят. И нет ни воров, ни убийц. Каждый трудится своими руками, как умеет, занимается чем хочет: кто ремеслом, кто пашнею...

— А земля-то? — спросил вдруг Тит. — Земля как?

Голос его от долгого молчания был глух и срывист, но никто не переспросил его. И все простили парню неучтивость: таким острым и нужным был его вопрос.

— Земля? — спокойно переспросил епископ. — Земля у нас хорошая, тучная и привольная. А пашет каждый сколько может и берет кусок, какой ему покажется... О земле спору нет. Земли много. В земле нужды не бывает...

Тогда Тит, со смелостью, обнажавшею его молодость, и с горячностью, которую не мог остудить и взгляд деда, укоризненно следившего за внуком, воскликнул:

— Брат, дорогой брат! Скажи же нам, как туда пойти? Кого там принимают?

И этот вопрос был прощен молодому казаку. Никто не остановил его. Наоборот, пристальнее, чем прежде, вглядываясь в спокойное лицо беловодского гостя, ждали станичники ответа.

Дивный вестник улыбнулся с веселой нежностью и предупредил:

— Никому нет запрета жить в Беловодьи, но труден туда путь и господь сам охраняет его. Окружен край наш высокими горами, и перед многими грешниками застилал господь туманами и облаками вход в горы, так что, плутая у подножия их, они терялись и уходили обратно, а иногда и погибали... Надо испытать себя много раз, прежде чем пойти... Если по испытании останется кто тверд в своем желании, пусть идет с молитвою на восток... Господь укажет ему путь!

Зорко следил за слушателями рассказчик ни на одном лице не уловил он и тени смущения. И во сто крат горшим путем не были бы испуганы эти суровые люди. Путь же, объявленный им, был легок и светел, как всякий, где верою обеспечивался успех. Тихим шёпотом обменялись казаки в задних рядах, и снова, казалось, слышен был шорох длинных бород, тершихся о кафтаны, когда шевелились губы.

Вмешательство Тита в мерную речь гостя вдруг нарушило величественную строгость собрания. Станичники сдвинулись поближе к рассказчику. Угодливый послушник, следивший с восторгом за епископом, опустил длинную руку свою на плечо стоявшего возле парня.

— Тит, — сказал он, — ну что? Пойдешь, что ли?

Парню было достаточно, что урод явился из чудесной страны. Он показался ему милее прежнего уже по одному этому. Дружелюбный же вопрос вовсе обратил чувства его к Алексею. Ведь он был, по суждению окружающих, «истый Кафтанников» — то горячий сорванец, хитрый и замкнутый кулугур¹ то доверчивый и искренний юноша, безудержный враг неправды, наивный рыцарь правой веры.

Удивляемым вдруг просыпавшейся в нем удалью сверстникам он казался странным. Его считали немножко чужим, В этом была доля правды. В молодом Кафтанникове чудесным образом скрещивались две силы, две воли, две крови, не пошедшие, как у отца, в один характер.

Дед нынешнего старика Кафтанникова, Афанасий Федоров, был родом из той вольницы, которая не пожелала сдаться царским воеводам, громившим волжских ушкуйников, ушла на рыбный Яик и осела на нем. Этот далекий прадед Тита был сыном уворованной за недостатком своих женщин красавицы-киргизки. Может быть, киргизская кровь и бурлила в нем, когда шел он от Яика к Оренбургу с Пугачевым и жег деревни русских насельников, присваивавших у киргизов их лучшие земли? Или, сражаясь за правую веру, был два года первым слугой донскому казаку, выдававшему себя за государя?

Бог весть, против чьей неправды воевал Афанасий Кафтанников. Внуки его твердо знали, что не за правду же был он засечен на смерть. Никто из них во всяком случае не спрашивал, почему навсегда осталась за ними и кличка «пугачевцы».

1) Кулугур—местное прозвище староверов, употребляемое православными как бранное. Оно означает кулака, выжигу, хитреца и скареда.

Так вот, не заструилась ли с новою силою в молодом Кафтанникове кровь киргизская, перемешавшаяся в пяти поколениях с кровью свободолюбивого рыцаря поволжской вольницы? Скуластое лицо Тита, узкие карие глаза — все свидетельствовало, что не чужой стороной приходилась ему киргизская степь.

Конечно, не один он был сродни зауральским кочевникам. Уральское казачество нередко в прежние времена добывало себе жен из киргизских и калмыцких юрт. Не хуже и не лучше своих сверстников изъяснился Тит на киргизском наречии. Все станичники знали по-киргизски. Жизнь их проходила бок-о-бок с киргизами. Редкий из хозяев не имел нескольких батраков киргизов, владея чуть ли не на правах собственности этими представителями беднейших обитателей зауральских степей.

Но почему чаще, чем другие казачата, устремлял взор свой молодой Кафтанников за Урал, на бухарскую сторону, где стлалась без конца, без края серебряная степь? Уж не потому ли, что возникла в нем с новою силою прадедова вольнолюбивая душа? Не она ли рвалась на свободу? Не она ли породила в правнуке жгучую ненависть к холопьею службе в войсках царского наказного атамана?

Кто знает! Но только горели карие глаза у парня, захватывало в груди дыхание, пока слушал он пленительную повесть беловодского гостя. И многое множество мыслей волновало его, когда был окончен рассказ и обратился к нему уродец с дружеским словом.

Тогда-то и раскрылся весь он перед длинноруким монашком, даже опешившим от его горячности.

— Ах, брат, — воскликнул Тит в волнении, которого и не пытался скрыть, — ведь это сам господь Иисус послал вас к нам!

Монашек с любопытством посмотрел на парня.

— Без бога не до порога, известно!— сухо сказал он. — А что?

Тит поднял на него карие глаза, повлажневшие от умиления, и признался:

— А я нынче всю ночь молился, чтобы господь вас послал ко мне...

— Ну? — удивился Алексей, посматривая на собеседника в недоумении, и, замечая, что парень твердо и непреклонно верит в истинность своих догадок, грубо прибавил... — Да, уж это подлинно, что от господа, потому что мы и сами не знали, где ночевать будем. Позаботился господь крайней вашу избу поставить, а то бы к кому другому попали! Слава создателю!

Парень насмешки не разгадал, но отвечал сдержаннее.

— Молился я господу, чтобы указал мне, как жить. пробормотал он, — Может быть, через вас господь мне указывает путь мой!

— Может быть, может быть! — повторил монашек серьезно и строго, как-будто бы не было и тени насмешки в прежних его словах.

Тит взглянул на него недоверчиво. Монашек втянул голову в плечи и снова стал походить на вороватую, осторожную птицу, таящуюся от врага с тем, чтобы напасть на него тут же сзади. Того, что было им выговорено, было слишком много для его нрава, Он точно устал и, замолчав, отвернулся.

Тит с некоторым беспокойством отодвинулся к окну. Красные космы гераней стали щекотать ему лицо. Он подумал о том, не прогневил ли он какой-нибудь неучтивостью одного из светлых вестников воли божией, но, не заметив никакого неудовольствия на лице монашка, отошел прочь.

Говор и толкотня в горнице были ему очень нужны. Среди них он развеял свое волнение и вышел со странной улыбкой, как

молодой человек, которому впервые поднесли на пиру чарку старого хмельного меда.

Он прошел через просторные сени, отделявшие парадную комнату, на жилую половину и тут застал женщин. По обычаю им невозможно было показаться в горнице при таком собрании. Однако через каких-то перебежчиков и здесь им было уже известно все, что говорилось там. Мать, выходявшая в сени подслушивать и подглядывать, являлась главным источником сведений. При появлении Тита внимание было перенесено на него. Однако он отвечал и неохотно и кратко. Любопытствующие отвернулись от него, возвращаясь к понятной и доступной им болтовне с матерью.

Тит был рад этому.

— Где Катюша? — спросил он.

Он зашел увидаться с сестрой, но надо было повторить дважды свой вопрос, чтобы добиться ответа от женщин. Они продолжали обсуждать поведение гостей.

— В коровнике, где ей быть! — сурово ответила мать, недовольная сыном. — Корову доит, чай.

Тит вышел с поспешностью и на крыльце приостановился, ослепленный небом. На черной мантии светились голубоватые звезды, как тысячи свечечек над толпой в вербную ночь. Мир утопал, как в зарницах, в голубом зареве.

Должно быть, правы старухи, рассказывающие казачатам сказки о человеческих душеньках, живущих на звездах. В тот час глянули на молодого казака души всех вольнолюбивых предков его, даже и тех, что не были еще записаны в казачество, не были еще жалованы царем Алексеем Михайловичем всеми землями по Яику, не знали еще холопьем службы у наказного атамана. И когда обратил лицо свое к звездам прямой потомок вольницы,

ощутил он в себе силы, должно быть, не меньше, чем те, с которыми выступали казаки с Пугачевым за старую веру свою.

— В путь, в путь! В Беловодье! — прошептал он и сбежал с крыльца, колеблемый верою и силой.

Встревоженная топотом ног, попятилась корова в хлеву. Едва спасла в ночном сумраке девушка подойник.

Что ты, Тит, как сумасшедший, — проворчала она и стала уставлять место корову с ласковым ропотом: — Свои, свои, Красотка. Не видишь что-ли? Чего испугалась, ну? Стой, стой...

— Я к тебе, Катюша! — сказал Тит, виновато таясь за порогом.

— Ушли гости-то?

— Станичные расходятся. А прохожие-то заночуют, чай, у нас...

Девушка обернулась к брату.

— А ты что? Насчет Тани?

Тат усмехнулся и опустил голову, стараясь смущением смягчить сердце сестры. Она проворчала как-будто сердито:

— Больше у тебя дел со мной нет...

— В последний раз, Катюша!

— В последний? Почему в последний?

Тит засмеялся.

— Да ведь ты сама говорила, что надо нам разойтись по-доброу, по-здорову?

— Да, надо, надо! — спохватившись, упрямо повторила девушка. — Неужто на рожон идти? Слез-то и без вас много льется. Да ты что же, решил, что ли, что-нибудь или так только? — не без сочувствия спросила она.

— Решил! Только дай еще разок завтра повидаться... Мне гости господню волю принесли...

Дело казалось серьезным. Горькая радость за решимость брата охватила девушку. Она сдалась.

— Утром, чуть свет, как коров выгоним, пошлю ее к роднику. Ладно. Карауль там! — наказала она.

Он поблагодарил ее.

— А я из спасибо твоей валенок — и то не сваляю, — крикнула она, отгоняя корову, — на-ка, вот, отнеси молоко на кухню, а я корову приберу.

Тит принял из рук ее теплый подойник и сказал тихо:

— Я хотел бы тебе заслужить, Катюша!

Она заволновалась.

— Что это ты, — резко, чтобы скрыть смущение, закричала она, — за Таню, да?

— И за Таню! — признался он.

— За грех-то?

Он покачал головой и ответил:

— Нет тут греха. Ты ведь не знаешь ничего... Разве в грехе стал бы господь помогать мне?

Он усмехнулся и пошел прочь.

Кафтанниковские гости расходились. Без скрипа и стука раскрывалась калитка. Безмолвно, но строго и истово прощались низкими поклонами станичники сначала с хозяином, а потом друг с другом. За воротами они шли в разные стороны, чтобы не навлекать подозрений.

Федор Прохорович провожал каждого от крыльца до калитки, одного за другим.

Тит не посмел встретиться гостям с бабьим делом в руках. Он обошел избу, поставил молоко на окно в кухне и вернулся во двор. Дед проводил последнего станичника и велел парню запереть.

Тит осторожно задвинул железный засов и вспомнил о стране, где не запирают дверей.

Ночь покрыла безмолвием и тьмою весь мир. Станица уже спала.

Но еще долго светил в щели ставен на дорогу старый кафтаниковский дом, и не один Тит плохо спал в эту ночь.

Глава третья

СВИДАНИЕ

Смятенная душа полна

Пророчеством великого виденья.

Жуковский

Девка не травка—не вырастет без славки.

Пословица

Весенние ночи теплы и яркие, но утра встают в тумане, и, точно потерявшись в нем, долго бродит рассвет по полям. Во влажном сумраке никто из станичных девушек, отгонявших коров, не обратил внимания, что одна из подруг не вернулась со всеми домой.

Никто не видел, как перед околицей она, отстав, свернула в сторону, сбежала с дороги и с той же поспешностью спустилась за гумна, к овражку с родником.

Желтый луч солнца, в тот миг прорвал наконец молочную пелену тумана, стлавшуюся по ложине, и упал на каменный горб ветхой часовенки, сторожившей родник. Вслед, за ним яркие стрелы света стали падать в туман огненным дождем. Иные разрывали облака, клубами ваты катавшиеся по земле; иные бессильно утопали в них и, погибая, рассыпались миллионами радужных искр. Но одолевало солнечное воинство, рвался туман на клочки и уносился в высь, как осенняя паутина.

Девушка сбежала в овраг. Камешки посыпались из под ее ног дружным потоком; он дока силен до род Ни ка, осыпался В холодный ручеек и на минуту ощутил его кристальную чистоту.

— Эй, Кафтанников! Вот я! — крикнула она.

Казак сидел на деревянном срубе и глядел в прозрачную бездну ключевой воды. Поток камней, катившийся вниз, еще прежде окрика заставил его поднять голову, но в тот миг победоносное утро рассыпало по земле столько света, что он вынужден был зажмурить глаза.

Девушка, смеясь спустилась к нему и, не удержавшись на крутой тропинке, оперлась на его колени, чтобы не упасть через сруб.

— Ой, милый! — вздохнула она. — Ой, чуть не в воду!

Однако, лишь только оправилась она от ходьбы и встала, выпрямившись, возле парня, глаза ее заблестали гневом. Точно едкий туман пал росой на голубые зрачки и заставил сверкать их любовью и злом.

— Мне Катюшка ваша сказала, — задыхаясь, начала она ревнивую речь, — сказала, что ты решил все по-своему и хочешь, стало быть, повидаться в прощальный раз... Дескать, господь так тебе повелел! Ну, что же, прощай, коли так... Да не люблю я, прости, господи, мои прегрешения, не люблю я, когда вы, мужики, господа в свои скверные дела путаете!

Тит глядел на нее удивленно, но не хотел прервать ее раньше, чем сорвутся с губ ее самые острые слова.

— Что глаза на меня таращишь? — шумела она.—Не муж ведь, не испугаюсь! Да и мужа не побоюсь... Я на своих нагляделась: везде господом управляются. Отец товар продает — господом страшает, гнилье покупает — у господа помощи просит, а деньги считает — Дьявола тешит... Мать все утро в моленной кланяется, глаза от полу поднять не хочет, а дома

батраков по щекам лупит; ни одного не разочли у нас без спору и обману... И все с господом, все с молитвой! К самому скверному делу господа припутают. Расчел ты, что тебе со мной лучше не якшаться — и ладно, так и скажи, а господа не поминай, не путай в свои дела! Тьфу! Говорить с тобой противно.

Она наконец замолчала, исчерпав короб припасенных к свиданию слов.

Тогда Тит улыбнулся и спросил:

— Кончила? Ну, так дай мне теперь рассказать, что случилось.

— Случилось? — переспросила она. — Или что случилось там у вас? Ничего Катюшка ваша не сказывала.

— Не у нас, а у меня случилось... — поправил он.

Девушка молча, но не отказываясь нисколько от права, своего на гнев, села возле Тита на дубовый сруб. В зеленой ветхости его, оплесканной ледяною водою, струилась успокаивающая радость. Девушка улыбнулась своему отражению, перекинувшемуся через край на воду, и напонила парню о том, что ждет его объяснений.

Тит молчал. Он не знал, как начать рассказ, как свести в нем концы с концами, да и трудно было отделить нужное от пустого и вынуть из всего самое главное. Он оглянулся на девушку; ей и в голову не приходило ему помочь. Наоборот, издеваясь над его растерянностью, она крикнула:

— Ну, ты что же? Если что сказать, так говори, а нет, так прощай: того и гляди, сейчас наберется у нас в дому народ, меня хватятся...

И, опершись на сруб, она, привстала, точно намеревалась идти.

— Моленную нонче у нас сносить будут, — добавила она, видя его пустые глаза.

Тогда вдруг, точно ключ, из-под земли долго выбивавшийся незаметной струйкой, наконец размывшим преграду и ринувшийся наверх все побеждающим потоком, выбилась из казацкой души наружу самая главная мысль и потопила все остальное.

— Таня, — резко спросил Тит, — Таня, хочешь со мной уйти?

Она отодвинулась. Вопрос был как-то уж очень бестолков и неожидан. Тит на одно мгновение почудился ей сумасшедшим.

— Куда это? — строго спросила она, настораживаясь и плохо веря в вопрос, как в результат какого-то твердого решения.—Куда это, а?—несколько мягче повторила она.

— Ах, куда! — воскликнул он, наливаясь при одной мысли о бегстве удалью свободолюбивых предков своих. — Не все равно нам, куда? Куда! Да вот на восток, за киргизскую степь, в Беловодье! Есть же вольные белые земли на свете, где за веру не гонят, в остроги не сажают, моленных не печатают, не ломают, живут без заповор, все — братья.

— И господа к делу, не к делу не путают, — усмехаясь, перебила мчтательную речь парня рассудительная дочь казака-перекупщика... — Так, что ли?

Тита нельзя было смутить и более злой насмешкой.

Он широко раскрытыми глазами своими взглянул на Таню и спокойно повторил:

— Да, не путают! Это на нашей святой русской земле казаки в городах мнут конями девчонок, состреливают с дерев ребяток, как галок, по царскому приказу... А там вот войн не ведут, царя не знают, бумажек с печатями не ведают... Ах. Таня, да неужто же я за всю свою жизнь так счастья своего и не возьму. Нет, не может того быть, не может.

Таня улыбнулась. С этой невольной улыбкой, как с солнцем гуман, сошла с лица ее серая тень гнева. Ее сражала мечтательная страсть казака.

— Разве такие земли есть? — спросила она.

— Ну да, есть же, есть! — стал уверять он, почти смеясь над наивным вопросом девушки. — Как же нет? Разве бы стал тебя звать я туда, если нет? Вчера живые люди к нам пришли прямым путем из тех самых Вольных земель. Слышала, чан?

— Ну да, слышала! — отвечала она, вспоминая, что, точно, много уж успела за утро услышать о странных прохожих, остановившихся переночевать у Кафтанникова.

— Так значит правда ведь!

— Ну и что ж, что правда?

Она посмотрела на парня так, как смотрят на человека, с которым сталкивает судьба, чтобы уж никогда не разлучать. Но она еще медлила с ответом. Тогда Тит спросил ее с горькой усмешкой:

— Ну, что же, Таня, или и сказать уж в ответ ничего не можешь? Или благословишь меня в полк осенью отправляться, девчат мять, ребят на деревьях стрелять, как в Петербурге?.. А сама у отца за писаря выпросишься, а? Слышал ведь, знаю. Меня с тобой не повенчают, отец за голоштанника не отдаст... Да и не ждать же тебе, когда я вернусь из полка!.. Али подождешь, девушка? За сражения-то с саратовскими мужиками, слышь, Георгия раздают почем зря, вернусь с наградами. Может, тогда и отец твой уступит...

Она заглянула ему в лицо, посмотреть, не плачет ли он, отравленный ядом собственных своих слов. Синее небо тогда отразилось в ее голубых глазах, и они стали темными; в глубине их, как в колодце днем, сверкнули высокие звезды чужого неба. Он вздрогнул, схватил ее руки и жалобно сказал:

— Ах. Таня, Таня! Но так-то я о тебе думал!

— А что это ты слова вымолвить не дашь, — вскрикнула она,—и уж казнишь. А вот не угадал Тит пойду с тобой, куда хочешь. В степь, к киргизам, в юртах жить, да с милым...

— Пойдешь?

— Пойду, милый!

— Я клятвы с тебя не беру, Таня...

— А я и без клятвы не обману!

Он не понимал, каким теплом было опалено лицо его, и посмотрел на небо. Солнце круглое, как золотая пробоина в голубой цели, Стояло высоко. Над оврагом звякали ведра. Кому-то понадобилась уже ключевая вода.

Тит встал. Таня, схватив его руку, повела за собою овражком, вдоль бережка ручья, не смея подняться, пока там звякали ведра. И трудно было всерьез отнестись к ее словам. Тит положил на плечи ее руки и с жестокостью остановил девушку. Она. смеясь, запрокинула голову, чтобы взглянуть на него. Он почти крикнул:

— Вправду со мной? Вправду не обманешь?

— Вправду, вправду, вправду! — повторила она.

В словах ее могло быть постоянства не больше, чем в летнем дне. Он встает с намерением выжечь поля зноем, а к полудню раздражается ливнем; потоков и луж как-будто не высушить и в неделю, ан смотришь—уже вечером снова пылят дороги и молит прохожий о дожде.

Тит вдруг покорился земному непостоянству. Не думая о полудне, забывши о вечере, он глянул в лицо розовому утру и поцеловал девушку.

Они притихли. Тогда вдруг стало заметно, что докучливые ведра не скрипят. Таня подняла голову. С края овражка,

прикрываясь щитками корявых ладоней от солнца, разглядывала их какая-то женщина,

Коромысло покоилось у ней на плечах, ведра не шевелились. Увлеченная зрелищем, она стояла недвижно, как каменная баба на кургане.

Таня охнула и побежала вперед. Тит поспешил за нею. Они быстро скрылись за желтыми скалами глинистых круч, меж которыми с величайшей прихотливостью извивался ручей. Сзади послышался неохотливый железный вой ведер. Водоноска не показывалась больше. Таня вздохнула.

— Ну вот, будет беда!

— Видела она?

— Еще бы!

— Может, не узнала?

— Пожалуй что...

Таня улыбнулась, но, уже чувствуя надвигающийся изнутри ужас ожидания, сказала:

— Да ладно!

— Расскажет?

— А то нет.

— Боишься отца?

Девушка выпрямилась и подняла голову. Такою вот, немножко лукавой, немножко задорной и не по обычному озорной, и нравилась она Титу. Бог весть в кого она выдалась, но не было ей равной среди казачек и в хороводе, и у колодца, и на кухне, и на празднике, когда верхом на калмыцком жеребце, состязаясь в скачках, забивала она всех девок и домогалась равняться с парнями.

— Боюсь? — усмехаясь, переспросила она. — Ой. нет! Меня отец своими делами бога научил не бояться, не то что его! Вот себя самой немножко побаиваюсь. Я не российская, я над собой

измываться-то еще, может, и не дозволю! Я намедни отцу наказала, как он к волосам моим руки протянул, что коль хоть раз он меня еще тронет, так не видать ему меня больше в косах! Отрежу! Истинный бог, отрежу, чтобы в другой-то случай не за что было ему меня схватить...

Она рассмеялась. Тит поверил.

— Ой, Таня!—тихонько пожалел он. Гляди...

— Она взяла его за руки и потянула к себе.

— Вот только ты... — прошептала она.—Только ты, может, бескосую меня разлюбишь, а?

Трудно было понять, спрашивала она смеясь или со страхом. Тит ответил сурово:

— Я не за косы тебя полюбил...

— За что ж?

Он подумал, потом сказал неловко:

— Не знаю. Да, может, за то как-раз, что наоборот...

Но она поняла его, кажется, лучше даже, чем если бы стал он длинно и понятно перечислять ей все по порядку.

— Значит не разлюбишь, — твердо заключила она. — Тебе нельзя меня разлюбить, если так. Ты меня любишь, самую меня, а не сверху, что на мне... Хорошо ты сказал, не забуду. Ну, прощай...

Она с некоторой даже как-будто бы грубостью торопливо отошла от него и с быстротою кошки взобралась на кручу. С краю ее она оглянулась вниз и напонила довольно безучастно:

— А моленную-то, моленную-то как сносить будут, приходи глядеть!

Тотчас же она скрылась. Тит подождал еще минуту, не покажется ли ее желтый, как цветы одуванчиков в поле, платок над кручею, затем пошел вниз по ручью вязкой глинистой дорожкой.

Он вышел к поемным лугам, раскинувшимся между Уралом и его старицами. Русло непостоянной реки когда-то шло под самой станицей. Росистые тропы вывели парня к южной околице; отсюда был виден весь в деревянных кружевах и прошивках новый перекупщиков дом. Суетливые люди, как тараканы сладкий кусок, окружали дом, пристройки, баню и сад, гуще всего сад, где в зарослях вишеня стояла запечатанная часовенка религиозного прасола.

— К Тележниковым? — спросил кто-то сзади Тита.

— К ним, — отвечал он, не оглядываясь.

— Сейчас ломать будут. За пожарными послали! — пояснил любезный человек.

Тит не оглянулся, чтобы не поощрять болтовни и кощунственного любопытства, но пошел быстрее, чтобы застать все в начале. Он сам не любопытствовал, он шел укрепиться в решении.

Пожарные были уже на месте. Вооруженные баграми и топорами, они неловко толкались возле станичного писаря и старались не попадаться на глаза казакам. Ребята сзади свистели и дразнили их, подуськивая как собак. Они старались не слышать, но как можно было не слышать в этой проклятой тишине, когда все кругом замерло, как поле перед грозой?

Усатый писарь прочел бумажонку. В ней значилось, что по указу его величества Уральская духовная консистория слушала и постановила предложить на исполнение местных властей незаконно построенную часовню моленную в саду казака Тележникова снести, о чем по пополнении донести. Незадачливый жених, подкручивая усы, прочел все это с бойкостью и торжеством, нагло доглядывая кругом. Он высматривал хозяина, но самого Тележникова не было. Он заперся на погребнице, чтобы скрыть от людей душевный раздор.



Сопя и кряхтя, передумывал он в сотый раз, на что решиться: дать ли трехсотенную взятку станичному управлению, чтобы положили под сукно приказ, или передать моленную на кощунственный разгром, а через неделю собрать за несколько десятков рублей ее заново?

Как ни был страшен позор и грех, явная выгодность второго решения прельщала старика. Несколько минут все же, пока читался приказ, держась за крючок двери, колебался еще отец Тани. Но когда раздалась команда: «Ребята, за дело! Снести!» — он рванул с крючка дверь и вышел, продираясь через толпу вперед с твердым решением.

— Ломайте, — сказал он, — мы царскому указу не противники, а господу ведомо...

В мертвой тишине слова эти были всем слышны. Кое-кто начал роптать на начальство, некоторые попеняли старику за отступничество. Были и такие, кто заявил надежду на господа, который может еще и отстоять моленную, иссушив руки посягнувших на его святыню. Но так как случаи сноса моленных были нередки, а чудесных иссушений не было ни разу, то заявление это никем не было принято во внимание. Пожарные бесстрашно взобрались на крышу и начали рвать баграми доски; писарь достал трубку и стал дымить табаком, явно опоганивая сад.

Старушки шептали бесплодные молитвы, казаки же стояли молча, и ничто — ни светлое утро, ни, розня ребят, ни причитывания баб, ни шлепнувшийся на крутой крыше пожарный, — ничто не могло даже на миг согнать с их лиц угрюмую думу. Под суровыми бровями не потухали огни покоренной злобы; проеденные нуждой и заботой морщины сдвигались круче и круче. Молчание становилось все более и более загадочным.

Конечно, не один молодой Кафтанников думал в этот час о белых землях и странствованиях в поисках прекрасной страны. Но едва ли нашелся в толпе хотя бы один казак, сердце которого билось бы в такой жестокой готовности бежать навстречу счастью.

Глава четвертая

ДЖЕТАК УЙБА

Но он к заботам жизни бедной

Привыкнуть никогда не мог.

Пушкин

—Все ли благополучно?—Все слава
богу, только ворон ваш падали объ-
елся! — Да где он ее нашел? — А жере-
бец пал! — Как пал? — А так, как дом
горел, так воду на нем возили и за-
гнали! — Отчего же пожар делался? —
Да как матушку хоронили, так не-
взначай подожгли!

Прибаутка

Днем в поле, на свежей пашне в тени полосатого полога. привиделся молодому казаку дивный край, где вспаханные поля белы как рыхлый снег, реки стеклянны насквозь, деревья все плодоносны, а люди веселы и добры, как школьники в большую перемену.

Он встрепенулся. То был короткий, поражающий усталого человека, как беспамятство, глубокий и неожиданный сон. Он освежил истомленные мускулы. Тит, приподнявшись на локте,

оглянулся: спал он не больше минуты. Старый Уйба не успел еще выпить свою кружку. Котелок по-прежнему клокотал над углями, распространяя терпкий запах кирпичного чая. Киргиз наслаждался запахом и кипятком. Он глотал огненную жидкость с ловкостью фокусника, нисколько не обжигаясь. Такой же горячий, как чай, и такой же коричневый пот сползал по его щекам, и трудно было сказать, что больше доставляло ему удовольствия: чай, зной или отдых. Во всем было упоительное наслаждение жизнью.

Несколько секунд Тит с завистью разглядывал батрака, затем крикнул:

— Уйба! Налей мне.

Киргиз неторопливо наполнил вторую кружку и отнес ее под полог молодому хозяину.

— Пей, — сказал он, — чай — хорошо. Он прогоняет зной и усталость, — добавил он по-киргизски.

— Я уснул, Уйба...

— Он прогонит сон.

Уйба предпочитал говорить на своем родном языке, и Тит перешел на него же. Как всякий киргиз, Уйба был склонен украшать свою речь афоризмами. Они являлись солью долгого спокойного жизненного опыта и нравились слушателям. Но они никогда не давались киргизу по-русски, и тот, кто хотел знать настоящего Уйбу, должен был понимать его наречие.

Тит спросил:

— Много ли нам осталось, Уйба?

Уйба оглядел черное только-что поднятое ленивыми сохами поле и засмеялся. Казацкая душа никогда не была благосклонна к тяжелому земледельческому труду—он за долгую батрацкую жизнь свою имел много случаев убедиться в этом. Молодой хозяин вырос на его глазах, и он не мог не пожалеть его.

— Немного, — отвечал он.—Ступай домой, если хочешь. Я справлюсь один.

Тит отказался.

— Нет, кончим вместе. Дай отдохнуть.

Он перевернулся на Спину, дожидаясь, когда остынет чай. Уйба отправился наливать себе новую кружку.

— О, тогда нынче кончим, — сказал он. — отдыхай.

Он сел на корточки близ костра и снова углубился в глотание кипятка. Иногда он подбрасывал в рот мелкие кусочки сахара, лежавшие перед ним в расшитом кисете. Уйба был истым представителем своего племени: он не пил водки, не курил табаку, но раскаленным чаем упивался до дикой тяжести в животе.

И он смотрел с легким презрением на юношу, ждавшего, когда сойдет с напитка его огненная прелесть.

— Русские не умеют пить чай, — сказал он, выплескивая последние капли в рот и дожевывая сахар,—а он горячее водки, которую они любят.

Тит лениво оглянулся. Мысли его все еще сплетались со сном. Он спросил:

— Уйба, знаешь ли ты степи? Бывал ли ты на Бухарской стороне?

Киргиз усмехнулся и встал, точно для того, чтобы отряхнуть с себя брызги павшего на него оскорбления.

— Что ж ты думаешь, люди рождаются джетаками¹?— воскликнул он с горечью. — Уйба никогда не был ничем иным? О, нет! Уйба гонял свои стада от Мугоджар до Барабы! Уйба

1) Джетак—по-киргизски буквально значит лежащий, т. е. не имеющий лошади, нищий, бедняк. Так называют киргизы обедневших соплеменников, вынужденных батрачить у более богатых сородичей.

считал до пятисот голов в одних табунах, а баранам он не знал счету! Уйба был первым в своем роде. Уйбе ли не знать степей?

Он рассмеялся, и Тит с удивлением глядел на батрака. Он не видывал Уйбы таким еще никогда, может быть, потому, что не приходилось ему спрашивать у него о прошлом, может быть, потому, что Уйба не считал еще нужным держаться с казачонком как с взрослым.

Тит приподнялся на локтях и промолвил:

— Вот как! Ты был богат, Уйба?

У него не было повода подозревать батрака в хвастовстве, но и для того, чтобы верить в неприкрашенную правдивость его слов, нужно было собраться с духом.

Казаки не считают киргизов равными; батраки же в их семьях рассматриваются почти как рабы. Немудрено, если Титу понадобилось время, чтобы усвоить себе новый взгляд на работника, служившего ему безропотно с тех пор, как он помнил себя.

— Ты был богат, Уйба? — повторил он дважды.

Уйба вздохнул и, отвернувшись, долго стоял так, задумчиво глядя в синие океаны степей, лежавшие за Уралом. Только когда в третий раз задумчиво повторил свой вопрос молодой хозяин, он присел возле него на корточки и ответил;

— О, да, я был богат, Тит! Последний коян¹ наслал в степи джут², какого никто не помнил. В одну неделю я потерял все, что у меня было... И я не один стал джетаком после этого джута... Знаешь ты, что такое джут в степи?

— Знаю,—ответил Тит и с жалостью взглянул на киргиза. Вдруг веселая и страшная мысль мелькнула у него. Он пододвинулся к батраку и, положив теплую руку свою на его колено, прошептал: — Ах, Уйба! Никто не уйдет от судьбы. Ни

ты, ни я. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. Скажи, ты хорошо знаешь степь?

— Ах, Уйба! Никто не уйдет от судьбы. Ни ты, ни я. Кто знает, что еще ждет тебя впереди. Скажи, ты хорошо знаешь степь?

— Не хуже, чем ты ладонь своей руки!

— Так ты должен знать, что будет за степью, если итти на восток?

— Горы, — отвечал Уйба.

— Горы, — вскричал, обезумев от радости, юноша, — да, горы, и там в горах Страна, где живут русские? Знаешь ты об этом ?

1) Время исчисляется киргизами, как у древних монголов, периодами в двенадцать лет каждый. Год начинается с марта. В месяце — 28 дней. Каждый год имеет свое название по имени животного. Первый год—ташкан (мышь), второй год—свир (корова), третий—барс (тигр), четвертый—коян (заяц) и т. д. Киргизами подмечено, что годы джута, т. е. гололедицы, вследствие йоторой начинается падеж скота от голода, совпадают с их кояиом (годом зайца), т. е. периодически повторяются через двенадцать лет. Эта периодичность в свою очередь совпадает с периодами солнечных пятен, как известно, в сильнейшей степени влияющих на перемену температур на земле и меняющих иногда очень резко привычные климатические условия данной местности.

2) Джут в течение нескольких дней может превратить любого киргизского богача в нищего. Гололедица, охватывая зимние пастбища, делает их недоступными для скота. Животные не в состоянии пробить толстый слой ледяной коры, чтобы добыть пищу, и стада гибнут. О размерах таких джутов можно судить, например, по джуту в 1880 году, когда в одной только Тургайской области пало свыше полутора миллиона голов скота.

— Я бывал там, — спокойно сказал Уйба, — как же мне не знать?

— Ты был там? — воскликнул Тит, не веря ни себе, ни своему собеседнику. — Ты был там? Почему же ты не говорил мне никогда об этом?

Уйба усмехнулся.

— Джетак говорит тогда, когда его спрашивают, — скромно напомнил он.

— И ты ушел оттуда?

— Нельзя пасти скот на одном месте!

— О! — почти простонал Тит, торопливо крестясь. — Теперь я вижу, ты ведешь меня, господи!

Он был взволнован. Уйба следил за юношей, не понимая, что может так сильно его волновать. Тит со странной поспешностью начал расспрашивать. Он отвечал несколько не с большей живостью, чем обычно.

— Как называется этот край? — спрашивал Тит.

— Не знаю.

— Беловодье?

— Может быть. Горы его покрыты снегом и зимою и летом. Отчего же не называть его белым?

— Мне сказали, что не всякому удастся найти среди гор проход в этот край.

— Я проходил через него в долину!

— Но он закрыт облаками...

— Я ждал, когда солнце рассеет их!

— О, господи! Говори же, кто там живет?

— Я думаю, такие же русские, как ты. Они так же говорят, так же молятся, и бороды их не короче, чем у ваших стариков.

— И там нет чиновников, полицейских и всяких других начальников?

— Я не видел там никого с ясными пуговицами. Они сами выбирают старших и никому не платят ясака.

— Уйба, так ведь это же оно, Беловодье!

Тит вздохнул и закаменел, созерцая своего собеседника, как чудо, поднявшееся из вспаханного поля.

И подумать только, что перед ним находился собственный их, Кафтанниковых, батрак, которого изо дня в день все они, тоскливые мечтатели по иной жизни, видели перед собою?

Уйба в свою очередь с изумлением рассматривал хозяина и улыбался тому, что мог своими словами привести его в столь необычайное оживление.

— Зачем ты спрашивал меня о белой стране? — осведомился он наконец сам. — Не хочешь ли ты взглянуть, как бывают горы? Может быть, там есть родные, которых вздумал ты навестить?

— А ты проводил бы меня? — опросил вдруг хозяин, серьезно и пристально глядя в глаза киргиза.

— Я сделал бы это, — отвечал Уйба. — Лучше умереть в степи, чем здесь.

Тит залпом выпил кружку чаю, но не нашел в нем холода, могшего остудить жар в груди.

— Хорошо, Уйба, хорошо! — пробормотал он. Теперь пойдем кончать наше поле, я отдохнул...

Он резко окликнул пасшихся на меже коней. Киргизские мохнатые лошадки с собачьим проворством вернулись на зов хозяина.

— Ты еще не сказал, зачем идти тебе в белый край? — напомнил ему Уйба.

— Зачем? — переспросил Тит, ласково поглаживая понурую голову тершейся о плечо его лошади и, точно, ей одной рассказывая о задушевной своей мечте, признался: — Да всего

затем только, чтобы жить по-своему никто не мешал... Молиться...

— Молиться? — с усмешкой переспросит старый киргиз и покачал головою, переводя укоризненный взор свой от выгнутых серпами ног юноши на косматого коня. — Молиться? Нет, — сказал он резко. — нет, тебе бы не молиться, казак, а скакать в степи за диким зверем с беркутом на плече или с арканом в руке за табунами ...

Тит с удивлением поднял глаза на киргиза. В узких глазках его сверкало пламя неосторожно разбуженных чувств. Оно было замечено Уйбой, и он продолжал гневно:

— Не тебе бы бежать из родной страны оттого, что в ней худо жить, не тебе, нет! Такому, как ты, надо бы стать Наурзабаем всех русских. Знаешь ты Наурзабая? — воскликнул он и, не давая времени отвечать, продолжал, увлекаемый все более и более горячностью собственной речи. — Был Наурзабай наш внуком хана Кенес-сары-Касимов, но еще храбрее деда уродился внук. Он собрал тысячу тысяч наездников и сказал: «Иди под мое знамя, народ мой, и будем свободны!» И стал он господином степи от Оренбурга до Каракаллов, от Петропавловска до Кара-Кумов, и не знал тогда русских начальников наш народ, не платил он ясака никому. Слышишь, Тит, не дается даром хорошая жизнь, за нее драться нужно!

Тит молча ввел лошадь в соху. Много он слышал киргизских песен и сказок о славном внуке хана Кенессары-Касимов, затмившем славою своего знаменитого деда, но никогда не пленяли его кровавые подвиги хана. Смерть от руки сородичей рано прервала жизнь Наурзабая, и в героизме его что могло пленить религиозного казака? Он, усмехаясь, ответил киргизу:

— Уйба, не дракой дается счастье...

— Чем же?

— Трудом, честной жизнью! На крови добро не вырастет, дьявол мира не установит.

Уйба отвернулся.

— Когда я не был джетаком, — сказал он, — я думал, как ты. Наш народ не любит войн, ему милее пасти стада и вечером скакать за новостями к соседу, пить кумыс, лакомиться каурдаком... А что получили ваши русские джетаки, когда пошли просить милости к царю? Ты читал нам письмо твоего брата. Что он писал? Или он лгал, когда рассказывал, что рубил своих братьев, на которых не знали вины?.. Помогла молитва джетакам?

— Так ты думаешь, что поможет царю наша сабля? — задумчиво пробормотал Тит. — Вырастет на крови его счастье?

— Не знаю!

— А я знаю, Уйба, — твердо вдруг вымолвил Тит, — силен дьявол в людях, велико зло, а не через них придет царствие божие на; землю!

Джетак не мог более спорить с упрямым хозяином. Милее судьбы юноши все же была ему его собственная судьба. Она же зависела теперь от хозяина. Он сказал: «Пусть так, хозяин!» — и пошел с сохою вперед, затянув бесконечную песню про славную Тургайскую степь и лихих наездников Наурзабая.

Глава пятая

ПРАВАЯ ВЕРА

И стар и млад с душой смятенной
Идут смотреть обряд священный.

Козлов

Богу угоддай, а чорту не перечь!

Пословица

За домом Кафтанникова, скромно глядевшим на пыльный гурьевский тракт маленькими и выпуклыми, как рачьи глаза, окошками, высились громоздкие пристройки. Дом, переходивший от отца к сыну, вот уже лет шестьдесят стоял нетронутым. Во дворе же каждый новый хозяин неизменно что-нибудь перестраивал, что-нибудь добавлял. Оттого-то надворные строения, лепившиеся стена к стене, возвышались одно над другим, как башни игрушечного замка. Издали двор казался потрясенным землетрясением.

Между тем все пристройки были и на-диво удобны и прочны. В середине же их, недоступная взорам любопытного, укрывалась хорошо известная станичникам кафтанниковская моленная. Однако даже и постоянный ее посетитель вряд ли сумел бы отыскать потаенный к ней ход. Он извивался между пристройками, проходил сквозь них и над ними и всею своею змеиною хитростью вызывал уверенность, что и нелепая архитектура двора была только прикрытием тайного хода.

Обыкновенно в наиболее секретных местах перехода стояли молодые Кафтанниковы. Они, провожая гостей, передавали их друг другу и доводили таким образом до дверей моленной.

В тот вечер, когда ожидало староверческое население станицы епископской службы, моленная, разумеется, была битком набита. Лишенные утешительной связи со священством, раскольники теперь спешили к Кафтанникову, как на светлый праздник. Они были взволнованы, потрясены уже самым ожиданием необычайного торжества. В семьях чуть не по жребию назначались те, кои могли попасть в моленную, ибо уже было предупреждение от старика Кафтанникова ограничить число молельщиков. Кошунственный разгром Тележникова и отречение его от защиты часовенки отошли на второй план. Даже о Беловодьи говорилось меньше, чем о предстоящей службе.

Однако епископ беловодский отказался совершать богослужение. Он сослался на то, что нет антимины и облачения.

— К тому же, — пояснил он. — как ни рачительны были хранители старой веры на Руси, все же и они многое приняли от никонианцев. Наш же чин службы древний, для вас он покажется, может быть, новым и поведет к соблазну братьев... Помолиться же с вами, — утешительно прибавил он, — помолюсь и благословлю всех приносящих жертву...

Старик Кафтанников был огорчен. Однако спорить не стал и доводы Мелетия принял.

Он встречал прибывших к службе гостей во дворе и, провожая их до дровяничка, откуда начинался узкий проход в моленную, сообщал с прискорбием о решении епископа. В дровяничке разочарованного старовера встречал Павел Федорович. Они низко кланялись друг другу, затем второй Кафтанников передавал гостя в просторном сарае, служившем хранилищем для сена третьему, младшему Кафтанникову.

Тит вел молещика дальше, через, крошечный дворик, потом между хлевами и над погребом к бане. Тут в предбаннике гостя встречала Катюша. Не поднимая глаз на мужчину из-под

сбитого глубоко на лоб платочка, девушка отводила станичника через баню в темный коридор. Идя по нему ощупью, что при крайней узкости его не составляло труда, пришедший уже сам выходил к дверям рубленой часовенки. Она была высока и просторна настолько, что приходивший впервые непременно удивлялся, как можно было спрятать ее среди таких невзрачных на вид амбарчиков, погребов и сенников.

Из всех посетителей в этот раз были наиболее поражены гости из далекой страны. Монашек при всем своем желании соблюсти чин никак не мог услужить Мелетию открытой заранее дверью и низким поклоном. Он, суется, наткнулся то на дрова, то на косяки и в конце концов стал только смиренно сопровождать, не пытаясь предшествовать, как полагалось по чину.

Когда наконец остались они одни, втолкнуемые легонькой рукой Катюши в темный коридор, Алексей сказал, утирая длинными руками потный лоб:

— Все здорово, а этому и цены нет!

— Да, ловко,— признал и Мелетий.

Они едва продвигались вперед, чтобы не наткнуться на кого-нибудь встречного. Маленькие окошечки наверху, похожие на лазейки в скворешницах, давали немного света, да и его крали кованые решетки на них.

— Сегодня в путь, — сказал Алексей,—нечего засиживаться здесь, ваше преосвященство!

— Да, надо двигаться,—согласился тот и спросил: — Много ли набралось пожертвований?

— Да около четырехсот уж...

— За службой, гляди, еще принесут. Идем.

— На пятистах бы и печать можно ставить!

Преосвященный отворил дверь, за которой, как шум пчел в улье, слышался ровный и мерный гул голосов.

Моленная была переполнена. Обычное разделение молящихся на правую и левую стороны, на мужчин и женщин, было на этот раз далеко не равномерно. Женщины были прижаты к стене, и белые их платочки, прикрывавшие лбы до самых глаз, возле сплошной массы густоволосых голов светлели лишь узкой каймой у самого края. Высоким посетителям пришлось продираться в плотной толпе, которая и при всем желании не могла раздаться больше.

Низко кланяясь, беловодские гости пробрались вперед. Старик-начетчик отвечал им поклоном. Едва лишь стали они на указанном им впереди и отмеченном ковриком месте, старший общины предложил собравшимся помолиться господу.

Станичники отвечали поклонами. Длинные бороды терлись о кафтаны, оставляя масляные следы на сукне. Начетчик высоким и тонким тенорком проворно читал. Гнусавый лепет его разобрать было невозможно. Никто однако и не стремился к этому. Молящиеся были заняты подпеванием, монотонным и резким. Оно могло сойти за стройное пение только благодаря своей усыпляющей однотонности.

Истово крестясь двуперстным сложением, ясно видимым на длинных руках, монашек зевнул несколько раз. Воздух, насыщенный парами тающего воска, угаром фитилей, чадом лампад и дыханий, быстро синел, терял прозрачность и тяжелел. Темные лики икон, старинного дониконианского письма, исчезали, сливаясь в пустые пятна на серебре и золоте богатых риз.

Между тем в дверь проскальзывали все новые и новые люди. Бог весть с каким трудом втискивались они в толпу и даже находили силы пробиваться вперед где стояли послы патриарха.

Многих гнало сюда любопытство, но многие пробивались и для того тотько, чтобы вручить посланцам взмокшую в потном кулаке кредитную бумажку. Было не мало и таких, для кого по бедности и убожеству мечта о переселении в Беловодье была столь недостижима, что они удовлетворялись одною возможностью участвовать в жизни счастливой, страны своею жертвой.

Алексей принимал деньги. Епископ благословлял жертвователей, и они уносили на губах своих прикосновение к воле и правде справедливого царства.

Наконец протискался вперед и сам Кафтанников. Он заключил собой вереницу приходящих. Дверь была заперта. Молящиеся, не развлекаемые более толкотнею опоздавших, с приливом новой энергии начали выбивать поклоны, креститься и петь.

Уставившись на черный лик древнего угодника, высоко запрокинув голову, так что торчала вверх с каким-то задором его клинообразная борода, Федор Прохорович состязался звонкостью своего тенора с начетчиком и руководил молением. Станичники, не очень сильные в знании молитвенного распорядка, вслед за ним кланялись, вслед за ним крестились и ему подтягивали. С приходом хозяина служба пошла гладко.

Раскольнический молитвенный порядок—дело сложное. Не всякому досужему казаку даже в старости удавалось вполне им овладеть. Отдавая лучшую часть своей жизни в молодости на службу в полку, а затем на сборы туда детей и внуков, снаряжавшихся за счет семьи, редкий казак имел досуг для споров о вере и ее обрядах. Ни дешевый батрацкий труд джетаков. ни жалованные царем войску земли, ни рыбные угодья по запретному для судоходства Уралу — ничто не могло создать в массе казаков материального благосостояние. Каждый

отправленный в полк сын стоил две—три сотни рублей. Более крепкие кулугуры очень быстро вгоняли к себе в кабалу братьев по общине, которым на молитву и отправление обрядов оставалось немного времени и охоты.

К тому же от молящегося требовалась величайшая точность в исполнении обрядов, полнейшее согласие с уставом. Начетчики и уставщики малейшее отклонение тотчас же объявят отступлением от правой веры, ересью. Еретик же лишится и кабального покровительства богатого соседа, без которого жизнь представлялась уже вовсе невыносимой. Наказной атаман был страшнее кулака.

Вот почему все внимание казаков на этом торжественном богослужении в присутствии послов патриарха было обращено на соблюдение чина. Истово станичники кланялись, истово крестились, с истовостью, руководимые стариком Кафтанниковым, отправляли положенное число аллилуй.

Строжайшая исполнительность заменяла многим из них давно уже выветренную суровым житейским опытом веру.

Служба длилась второй час. Дышать становилось трудно. Кресты и поклоны молящихся вздымались и падали как у деревянных игрушек, бойко движущихся в руках продавца. Пот и масло катились по лбам.

Вдруг, точно вихрем, ворвавшимся в дверь, поклонило множество масляных голов. Раздался гул, тревожный гул голосов, похожий на ропот созревающей ржи, прибываемой вихрем к земле.

Алексей и его товарищ враз оглянулись назад. Они увидели продиравшегося через толпу молодого Кафтанникова. Было ясно, что именно его вторжение и принесло тревогу. Лицо парня было багрово столько же от волнения, сколько и от смущения. Черные волосы его встрепались, как шерсть на прялке. Резко

вычерченные, почти калмыцкие скулы под длинными космами дрожали. Он шептал в уши склонявшихся к нему казаков: «облава!» — и слово это, передаваемое друг другу таким же шёпотом, шло впереди его, как иногда в жарком поле нежный ветерок предшествует грозе и буре. Ожесточенный разгром Тележникова мог явиться только первым шагом в новом походе правительства против раскольников, и вот почему было с особой тревогой встречено объявление Тита.

Вестник с трудом пробирался вперед, а встревоженный Федор Прохорович уже ждал его и нетерпеливо покашивал из-под нависших бровей на внука зоркими еще глазами.

Наконец Тит добрался до деда. Хотя начетчик продолжал вытягивать из тощей груди своей длинные и малопонятные слова древнего текста, все же в часовне стало тихо, как у гроба покойника, где голос чтеца, как бы он ни был звонок, напрасно силится разорвать страшную тишину.

И было слышно—епископу и монашенку по крайней мере — как прошептал ошпаренный всеобщим вниманием парень:

— Облава, дед!

— Кто? — спросил тот сурово, и под седыми бровями в зорких глазах, не таясь, вспыхнул гнев. — Ужели наши опять?

— Наши указали только: городские.

— Ну?

— Папаша держит их за воротами, меня послал предупредить.

— Что говорят-то?

— Опрашивали про двоих, одетых монахами...

— Вот что! — проворчал старик и пододвинулся в сопровождении Тита, ждавшего распоряжений, к беловодским гостям. — Беда, братья! — предупредил он, — Вас ищут слуги антихристовы. Бежать надобно!

— Укажи путь, — попросил епископ,—мы готовы ко всему...

Старик взял за руку внука и сказал:

— Вот Тит вас проводит. Выведи, Тит, по гумнам на огороды, к реке. Возьми будару и перевези на Бухарскую сторону. Погоню мы пустим по тракту... Простите нас, братья!

Он поклонился низко, как мог. Затем, выпрямившись, обратился к молящимся.

— Братья, — спокойно, как о деле привычном, оповестил он,—слуги антихристовы у ворот требуют выдать им гостей наших... Дайте им выйти, а мы помолимся о них... Сами же не волнуйтесь, нас не тронут. Я сам пойду с ними поговорить!

Монашек, разгребая длинными руками толпу, направился было к двери, но Тит свернул вправо, и толпа, расступаясь, очищала перед ними путь к огромному образу Николая-чудотворца. Образ стоял у стены в золоченом киоте на высоких ступеньках. Стоявшие возле по просьбе Федора Прохоровича сдвинули образ, и за ним в стене оказалась маленькая дверка. Ее открыли. Тит, указывая дорогу, первым проскользнул в тайный ход. За ним исчез и монашек. Епископ, поднявшись на ступени, отвесил поклон всем молящимся и только после того, как благодарным рокотом ответила ему толпа, согнувшись, проник и он вслед за теми через дверку в темную землянку. Землянка служила кладовой для кадушек, сбруи и зимнего оборудования. Полусвет из часовни освещал темное ее нутро, а затем он погас.

Как ни было сыро и сперто в кладовой, все же свежее, чем в переполненной до отказа моленной. Влажная прохлада ворвалась в часовню, колебля пламя свечей, она помогла присутствующим вздохнуть облегченно-

Федор Прохорович сам прикрыл за беглецами дверку и помог двум дюжим казакам уставить образ на место.

Затем он прошел на свое место и стал со всею истовостью, требуемую правилами древнего благочестия, молиться за преследуемых. Тем самым желал он успокоение в ряды станичников и показать на примере ненужность суеты.

Впрочем, среди старых раскольников не легко было и вызвать ее. Всегдашнее ожидание преследовании выработало в них постоянную готовность ко лжи, обману и притворству. Никто не покинул службы, каждый прикрылся личиной спокойствия и равнодушия. Самое происшествие, казалось, было забыто, точно и не было в нем ничего, выходящего из порядка отправления службы. Это было почти что так в те времена, в условиях не прекращающейся схватки двух вер, из которых одну всячески поддерживало правительство.

Старик Кафтанников все же выждал столько времени, сколько нужно было, чтобы свидетельствовать перед богом и людьми, что мирская суета не может заглушить в нем страх божий. Затем, низко кланяясь расступившимся казакам, он без торопливости и волнения вышел из моленной.

С уходом его полное спокойствие объяло станичников. Теперь уже никто не полагал себя в опасности, зная, что сам Кафтанников вышел охранить их покой от слуг антихристовых.

Кафтанниковы были надежными людьми и крепкими ревнителями старой веры.

И когда начетчик возгласил благодарение, трескучий тенорок его был покрыт ответным пением с заметным подъемом. Женские голоса на фоне глухих и хриплых мужских выделились своею спокойною чистотою возглашая сугубую аллилуйю.

Глава шестая

БЕГСТВО

Золочено у Яикушки
Его было донышко,
Серебряны у Яикушки
Его были краешки,
Жемчужны у Горыныча
Его круты бережки.

Казацкая песня

У нежити своего обличья нет, она
ходит в личине.

Пословица

Держась одною рукою за рубаху, проводника, а другою ухвативши подол полукафтання своего товарища, долгорукий монашек составлял таким образом живую цепь. Тит ловко провел беглецов меж грудями угластого хлама, норотившего то тем, то другим выступом ударить в лоб или глаз. Цепь не порвалась и тогда, когда, запнувшись за полозья дожидавших здесь своего времени санок, Алексей едва не растянулся на полу. И только выбравшись наружу, разжал он пальцы, чтобы взять в кулак полу своего кафтана и вытереть ею мокрый лоб. Он возжелал, кажется, вообще заняться своим туалетом, но Тит не собирался для того рисковать тайной их исчезновения.

— Сейчас, сейчас, за садом спустимся в огороды, там десять шагов до реки, — пробормотал он, — делай там, что хочешь...

Кафтанниковский сад был невелик, но забыт и запущен, должно быть, для того же прикрытия тинного хода. Отягощаемые

плодами яблони преграждали дорогу; ветви стлались по земле. Высокие заросли крапивы секли руки, а низенькому монашку били в глаза. Переплет листвы застилал над головою небо. Казалось ни малейшее сияние звезд не проникало сюда, чтобы хоть несколько осветить тропинку.

Тит пробираясь наугад знакомым путем мало нуждался в свете. Но спутники, его вышли из сада исхлестанными кустами и крапивой. Лица их горели. Отерши ладонью мокрый лоб, Алексей ощутил ссадину, строившую кровь. Он выругался, забыв о своем монашеском одеянии; но и тогда молодой казак не дал им отдыха продолжая понуждать их к торопливости.

— Имейте же, братья, попечение о себе! — твердил он. — До берега осталось не более малости...

Огороды подступали к самым лугам. Лугами путь был сноснее. Зеленоватый свет звезд заливал притихшие травы. Рыбачьи тропы крестились меж ними: они шли от станицы к берегу, снастям и бударам.

Беглецы продвигались вперед друг за другом, не прерывая молчания. Разве только Тит иногда предостерегал от рывка или камня. В прибрежной роще вздохнули все разом и убавили шаг.

— Ну, вот, теперь уж бояться нечего, — заметил Тит, — тут скоро не сыщешь.

Алексей засмеялся. Мелетий дружелюбно поблагодарил проводника.

— Спаси тебя Иисус Христос, брат, за помощь, — сказал он, — да только не сдобровать нам, пожалуй, завтра, как рассветет... — прибавил он. раздумывая над всеми случайностями дальнейшего пути. — Не годится нам оставаться в полукафтанях, брат. Ведь, говорил ты, монахов ищут?

— Монахов, — подтвердил Тит. Монахов, да. Как же нам быть?

— Переодеваться, стало быть, не миновать, стать!

Алексей остановился даже, тем самым придавая вескость словам товарища. Он не только соглашался с епископом, но и выразил уверенность, что только ангелом-хранителем и могла быть внушена ему мысль о предосторожности такого рода.

— Слава тебе, господи Иисусе Христе, — перекрестясь, произнес он, — вижу промысел твой о нас, грешных!

Перекрестился и Тит.

— Так что же делать, братья?

— Мы дойдем до берега, — предложил Мелетий, — подождем, а ты сходи в станицу, выпроси нам рубахи и пиджаки попроще, подырявее... Нищими мы прикинемся и пойдем своею дорогою без помехи.

Тит кивнул головою.

— Тогда пойдемте живее, чтобы до свету мне со всем управиться.

Он свернул на рыбацкую, едва приметную тропу и повел беглецов к берегу. Осиновая роща была невелика. В просветах листвы мелькнуло темное стекло дремлющей реки. Тит поднялся бегом вверх, нашел в прибрежном ивняке рыбацкую лодочку, выбросил из кустов весла и снял шапку, чтобы остудить вспотевший лоб.

— Вот наша будара, все в порядке, — сказал он, — я пойду. А вы в случае беды садитесь в лодку и таитесь в тени под лозой...

— Иди, брат, иди! — отпустил его патриарший посол. — Иди, да поможет тебе господь наш Иисус Христос!

С этой падежной защитой Тит тронулся в обратный путь. Через минуту и хруст торопливых шагов его не был слышен.

Алексей спустился к лодке и, положив в нее весла прикинул, будет ли будара с гребцами невидима в тени срывистых берегов.

— В очках не увидишь, — грубо уверил его Мелетий, — на что уж лучше.

Но ни слова товарища, ни ночное безмолвие, ни тенистая роща — ничто не внушало ему уверенности в безопасности. Стоило замолкнуть шагам проводника, как им овладело новое беспокойство. Он взобрался на кручу к товарищу и присел возле него.

— Зря, пожалуй, парня послали, — проворчал он, — не вышло бы беды какой.

— Беды больше было бы, кабы мы в монашеском пошли завтра...

— А не догадаются они сейчас?

Алексей вздрогнул не то от вечерней свежести и росы, не то от беспокойных мыслей. Мелетий пожал плечами.

— А что это им догадывать? — строго спросил он. — А? По-моему, как-будто нечего, а?

— Ну да, нечего! — подтвердил Алексей, прислушиваясь к тишине рощи. — Мы никого не трогаем...

— Ну то-то и есть.

Они замолчали. Мелетий, упершись подбородком в сжатые колени, крепко обхватил ноги руками и застыл, как сторожевой скиф на кургане. Он глядел прямо перед собою спокойно и тихо, ни о чем не думая. И было чем любоваться ему!

Со всем спокойствием реки, воды которой никогда не возмущал стальной винт парохода, дремал в каменистой постели своей древний Яик. Высокие берега прикрывали его черной шелковой тенью своею. Только сверкающая грудь оставалась открытой звездному небу.

Никогда не слышавшие над собой грохота волн, рассекаемых железом и сталью, беспечно всплескивались то тут, то там хищные рыбы. Иногда, выходя из глубин, рассекал панцирным хребтом своим зеркальную поверхность тяжелый осетр. Но и он не беспокоил воды более, чем рыбацкая будара, скользящая легче тени.

Древностью, тишиной и покоем веял старый Яик. И сколько бы новых имен не давали ему люди, оставался он верной казацкой рекою. Весной загонял он в старицы густые стада черной рыбы и до осени держал в плену одиноких осетров, севрюг, белуг и благородные племена стерлядей для родного казачества.

Долгой задумчивости товарища и молчания на этот раз не выдержал и Алексей. Он, не двигаясь с места, дотянулся до его плеча и поцарапал его с нежностью.

— Ну, ваше преосвященство, что же дальше?

Мелетий вздрогнул и с брезгливостью отстранился от царапавших его пальцев.

— Что тебе?

— Думай что-нибудь!

— Придумаем, — небрежно ответил он, не подняв головы, — дай вздремнуть.

Алексей вынужден был замолчать. Так молчали они очень долго, и монашку в самом деле начинало казаться, что спутник его спит.

Но когда возвратился Тит, Мелетий поднялся навстречу ему легко и живо. Трудно было предположить, что он спал. Он принял от казака одежду и, наскоро осмотрев ее на вытянутых руках, бросил меньшую на вид пару товарищу.

— Одевай-ка живее! — приказал он, и в голосе его и в манерах не было следа дремоты. — Время идет.

Он сам переоделся с проворством, заставлявшим предполагать, что нередко приходилось монаху пользоваться мужицким платьем; не переставая расспрашивать парня, как удалось ему достать одежду, он несколько раз поблагодарил его.

— Спасибо, спасибо, да поможет тебе Христос повторял он, натягивая штаны, — без тебя бы опять на нас наскочили антихристы проклятые. Никто тебя не видал?

— Нет!

— А те антихристы что?

Тит, тяжело дыша еще от ходьбы, рассказал, что наряженная из Уральска погоня пошла далее по тракту, станичным же властям наказано зорко следить за прохожими.

Мелетий затащил на себе ременной поясок и стал помогать в переодевании неуклюжему монашку, без толку цеплявшемуся длинными руками то за одно, то за другое.

— А более так ничего не говорили, — спросил он равнодушно, — какие такие монахи им нужны? Мы или другие какие?

— Должно, что не вы, — отвечал Тит. — Тут еще какие-то двое из Оренбурга с каторжной тюрьмы бежали да монахами переоделись как-раз под Уральском.

— Кто же бы это знал, как они переоделись? Не в полицию, чай, за полукафтаниями ходили? — смеясь, заметил Мелетий. — Болтовня все!

— Монахи их выдали, — пояснил Тит.

— Какие монахи?

— А с которых они одежду-то сняли.

— А, вот что! Ну этак-то их скоро сцапают.

Киргизский край, у границ которого располагалось уральское казачество, издавна служил пристанищем беглых. Тит

решительно не придавал никакого значения разговору о каких-то каторжниках, которыми кишмя кишела зауральская степь.

— Мы и сами-то, того гляди, в беглые зачтемся, — угрюмо сказал он. — У нас не много охотников ловить их да выдавать начальству.

— Да уж лучше так, — вступился Алексей с наглым самодовольством, — а то через этих и мы, ни в чем не повинные люди, пострадать можем... Вот переодеться пришлось...

Легкомысленная наглость товарища не понравилась Мелетию. Он перебил монашка с грубостью:

— Бери одежду, вяжи в узел да брось в воду! — крикнул он. бог весть почему раздражаясь. — Что разболтался?

Монашек проворно и безропотно собрал с земли старую одежду, закатал внутрь камень и скрутил все это в узел, обвязав его рукавами вокруг.

— Деньги? — напомнил Мелетий.

— Переложил!

— Грамота?

— У меня!

— Ну, бросай!

Тит остановил монашка.

— Бросишь там, поглубже! Садимся, братья!

Он махнул рукою на осиянную звездным небом даль реки и стал спускаться в кусты. Беглецы следовали за ним. Будара зашаталась, захлюпали волны. Тит взялся за весла, прошептал:

— Господи, благослови!

В ту же минуту легкая лодочка, несмотря на тяжелый груз, шатаясь от сильных ударов весел, вылетела из прибрежной тени и пошла вниз по течению с рыбьей легкостью и быстротой.

— Дед велел подняться до нашей ятови¹, — сказал Тит. — Версты две. Там и переночевать можно в землянке.

— Зачем ночевать? — возразил Мелетий. — Мы лучше пойдем по холодку.

— Как хотите. Дед наказывал идти на Чорхал, там теперь рыболовство, дороги людьми полны. Лучше нет укрываться, как средь людей. Чорхал-озеро знаете?

— Слыхал, — отвечал Мелетий, — оттуда недалече до Уральского тракта. Так, что ли?

— Истина! — подтвердил Тит. — А там выйдите на Лбищенск, на Гурьев и на Кавказ...

— Вот именно, святые твои слова! — воскликнул Алексей и поднял узел над водой. — Бросать, что ли?

— Топи! — разрешил Тит.

Узел медленно пошел ко дну. Монашек вздохнул, точно освободился от тяжести, и повеселел. Некоторое время вслед за тем все молчали. Тит налег на весла, и Алексей улыбнулся легкости, с какою шло казацкое суденышко.

Разогнав лодку, гребец вскинул весла, чтобы в тишине не проронить ответа.

— Назад не нашими местами будете, братья? — спросил он.

— Назад? — рассеянно переспросил Мелетий, — Куда назад?

— Домой, в Беловодье-то...

— Ах, в Беловодье? — вспомнил он и поднял глаза от увлекавшей его воды. — Нет, совсем другою дорогой. Морским путем до Индии, — подумав, пояснил он, — а оттуда через степь.

1) Ятовь — яма, рыбное место на реке.

Тит со вздохом опустил весла. Они падали на воду легко, без всплеска. Гладкая, как застывший свинец, поверхность казалась обманутому глазу вязкой и тугой. Как масляные, плотные и круглые разбегались за кормой волны, далеко и долго колебля поверхность реки. Шорох воды под бортами был слышен беглецам.,

— А я испытать свое счастье хочу, — признался Тит, — пойти к вам туда... Допустит господь, вот мы и встретимся еще... — прибавил он, улыбаясь.

— Удивительного в том ничего нет, — грубо согласился монашек, — бывает всякое.

Тит поднял весла. Вода с них стекала сначала струею, потом каплями, оставлявшими долгий след на волнах.

— Иди, попытайся, — посоветовал Мелетий. — Зачем молодому человеку дома сидеть? Надо, надо, пока молод. Беловодье искать. После поздно будет, не пойдешь. А в царских казаках жизнь провести честь не велика, чай, а?

— Не велика, — согласился казак, — охоты мало, да и сил не хватает. Отец троих снарядил, я — четвертый. Что ни снаряжение — триста рублей, а мы чуть не погодки все. Загнала в кабалу нас к Тележникову царская служба, а скоро, гляди, и по миру пустит... Нет, я в степь уйду! — заключил он с решительностью и ударил веслами с силою, равной твердости его резких слов.

— Молодец будешь! — коротко одобрил его Мелетий и стал снова следить за разбегавшимися волнами.

Пересекши реку, мчалась будара к луговому берегу. Теплым запахом медовых трав веяло с прибрежной террасы. Над расстилавшимися за ней лугами светлел горизонт. По реке, как паутина, стал возникать туман.

— Ведь, чай, и вдвоем если придешь, так примут?— спросил Тит.

— Хоть сто человек! — все с той же грубостью отвечал Алексей. Товарищ же его промолчал и даже поспешил, лишь только тот высказал свое мнение, круто переменить разговор.

— Скоро, Тит? — спросил он.

— Скоро!

— Устал?

— Ничего, братья!

Он налег на весла, чтобы снять с себя подозрение в усталости, заодно и примолк, чтобы не осудили его за развязность.

Лодка неслась, рассекая туман. Через десять минут, не более, гребец вогнал ее в песчаный берег и объявил, что они на месте.

— Вот вам и Бухарская сторона, — сказал он, указывая куда-то поверх возвышавшихся друг над другом террас крутого берега. — Отсюда пути на Бухару, в степи. Выходите, братья... А землянка наша вон там...

Над яром недалеко был виден земляной холмик. Беглецы вышли. Тит втянул на берег будару и спросил еще раз о ночлеге.

— Нет, нет! — отказались гости. — Мы в путь сейчас же. Выспимся днем где-нибудь.

— Правда, — согласился Тит, — блюстись вам надо на всякий случай.

Он снова очутился в роли проводника. Спутники его однако не обладали казацкой ловкостью. Взобравшись на кручу, ему приходилось ждать, когда они выберутся наверх, цепляясь друг за друга.

— Непривычны вы, видно, к нашим дорогам, — дивясь, заметил Тит, — а какой путь прошли! Ведь, чай, и в других местах не все почтовый тракт?

— Нет, мы только почтовыми ходим, — угрюмо отозвался Алексей и засмеялся.

Мелетий сурово остановил его.

— Что ты все ржешь, беса тешишь? — крикнул он.— Ума лишился?

Монашек замолчал. Так в молчании вышли они на дорогу. Тит рассказал, как идти. Беглецы поблагодарили его еще раз. Епископ по-граждански стиснул ему руку. Тит принял это с большим удовольствием, чем благословение. Алексей последовал примеру старшего товарища и хлопнул с азартом парня по руке.

Тит посмотрел им вслед и, опустив голову, неторопливо побрел назад.

Глава седьмая

КАЗАЧАТА

Иль у сокола
Крылья связаны?
Иль пути ему
Все заказаны?

Кольцов

Во Ржеве и в горшке крестят.

Пословица

Тит возвращался домой на рассвете.

Тугой туман, расплзаясь с реки, поднимался на берег, падал росой, стлался полотнами все далее и далее. Он сопровождал молодого казака через рощу, луга, огороды. И только у подножия пригорка, на котором располагался кафтанниковский сад, отстал.

Тит вынырнул как-будто из молочной реки. Добравшись до изгороди, он посмотрел с сожалением на мокрые сапоги, захлестанные глиной, и удивился обычаю, требовавшему при гостях надевать лучшую обувь и платье. Полы кафтана его были не лучше сапог, но уже некогда было заниматься ими.

Он перепрыгнул через изгородь и вошел в сад. Тепло и сушь стояли тут, на горе. Парню захотелось лечь здесь. Как ни велика была усталость, он предпочел бы, мечтая, дремать в саду, пока не поднимет на ноги жаркое солнце, чем спать в душной избе за занавесками и ставнями, не чувствуя на щеках своих солнечного счастья и горячих дум.

Но нужно было еще доложить деду о выполненном поручении.

Он пробирался под яблонями, отдыхая тут от суеты и волнения, которые иногда утомляют более, чем самый далекий путь. Тит не глядел вперед, ступая по тропинке, им же протоптанной. Он мог бродить здесь с закрытыми глазами, а осенью рвать на ощупь давно примеченные плоды.

Вдруг на тропинке в кустах почудилась ему неожиданная преграда. То была тень подкарауливавшего человека. Тит отшатнулся. Кусты захрустели, и девушка с прикрытым косынкой лицом стала на его пути.

Тит глядел с изумлением на нее, узнавая желтый платок, и никак не мог понять, где он, откуда взялась сна и как все это произошло? Он взял ее руки в свои, думая, что движение развеет мечту. Но руки ее были теплы и грели его озябшие пальцы. Это было живое ощущение. Оно внушало ужас.

Он вскрикнул:

— Боже мой, Таня!

— Да, я!

— Господи, что же случилось?

— А вот гляди...

Она сорвала платок со стриженной головы. Юноше показалось, что едкий туман вполз в сад и подобрался ему под самое сердце.

— Видишь? — зло спрашивала она, показывая и трепля дерзко остриженные волосы. — Видишь? Сделала. Сказала и сделала. Не нравится тебе?.. Воля твоя. Не заплачу, коли отступишься. Я ему сказала: «не тронь!» Его была воля...

Тит сжал руку девушки, точно держал не ее, а жестокого ее отца, и спросил, угрожая:

— Он тебя тронул?

— Хотел!

— За то...

— А за что же? — крикнула она и вырвала руку. — Пустите же, больно мне!

Она отодвинулась к стволу яблони. Отвисшие до земли ветви прикрыли казачат. Тит не отводил глаз от бледного, как яблоневого цвет, лица девушки. Таня рассказывала, как заявила отцу, что не выйдет ни за кого, кроме Кафтанникова, или наложит на себя руки. Взбешенный казак протянул руку к ее косам. Она вырвалась и заперлась в кладовой.

— Схватила серп, чиркнула раз, два — и готово! Ищи мне теперь женихов! — смеясь и прижимаясь к онемевшему парню, воскликнула она. — Сватайтесь, ребята, кто хочет...

— Серпом! — Вдыхая, вымолвил Тит и с великой нежностью погладил голову девушки. — Серпом! Господи помилуй. А он что ж?

Девушка отвернулась.

— Сказал, что убьет, если вернусь... А не вернусь, проклясть обещал. Лучше уж не возвращаться, Тит, а? Бросила я ему косу и

ушла. Вот жду тебя здесь с самого вечера. Как нам теперь быть, милый?

Синие глаза ее были раскрыты широко и испуганно. Она наивно верила в безвыходность своего положения и только взвешивала, что тяжелее: проклятие или смерть.

— Вот я тебе говорила, — вспомнила она, — только на словах у него «господи да Иисусе», а на деле и убьет... Бешеный ведь.

— А мать?

— Что мать? Хнычет да подзуживает: нас, мол, вот держали в руках, мы от земли глаз поднять не смевали...

Юноша был подавлен. Он не думал о том, что тяжелее, не выбирал. Он знал одно: девушке нельзя было возвращаться. Не выпустит, наверное, в другой раз бешеный казак из рук дочери. Разлука с самовольной невестой в этот час была страшнее смерти: она была бы вечной.

Он взял Таню за руку и повел за собою.

— Пойдем! — твердо приказал он.

— Куда? Что ты?

В твердой жесткости его тона было что-то необыкновенное. Она испугалась. Он не стал даже ее успокаивать, так он опешил. Закрыв глаза, наклоняя голову, чтобы защищаться от хлестких ветвей и сучьев, она покорно шла за ним. Он не ответил на вопрос, и она не повторила его. Да и о чем было ей спрашивать?

Разве могло быть что-нибудь страшнее смерти и злее проклятия!

Тит толкнул скрипучую дверь в землянку. Девушка бесстрашно вошла вслед за ним. Он, очевидно, решил укрыть ее, утаить, и она с благодарностью пожала его руку.

Пробираясь в темноте, она спотыкалась на каждом шагу и толкалась головой в потолок, едва лишь пыталась выпрямиться.

Тит, занятый собой, даже не вспомнил о том, чтобы предупредить ее. Думая наконец уже только о том, чтобы кончился скорее ужасный путь, она спросила снова, куда ведет сумасшедший казак?

Он ответил:

— Сейчас, сейчас, потерпи!

И тотчас же в самом деле остановился и выпустил из своей ее руку. Пока он открывал самодельный, но оттого еще более сложный затвор потайной дверки, она растирала слежавшиеся в его кулаке пальцы.

— Вот видишь — пришли... — пробормотал он, не переставая, впрочем, спешить. Приоткрыв дверку, он с натугою сдвинул образ, ее закрывавший изнутри, и в узкую щель втянул девушку за собою.

— Ступеньки! — догадался он прошептать ей.

Она сошла со ступенек, не смея дальше ступить а этой чернильной тишине. Тяжкий запах свечного угара, ладана и задохшейся краски обьял ее. Она бывала в кафтанниковской моленной, но не думала, что таким путем можно было попасть сюда. Тит засветил лампаду и зажег две свечи перед образом.

Ошеломленная девушка не смела ступить.

— Тит! — крадучись, окликнула она его. — Тит, что ты делаешь?

Голос ее упал до топота. Она надвинула на лоб платок, чтобы укрыться со своим грехом от страшных ликов. Тит, наоборот, отвечал громко и не опускал головы.

— Невместительно таиться нам перед господом, — сказал он. и дубовые стены часовни прибавили гулким эхом молитвенной строгости к его словам, — ведомы бо ему наши помышления, не токмо дела... Пойди сюда, не бойся.

Он подвел ее за руку к иконе, подал ей свечу и взял сам другую.

— Молись теперь, — указывал он.

Она перекрестилась и пала рядом с ним на колени. Поднявшись и поднимая ее, он спросил:

— Доброй ли волей, своей ли охотой желаешь женою стать мне?

Она ответила едва слышно. Странен был обряд этот в темной часовенке и могильной тишине. Но для них, не знающих по вере своей лживой пышности православия, и одна клятва перед образами была венчанием на всю жизнь.

Голос юноши стал глуше, когда он спросил:

— Клянешься ли?

Таня ответила клятвой. Он обернулся к ней и, целуя ее над горящими свечами, промолвил приветливо:

— Так здравствуй, жена моя!

— Здравствуй, мой муж, — прошептала она.

Просветленные заревом свечей лица их были торжественны и суровы. Им, воспитанным в убеждении, что благодать божия еще с первого дни раскола взята на небо, а все освещенные руки давно рассыпались, и молчаливого благословения божия было достаточно, чтобы признать свой союз нерушимым навеки.

Но Тит, кроме того, пропел всю свою юность под руководством уставщика-деда, искушенного опытом на всякий затруднительный случай жизни. Он научил внука скользкой изворотливости, прикрываемой текстами.

И прилежный ученик не долго думал над безвыходным положением девушки.

Он призвал на свой союз благословение господне вместо благословения родителей; он сам прочел молитвы за отсутствием начетчика. Посвященный в древний устав благочестия, он знал,



сколь многие отступлении допускаются по нужде, и назначил себе тут же по девяносто поклонов на девяносто дней.

Этим и было все кончено.

Он велел Тане встать вместе с ним на колени и, прикрыв голову ее и свою раскрытым евангелием, прочел благодарственную молитву.

Затем встал сам и поднял девушку.

— Вот и все, — сказал он, отбирая у нее свечи, — пусть-ка попробует кто-нибудь разлучить теперь мужа с женою.

Круглые от восторга и изумления глаза Тани сияли. Вдруг тень ужаса покрыла их.

— Тит, — прошептала она, — а если он проклянет?..

— Кто? — сурово спросил Тит.

— Отец, Тит...

Он встал перед нею, как имеющий власть не над нею одною.

— Нет у тебя отныне ни отца, ни матери, ибо заменит тебе их муж твой, и нет воли их над тобой во веки, веков...

Она вздохнула с глубоким облегчением.

Тит погасил свечи.

— А теперь в Беловодье, на новую жизнь! — воскликнул он.
— И бог нам в помощь.

Он дунул на лампаду и в темноте повел жену к выходу. Несколько минут возился он там, устанавливая образ на место и прикрывая дверь на хитрый затвор.

Затем он вывел Таню из землянки. На этот раз она уже не спрашивала его ни о чем.

Розовый рассвет надвигающегося утра встретил их.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СТЕПЬ

Степь раздольная
Далеко вокруг
Широко лежит,
Ковылой травой
Расстилается.

Кольцов

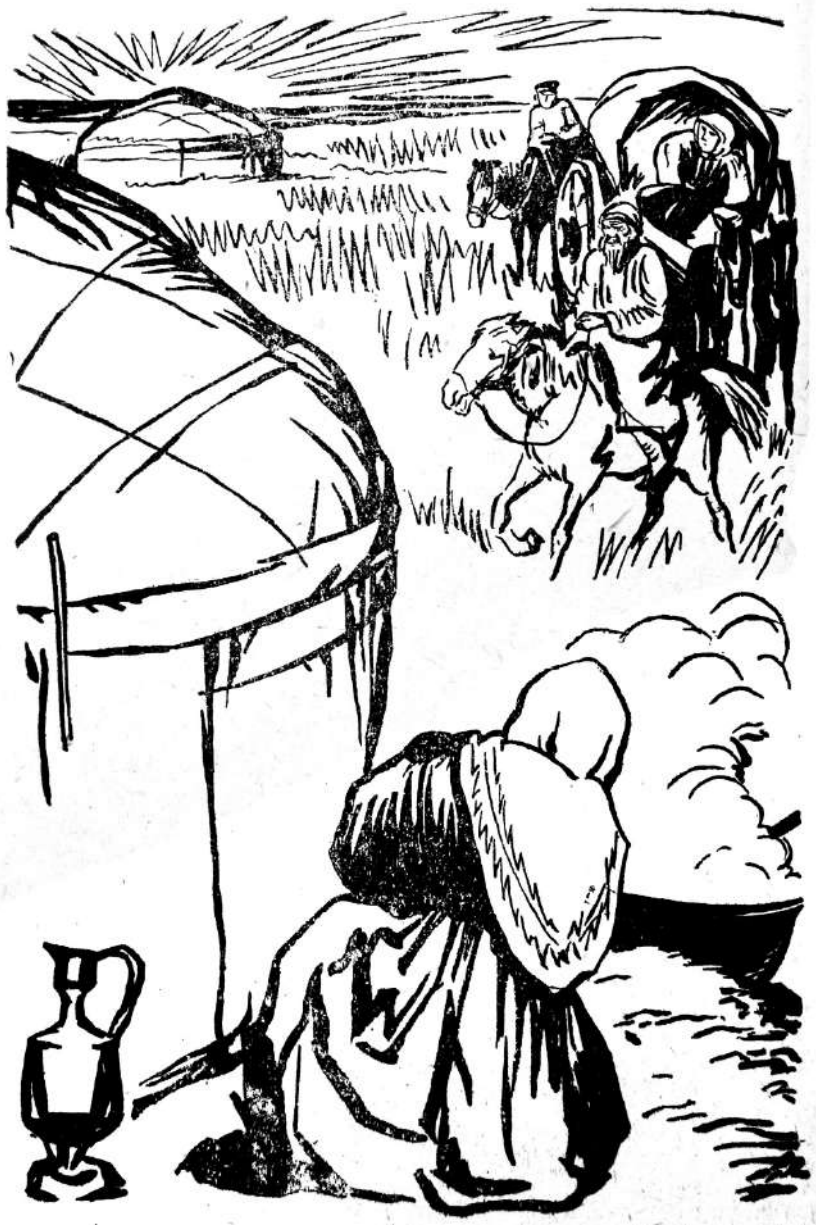
И игре да в попуты людей узнают.

Пословица

Маленький отряд, напоминавший собою что-то среднее между торговым караваном, переселенцами и шайкой беглецов, медленно подвигался вперед в верховьях Иргиза. Необъятный простор Иргизской степи лежал перед ним. Надо было хорошо знать тайны зеленого океана, чтобы вести, не сбиваясь с пути, доверившихся проводнику людей.

Серебристый ковыль блистающим морем разбегался далеко кругом. Космы пырея, как гребни разбившихся волн, падали серыми тенями на жемчужный блеск. У самых берегов Иргиза светились островки желтеющего буркуна, огненных гвоздик и розового эспарцета. Венки астрагала и донника вплетались в них.

Отряд, продвигаясь вперед на восток, избегал не только почтового тракта, но даже и менее людных проселочных дорог.



Он следовал берегами степных речек, караванными тропами, по целым дням не встречая на пути своего человека. Только киргизский аул, совершавший свою орбиту в степи, перекочевывая с пастбища; на пастбище, иногда пересекал тропу.

Избегая встреч с русскими, путники не отказывались от гостеприимства киргизов. Наоборот, старый Уйба, ведущий караван, пользовался всяким случаем посетить юрту кочевника, запастись на далекий путь провизией и новостями. Тем и другим должны были питаться его спутники от ночлега до ночлега.

Их было двое: молодой Кафтанников и его самовольная жена. Киргиз, точно приросший к своей лошадке, скакал впереди. За ним, скрипя и пошатываясь, двигалась двухколесная крытая широкая арба со всем необходимым в пути, где помещалась и Таня. Тит замыкал маленький караван.

Киргизские понурые лошадки, обладавшие однако необыкновенной выносливостью, подвигались вперед с поразительной быстротой. Первые дни пути караван делал по восемьдесят — девяносто километров за день. Перевалив Мугоджары, Уйба решил беречь силы животных, но и теперь отряд делал не менее пятидесяти километров, даже продвигаясь караванными тропами, не всегда удобными для колес арбы.

Все это походное снаряжение, от арбы до выносливых степных коней, было добыто где-то в аулах Уйбой. Он полагался на лошадей ничуть не меньше, чем на самого себя, и спутники его не раз уже убедились, как прав был их проводник, уделяя так много внимания выбору лошадей, повозки и седел.

Впрочем, благополучием и удачами было вообще начато путешествие казачат.

Дед смирил гнев отца и благословил внука.

— Испытуй, — сказал он, — испытай, да не делай, как дядя: за тридцать лет поклона не прислал. А слышно было от прохожих

людей, что жив и даже по честной жизни своей многим в округе известен, К нему иди, разыщи. Найдешь — скажи, что не сержусь... Не найдешь — сам пекись о себе... Да ты не пропадешь, — благосклонно добавил Прохор Федорович, — в дядю пошел, в Кафтанниковых...

Дед вложил в кулак внука тридцать рублей. Это была его обычная доля, с какою он участвовал в снаряжении внуков. Отец же не прибавил к благословию деда ни слов, ни денег. Он продолжал гневаться и в станице расславил, что послал Тита навестить дядю, вымолить у него денег на отправку в полк.

Возбужденный благословением старика, обнадеженный своим проводником, обласканный молодою женою, Тит пустился в поход с великою бодростью.

А путь был нелегок и для молодых людей.

От зноя некуда было скрыться: с утра до вечера палило путников горячее, как степные костры, солнце. Лица их были сожжены, заветрены и иссушены. Часто и подолгу не находилось пресной воды, чтобы освежиться. Соленые же воды озер и степных горьких речек вместо освежения несли обожженным телам только большие муки.

Арба была не лучше седел. Одинаково у всех к ночи наламывались мускулы, одинаково всех охватывала непреоборимая усталость. Таня часто засыпала в прохладной свежести ночлега задолго до того, как Уйба успевал скипятить к ужину неизменный чай. Чай сопровождал всякий отдых. Путешественники начинали понимать все благотворное влияние огненного напитка на не умеряемую ничем жажду. Даже и присутствие кумыса за скромным столом не меняло этого порядка.

Караван не мог остановиться для продолжительного Отдыха. Безлюдная степь гнала его вперед. Из селений же, изредка

попадавшихся на пути, Тит сам спешил исчезнуть, опасаясь расспросов. Он уже давно не похож был на малолетку, т. е. не служащего казака, да и сам чувствовал себя дезертиром.

Над его самовольной женой тяготело отцовское проклятие. Она в молчаливом ужасе подолгу и почаству глядела вперед, ожидая несчастий в пути. Правда, был благословлен ее муж, но чем благополучнее было их путешествие сейчас, тем больших бед, казалось не избалованной счастьем казачке, следовало ждать впереди.

Уже третий день отряд не встречал в степи ни юрт, ни пасущихся стад и проводил ночь под открытым небом. Все новости, которыми запасся Уйба три дня назад, были пересказаны дважды. Запасы баурсака¹, сыра и каурдака² приходили к концу. Киргиз с напряженным вниманием вглядывался в даль и не без умысла, конечно, держался берегов реки, куда должны были стекаться для водопоя стада кочевников.

Горячее солнце долгого летнего дня уже готовилось утонуть в безбрежном океане степей. Оно клонилось все ниже и ниже, когда Уйба испустил крик восторга. Как всякий киргиз, он был общителен и любопытен. Жизнь без новостей и болтовни удручала его.

Вот почему с истинным восхищением указывал он в даль и восклицал:

— Смотрите, смотрите, вот и нашли мы живых людей.

-
- 1) Баурсак — нечто в роде наших маслянистых орешков: пресное тесто, обжаренное в бараньем сале мелкими кусочками.
 - 2) Каурдак—кусочки жареного мяса из разных частей животного. (Отсюда, по-видимому, и наше слово «кавардак», означающее собрание разнородных предметов, беспорядок).

Крик его был неожидан. Тит, не расслышав, погнал коня, точно проводник предупреждал об опасности и он помчался первым встретить ее. Таня, защищаясь от солнца, бывшего охапками золотых снопов прямо в лицо, старалась разглядеть, на что указывал возбужденный Уйба. Там среди серых волн ковыля медленно двигались черные острова. То были табуны лошадей. Они направлялись к берегам Иргиза. Уйба не обманулся в своих ожиданиях.

— Ведь это только лошади, а не люди! — крикнула Таня, спорившая в зоркости с проводником. — Разве ты не видишь, Уйба?

— Где стада, там близко и аулы, — ответил он, — я думаю, что еще сегодня мы наслушаемся новостей в юрте хозяина, который будет нас угощать.

Таня мало интересовалась степными новостями, но она была измучена арбой и степью и нуждалась в отдыхе под крышею, среди женщин.

— Так спешим же, Уйба, чтобы добраться до ночи, — напомнила она. — Гляди, где солнце!

Уйба гикнул на лошадей. Тит осадил своего коня, чтобы стать в конец каравана. Задержавшись у арбы, он улыбнулся Тане. Она посмотрела на него с завистью. Из всех казачек выдавалась она ловкостью и сноровкой в верховой езде, и вот ей приходилось качаться в арбе! Уйба клялся не раз, глядя на хозяйку, что у него хватит еще сил и удалства на баранту¹, но

1) Баранта — очень распространенный у киргизов обычай угонять скот. Угнать скот из чужого аула не считается большим преступлением. К баранте прибегают, чтобы отомстить обидчику или наказать врага. К баранте прибегают и бедняки, чтобы добыть выкуп за невесту. Ловкие барантачи слынут молодцами. Такому отношению способствует взгляд на скот как на богатство, не зависящее от труда владельца: скот плодится, кормится и гибнет сам по себе.

Тит сурово запрещал ему и говорить об этом.

Таня покорилась своей участи.

Тем с большим удовольствием представляла она себе возможность, хотя бы на ночлег, покинуть арбу.

Сверх всякого ожидания аул показался очень скоро. Он состоял всего лишь из двух — трех десятков юрт, расположенных далеко друг от друга, хотя табуны лошадей и следовавшие за ними стада баранов были, как все видели, очень велики. Уйба заключил, что будет иметь дело с богатыми сородичами, и оказался прав.

В огромном котле возле ближайшей юрты варилось мясо: летом оно составляет пищу только зажиточных кочевников. Возле котла хлопотала женщина в шелковом джаулыке¹. Белые кошмы на юрте были расшиты позументами. Все свидетельствовало о богатстве.

Уйба с величайшею вежливостью приветствовал женщину.

— Скот и домашние ваши здоровы ли? — осведомился он.

В ответ последовала благодарность и столь же предупредительно высказанная заботливость о скоте спрашиваемого, а затем и о его домашних. После обмена любезностями, разумеется, последовало приглашение остаться гостями в юртах Абулхаира. Так назывался хозяин юрты и аксакал², проверявший в данный момент охрану своих стад.

Уйба поблагодарил и соскочил с лошади.

— Аксакал будет рад видеть вас и слышать от вас новости, — сказала женщина и отодвинула кошму, заменявшую дверь юрты. — Входите и будьте гостями.

1) Джаулык — платок, спускаемый низко на лоб.

2) Аксакал — буквально значит — седобородый. Так называются начальники родов, старейшие и уважаемые лица в ауле.

Таня первой вошла в юрту, улыбаясь хозяйке. Она с удивлением и любопытством знакомилась с той свободой, какою пользовались женщины у киргизов. Они не закрывали лица, как большинство женщин, исповедующих ислам. Неся на себе все обязанности по хозяйству, от стряпни до перевозки юрт во время кочевок и установки их на новом месте, они сами и распоряжались в своем хозяйстве. Они не только не спрашивали советов у мужей, но, наоборот, часто принимали участие своими указаниями в делах мужчин. Мужья их знали только скот. Благополучие стад было важнее всего на свете. Мужчины несли ответственность за выбор пастбищ, охрану скота, благоустроенность зимовок.

В строгих раскольничьих семьях казачка имела меньшее значение, чем у презираемых ими кочевников. Девушка подвергалась большим унижениям там, в чистых деревянных избах с огромными божницами по углам, чем здесь, в темных и душных юртах, где мало думали о боге и его пророках.

Таню провели на почетное место в юрте. Этот киргизский «красный угол» помещался в противоположной от входа стороне. Он был устлан дорогими коврами поверх расшитых кошм. Дома Тане не приходилось сиживать еще никогда в красных углах, да и вряд ли когда-нибудь у казаков добивалась женщина такой чести.

Вероятно, для того, чтобы подчеркнуть еще более уважение к гостям, женщина удалилась на хозяйскую, правую от входа, половину юрты. Она была отгорожена чиевой ширмой. Тут хранятся обыкновенно у киргизов всякого рода припасы и сундук с лучшими вещами. По шёпоту и шороху Таня догадалась, что женщина принаряжалась сама и наряжала дочерей для выхода к гостям.

Пока там занимались туалетом, она оглядывала невеликое хозяйство киргизской семьи.

В левой части юрты, отводимой обычно для взрослых детей, стояла постель девушек. Возле нее лежали части ткацкого станка, вероятно, только-что разобранного после работы.

В углу у двери, прикованный к кереге¹ сидел беркут. Это был великолепный экземпляр хищника темно-бурого цвета с желтой головой и белым пятном у хвоста. В нем было до полутора аршин высоты. Гроза степного зверья, затравивший на своем веку не мало лисиц, зайцев и даже волков, тут в юрте он был смиреннее собаки. Покоренный навсегда человеком, он, должно быть, и на охоте, выпущенный на волю, следил из-под облаков за хозяином с собачьей верностью.

Он по-собачьи заворчал, когда Таня подошла к нему, и по-собачьи же ласковым клекотом откликнулся на выход хозяйки. Хозяйка начала приготовления к ужину на единственном низеньком круглом столике.

В ту же минуту взрослые девушки, дочери Абулхаира, окружили Таню.

Оставив свои рукоделия, они засыпали гостью расспросами. Она довольно хорошо изъяснялась по-киргизски, но девушки, оказалось, не хуже говорили по-русски. Киргизы вообще поражают своими способностями к языкознанию. Девушки же, давно не выдавшие русских, прямо-таки щеголяли друг перед другом обилием известных им слов. Таня должна была сообщить все слышанные ею за двенадцать дней пути новости. Большинство их было уже известно, но это вовсе не мешало слушать их с новым интересом.

1) Кереге — плетёная деревянная решетка, составляющая остов юрты, который прикрывается кошмами и обтягивается арканами.



Вслед затем и не с меньшею живостью они сообщили Тане свои новости. Их было не мало. Они составляли длинную вереницу событий — от нападения волков на табуны Абулхаира до рождения трехногого барашка у киргиза, кочующего в Барабинской степи. Самую неожиданною новостью среди других было сообщение о беглецах из Уральска,двигающихся на восток, среди которых прячется женщина, украденная из богатой семьи бедным казаком, не могшим внести за свою невесту калыма, требуемого отцом.

Каким образом эта новость, излагавшая собственную историю Тани на киргизский лад, успела обогнать их в степи? Таня с широко раскрытыми глазами выслушивала болтливую девушку. Та же в заключение воскликнула:

— Вот, видишь, мы уже знаем! Когда мы увидели в степи арбу и двух всадников, я сказала: вот живая новость, которая разносится по степи, как ветер.

Таня рассмеялась и рассказала мужу. Тит упрекнул Уйбу в излишней болтливости со своими соплеменниками, но тот плохо понял, чем вызвал недовольство хозяина.

— Что дурного делает тот, кто слушает новости или рассказывает их? — возразил он. — Разве можно жить без новостей?

Тит начал объяснять ему, какая опасность кроется для них же, если о путешествии их будут знать во всех селениях по пути. Уйба однако не переменял своего мнения и в этом случае.

— Ах, разве я не знаю своих? — усмехнулся он.— Кто же из них станет передавать новости русским с ясными пуговицами, от которых ты ждешь беды! Никто не считает их своими гостями...

Спор был прекращен прибытием Абулхаира. Это был рослый, сильный киргиз, общительный и веселый хотя и не забывавший о своем высоком звании аксакала. Киргизы, как

известно, не отличаются долголетием. Все же Абулхаир был рано причтен к седобородым. Надо было предполагать, что сородичи, выбравшие его старшим, знали за ним иные достойные кроме седых волос, качества.

Он принял гостей с величайшей предупредительностью. Радужие его было безгранично. Так как сейчас же после обмена приветствиями был подан на стол любимейший каурдак, то он в знак особого внимания и любезности вложил каждому гостю в рот собственными пальцами по первому кусочку.

Обильный ужин запивался пенящимся кумысом, для киргизского стола таким же важным и обязательным, как для русского — хлеб. Баурсак, сыры, баламак, айран — все лучшие блюда были поданы. Раскаленный на угольях очага чай заключил это пиршество.

Когда отяжелевшие гости перебрались к очагу, возле которого обычно начинаются у киргизов разговоры, хозяин пожелал услышать новости, привезенные гостями.

Глава вторая

НОВОСТИ

Чей это конь неутомимый
Бежит в стели необозримой?
Пушкин
Сорока даром не стрекочет.
Примета

Молодой аксакал имел много причин к тому, чтобы на этот раз с особым вниманием отнестись к новостям своих гостей.

Накануне ранним утром в табуны Абулхаира явились два всадника. Они предложили обменять за приплату их измученных лошадей на свежих. Джетаки, находившиеся при табунах, призвали хозяина утвердить сделку.

Абулхаир был удивлен поведением неожиданных покупателей. Они отказались от гостеприимно предложенного им отдыха и угощения обидев киргиза и не заметив этого. Абулхаир приказал отдать выбранных ими лошадей без всякой приплаты и подивился полному незнанию путниками обычаев и законов степи. Они выбрали коней, удобных для праздничных игр, но мало пригодных для дальнего пути. Между тем всадники указывали, что предстоящая им дорога очень серьезна, что они пробираются на север, на Кустанай, Петропавловск и Омск.

Абулхаир удивлялся и той легкости, с какою покупатели расстались со своими конями, и тому мыслию, с которым они пускались в путешествие на незнакомых им и не знающих их лошадях. Путешественникам, очевидно, были вовсе не знакомы нравы степи, хотя, по их же словам, они были жителями Актюбинска и пробирались на север по своим торговым делам.

Словом, очень многое было неясно в поведении этих людей, и задумчивым взглядом проводил их киргиз.

За ночь покойный сон выветрил из аксакала его беспокойство. Но утро принесло его вновь с еще большею силою. Абулхаир был объят страхом, испытываемым и самыми смелыми людьми при непонятных и странных явлениях.

Кони, уступленные накануне путешественникам, вернулись в табун. При этом они не принесли на себе никаких знаков борьбы или несчастья. Не было, конечно, ничего удивительного в том, что лошади вернулись к старому хозяину. Но было совершенно непостижимо, каким образом могли в первую же

ночь новые владельцы оставить коней без пут, без привязи без охраны?

Абулхаир немедленно выслал джетаков с конями на север, по направлению, взятому путешественниками. Без лошадей, без всяких запасов, которых, как помнили все, у всадников не было, что, кроме гибели, ожидало их в мертвой степи?

— Ищите, — приказал аксакал слугам, — ищите, пока не нападете на несчастных и не отдадите им коней!

Джетаки только-что возвратились домой. Они обыскали всю степь на дневной переход вперед и не нашли не только загадочных путников, но даже и следа их ночлега. Повинуясь строгому наказу, они проверяли каждый ничтожный знак, приглядывались к каждой черной точке, возникавшей в пути. Испытанной зоркости их глаз нельзя было не доверять. Измученные кони свидетельствовали о силах, потраченных на поиски.

Абулхаир выслушал слуг и опустил голову в глубоком раздумьи. Беспокойство перерастало в тревогу, в бессмысленный животный страх. Киргиз искал объяснения случаев, старался понять, какой удар предвещал он его стадам, его семье, его роду?

Степь выгорала... Может быть, нужно было немедленно подниматься на север, на новые пастбища? Может быть, злые духи хотели просто задержать его глупыми поисками неведомых путешественников, чтобы другие заняли лучшие пастбища на новых местах?

Абулхаир тотчас же без раздумья отдал приказ аулу готовиться ранним утром в поход.

«Раньше солнца двинемся в путь, — подумал он с легким вздохом облегчения. — Абулахаира не обмануть и злым духам!»

Аул принял распоряжение. Абулхаир улыбнулся, посчитав загадку судьбы разгаданной.

Но едва лишь слуги стали готовиться к переселению, смутное беспокойство вновь овладело им.

Он сам отправился проверить охрану, осмотреть стада.

Вернувшись в юрту, он был рад гостям. Он ждал с нетерпением новостей и разговоров у очага. Он надеялся, что гости развеют жуткий туман вокруг загадочного происшествия и странных всадников, таинственно исчезнувших в степи.

Уйба не заставил себя просить дважды и приступил к повествованию. Короткие анекдоты его не лишены были интереса. К тому же Уйба, несомненно, обладал художественными наклонностями. Рассказы его изобиловали сравнениями, образами, сентенциями, высказываемыми в поэтических формах.

— Разве прилично молодому орленку домовать в гнезде? Разве не найдется сил у ослабевшего в чужом плену джильбарса вернуться в родные камыши, чтобы умереть? — так, например, повествовал он о причинах, побудивших его и его спутников предпринять долгое путешествие в степи. Нет! Не таков старый Уйба, гонявший свои стада от Мугоджар до Барбч, чтобы никогда не вспомнить о прошлом! Нет, не таков молодой хозяин, чтобы навеки домовать в отцовском гнезде... Нет, с молодою орлицею и старым Уйбой желает он начать новую свою жизнь...

В другой раз, несомненно, подобные повести доставили бы Абулхаиру истинное наслаждение. Но теперь заботливый аксакал стремился более к полезным известиям, нежели к поэтическим сказкам, пригодным скорее для оленгчей¹, нежели для деловых людей.

1) Оленгчи — киргизские певцы, то же, что и наши гусяры или кобзари на Украине.

— А не слыхал ли ты, — обратился он к Титу, как только Уйба прервал свой рассказ, чтобы перевести дыхание, — не слыхал ли ты, что русский царь снова выслал чиновников переписывать всех кочующих в степи? Не бродят ли они тайно по аулам и возле табунов?

Это было одно из самых серьезных подозрений, которые питал аксакал относительно загадочных путников, посетивших накануне его табуны. Оно было решительно отведено гостями.

— Русскому царю не до нас теперь, — смеясь, ответил Уйба, — он не справляется и со своими...

Тит подтвердил, что ничего не слышал о переписи и не заметил никаких переезжающих с места на место чиновников. Аксакал довольный сообщением, улыбнулся.

— Однажды он уже присылал к нам своих писцов, — сказал он, — но они насчитали не много. Их пуговицы слишком блестящи, и мы уходили в степь, как только видели их на дороге.

Никто не спорил с ним. После недолгого молчания требуемого уважением к хозяину, Уйба возобновил прерванное повествование, не прибегая более к украшающим сравнениям.

Но повесть о том, как рассказчик стал джетаком, не стала для аксакала более интересной оттого, что Уйба перестал ее украшать.

— А скажи, — обратился он к нему в первый же приличный для этого момент, — не встречались ли вам беглые каторжники? Степи полны ими каждое лето! Но теперь русские начальники требуют, чтобы мы задерживали и отводили к ним подозрительных лиц...Как-будто я могу преступить законы гостеприимства для слуг русского царя?..

И этот вопрос несколько не помог хитроумному аксакалу разогнать туман вокруг происшествия. Никто из маленького каравана Уйбы не видел беглых каторжников и острожников.

Тогда Абулхаир рассказал обо всем случившемся накануне, желая знать мнение гостей по этому поводу.

— Почему ты называешь их людьми? — холодно опросил Уйба, — Разве тебя не могли посетить души тех мертвых которых не мало зарыто в степных курганах?

Мысль эта не приходила аксакалу в голову. Оттого-то, должно быть, нелепость ее тотчас же стала ему очевидной.

— Они говорили по-русски и были такими же русскими, как твой молодой хозяин, — возразил он.

Уйба оставался спокоен.

— Разве ты не слышао об оборотнях? — с упреком воскликнул он.

Аксакал рассердился.

— Для чего же оборотням нужны лошади? — напомнил он. — Они сами скачут быстрее ветра!

— Они пьют их кровь!

— Но лошади вернулись вернулись невредимыми!

Уйба должен был замолчать Тогда Тит вступил в разговор. Отираясь на право гостя, столь торжественно подтвержденное Абулхаиром, он без всякого смущения заявил, что и сам является беглецом и подлежит, значит, выдаче русским начальникам.

— Но я не преступник, я с чистой совестью совершаю свой путь и принимаю твое гостеприимство, — сказал он. — Странно поведение вчерашних всадников! Но нельзя их считать преступниками... Ведь не считал же ты себя преступником, — напомнил он, — когда тайлся в стели от царских переписчиков?

Речь молодого казана очень понравилась гостеприимному хозяину. Объяснения Тита внесли некоторую ясность в происшествие. Они успокоили аксакала за участь его стад во всяком случае. Он с веселым оживлением принял доводы гостя, который продолжал скромно:

— А разве тебе не приходилось встречаться в степи с русскими, которые шли на восток в поисках белых, вольных земель, никому не принадлежащих, где можно жить по своей воле, без начальников, без податей, без книг, без печатей?

Аксакал с удовлетворением кивнул головою.

— О, да! — подтвердил он. — Я видел многих. И у кого из кочующих в степи не находили приюта русские переселенцы? Тысячи проходит их— В Акмолинском крае, видел я, устроили они поля и поселки. Кое-кто из наших стал учиться хлебопашеству... Но ведь я говорил о другом, — пояснил он, — У тебя есть арба, в арбе жена и имущество, с тобой твой слуга. Разве трудно отличить переселенца от беглого?

Тит молча слушал.

Аксакал продолжал с грустью:

— О, ты издалека сумеешь узнать этих русских, ушедших с родины в поисках нового жилья... Лошади их тощи и едва переставляют ноги, дети грязны и голодны, жены раздеты. Они питаются только надеждой, что завтра будет лучше, завтра они придут в счастливую землю... Я видел много людей, которые шли на восток — прибавил он усмешкой. — но я никогда не встречал никого, кто бы возвращался на запад.

— Это потому, что гам лучше! — воскликнул Тит, которого волновал каждый новый след чудесной страны. — Они шли в Беловодье, аксакал!

Киргиз не понял. Тогда Уйба пояснил ему, что так у русских называется край, лежащий на востоке, за степью, среди гор, укрытых вечными снегами и туманами.

— Не туда ли лежит и путь твоего хозяина? — спросил аксакал, и когда Уйба вместе с Титом отвечали утвердительно, он, улыбаясь гостям, добавил. — Верный путь найти счастье— это искать его. Человеку не следует дожидаться, когда счастье

само придет к нему. Не счастье ходит за человеком, а человек за ним, а кто ищет, тот всегда находит...

Впрочем, в придачу к этому мудрому замечанию киргиз почел нужным еще призвать благословение божие на предприятие юноши.

— Да поможет тебе твой бог! — сказал он, вставая, и предложил гостям воспользоваться для ночлега приготовленными хозяйкой постелями.

Предоставляя дальнейшее устройство судьбы русских собственному их господу богу, Абулхаир выразил с своей стороны готовность оказать посильную помощь гостям теперь же. Он приказал жене наполнить походные сосуды их кумысом, а мешки для провизии — съестными припасами и спросил, не испытывают ли еще в чем-либо нужды путешественники?

Так как Тит отказался от всякой иной помощи, то тем самым и был окончен вечер у очага. Ранним же утром не только один маленький отряд искателей счастья был готов к походу, но и весь аул Абулхаира. Разобранные со сказочною быстротою юрты были погружены на арбы и телеги. Веселый караван увьюченных имуществом верблюдов готов был двинуться ка север вслед за табунами, уже тронувшимися в путь на новые летние пастбища, еще не спаленные зноем.

Женщины хлопотали с погрузкой. Абулхаир оставался при гостях. Тронутый молодостью путешественников, он простер свои заботы о них далее простого гостеприимства.

— Вы прошли лучшую долю вашего пути, — предупреждал он, и не без тайного страха слушала его Таня, — и в лучшее время года. Осталась худшая и большая его часть... Вот уже и мы перекочевываем на север, а ваша дорога вьется на восток. Будьте осторожны, не забывайте обычаев степи!

Обиженный Уйба отвечал благодарностью, но напомнил о том, что когда-то его стада и табуны были немногим меньше стад и табунов аксакала и ему ведомы караванные пути не хуже, чем любому аксакалу.

Абулхаир выслушал его спокойно. Он засвидетельствовал свою полнейшую уверенность в надежности проводника, но не преминул спросить еще, есть ли у путников порох и ружья.

Тит отвечал утвердительно.

— Степи кишат волками, — продолжал свои заботливые предупреждения аксакал, — да есть и люди, более опасные, чем волки и джультарсы! Но не в одной опасности дело: может быть, придется добывать вам зверя или птицу на обед... Не удивительно будет, если во всей Турганской степи не встретите вы теперь ни одного человека... Но аллах с вами! — уверенно заключил он. — Ибо он всегда на стороне правых!

Уйба опростал сокровищницу своего красноречия, прощаясь с гостеприимным хозяином, и безбоязненно повел своих спутников в просторы Тургайских степей.

Вслед за ними — и это они могли видеть, оглядываясь назад — погрузившись на арбы, телеги, коней и верблюдов. звеня и скрипя, тронулся аул в свой путь.

Как легкий туман, столь непривычный в сухих степях. стояла в воздухе в то утро непонятная и загадочная степная мгла. Солнце всходило в багровом сиянии, и тусклый день, отравленный едкой пылью, ложился гибельным призраком на пастбища и поля.

Глава третья

ВСТРЕЧА

... И мигом обернулся
И задрожал: „Ты вновь передо мной!
Свидетель — бог: не я тому виной!"—
Воскликнул он, и шашка зазвенела!

Лермонтов

Гора с горой не сходится, а человек
с человеком сойдется.

Пословица

Дорога лежала, насколько мог видеть зоркий глаз Уйбы, среди опустошенных пастбищ.

Продвигаясь на север в поисках свежих полей, ко-чевники сзади себя оставляли полую степь. Дожигаемая солнцем и зноем, она превращалась в бесплодную пустыню. Степные озера блистали уже не прохладными водами, а белыми доньями, вытапливавшими из себя горькую соль. Речки пересыхали. Колодцы и родники поили путников теплой испорченной водою. Ветер вздымая над пустынею вихри песку и пыли и подолгу кружил над землею сухие листья чухыра.

С каждым шагом вперед дичала и безлюдела степь. Молчаливые суслики, как безмолвные часовые, озирали ее. Они спокойно разглядывали редких гостей. Люди их пугали меньше, чем тени парящих в вышине хищников. Только свист крыльев падающего камнем беркута заставлял их исчезать под землей.

К полудню степь Вдруг изменила свой вид. Необозримые ковры полыни покрыли ее. Кое-где по серым равнинам были

затканы узоры низкорослых кустиков кара-джужуна. Их обрамлял то шалфей, то вьюнок, то гребенщик. Но все это нисколько не меняло безрадостного однообразия пустыни. Лишь изредка густые заросли шиповника, таволги и тала где-нибудь в низине степной речки показывались на горизонте. Густая и яркая, багровая от зноя кайма их рассекала на части серые ковры.

Полуденный отдых был назначен Уйбою у первого пресноводного ручья. Поднимаясь с привала, чтобы по вечерней свежести продолжать путь до глубокой ночи, предусмотрительный киргиз наполнил водою все турсуки¹. Подвизывая их в торока², он предупредил своих спутников о необходимости беречь воду.

— Может быть, на день и два мы останемся без воды, — сказал он. — Теперь нельзя рассчитывать ни на колодцы, ни на родники. Турсуки выручат из беды и нас и лошадей...

— Не турсуки, а господь вызволяет из беды уповающего на него! — прошептал Тит, точно извиняясь перед господом за оскорбительное для всемогущего замечание Уйбы.

Шёпот этот встревожил Таню.

— Разве так страшно, милый? — тихонько спросила она.

— С господом ничего не страшно, — спокойно ответил он, — помолись!

Таня, крестясь, взгромоздилась на свою арбу, но всю дорогу не сводила глаз с турсуков. В ней сказывался трезвый перекупщиков нрав. Прикрываясь крестами, отец ее чаще

1) Турсук--малый кожаный мех, делаемый из трех клиньев коне- вины с окороков или задних ног, для кумыса.

2) Торока—ремешки позади седла для пристежки поклажи. Киргизы возят и тороках турсуки с водой или кумысом.

смотрел на землю, чем в небеса, и наблюдательная девочка давно уже замечала, что земля приносила семье их значите больше благ, чем небо с его грозным обитателями.

Таинственная мгла продолжала стоять над степями. Солнце падало как бы за тусклым стеклом. Багровый диск его был мрачен.

Остывающая равнина веяла горьким запахом полыни. Он нес с собою томительную грусть, вечные воспоминания о детстве и милых сердцу вещах.

Таня требовала от Уйбы, чтобы он двигался быстрее. Но бег коней только поднимал с земли новую силу полынной горечи. Травы бились в ногах лошадей, в колесах арбы, осыпали созревшие семена, сея в воздух полынную пыль и горький аромат.

Вдруг Уйба остановил караван. Зоркому глазу его почудились тени людей впереди. В мертвой пустыне человек был неожиданнее зверя и страшнее его. Уйба с тревогой подозревал хозяина.

— Гляди, — сказал он, — что это такое?

Тит подскакал к киргизу, но не мог ничего рассмотреть в сумеречной дали, прикрытой мглой.

Уйба настаивал на своем.

— Они идут пешком, — вдруг поддержала его Таня, — это люди.

Пешие люди в степи! Это было непонятное и странное явление. Уйбе вспомнились оборотни, посетившие табуны Абулхаира. Он обернулся к хозяину с необычайной живостью.

— Перекрести их, — предложил он, — перекрести, прошу тебя!

Когда-то, перед тем как принять православие Уйба слушал проповеди миссионера и понимал толк в обращении с нечистой

силою. Но как и все киргизы, не поправив своих дел с помощью русского бога и выдававшейся новообращенным денежной субсидии, Уйба вновь обратился к исламу. Теперь он должен был просить хозяина о спасительном жесте.

Тит охотно исполнил желание проводника. Сам он не предполагал участия нечистой силы в появлении загадочных пешеходов, но, разумеется, воспользовался, случаем показать киргизу силу своего бога. Маленькая хитрость в таком святом деле совсем не казалась излишней религиозному староверу.

Тени не исчезали, но стали превращаться в более отчетливые видения. Таня уверяла даже, что люди идут навстречу и машут руками, призывая на помощь.

Зоркость ее вызвала в Уйбе прилив уважения к молодой хозяйке.

— Погляди. — предложил он, — не прячут ли они хвостов под бешметами?

— Они без бешметов, — уверила она.

— Не видишь ли ты рогов у них?

— Нет, не вижу.

Уйба продолжал прищуренными глазками допытывать загадочную даль. Теперь уже и он видел, что, точно, шли навстречу два путника, махая руками. Ничего страшного в них не было. Наоборот, плутающие в безграничных просторах дикой степи пешеходы вызвали сожаление. Уйба обратился к хозяину за разрешением вопроса.

— Приказывай, — сказал он, — я сделаю, как велишь. Может шайтан не послушаться креста? — осторожно осведомился он на всякий случай.

— Нет! — твердо отвечал Тит. — Всякий призрак рассыпался бы в прах, а дьявол бежал бы при крестном знамении.



— Ага, — обрадованно заключил киргиз, — значит это— люди. Поедем навстречу им.

Он тронул коня, не дожидаясь приказа. Тит последовал за ним впереди арбы. Он начинал все с большим и большим волнением приглядываться к приближающимся людям.

Их было двое, и один из них был высок, Прям и строен: дорогой же, шедший впереди, был похож на черную птицу с перебитыми крыльями. Он был невысок, как-будто горбат, голова его уходила в плечи, и было похоже, что он не шел, а прыгал на цепи впереди хозяина. Оба они друг возле друга напомнили Титу беловодских гостей. Вот почему с таким возбуждением он присматривался к ним.

Казалось, никаким образом не могли они встретиться сейчас на его пути в безлюдной пустыне, а между тем это были люди, похожие на них, и каждый в отдельности и оба взятые вместе. Тит дрожал от нетерпения и наконец не выдержал.

— Это они, они! Велик господь наш и благоволение его! — произнес он, крестясь, и погнал своего коня. Он осадил его среди ураганной пыли в двух шагах от шарахнувшихся в стороны путников. Казак соскочил с лошади.

— Братья! — восклицал он в неистовости. — Братья! Вы ли это, братья?

Не было никакого сомнения, что перед ними Находились беловодский епископ и его прислужник. Но они с недоумением рассматривали кривоногого, насквозь пропыленного, дочерна загоревшего парня, очутившегося перед ними. Они в его жизни были событием; он для них — только случаем, не остающимся долго в памяти. Они не сразу признали своего спасителя.

Впрочем, монашек вспомнил казака довольно быстро. Он обнял его длинными руками, пытаясь приподняться, чтобы поцеловать его, и вскричал с искренней радостью:

— Тит! Вот уж подлинно, господь тебя избрал ангелом нашим хранителем и послал навстречу... Мелетий,— кричал он, забывая в волнении об уважении к высокому сану своего спутника,—да ведь это казак из Бударинской, который нас через Урал перевозил. Помнишь?

Мелетий признал парня. Он обнял его и спросил, как мог очутиться тот в степи за шестьсот верст от дома?

— Неужто так-таки и пошел в Беловодье? — предположил он, взволнованно обдергивая кисти шелкового пояса, опоясывавшего плисовую расшитую рубаху на нем.

Тит отвечал утвердительно. Тогда, обернувшись к своему прислужнику, с искренней горестью он заметил:

— Господи, помилуй! Да сколько же мы людей сму-тили, Алексей?

— Смутили ? — беспечно переспросил тот. — Нет, брат, и без нас их многое множество бродит по всем дорогам.

— Да не вами я смущен, братья дорогие, — подтвердил Тит,—а нуждою, гонением и тоскою великой по христианской жизни... Много нас, правду ты сказываешь, Алексей, много... Да и чем же нам снабдевать душу, как не надеждою на Беловодье? —радостно воскликнул он и обернулся к приближавшейся арбе, откуда с недоумением разглядывала прохожих его жена.— Вот, Таня, ты еще сомневалась, — кричал он. — дойдем ли. А господь посылает нам верных людей из самого Беловодья еще раз! Вот они, гляди, Фома Неверный, гляди...

И он с гордостью представил жене запыленных странников.

Уйба, следовавший на этот раз из предосторожности позади арбы, со страхом следил за поведением хозяина. Однако, как только он вполне уверился в полной реальности и естественности происшедшего, то тот-час же обратился с приветствием к путешественникам.

Он с первого же взгляда на них, усталых, охрипших и измученных, угадал их судьбу. Он отвязал свой турсук и предложил им прежде всего утолить жажду, а затем уже рассказывать, что с ними случилось. Впрочем, ему нужно было только подтверждение того, что перед ним были неудачливые покупатели лошадей из табунов Абулхаира.

Они не видели причин скрывать это. Алексей с поспешностью рассказал все происшедшее. Оно ничем не отличалось от предположений аксакала. Кони были оставлены ими на свободе без охраны. Монашек проспал до утра, ничего не подозревая, и счел, что лошади заблудились в степи. Тит напомнил им о поисках, предпринятых Абулхаиром.

— Как же не могли найти вас джетаки, раз вы не сходили с дороги и даже шли встреч? — удивляясь, спросил он.

Оказывается, что они не знали ничего о поисках, не видели в степи ни одной движущейся точки за весь день, вплоть до встречи с Титом. Уйба, со вниманием слушавший разговор, заметил:

— Джетаки искали вас на северной тропе!

— Да, верно! — вспомнил Тит, удивленно взглядывая на смутившихся путников. — Как же это могло так случиться, братья? — спросил он.

Тогда Мелетий поспешно объяснил, что, боясь преследований, заставивших их уйти в степь, они обманули хозяина табунов, дав ему ложные сведения о цели их пути, и ввели его в заблуждение, взяв сначала направление на север.

— Вы сами виноваты, — сурово заключил Уйба их рассказ, — никогда не надо обманывать того, у кого берешь лошадь!

Обманщики не многого стоили в его глазах. Он отвернулся и стал смотреть в мгlistую даль, где погасало истомленное зноем солнце.

Он мог бы теперь продолжать путь свои, не протянув этим людям своего турсука, даже если бы они умирали от жажды.

Но молодой кулугур, наоборот, с новым оживлением обратился к ним, не придавая никакого значения их плутовству.

— Так, значит, ваш путь лежит на восток, братья? Вы возвращаетесь домой? — спрашивал он.

Если бы не общее возбуждение, вызванное неожиданностью встречи, вероятно, ни от кого не укрылось бы смущение, с которым отвечал на вопросы Мелетий. Но все были взволнованы, вопросы и ответы поспешны и случайны; в этой сутолоке слов трудно было разобрать, какие чувства волновали и спрашивавших и отвечавших.

Мелетий подтвердил предположения Тита. Монашек же с грубоватой откровенностью рассказал о своих приключениях на Бухарской стороне.

— Жестоки люди наши, дьявол проворит ноги их,— бранился он. — Шутка ли! Под Лбищенском нас чуть не схватили... Мы оттуда ударились на Оренбург, а в Илецке не на тот поезд сели. В Актюбинске уже быть бы нам в клетке, да успели откупиться... Нет, тяжело, Тит, тяжело у вас!

— Знаю, — твердо выговорил Тит,—знаю и оттого-то благодарю господу, что второй раз посылает он вас на пути моем, чтоб укрепить меня в решении моем! Слава тебе, господи, слава тебе.

Тит истово перекрестился. Монашек же заметил небрежно:

— А тебя — на нашем! Ведь без встречи с вами я, чай, и не выбраться бы нам отсюда! Далеко ль еще нам до табунов того киргиза, у которого наши лошади? — спросил он, оборачиваясь к Уйбе.

— Дальше, чем ты считаешь, — угрюмо ответил тот. — Абулхаир снялся с места и погнал табуны нынче утром. Если бы

у тебя были глаза беркута и рысь волка, то и тогда бы тебе не удалось ни увидеть его, ни догнать!

Монашек переглянулся с товарищем. Оба они были озадачены.

— Так, может быть, ты нам укажешь, добрый человек, — мягко обратился к нему Мелетий, — где купить лошадей?

Уйба покачал головою.

— Кто пасет скот на полыни? — усмехаясь, сказал он. — Где ты найдешь здесь киргиза?

— Как же нам быть?

— Отчего же не продолжать нам путь вместе?— с великим волнением вмешался Тит в разговор. — Уйба знает степи, как ладонь руки... Лошадей мы найдем где-нибудь... А вы, братья. — тревожно спросил он. — вы, братья, твердо ли знаете верную и краткую дорогу домой через степи? Не даром же господь нас соединил здесь, братья. Поможем друг другу!

Заброшенным в пустыне беловодским выходцам не оставалось ничего, как принять это предложение. Сам Уйба должен был примириться с ним. Долг гостеприимства не позволял оставить путешественников в пустыне на верную гибель.

Правда, он не мог освободиться от неприязненного чувства к ним, но подобно хозяину, уступившему свою лошадь Мелетию, он предложил своего коня уродливому товарищу.

— Мы раскинем кошмы для ночлега у первого ручья или колодца, — сказал он, становясь впереди каравана. — Я думаю, что еще до ночи мы найдем его.

Однако с двумя пешими отряд продвигался вперед не очень быстро.

Впрочем, никто, пожалуй, и не беспокоился об этом. Пораженный чудом встречи, Тит шел возле Мелетия, не замечая

ничего вокруг. Беловодские гости, едва держась в седлах от усталости, и вовсе не думали ни о чем, благодаря и без того крайне благосклонную к ним судьбу. Таня же с любопытством разглядывала и слушала беловодцев, забывши о себе.

Даже Уйбу, погруженного в заботу о ночлеге, мало занимал сейчас поход каравана. Он думал о воде и не торопился, дожидаясь, когда падут сумерки на степь. В сумерки вылетают на охоту болотные совы. По их полету старый киргиз, как всякий кочевник, без раздумья нашел бы пресное озеро или ручей. Он шел, поглядывая зорко вперед, и не беспокоился о медлительности каравана.

Темно-красное, как стылая кровь, огромное степное солнце наконец исчезло в багровой мгле. Сумерки быстро застлали землю и небо, оставив открытыми одни лиловые облака над закатом. Вечерняя свежесть резко повеяла над пустыней, и вдруг стала оживляться степь.

Сверля тишину, как тысячи буравчиков, начали перекликаться стрекозы, и вдруг неумолчным свистом их наполнился воздух. Шуршащие ящерицы выползли из щелей. Отвратительная фаланга убралась из-под ног Уйбы, мохнатым чудищем мелькнув по песку.

И вслед за другими хищниками выплыла на охоту болотная сова. За медленным и тяжким полетом ее долго и зорко следил киргиз.

Глава четвертая

НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами.

Пушкин

Не балуй шапкой: голова бо-
леть будет.

Примета

Уйба не ошибся. В лощине за темной каймою таволги отыскалась вода. Прозрачный родничок выбивал тонкую струйку из-под земли; она светлой нитью вилась по просторному руслу весенних потоков и исчезала в густой заросли камыша. Этой воды должна было хватить на всех путников и лошадей.

Обследовав место. Уйба вернулся к ожидавшему его отряду и объявил, что место для привала им найдено.

Усталый караван с большою охотою последовал за нам через серую полынную степь. Горький запах поднимали с остывших растений копыта лошадей; разливаясь в воздухе, плыл нежный аромат, напоминая о диком просторе и воле.

Провести арбу через заросли тала оказалось делом нелегким. Уйба к Тит должны были притти на помощь Тане. Усилиями усталого коня и людей повозку скатили в долину.

Бедоводские выходцы остались позади. Кажется, впервые с момента присоединения их к каравану представилась возможность монашку обменяться мыслями наедине со своим епископом. Он поспешил воспользоваться случаем.

— Парень в самом деле на Беловодье пошел, — грубо проговорил он, — вот молодец, право!

— А провожать-то ведь нам его придется! — ответил Мелетий тихо. — Забыл?

— Эка важность, проводим!

Маленький урод захохотал. Мелетий оглянулся на него, призывая к осторожности, потом спросил:

— Что ты?

— Ничего!

— Придумал что-нибудь?

— Может быть...

Мелетий спокойно откликнулся на зов Уйбы, и оба, прервав разговор, спустились к роднику.

Место для ночлега было выбрано удачно. Густая стена таволги и шиповника ограждала путников от степи. Орошаемые родником долинные травы были сочны и свежи. Казалось, сюда не доходил зной. Не приходилось искать и пастбища для лошадей.

Арба была разгружена, кошмы разостланы. Костер запылал прежде, чем странники успели рассестись. Аромат кирпичного чая смешался с запахом полыни. Уйба, памятуя о законах гостеприимства, не жалел запасов. Ужин над родником напоминал недавнее пиршество в юрте Абудхаира.

Длиннорукий урод, ловко хватая лучшие куски каурдака, был от восторга. Он дивился вместительности арбы и великой предусмотрительности Уйбы.

— Ай да киргизы! Вот молодец народ! — кричал он, разгрызая орешки баурсака каменными челюстями.

Глотая огненный напиток, Уйба заметил с упреком:

— Если ты хочешь похвалить народ мой или сказать ему приятное, то зачем называть его киргизами?

В голосе его звучала обида. Монашек подавился орешком.

— Подожди, — откашливаясь, пробормотал он, — да разве ты не киргиз?

— Мы не киргизы, мы из рода алчин, — поправил Уйба, — древний род хергис давно уже вымер. Нет его! Хергис был славный род, храбрый род. Хергисы наезжали на русские села и грабили их, а потом всех нас стали называть хергисами... Хергис это только род, а народ мой — казаки. Если ты пришел в степь, то тебе надо знать это. Я — казак.

Он произносил слово, деля его надвое, так что выходило «каз-ак», но оттенок этот не был замечен слушателями. Монашек воскликнул в изумлении:

— Казак? Так ты казак?

— Да, казак!

Он указал на Тита.

— А это кто, по-твоему?

— Русский!

Тит вмешался в спор.

— Уйба говорит правду, — сказал он, — киргизы называют себя казаками. Казак по-степному значит вольный человек. Кто ее знает? Может, и нас стали по ним звать! Ведь когда-то мы в самом деле были вольными людьми.

Он усмехнулся. Уйба, выслушав хозяина, спросил с любопытством:

— Разве и ты не слыхал никогда, откуда пошло наше название?

Тит покачал головою.

— Так я расскажу тебе, отчего мы — казаки, почему земля наша называется Казахстан.—заявил киргиз.—Я это знаю с тех пор, как родился.

— Расскажи, — предложил Тит,—это будет у нас, как в юрте, братья, разговор у очага...—пояснил он с улыбкой и вновь обратился к киргизу: — Рассказывай же, Уйба. Мы будем слушать!

Уйба понурил голову. Тит вытянул усталые ноги и закрыл глаза. Таня с оживлением стала глядеть на рассказчика: она любила анекдоты Уйбы, его разукрашенную речь. Монашек придвинулся к епископу, нагло шепчась с ним, но тот отодвинулся от него с раздражением. Тогда, выждав полной тишины, Уйба, тихонько раскачиваясь из стороны в сторону, начал рассказ. Он произносил слова нараспев и покачивался в такт ритмической размеренности своей речи. Она была более похожа на пение.

— Давно-давно тому назад, — пел он, — жил и правил кочевыми народами могучий и храбрый Аблай-хан. Был он господином степей от Урала до Алтая, от Барыбы до Кара-Кумов, и не было счастливее, могучее и богаче его человека на всей земле!

Уйба примолк на минуту и покачал головою. Он оглядел всех с усмешкой, призывая и слушателей посмеяться над неразумным человеком.

— Но ведь богатому хочется быть богаче, счастливому — счастливее! — сказал он и с грустью стал петь дальше: — Тогда задумал Аблай-хан стать господином всех степей, какие создал Аллах на земле. Он разослал слуг во все стороны света узнать, есть ли еще степные царства и много ли нужно войска, чтобы ими овладеть.

Уйба покачал головою. Он жалел ханских слуг, принужденных выполнять приказания неразумного владыки.

— Вот начали возвращаться слуги, — продолжал он, — и все свидетельствовали они, что ни на севере, ни на востоке, ни на

западе—нигде не нашли они другого владыки степи, кроме него! Только о южных пустынях никто не мог ничего сказать: до конца их никому не удалось дойти. Они непроходимы, покрыты сыпучими песками, безводны и мертвы...

Рассказчик вновь усмехнулся.

— Но вселился шайтан в Аблай-хана и не давал он ему покоя ни днем, ни ночью, требуя, чтобы послал он войска в пустыни, завоевал их и оставил там стражу и крепости на новых границах... О, шайтан, шайтан!

Уйба опустил голову, покоряясь могуществу зла.

— И вот призвал Аблай-хан своего полководца, славного Колчи-Кадыра, и повелел ему взять лучшие полки и отправиться в поход на южные степи и привести к повиновению всех государей, какие встретятся ему за пределами Кара-Кумов... Был Колчи-Кадыр верный слуга! Он не стал отказываться, а взял пять лучших полков и двинулся с ними в пески Кара-Кумов...

Нельзя было не вздохнуть над участью храбреца. Уйба прервал пение, чтобы дать слушателям время сделать это. Но уродливый монашек грубо нарушил жалостливую тишину.

— Всякому свое Беловодье на роду написано! — пробормотал он.

Никто, впрочем, не прибавил ни слова. И шевельнулся. Как эхо отдавалась у каждого в сердце киргизская сказка, и слушали ее с зажатым дыханием.

— Кто не знает страшных пустынь, прозванных Кара-Кумами? — продолжал рассказчик. — Кара-Кумы значит по-русски—черные пески! И черная смерть бродила в полках Колчи-Кадыра, и гибли воины его. один за другим в мертвой пустыне от голода и жажды... Но вел остатки их вперед Колчи-Кадыр, повинуюсь повелению хана. Роптали воины, но он не хотел слушать их! И вот однажды был покинут на произвол судьбы

храбрый Колчи-Кадыр, оставлен в страшных песках славный полководец... Он умирал от жажды и молил небеса избавить его от мук и позора!

Уйба живо чувствовал участь героя. Таня увидела слезы на его глазах. Но жалобный напев уступил место бодрому, когда вмешались небеса в судьбу верного слуги Аблай-хана. Уйба продолжал строго:

— Но сжалились небеса, и вместо черной смерти спустилась с небес белая каз-ак, белая, как облако, гусыня¹ и принесла умирающему испить. Она защитила его от зноя белыми крыльями, напоила его холодной водою, и остался по милости неба живым славный Колчи-Кадыр! Но не захотел он возвратиться к безумному Аблай-хану и просил гусыню не покидать его... И она осталась с ним жить. Небеса повелели ей стать женщиной, и она была женою полководца. Тогда вышли они из черных песков в Голодную Степь и здесь поселились как родоначальники. Стали потомки их из рода в род называться каз-аками, потомками вольной птицы и храброго вождя... Да и до сего времени еще Старшая Орда кочует в Голодной Степи. Там не знает народ наш иного имени, кроме «казак»!

Уйба оглядел своих слушателей.

— Вот док получил свое имя народ мой! — заключил он.

Никто не посмел улыбнуться. Даже монашек, кажется, был несколько тронут наивным рассказом. Мелетий же радушно сказал:

— Славная сказка, Уйба! Никогда не забуду ее... А ты, Тит, — обернулся он к юноше, — о чем думаешь?

1) Каз-ак по-киргизски—гусыня.

Тит лежал на траве, запрокинув голову, и глядел, как черный занавес ночи, осыпанный блеском звезд, застилал небо от края до края. Он думал о том, что не в первый раз укрывает оно искателей счастья и сотни лет назад-так же сияли звезды кочевникам, бродягам, беглецам и воинам, перекочевывавшим с места на место, с севера на юг и с востока на запад в поисках своего счастья...

Мелетий, не дождавшись ответа, положил руку на плечо юноши. Тит вздрогнул от неожиданности и резко отстранился, точно выполз из-под ладони. Это движение показалось Мелетию странным, он насторожился. Потом уже весь вечер он следил за молодым казаком.

А Тит между тем не заметил происшествия. Оно слилось с мечтою и не осталось в памяти. Он не расслышал вопроса, и Мелетий не повторил его вновь. Почувявший размолвку монашек пришел вдруг на помощь товарищу.

— Что задремал, Тит? — закричал он с резкой веселостью. — Хороша сказка, да под сказки спать хочется, Правда? Ну, спасибо тебе, казак! — обратился он с тем же шумом к киргизу. — За сказку спасибо и за ужин спасибо. Пора спать... А как же мы с лошадьми, братья, сделаем? Пуганая ворона и куста боится... А все-таки лучше будет, если мы сторожить станем по очереди... Мало ли что!

Уйба считал охрану совершенно необходимой. Лошади бродили в низине и могли уйти по свежим и обильным кормам. Он заявил, что первую половину ночи, наиболее опасную, будет сторожить сам; под утро же обещал разбудить монашка, всячески желавшего быть полезным.

— Да, для надежности, пожалуй, мы и оба посидим на заре, —с казал Алексей, разумея своего товарища, — а вы спите с

богом! Ведь завтра опять в путь, братья. И тебе, казак, — добавил он Уйбе, — нужен отдых.

Уйба помог Тане убрать остатки ужина. Когда все было прибрано, он спустился к лошадям в добром расположении духа. Услужливость длиннорукого монашка примирила его с путешественниками, и он, растянувшись на траве, затынул унылую песню бог весть о каких новых приключениях древних ханов и их полководцев.

Лагерь заснул.

Резкой ночной свежестью и теплом росой ложится под утро стенная ночь. Уйба назябся, устал и замолк. Ему захотелось укрыться теплым сном. На рассвете он вернулся к своим спутникам и застал монашка готовым его сменить. Он похвалил маленького уroda и указал, где паслись лошади. Монашек толкнул на ходу своего товарища, попрекнул его и спустился в долину.

Уйба пожелал успеха сменившему его сторожу и, завернувшись в кошмы, уснул, благословляя землю и небо за тепло постели.

Глава пятая

КОНИ И ЛЮДИ

Но так как ты сам виноват во всем,
То повинуйся судьбе, несчастный:
Павшему — кулаки! — говорит пословица.

Киргизская песня

Чорт, чорт, поиграй да опять отдай!

Заговор

Тит был разбужен бешеными воплями Уйбы. Он поднялся на ноги и увидел нечто необыкновенное. Киргиз лежал вниз лицом

на траве и оглашал пустыню дикими криками. Они прерывались проклятиями. Несчастный был неподвижен, и только руки его, сжимавшие в отчаянии голову, видимо, напряглись, чтобы стиснуть ее как можно крепче.

Тит подошел к нему, ничего не понимая. Уйба, не отвечая на вопросы, продолжал вопить и стонать. Наконец Тит поднял его силою и приказал отвечать.

Тогда, безнадежно махнув рукой на лощину, куда были отогнаны с вечера лошади, он сообщил:

— Две лошади пропали, хозяин!

Казак был объят бешенством. Оно предшествовало отчаянию.

— Ты же стерег их, — кричал он, — ты стерег!

Киргиз озлился.

— О, тогда они были здесь! — злобно проревел он. — Или у Уйбы пропадало что-нибудь?

— Когда же они пропали?

— Когда я уснул, конечно!

— А! Ты уснул... Уснул, бросивши лошадей?

— Их остались стеречь твои гости! Они обманули Абулхаира! Они обманули Уйбу... Они обманули тебя, хозяин!

Тит отшатнулся.

— Что ты болтаешь, Уйба. Что сделали гости? Где они?

Голос его был глух. Руки дрожали. С большим трудом удавалось ему продолжать свой допрос, который разбивался о каменное отчаяние Уйбы.

— О, они тоже пропали, — отвечал он, — они пропали !

— Кто пропал?

— Разве ты не видишь? Твои гости!

Киргиз был деликатен. У него не хватало духу высказать всю свою мысль хозяину. Он полагал, что тот должен был понять сам.

Намеки однако нисколько не трогали юношу. Чудовищная ложь Уйбы требовала немедленного расследования. Тит допытывался с холодной настойчивостью:

— Отвечай, где гости? Где лошади? Зачем ты говоришь загадками?

Тогда Уйба встал и провопил в ужасе:

— Они угнали наших коней, хозяин!

Киргиз дрожал — и не от сожаления, не от обиды: он был потрясен невероятностью самого факта. Тит понимал его.

— Кто угнал коней, Уйба? — переспросил он еще раз.

— Твои гости! — ответил тот.

Тит обратил наконец внимание, что ни епископа, ни монашка не было вблизи, что они одни только оставались глухи к безумным воплям киргиза. Но одного этого обстоятельства было еще слишком мало для мод подтверждения страшного обвинения. Тит схватил Уйбу за плечи и, жестоко встряхивая, поставил на ноги.

— Перестань реветь, — кричал он, заглушая не прекращающийся вой Уйбы, — ты сошел с ума. Как могут наши гости угнать лошадей. Подумал ты, что сказал?

Уйба притих. Но едва лишь Тит смолк, как он в новом припадке отчаяния охватил голову растопыренными пальцами.

— Где же лошади? Где же гости, если они не воры? — провопил он.

Таня в ужасе и с страшным предчувствием надвинувшегося несчастья глядела на споривших.

— Погодите, — перебила она их, — может быть, они увели их на водопой?

— О, водопой! — снова взбесился Уйба, услышав замечание хозяйки. — Разве мало им родника? И разве не все три лошади одинаково хотят пить?

Он бросился вновь на песок вниз лицом, свидетельствуя тем, что все слова напрасны и лучшее — отдаться отчаянию.

— Вероятно, они уехали поискать новых пастбищ... — растерянно пробормотал Тит, отвечая на безмолвный вопрос жены. — Или, может быть, им почудился зверь...

Уйба стал на колени, чтобы устыжающе взглянуть на хозяина. Трусливое нежелание признать несчастье было ему не по душе.

— О, пастбища! — укоризненно воскликнул он. — Да зачем же они увезли наши турсуки с кумысом? Где же эти пастбища? Я не вижу никакого признака человека и лошади в степи?

Он с горькой усмешкой обернулся к Тане.

— Пойди, взгляни ты. Глаз твой зорче моего, может быть, ты увидишь?

Таня взглянула на мужа. Они вместе спустились вниз.

— Уйба что-то напутал, — несколько раз повторил он, — что-то не так. Не может того быть Таня...

Он не желал произнести оскорбительные слова и умолк,

Третья лошадь, ходившая в арбе, равнодушно паслась в ложине. Она подняла голову, завидев приближающихся людей, но они прошли мимо. Полоса и очного пастбища в виде помятой, поваленной и затоптанной травы вела их все дальше и дальше. Широкая плешь на пригорке указывала место, где коротал ночь Уйба. Но сменившая его охрана относилась к своим обязанностям не столь легкомысленно. Никаких следов лежания нигде не было видно. Зато явственно были видны знаки возни возле лошадей. Здесь они были оседланы, отсюда свежий след промчавшихся всадников выходил из лощины в степь; он вился в полынных коврах в сторону от караванной тропы. Титу не нужно было слишком много времени, чтобы догадаться о намерении гостей, скрывшихся таким образом.

Он обернулся к Тане.

— Но ведь того не может быть! — тупо сказал он.

Таня выбралась наверх. Серая, полынная степь лежала перед нею безлюдной пустыней. Таинственная мгла исчезла с ночью. Утро было светло и прозрачно. Но зоркости ее глаз не хватило, чтобы проникнуть в беспредельный простор степи.

— Нет, я тоже ничего не вижу, — призналась она, оглядываясь кругом в бесплодной надежде заметить беглецов.

Предутренний ветерок, веявший над степью, становился настойчивым. Он заметал следы в степи и овеивал свежестью лицо Тани, окружая его золотистым венцом волос. Необозримый океан полыни покрылся заревом восходящего солнца. Веселое утро вставало над миром, чтобы принести горький день.

Грозное проклятие отца настигло наконец самовольную жену. Таня вздрогнула и спустилась назад в долину.

Она готова была принять безумный гнев мужа.

Тит сидел на траве, обняв колени. Ни малейшего жеста раздражения не выказал он более. Наоборот, он был исполнен смирения.

— Нет? — спросил он равнодушно.

— Нет ничего! — подтвердила она.

— Это испытание, — тихо сказал он, — принимаю его с радостью...

В темных глазах его блистало сытое счастье бездумной веры. Таня, далекая от религиозного безумия мужа, отнеслась к нему с сожалением... Но разве можно было найти другое объяснение бессмысленному происшествию?

— Принимаю, — повторил Тит и встал, — безропиво принимаю и господу благодарю... Пойдем, Таня!

Он, не взглянув более на жену, широко перекрестился и пошел назад. С какой-то особенной поспешностью он захватил

по дороге лошадь: точно торопился подтвердить богу и людям свою готовность выдержать испытание.

Он приготовил повозку и помог Уйбе подняться с земли.

— Уйба, — сказал он, — что ты, ребенок? Вставай и показывай дорогу. Сам господь будет нас снабдевать в пути питьем и пищей и силами. Идем!

Киргиз уже пережил свое горе. Глаза его высохли.

Он поднялся молча и взялся за дело без ненужных слез. В несколько минут караван был переоборудован из конного в пеший, единственный турсук наполнен водой и арба погружена.

Уйба обернулся к солнцу и, закрыв глаза, прочел правило Великой Ясы¹. Он знал законы грозного Чингисхана, как все киргизы, наизусть.

— Тот, у кого найдется краденая лошадь, — величественно читал он, — обязан возратить ее хозяину с прибавкой девяти таких же лошадей. Если он не в состоянии заплатить этого штрафа, брать у него детей, а когда не будет детей, то зарезать самого как барана!

Он поклонился в знак уважения к закону и прибавил с угрозой:

— Пусть помнят воры об этом!

Покончив с ночным происшествием, он пошел вперед. За ним последовала арба. Тит заключил шествие.

Горечью душного аромата пахнула в лица путников Полынная степь.

Солнце поднялось над краем серого океана, как-будто всплывая на поверхность с глубокого дна. И уже вяло зноем над

1) Так называется у киргизов кодекс законов, составленный Чингисханом.

равниною, стихал свист стрекоз, уходило в земляные щели ночное зверье и устанавливались, как цепь часовых, молчаливые суслики.

Тяжелый и страшный путь лежал перед искателями чудесной беловодской страны.

Глава шестая

НОВОСЕЛЫ

Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.

Некрасов

Худ идет на гору, худ идет под гору;
худ худу бает: ты худ, я худ, сядь худ
на худ, погоняй худ худом, железным
нутром!

Скороговорка

Две недели продолжался жестокий переход от верховьев Иргиза к берегам Ишима.

Преуменьшенно, как всякое отражение, он повторял собой тяжелый и неизменный путь всяких колонизаторов, То был вечный путь искателей! Они умирают от голода, задыхаются от жажды, падают от усталости, но всегда пробиваются вперед.

Лежал ли путь их в безлюдных пустынях, диких просторах, непроходимой тайге или неприступных горах, он был под силу только фанатикам, вооруженным непобедимою верою, только изгнанникам, которым нет дороги назад.

Отряд, возглавляемый Уйбою, обладал всеми этими свойствами. Он терпеливо сносил и голод, и жажду, и смертельную усталость.

Запасов, предложенных гостеприимным Абулхаиром, хватило ненадолго. Ни одного аула не встретилось более в степи. Голод угрожал уже с первых дней перехода. Добывать пищу в голой степи было нелегко. Охота на дроф стоила нескольких зарядов, и жирная степная дичь была редким лакомством. Чаше шло в пищу мясо сусликов, на которых охотились с палкою в руках. Горько-соленые озера были мертвы. Даже пресноводные ручьи и речки оказывались безрыбными. Большая часть их была обречена на пересыхание, и рыба в них не заходила.

Впрочем, в зарослях камыша, тала, осоки по берегам водилась болотная птица. Иногда она служила предметом настойчивой охоты Уйбы. Но охота требовала времени, а зной, голод и жажда — все гнало путешественников прочь из дикой, ославленной даже кочевникам и степи.

Ноги мужчин были сбиты в кровь. Они не привыкли к ходьбе. Таня могла продолжать путешествие в арбе, но часто оставляла ее и добровольно делила со всеми трудности похода.

У старого киргиза нередко срывались проклятия с сухих, растрескавшихся губ. Но Тит нес испытание с необычайной терпеливостью. Он не пытался даже объяснить поведение своих гостей, дважды спасенных им от многих бед и уплативших долг свой столь жестоким предательством. Он считал великим грехом искать объяснения воле божией.

Напрасно Уйба, прилаживая котелок над костром, или Таня, мечтательно глядя в звездное небо, пытались навести его на подозрения. Он выслушивал их без внимания и, только покачивая головой, повторял:

— Этого понять невозможно! Невозможно понять! Подождите, когда господу угодно будет открыть волю свою...

Правда, иногда, изнемогая от усталости, прикрывая спаленное дочерна лицо свое от иссушающего дыхания пустыни, спотыкаясь израненными ногами на ровной дороге, человеческим, слишком человеческим чувствам поддавался он. Но и тогда ничего иного, кроме молитвы, не приходило ему на ум; ни к чьей, кроме божией, помощи он не зывал.

В конце концов был Тит хозяйственный, крепкий, хитрый и сметливый казак. Он отлично понимал трезвым практическим рассудком, что никто другой и не сможет ему помочь.

Сзади оставил он суровую родину; как никому другому более, казалась она юноше только огромной казармой, раскинувшейся на полях и в лесах, всеобщей казармой с принудительной дисциплиной. Тут был бы подавлен с царской жестокостью, всякий бунт. И дорога, которой он двигался теперь, была все та же исконная русская дорога. По бокам ее то на курганах, то в ложбинах одиноко торчали деревянные самодельные кресты над могилами безвестных искателей счастья. Иногда, вероятно, их некому было даже зарыть: кости и черепа, вымываемые ветрами из песка, подолгу маячили в глазах путешественников... Только впереди лежала праведная страна!

Да и что же оставалось делать вольнолюбивому человеку, когда еще свежей кровью лежал у всех на памяти растерзанный с невероятной жестокостью Пугачевский бунт?

— Господи, помоги! — шептал Тит, когда отчаяние овладевало им, и вновь, кусая губы, чтобы не стонать, двигался вперед.

Уйба утешался грядущей местью похитителям коней; Тит — молитвой; Таня — надеждою, что испытание освободит ее от карающей силы отцовского проклятия.

Между тем каждый новый день пути становился труднее.

Уйба был удивителен в своей выносливости. Степь приучает киргизов терпеливо сносить невзгоды. Старый джетак, широкие кожаные сапоги которого прикрывали ноги уже только сверху, шагал вперед, не переставая распевать степные легенды. Даже от стеснительных одежд своих он не пытался освободиться и надевал по-прежнему бешмет поверх рубахи. Круглая шайка его казалась приросшей к голове. Он никогда не обнажал головы, и, вероятно, встретив его-без шапки, без бешмета, молодая хозяйка приняла бы за чужого.

Но если киргиз был привычен ко всем внешним трудностям пути, то молодым казакам приходилось преодолевать их сжав зубы.

Они не ленились, но и не любили труда. Их нельзя было назвать изнеженными, но такой подвиг был тяжел для них. Они жили в краю, где батрацкий труд слишком дешев. Они выросли в семьях, где джетаки заменяли рабов.

Пеленки маленького Тита стирал Уйба. Двухлетнему казачонку он заменял седло и лошадь, таская его на плечах верст за шесть в поле. Его будили, чтобы поносить на руках проснувшегося ребенка. С тех пор, как мальчик выучился говорить, киргизом стал распоряжаться еще один господин, самый требовательный. Он не шел, разумеется, в счет остальных хозяев и висел камнем, незамолимым грехом на душе батрака. С такими ношами люди бросаются в омуты.

Но киргизы были выносливы и беззлобны. В пропахших ладаном избах они заменяли рабочих и пахарей, нянек и батраков. Религиозный казак презирал всякого иноверца; для него он не был человеком с правом на боль и усталость. У киргиза было другое лицо, другой язык, другая вера — значит он не был «подобен господу».

Перекрестясь, можно было работать на нем как на лошади; благословясь, можно было гнать его как собаку. Отвернув глаза от иконы, можно было обмануть и обсчитать его как неверного.

И все это делалось. Тит вспомнил теперь, как черными мухами ползли капли крови по лицу Уйбы, когда отец проломил ему голову сердечником за неподмазанное колесо. Он не забыл, как дважды уходил от жестоких хозяев киргиз и вновь возвращался осенью, голодный, избитый и оборванный как блудливый пес. Он жил в землянке, похожей на конуру, и ему запрещалось переступать порог избы, чтобы не опоганить в ней воздуха.

Выросши с таким слугою и меж таких же, как он сам, сверстников, откуда же было быть Титу привычным к ходьбе, голоду, жажде, зною и дорожному труду?

Двух взрослых хозяев теперь уже не мог обслужить один слуга, переставший к тому же считать себя батраком в тот же час, как только сел он в седло впереди каравана. Он был добродушен, но, жалея то одного, то другого, глядя, как Тит обмывал сожженные ноги, стертые и не заживающие раны, он и мог только ласково говорить:

— Вот уже скоро будет Ишим... Там вверх по нему будут русские поселки, мы добудем коней и пойдем дальше легко, как на праздник. Скоро, скоро, Тит!

В действительности же русские поселки встретились гораздо раньше, чем ожидал Уйба.

Степь в этих краях беспрерывно меняла свой вид. Переселенцы из России прибывали с каждым годом все больше и дальше. Новых земель, годных для земледелия, уже не хватало. Поселенцы подолгу бесплодно бродили от поселка к поселку в поисках пристанища. Их нигде не принимали. Идти дальше не

хватало сил. Отчаявшись поселиться законным порядком они располагались самовольными хуторами, где придется.

Поселки с русскими названиями, повторявшими по большей части названия родных русских деревень, подвигались по Ишиму уже вглубь степи. Сосновки, Михайловки, Ключи и Архангельские встречались уже возле Терсаканя. Берега его были зазеленены, как и берега Ишима, вплоть до истоков.

Русское поселение издали Уйба принял за киргизскую зимовку. Вблизи оно оказалось еще более жалким. Глиняные землянки киргизских кстау¹ составили-бы счастье русского новосела. Его временное жилище представляло просто шалаш, густо прикрытый соломой, землей и навозом. Возле под открытым небом валялся нехитрый мужицкий инвентарь. Тут же паслись тощие, но пузатые лошади, бродили две-три курицы и грелся на солнце ободранный кот.

Самовольные поля захватывались с излишками. Шалаши строились на широких просторных участках. Но хозяйских сил не хватало, земляные постройки казались могильными насыпями, и вся новая деревня походила на бестолковый раскидистый погост за околицей села.

Впрочем, и вблизи ни с чем иным нельзя было сравнить деревенскую мертвенную тишину и безлюдье, как с кладбищенским запустением. Все невеликое население хозяйствовало на полях, на огородах, в степи. Даже детей и старух не было видно. Только у крайнего шалаша, дальше

1) Кстау — киргизские зимние постройки, в степях—глиняные, в лесистых местностях — деревянные, утепленные для житья зимою, но с открытым загонем для скота.

которого Уйба и не имел намерения двигаться, лежал на камышовой подстилке крестьянин да возле него, с тоской глядя на дорогу, дежурила хмурая девчонка.

Она равнодушно встретила путешественников, указала, где вырыт колодец, как пройти на реку, и даже разрешила расположиться невдалеке от собственного жилища.

— А, да ну-те вас. — лениво отвернулась она от назойливых странников при последнем вопросе, — становитесь, где ладно... Мне-то что? Не видите, помирает человек? Чего пристаєте?

Уйба отвел арбу в сторону и назначил место для привала. Отсюда решил он во что бы то ни стало тронуться на лошадях. Не ожидая раздобыться ими очень скоро, он огородил из кошм и повозки нечто в роде юрты. Тит остался возле больного и его хмурой сиделки. Крестьянин в самом деле умирал. Возбуждение, сопровождающее болезнь, уже исчезло. Чувства были подавлены. Он находился в полном сознании, но остался совершенно равнодушным к приезду новых людей и их разговору с девчонкой. Он видел, слышал и мог говорить, но отвечала за него она.

— Все горел, всё горел как печка, — рассказала она Титу, — а теперь видишь вот, стыть стал. Скоро землей покрываться начнет, — добавила она, — до завтра, чай, не дотянет, а?

— Не знаю, — ответил Тит и, несколько удивленный ее равнодушием, спросил: — Да он кто тебе? Чужой, что ли?

Девочка обиделась.

— Отец, чай, не видишь, что ли? — грубо возразила она. — Чтой-то я с чужим сидеть буду? Люди-то все в поле, а я не работаю... Чужой... — передразнила она, — скажет тоже. Кому охота с чужим няньчиться?

Тит смутился. Он не ожидал такой бойкости от хилой, прочерневшей насквозь, с голоду, грязи и зноя девчонки и с

осторожностью стал расспрашивать ее дальше. Она рассказала, что отец только с весны выселился на этот участок. Приехали же они из России зимой и жили до весны, толкаясь по людям и учреждениям в Акмолинске. Без всяких уже вопросов языкаястая девчонка объявила, что весь поселок живет впроголодь, работает от зари до зари, но на урожай надежд нет, и всем все равно придется помирать.

— Да, верно, — сказал вдруг отец, — лучше бы нам сидеть дома... А то на, Беловодье! Вот тебе и Беловодье, кузькина мать. Эх, вы!

Он не пошевелился при этих словах, и Тит не заметил никакого оживления на его лице. Он уже находился в том покойном состоянии, которое свидетельствует о близости конца. Только зрочки его неопределенно двигались, отыскивая свет. Зрение потухало первым. Но слышал он еще хорошо, без всякого напряжения.

— Ишь, все забывает, — ласково, как на ребенка, проворчала девочка, — позабыл, что избу спалили, а? Где твой дом, ну?

Крестьянин лежал на ворохе камыша, прикрытом какой-то рванью. В ласковой своей заботливости об отце девочка суетливо стала подправлять овчиновый полушубок в его головах и выбившиеся космы осоки из-под него.

— Мамка-то как умерла, — рассказывала она Титу, — сам пироги печь стал да и спалил полдеревни. Чуть не убили. Только что нас, сирот, пожалели. Что же там оставаться было, только людям на совесть? Да и н* подняться бы. Вот и пошли, вишь ты, белые земли искать. На новых местах, говорят, легче...

— А чем легче? — вступился опять отец. — Чем? Как вы без меня будете?

— А дома что ж?

— Дома-то к дяде бы, чай, пошли!

— Нужен он мне! — отрезала девчонка. — Как с тобой, так и без тебя. Хуже, чай, не будет!

— Не будет, знамо, — согласился отец и замолчал продолжая блуждающими зрачками отыскивать свет.

— Мать-то отчего померла? — спросил Тит.

— Подняла чего-то тяжелое, — ответила девочка и вдруг обратилась к отцу: — Пить хочешь, что ли?

Он молчал. С потерей вкуса и обоняния он не чувствовал ни голода, ни жажды. Уже второй день хитрая сиделка, стараясь застать его врасплох, добивалась напрасно от него ответа.

— Ни пьет, ни ест, — сказала она, оглядываясь на Тита, — видишь вот. Как же не умирает? Знамо, умирает.

Тит молча глядел на умирающего и его сиделку. Несколько времени они все молчали. Вдруг крестьянин пробормотал:

— Тучки, что ли, Настя?

— Какие тебе тучки? — сурово отвечала Настя. — Солнце во-всю палит. Не видишь, что ли, уж ничего? — спросила она.

— Не вижу, — признался тот, — темно, вовсе темно, не видать ничего. Думаю, тучки, что ли...

Зрачки бездействовали. Он закрыл ненужные более глаза. Мышцы мало-по-малу теряли способность повиноваться, и



усилия сдвинуть руки на грудь, как подобает умирающему, ни к чему не привели.

— Ведь ему и лет-то всего сорок шесть, — неожиданно сообщила девочка, — можно, чай, вылечиться. Да ведь тут докторов-то нету...

Крестьянин почти уже не слышал. Все тело его вдруг опустилось и вытянулось. Судорожно стиснутые до того руки, поведенные было к груди, теперь распрямились. В то же время черты лица стали резче, нижняя челюсть отвисла, рог открылся. Веки были только опущены, но незакрыты. В щели их светилась роговая оболочка глаза, но зрачки были недвижны и тусклы.

В них не отражалось ничего. Виски впали, нос заострился и подлиннел.

— Вот землей покрываться стал. — указала девчонка. — Мне, как мать умирала, бабка все показывала да объясняла. Знаю. Гляди вот...

В самом деле, лицо умирающего желтело и сквозь прозрачную желтоватость просвечивало синевою. Оно стало как-будто бы более продолговатым, вероятно, от подбородка, выдвинувшегося и приподнявшегося вверх со своей тощей бородашкой.

Девочка, подражая, должно быть, опытной бабке, подняла руки отца на грудь и сложила их крестом; затем тихонько подавила подбородок, чтобы сдвинуть челюсти.

— А то так и застынет, — пояснила она, — после уж не закроешь. Тятенька, да ты слышишь, что ли, меня, — крикнула она, наклоняясь к нему, — или уж не слышишь ничего?

— Слышу... — глухо прохрипел он.

— Ну вот, чего же ты помираешь-то? — сочла она нужным поговорить с больным. — Сам все в белые земли хотел... Ну вот они, белые-то земли! Что же ты? А? Не разберу. Громче!

Она наклонилась к его губам и, выслушав шёпот, тотчас передала ответ Титу:

— Кому, говорит, белые, а нам все черные! — и прибавила равнодушно. — Знамо, что так!

Несколько минут оба они глядели на умирающего, дожидаясь, не пошевельнутся ли еще раз его губы для последних слов. Но они не шевелились. Дыхание становилось медленным и неравномерным. За многими поверхностными следовал вдруг один глубокий и долгий вздох.

Ослабленные мышцы уже не могли более выводить кашлем слизь из легких, и она клокотала в горле.

— Ступай, тебя кличут, — указала вдруг Настя Титу, — что ты пристал тут? Не видал, как помирают, что ли? — презрительно добавила она.

Тит оглянулся и увидел, что Таня, махая руками, призывала его. Сзади нее дымился костер, и над ним на рогатинах болтался котел. Уйба возился подле него, должно быть, заваривая чай.

Тит пошел к ним. Уйба поднялся навстречу хозяину. Верный слуга успел уже обежать поселок, поговорить с новоселом у костра и узнать все новости.

— О, новая деревня, — наскоро повторял он. — с весны только пришли. Голодают. Лошадей и себе нет. На коровах пахали. Осенью разбегутся. Земли не знают, сеяли не то, что надо... Пропал народ, — покачивая головою, заключил он и повторил трижды: — пропал народ, даром пропал!

Отдых был не весел. Тит не сказал ни слова жене, но оба они думали об одном и том же: не суждено ли было и им вот так же даром пропасть?

— В Беловодьи, чай, земли получше? — пугливо спросил Тит киргиза, оглядывая жалкий поселок.

— Дело не в земле, — отвечал тот угрюмо, — дело в том, что надо знать, где что сеять, как хозяйствовать. А тут все новое.

Багровое солнце, быстро остывая, точно от поднимавшейся с реки прохлады, падало на прибрежную заросль. Шалаши, дороги, поля на них, речная зелень — все подернулось тонким налетом медно-красного цвета; стали бронзовыми соломенные курганы и тонкая фигура девчонки над умирающим отцом.

Тит долго смотрел на нее. Вдруг острый, пронзительный вопль пронесся в вечернем покое: то всхлипнула, всплеснувши руками, и завывла птичьим резким голосом Настя. Она причитывала с выразительностью и толковостью опытной плакальщицы.

— Тит встал и перекрестился.

— Умер, — сказал он.

— Покойник к счастью, — заметил Уйба, — от него хорош будет путь.

Точно отзываясь на тонкие вопли девчонки, стал показываться на тропинках в деревне народ. Может быть, и в самом деле пронзительный плач, несшийся по степи, был принят за повод вернуться домой раньше ночи. Во всяком случае, как ни велика была усталость, никто не отправлялся сразу к своему шалашу, но каждый сворачивал к покойнику и становился в круг около него.

Скоро за спинами обступивших умершего скрылись и камышовая постель, и покойник, и плакальщица. Только птичий голос ее, надрываясь, продолжал разноситься над широким простором самовольной деревни.

Он вычитывал перед собравшимися или перед столь же сумрачным и молчаливым небом историю мужицкой жизни, и перед кем же не воскресала в тот час собственная жизнь?

— И не поносил ты своего суконного кафтанчика,— рыдая, рассказывала девочка, — одну спину да рукава из огня вытащили. «Вот, говорил все, приколю сукна и заново справим...» А теперь и рубахи новой на смерть не приготовил... Буду я тебя класть, сирота, в стираную! Да и, господи, что же это за жизнь такая горемычная! — взвизгнула она, выходя из певучей монотонности, и заплакала вдруг просто и искренне, совсем по-детски, над собственной своей участью, забыв об обязанностях плакальщицы перед покойником.

Кто-то пытался ее утешать. Это напомнило ей о долге перед отцом. С новою охотою заверещал птичий ее голосок:

— Что же ты оставил нас с Петькой сиротами горькими, а вот все божился, — припомнила она, — что справишь нам осенью, как хлеб уберем, по обуви, ему — яловые, а мне — со скрипом, на резинках, с ушками! Кто мне их справит? Буду ходить теперь в валенках, горе мое горяшко!

Плач ее с каждым новым приступом отчаяния становился пронзительнее и резче. Он несся по вечерней тишине через головы собравшихся над покойником и донимал все живое вокруг.

Обняв колени, опустив на руки тяжелую от дум голову, слушал Тит. Глазами, переполненными слезами, глядела на лиловый закат Таня. Угрюмо прихлебывал раскаленный чай свой Уйба; может быть, в первый раз за всю жизнь не чувствовал он при этом обычного наслаждения. Плачущая девчонка незримым ядом окропила все вокруг себя.

Киргиз не выдержал наконец. Он с досадой выплеснул остаток чая и встал.

— Слушай-ка, хозяин, — сурово прикрикнул он на пригорюнившегося казака, — здесь не скорее добудешь коня, чем

в голой пустыне. Для чего же нам сидеть здесь и плакать над чужими покойниками?

Тит взглянул на жену.

— Хорошо, — согласился он, — тронемся завтра чуть-свет... — и спросил тихо: — Много ли, Уйба, остается нам?

— Большая половина дороги позади, — ответил тот, — зима застанет тебя под крышей!

— Под какой крышей?

Тит оглянулся на убогие шалаши и вдруг впервые за весь путь с ужасающей ясностью представил себе безнадежность своего предприятия: ведь и этот новосел, над которыми причитывала девчонка, шел в белые, свободные земли за счастьем! Он зажмурил глаза, встряхнулся, затем встал лицом к востоку и начал молиться.

Глава седьмая

НА ЯРМАРКЕ

Веселый говор, крик, торговля,
Писк дудок, песни мужичков
И ранний гул колоколов—
Все в гул слилось.

Никитин

С вестей пошлин не берут

Пословица

Представления Уйбы о днях и числах были смутны. Он не привык к русскому календарю и забыл свой. Все-таки, лежа под открытым небом, ему удалось по звездам и месяцу установить

время. Оно совпало по всем приметам с разгаром ярмарки в Атбасаре.

Киргиз был взволнован сделанным им открытием. Он едва удержался от искушения немедленно разбудить хозяина, но утром, так рано, как только позволял рассвет, он поднял его на ноги.

Тит открыл глаза с уверенностью, что проводник сообщит ему о новом несчастье с последним конем. Он приготовился спокойно снести и это.

— Что случилось, Уйба? — спросил он.

Киргиз стоял перед ним, скрестив на груди руки.

— Нынче твой бог рыскал по степи, — весело сказал он, — и увидел твоё положение и пожалел твою молодую жену, а с меня согнал сон, и вот я вспомнил, Тит Палыч, — с усмешкой, но твердо провеличав хозяина, заявил он, — что если мы с тобою поторопимся, то застанем ещё ярмарку в Атбасаре!

Тит вздохнул, благодарственно перекрестился за то, что ничего не случилось, и тогда сел на землю, обняв колени. В сонные глаза бил резкий свет розового пожара.

Тяжелый туман, ползавший по степи, разом охватил согретое сном и постелью тело. Он зевнул.

— Зачем нам ярмарка, Уйба? — лениво спросил он.

Уйба начал объяснять ему значительность и важность пришедшего к нему ночью откровения. Он ещё раз сослался на рыскавшего в степи русского бога, без помощи которого, по его мнению, он никогда бы не смог вспомнить о ярмарке в Атбасаре.

— Да почему же нам нужно сворачивать в Атбасар? — вновь спросил Тит.

— О, — рассердившись, воскликнул киргиз, — мы узнаем там все новости, какие живут на свете, и купим коней!

— И для этого делать такой крюк? — смеясь, сказал Тит, освеженный туманом и настойчивой болтовней проводника. — Стоит ли, Уйба?

— Зато у нас будут лошади, чай и сапоги, — возражал киргиз, — и мы догоним то, что потеряем!

— Разве иначе нельзя добыть лошадей?

— Нет!

Тит задумался. Уйба продолжал:

— Здесь нет ни одного аула, а у русских пашут на коровах. Может быть, взять корову? — издеваясь, доказывал он, необходимость свернуть с дороги в Атбасар. — Кстати, ее будет доить хозяйка, и вместо чая мы будем пить молоко...

— Сколько дней пути до Атбасара?

Уйба положил на путешествие не более трех дней, и Тит согласился немедленно тронуться в путь.

Киргиз немного ошибся в своем расчете: тяжелая дорога отняла у измученных путешественников пять дней. Но уже к вечеру четвертого дня они очутились среди ярмарочной суеты.

Ярмарка занимала огромное пространство перед городом. Вытопанная степь представляла здесь один сплошной выгон. Он был покрыт отарами овец, табунами лошадей, караванами верблюдов, груженных бьюками сырья. В самом городе происходила только торговля европейскими изделиями. Сюда, же стекались кочевники со своими стадами. Здесь продавался и выменивался скот. Отсюда уже, распродавши свой неуклюжий товар, отправлялись степные жители в город закупать чужие изделия.

Из самых дальних, из самых глухих уголков степи прибывали сюда продавцы со стадами. Некоторым из них приходилось выходить со своих пастбищ за недели и месяцы,



чтобы поспеть на ярмарку, и столько же тратить на обратный путь. Немудрено, что ярмарка была великим событием в степи.

Целый день пробиралась арба наших путешественников среди других скрипучих арб, телег, пешеходов и всадников, ржущих коней и ревущих верблюдов.

Никто не обращал на них внимания, но Уйба зорко приглядывался к веселым смуглым лицам кочевников, попадававшихся навстречу. Ярмарки, привлекающие миллионы киргизов, служили местом самых неожиданных встреч. Старый киргиз когда-то сам пригонял сюда свои отары и теперь не мог не вспоминать в пестром шуме жизни своей собственной молодости. С нею вспоминались люди и лица. И не раз за день вдруг взволнованно окликал Уйба то одного, то другого незнакомого старика. И, чтобы выйти из неловкого положения, он расспрашивал, не продажны ли их кони, и какова нынче на ярмарке цена хорошим лошадям.

Чем ближе к городу, тем становилось труднее пробираться вперед. За полторы—две версты толпа была густа настолько, что двигаться дальше было немыслимо. Уйба свел с дороги арбу и поставил ее в ряд с другими, на только-что освободившееся тут место.

Новые люди были приняты соседями как гости, со степным гостеприимством и казанским радушием. Ярмарка была праздником для всех этих кочевников, ме-яцами не видящих ничего, кроме овец, лошадей и баранов. Не было ничего удивительного и в том, что новоприбывшим было тотчас же предложено угощение. Для них был открыт турсук с кумысом и каждому поднесена новенькая жестяная кружка с драгоценным напитком.

Вслед за тем у высокого колеса арбы, как у очага в юрте, последовал оживленный обмен новостями. В нем со стороны новоприбывших, впрочем, участвовал один Уйба.

Оглушенная шумом, зноем, пылью и духотою, обессиленная усталостью, голодом и отчаянием, Таня испуганно озиралась с вышины своей арбы. Никогда в жизни не приходилось еще ей видывать такое множество людей и животных, такую суету, шум и пестроту.

То полосатые как арбузы, то клетчатые как решетки тюрьмы, то усеянные красным горошком по синему полю, то желтыми яблоками по зеленой листве двигались шелковые бешметы по дороге меж арб, среди караванов, неуловимо, точно цветы в волнующей степи.

Женские джаналыки всех оттенков, яркие как тюльпаны весной, мелькали повсюду. Ветер разносил их над юлпою, и тогда они напоминали радужные крылья пчел над цветущим лугом.

Вокруг оленгчей, устраивавших свои концерты в этой сутолоке, собирались веселые венки нарядных девушек и парней. Певцов заглушал рев верблюдов, испуганных шумом и толкотней. Но слушатели только теснее смыкались вокруг да наклоняли ухо поближе к сидящим на земле артистам.

Не менее не благословенной своей жены был ошеломлён всей этой пестрой суетою и сам Тит.

С тоской изгнанника и грустью чужеземца он смотрел, как с хозяйской торопливостью спешили кочевники в город, как возвращались оттуда. Они весело пробирались в толпе. Сверкающие чайники, кружки, ведра, котелки звенели за их спинами. Уздечки, ножи, топоры, косы то-и-дело передавались из рук в руки; покупка шла за новость, которую можно было обсуждать с любым встречным знакомцем. Отрезами шелка и

ситца хвастались покупатели целые дни, показывая их всякому, кому было не лень остановиться.

Облокотившись на колесо арбы, не заражаясь нисколько общей веселостью, рассматривал молодой казак все это скользящее, мелькающее перед ним.

Между тем Уйба, занятый болтовней с земляками, успел не только повыспросить о чужих, но и рассказать о собственных приключениях, намерениях и событиях. Тит, до сознания которого иногда вдруг доходил смысл рассказываемого, вдруг услышал, как Уйба описывал пропажу лошадей. Он не скупился на бранные слова по адресу епископа и монашка и не жалел поэтических образов из имевшегося у него запаса, чтобы дать портреты воров.

— Это были змеи, родившиеся от фаланги и скорпиона, которые свили гнездо в сердце моего хозяина... — повествовал он.

Тит повернулся к собеседникам, чтобы прервать киргиза, но старейший из слушателей опередил его.

— Э, погоди, бай, — вежливо остановил он рассказчика, — погоди, не спеши. Я хочу тебе сказать два слова, может быть, они тебе пригодятся...

— Говори, говори, бай! — охотно приостановился Уйба. — Слова твои дороже табунов...

— Если не табунов, то двух коней они стоят, усмехаясь, отклонил любезность старик, — Ведь ты, говоришь, потерял двух лошадей?

— Двух, бай!

— И приехал сюда, говоришь, чтобы добыть себе, новых ?

— Именно так, бай!

— Во всяком случае не вижу я надобности покупать чужих лошадей, пока есть свои...

— Были, бай! — спокойно поправил Уйба.

— Но ведь они не сдохли и ты не снял с них еще шкуры! воскликнул старик. — Ты можешь вернуть их!

— Да! А пока бить ноги вместо лошадиных копыт, — заметил Уйба и приподнял черными пальцами бесполезные покрышки расплзавшихся по швам легких сапожек. — Нет, бай, так не годится. Вот если бы ты сказал мне, где они, наши кони, так, верно, были бы слова твои мне дороже табунов и отар!

— Вот это я и собирался тебе сказать, — спокойно отвечал тот. — Я уже узнал тех, о ком ты рассказывал!

— О, ты знаешь их?

Уйба застонал от любопытства. Тит оглянулся на говорившего. Старый киргиз, суровый и строгий, как предзимняя степь, взглянул на молодого казака.

— Послушай и ты, хозяин, - пригласил он его, — дело это, я думаю, будет тебе по душе. Не далее, как неделю назад, двое русских здесь ни ярмарке пробовали продать верховых лошадей, да покупателю дело показалось нечистым, потому что лошади были слишком загнаны, и он стал спрашивать, отведя коней в сторону, нет ли на них тавр или отметин? Таков уж наш обычай, — объяснил он Титу, — иначе кто бы не накупил краденого?

Даже и при всей своей вежливости Уйба не был и силах удержаться от вмешательства в стройную речь киргиза,

— Ну и что? — закричал он. Поймал он воров, этот мудрейший из казаков, — пусть плодится его скот, как мухи на падали? Поймал?

— С двух слов, — ответил киргиз,

— Где же они, бай, где?

Их отпели и станичное управление: они — русские, и мы не хотели судить их по закону Великой Ясы, чтобы не ссориться с русскими начальниками,

— А кони?

Коней водили два дня по ярмарке, да никто не признал их своими. Теперь, бай, посоветовал он, ты пойди с хозяином и станичное управление и погляди, не ваши ли кони стоят в загоне у начальника, где держат всякий бесхозяйственный скот...

Уйба задышался от волнения и счастья. Он кланялся, прижимал руки к груди и взволнованно оглядывался на хозяина, призывая его делать то же.

Тит поблагодарил старика и спросил о судьбе захватчиков коней.

Киргиз отвечал, как о вещах, не стоящих внимания;

— Сидят в клетке. Говорят: их сейчас же признали по бумагам, как беглых из Оренбурга. Станичные начальники говорили, что эти люди делали сами деньги...— проворчал он и, припоминая, вероятно, рассказ Уйбы, прибавил: — Ты плохих гостей принимал, хозяин! Поблаговари своего бога, что они только увели лошадей. Такие у нас в степи не боятся и убить человека...

Тит смутился. Впервые, хотя и на мгновение только, вспыхнуло в нем подозрение. Оно, как блеск молнии, осветило вдруг все то, что было до сей поры неясно и темно в поведении беловодских гостей. И неприязнь, которою встретил он епископа с прислужкой, теперь объяснилась ему... Но все это продолжалось не долее чем вспышка молнии. Он обернулся к Уйбе и сказал:

— Уйба, не про наших коней идет речь!

— Но посмотреть, посмотреть надо, хозяин! — со стоном воскликнул он.

— Да, мы поглядим!

Тит кивнул головою и с недоверчивой усмешкой передал Тане известие. Она, наоборот, приняла его с радостью.

— Слава богу, лошади нашлись! — засмеявшись, закричала она. Уйба, ступай же скорее на ними.

Старый киргиз простер свою вежливость до того, что вызвался проводить гостей. Он, разумеется был небескорыстен. Его интересовало более собственных дел развитие новости о двух конях, ворах и неожиданно нашедшиеся теперь хозяевах. Новость гуляла по ярмарке все еще без продолжения и конца. Старик мог стать первым вестником ее развязки.

Он вел гостей с охотою и едва удерживался от наслаждения уже теперь, останавливая встречных, сообщать им историю своих спутников. Уйба расталкивал прохожих, улыбался и только иногда с опасливым ожиданием оглядывался на своего молчаливого хозяина.

Тит следовал за ними спокойно, Он с любопытством приглядывался к оживленным, праздничным лицам. Шумное веселье подымалось к вечеру со всех сторон, то тут под плясовые напевы зурны, то там под песни олеигчей, то под звон домбр у балагана, то просто под горластый вой сбывшего удачно стадо киргиза, среди улицы и толпы.

В городе, представлявшем, собственно, захудалую казачью станицу с двумя тысячами жителей, теперь не было и следа деревенского житья.

Песчаные улицы били переполнены людьми, арбами и верблюдами. Мелкая пыль стояла над ними как туман в степи. В узких проходах между крытыми одной сплошь крышею торговыми рядами пришлось пробиваться чуть не силою. Киргизы глотали пыль без всякого выражения неудовольствия. Но Тит морщился, чихал и кашлял. Попытки его уговорить проводника свернуть куда-нибудь в сторону оставались бесплодными.

В шуме и толкотне нельзя было ни говорить, ни слушать, ни тем более выбирать дорогу.

Впрочем, станичное, управление как везде, так и здесь помещалось и самом центре города, на базарной площади, позади единственной церковки и напротив мечети. Волей-неволей нужно было пробиваться вперед среди ярмарочной бестолочи. Загон же с бесхозным скотом, всегда переполненный во время ярмарок, помещался тут же в огромном дворе правления.

Тит вздохнул с облегчением, узнав, что дальше идти не нужно.

Станичный писарь, усатый малоросс, принимавший просителей, жалобщиков и заявителей всякого рода тут же во дворе, сидя на крылечке, выслушал новоприбывших и согласился, что кони могут оказаться и теми самыми, которых ищут просители. Он не прибавил к тому по ленности ни слова. Несколько минут продолжалось молчание. Писарь глядел мимо, в ворота, настежь распахнутые, где толпился праздный народ, Уйба волновался, киргиз ждал, Тит же, дивясь тому, что не видит ни одного казака нигде, осматривал правленское хозяйство. Оно было не велико, Но под навесами кормилось с полдюжины превосходных лошадок. Возле них хлопотали киргизские бешметы,

Тит не выдержал и, подталкиваемый Урбой, спросил почтительно, что же думает начальник об их деле,

Тот взглянул на докучливого посетителя и посоветовал ему справиться у казака, где те кони, о которых шла речь, и посмотреть их, а не приставать к нему с пустяками.

Тит оглянулся и, не увидевши ничего похожего на казацкую рубаху, спросил, где господни писарь видит казака. Тот выругал бестолкового парня и ткнул толстым пальцем в сторону бешмета, хлопотавшего под навесом.

— Вон казак, дурья твоя голова, — пояснил он. — У нас не Россия, одеваются по-степовому!

Тит отправился к казаку в бешмете. Тот заявил, что на тех конях возят воду, и предложил обождать, когда казак с конями вернется.

— А ты думал, даром твоих коней кормить будут? — заметил писарь и ушел.

Просители уселись поодаль на длинную скамью, служившую одновременно и местом ожидания для просителей и привязом для казацких лошадей.

Седой киргиз с коричневым и блестящим, как прокопченная рыба, лицом, сидевший тут, немедленно вступил в разговор с новыми людьми. Он расспросил их, зачем они пришли к начальнику, и затем стал рассказывать о своих делах. Он оказался таким же джетаком, как Уйба, но занимался он тем, что провожал обозы русских переселенцев из одного конца степи в другой, указывал земли, давал советы и всевозможные справки.

Теперь он вел группу русских крестьян из Кокчетава в Акмолинск, а может быть, и дальше в горы, смотря по тому, как понравится им Приишимье.

— Ждем атамана, — сказал он, кивая на своих молчаливых спутников, тупо прислушивавшихся к киргизской болтовне, — будем просить пособие на переселенцев. Русский царь даст деньги. Почему же их не взять?

Он усмехнулся и, прищулив узкий глаз, долго глядел на Уйбу. Покончив со своими делами, он начал расспрашивать о намерениях Уйбы. В этот момент, как раз в таком же костюме кочевника, как и работавший под навесом, проскакал через ворота казак, держа на поводе четырех лошадей. Двух из них тотчас же признал не только Уйба, но и Тит. Уйба, бросив своего собеседника, с неистовым воплем кинулся к лошадям, и они



приостановились, услышав голос. Казак соскочил на землю и с любопытством задержал свой маленький табун.

— Эге, — крикнул он, — твои, что ли?

— Мои, мои! — вопил Уйба.

— Вот что... — равнодушно подивился казак. — Что же ты раньше не шел за ними? Ну, расскажи, какие ты тавры на них знал?

Уйба быстро перечислил свойства, приметы и особенности своих коней. Он доходил до невероятных подробностей, самого интимного при этом характера. Окружившие его, лошадей и казака киргизы, крестьяне и тот любопытный, вечно шляющийся по местам, где постоянно происходят разные случаи, народ — все с величайшим одобрением слушали Уйбу.

Принадлежность коней была установлена быстро и бесспорно. Вышедший на шум усатый писарь разрешил передать их в руки хозяев. Общее удовольствие при этом выразилось в хохоте, криках, пожеланиях, советах и беззлобной витиеватой брани.

Киргиз, приведший хозяев, напомнил о конокрадах. Он потребовал при общем одобрении, чтобы воры были выведены немедленно на суд толпы.

— Пусть не шляются больше в степи, — кричал он, — не уводят коней!

Призыв был тотчас же поддержан зеваками, жадными до новостей и, событий. Но равнодушный писарь даже не почел нужным откликнуться на вопли. Присев на ступеньках, он молча созерцал буйную толпу. Спокойствие его, впрочем, действовало не менее, чем всякие иные охлаждающие средства. Оставленные без отклика вопли киргизов угасли, как светильники с иссякшим маслом.

Тит, молча взиравший на все происходившее, подошел к крыльцу.

— Послушайте меня, господин писарь, — сказал он, и тот удивленно поднял глаза на парня, насилиу вязавшего слова от волнения, — позвольте мне повидать этих людей...

— А для чего же это тебе понадобилось? — строго спросил писарь.

— О, — взмолился Тит и даже руки протянул вперед, — я только слово, одно слово опрошу у них... Одно слово, господин писарь, а от того слова моя жизнь может повернуться на другое!

— А бить ты их за то слово не станешь? — подозрительно спросил писарь, тронутый необычайной горячностью юноши.

— Никогда, господин писарь. Разве я сам не знаю, что можно, что нельзя? — заверял Тит. — Нет, я только одно слово спрошу. Пусть держат меня за руки казаки. Пожалейте мою жизнь! Она от того зависит...

— Жизнь?

— Да, жизнь!

Писарь был этим признанием смущен более, чем каким угодно другим. Оно ставило его в необходимость разрешить свидание. Он сказал сухо:

— По мне бы уж лучше, чтобы ты просился им морды набить, чем так. Ну, да твое дело, ступай.

Он подозвал казака и велел проводить Тита к арестованным.

— Не баловать там! — напутствовал он его. — А то, гляди, сам за решетку сядешь.

— Слушаюсь! — отвечал тот с тоскою, и оживление, с которым он встретил было приказание, сошло с его лица. — Подумаешь, — проворчал он, отойдя с Титом на достаточное расстояние от крыльца, — подумаешь, какая церемония. А сам

лупит каждого — и правого и виноватого. Себе все можно, а мне — и конокрада не тронь...

Тит молчал. Сплюнув в сторону, замолк и казак.

Оставшиеся на дворе жадные до развлечений люди вновь принялись обсуждать происшествие. Некоторые бросились было вслед за Титом с явным намерением проскользнуть вслед за ним, но единого окрика с крыльца было достаточно, чтобы закаменели смельчаки.

Писарь встал и, покрутивши усы, равнодушно окликнул казака, занимавшегося под навесом с конями.

— Гони-ка всех со двора да запри ворота! — сказал он и под шумный ропот оскорбленного приказом люда величественно поднялся со ступенек.

Веселый казак немедленно привел приказ в исполнение и объявил, что занятия в правлении окончены.

Глава восьмая

ВСЯКОМУ СВОЕ БЕЛОВОДЬЕ!

Сказка — ложь, да в ней намек;

Добрым молодцам — урок!

Пушкин

— Чего ищешь?—Да рукавиц!—А

много их было?—Да одни!—А одни—

так на руках.

Прибаутка

Для содержания преступников по случаю ярмарочного времени был отведен сверх постоянного помещения еще и чулан в глубине здания. Тит был проведен туда длинными, непонятно

откуда взявшимися тут коридорами. Вместо часового, против двери стояла лишь его винтовка. Сам же караульный, вынужденный охранять теперь два помещения, большую часть времени проводил по середине хода между ними. Здесь было прохладно, темно и не лезли в нос мухи. Явился он после того, как казак, приведший посетителя, в течение нескольких минут производил оглушительный шум в коридоре. Он наводил на мысль, что все заключенные зараз и вместе принялись громить здание, вырвавшись на волю.

Но привыкший к подобным шуткам часовой явился на зов без всякого испуга. Он отнял у казака винтовку, прикладом которой тот колотил в стену, и поставил ее на место, а потом спросил уже:

— Ну, что дуришь?

— Вот, прими посетителя, — отвечал тот, выдвигая вперед Тита. — Дай свиданку!

— С кем?

— С теми, что на лошадях попали.

— А, фальшивомонетки! — догадался караульный. — Оренбургские! Тебе, значит? — обратился он к Титу.

— Мне, — смущенно подтвердил тот.

— Ну так что же ты тут бушевал? — строго спросил теперь он сопровождавшего посетителя казака. — А?

— Мое дело — привести, твое — исполнять!

— Что ж, я за ключами пойду, дверь буду отпирать ему, что ли? Волчка нет, да?

— Меня не касается.

Караульный открыл круглую заплаточку, прикрывавшую отверстие в двери, и показал на него Титу.

— Видайся сквозь него, — заявил он, — дверей не отпираем для всяких.

Тит был даже рад уклониться от всякой другой близости к арестованному. Так легче, казалось ему, было оставаться спокойным.

— Мне только спросить... — пробормотал он.—Мне ничего не надо больше.

— А, ну вот, спрашивай.

Он отошел от дырки, и Тит, пододвинувшись к ней, увидел чулан, обращенный в камеру. Самого его оттуда нельзя было разглядеть. Даже воткнувшись в отверстие, он мог бы показать бывшим в камере только свои глаза и переносицу. По ним человека узнать трудно. Никто из арестованных и не изъявил особого любопытства глазам, появившимся в окошечке.

В чулане было темно, мрачно и холодно. Но затемненного частой решеткой окна все же было достаточно, чтобы разглядеть арестантов. Их было четверо, и двоих из них тотчас же признал Тит. То были неразлучные беловодские товарищи, с которыми судьба в третий раз сталкивала его.

Длиннорукий монашек, стоя на скамейке, заглядывал через решетчатое окно на улицу. Мелетий же лежал, вытянувшись, на полу, у стены. Он с любопытством рассматривал нос, показавшийся в волчке.

— Братья, — позвал Тит, — братья, узнаете вы меня?

При всей неожиданности появления Тит был признан товарищами тотчас же по одному голосу. Алексей оторвался от решетки и засмеялся.

— Никак нашего дурака привели? — сказал он, но не двинулся с места. Бесполезно было бы тянуться ему к волчку с его ростом. — Пойди, — предложил он товарищу, — нас кличет...

Мелетий встал, как видно было, без всякой охоты и любопытства. Религиозная тупость казака надоела ему. К тому же

он отлично знал, во что может вылиться злоба уральского изувера. Он ожидал брани, криков, угроз и проклятий и, только чувствуя себя обязанным вынести все это, он подошел к двери, правда, охранявшей его от чего-нибудь большего.

Вблизи через волчок ему было видно спаленное зноем и ветром исхудавшее лицо, но не настолько, чтобы он мог судить и о чувствах, волновавших юношу. Но о них, казалось ему, нельзя было иметь двух мнений, и он метнул суровый взгляд в окошечко.

— Ну, святоша, доказывать, что ли, пришел? — крикнул он с наглым вызовом, и отвернулся, столкнувшись со взглядом парня.

— Нет, что ты, что ты! — поспешно отвечал Тит. — Нет. Нечего мне доказывать на вас!

Мелетий приблизился к окошечку, недоуменно слушая хриплый шёпот юноши. А Тит, волнуясь, продолжал:

— Вы сами на себя доказали. Коней брали, не богу служили, дьяволу служили. Не мне вымещать, господь выместит.

— А тебе что надо?

— А мне, а мне, — захлебываясь и волнуясь с каждым словом все более и заметнее, бормотал Тит. — мне от вас два слова только надо. Пожалейте, братья, пожалейте, скажите, а на Беловодье идти ты меня, брат, чьим благословением благословлял — божьим или тоже дьяволовым?

— Дьяволовым, вестимо! — резко отвечал тот.

— Дьяволовым... — повторил Тит и смолк, точно казненный.

Мелетий с любопытством поглядел на него. Степной загар не скрыл бледности, покрывшей вмиг осунувшееся лицо юноши. Дрожа, он схватил рукою за краешек окошечка, точно хотел разорвать его, чтобы просунуть внутрь голову и рвануться на дьяволова слугу..

Казак, наблюдавший позади за свиданием, не слышал, о чем шла речь; но обуявший посетителя гнев не укрылся от него. Он отнесся к нему с полным сочувствием, забыв о наказе.

— Дай, дай ему! — закричал он, — Лезет кулак-то. Дай! Сквозь волчок можно, ничего. Дай!

Он привстал на цыпочки, чтобы видеть, как Тит последует его совету. Убедившись, что тот даже и не примеривается, он со вздохом отошел прочь.

— Люди! — с презрением прошипел он. — Люди! Кулака жалеют.

Тит не слышал, что делалось позади. Он глядел на Мелетия, и губы его бесплодно порывались читать какое-то заклятие против нечистого, мудреное и непонятное. Но слова его он не в силах был вспомнить.

Мелетия рассмешили эти шепчущие губы и пустые глаза. Он покачал головой с сожалением.

— Совсем ты дурак, что ли, — с искренней жалостью спросил он наконец, — или нет? Ну скажи, ты за кого меня принимаешь? За кого?

Губы парня сжались. Он не знал, что ответить. Но сухие презрительные вопросы падали как дождь на раскаленные поля.

— За епископа, да? — продолжал тот. — Ну, так такой же я епископ, как ты. Что удивляешься? И этого догадать не мог? Ну, пойдی вот к писарю здешнему, он тебе расскажет, кто мы такие, где жили, чем занимались.

Удивленные глаза смущали его. Он отвернулся.

— Нет, вижу, совсем ты дурак... — пробормотал он.— Голый дурак.

— О, господи... — простонал Тит. — Да зачем же, зачем ты меня обманул?

— Не тебя одного, чай, парень! — отвечал тот. — Не одного. Надо было кормиться чем-нибудь, вот и смастерили себе грамоту. Да что зря говорить — доходное дело. Более тысячи рублей набрали за это время...

Тит воткнулся лицом в дыру еще глубже, до резкой боли на скулах.

— А Беловодье, Беловодье! — прохрипел он, задыхаясь от схватившего горло ужаса. — Беловодье-то кто смастерил?

Мелетий отодвинулся от этого искаженного лица, от этих сверкающих глаз,

— Нет... — пробормотал он. — Нет. Много чести... Про Беловодье какой-то кулгур нам в Оренбурге в тюрьме рассказывал. Да я еще и в семинарии когда был, сказку эту слыхивал.

— Сказку! — повторил Тит, и был похож возглас его на вздох. — Сказку!

— Ну да, сказку, — продолжал Мелетий, радуясь, что хоть это признание встречено юношей тихо. — Как же иначе? Сказка для страждущих и жаждущих. А может быть, и всего только причта: дескать, каждому на роду свое Беловодье написано, ходи и ищи. Найдешь твое счастье. Не найдешь — пеняй на себя, что плохо искал. Да ты не огорчайся, найдешь, чай, еще!

Он пожалел парня и улыбнулся ему виновато. Тит отнял голову от волчка и разгладил затекшие рубцы на скулах.

Казак, докуривавший позади папироску, встал и поддержал посетителя.

— Да, пора уж, пора! Поговорили — и будет. Идем.

Тит не стал спорить. Казак хлопнул, створку волчка и сказал с сожалением:

— Да что же ты не съездил его ни разу? Лезет, говорю, кулак-то. Ведь скрозь волчок, чудака, разве нельзя? Эх, ты!

Он прибавил какую-то презрительную кличку и пошел впереди, указывая дорогу.

Двор был пуст. За воротами однако толпа не рассеялась; наоборот, увеличилась множеством новых зевак. Но интерес к Уйбе, лошадям и конокрадам уже иссяк.

Уйба с конями стоял в стороне. Возле него оставался только седой киргиз с прокопченным лицом, водивший по степям новоселов. Казалось, знакомство их уже обращалось в дружбу. Лоснящиеся коричневые лица собеседников были веселы и счастливы, точно только-что обменялись они поразительными и приятными известиями.

Разумеется, этого было очень мало для того, чтобы обратить на себя внимание Тита. Он был потрясен свиданием и плохо видел. Двинувшийся навстречу ему Уйба беспечной веселостью своей разве и мог только напомнить о легкомысленном бегстве из дому и безнадежном странствовании в горячих степях.

— Уйба, Уйба! — с горьким отчаянием упрекнул его казак. — Как же ты клялся мне, что знаешь дорогу в Беловодье? Как же ты клялся, что есть такая страна?

Упреки были оскорбительны, но киргиз имел дело с хозяином и не мог ответить большей резкостью.

— Разве я нарушил клятву? — сурово спросил он, пятясь назад в знак удивления. — Разве я обманул тебя?

— Но ведь ее нет, Уйба! Все это сказка, Уйба!

Киргиз отступил еще на один шаг в знак совершеннейшего недоверия к словам хозяина.

— Как ты можешь судить об этом, — сказал он, — когда мы еще так далеко? Или ты видишь, как твой бог, за тысячи верст?

Тит растерялся. Уйба, отвечая, был более похож на спрашивавшего и, спрашивая, походил более на хозяина, чем на проводника.

— Я виделся сейчас с ними, — бормотал Тит, смущаясь, — они обманули нас, Уйба!

— Разве я не говорил тебе, что они лгуны и обманщики? — возразил киргиз. — Но разве, если твои гости лгуны, можно сказать, что и я лгун? Да разве я один бывал в тех местах? Вот казак, — указал он на седого киргиза, — вот старый, храбрый Баекур, который знает и степи и горы, как умный конь свои пастбища. Спроси его, — продолжал он, грозно наступая на хозяина, — спроси его, который провожал туда сотни твоих сородичей! Или и он не знает тех мест, по которым водит свои караваны?

Уйба рассмеялся. Киргиз, доселе молча прислушивавшийся к пререканиям хозяина с проводником, почел нужным выступить вперед.

— На востоке в горах есть только одна страна, где живут твои сородичи, — заявил он, — и немногие знают проход в горы, среди ущелий, наполненных облаками. Но вести о привольной жизни разносятся быстрее ветра. Что же тут удивительного, что они дошли до тебя? Почему же теперь ты вступил в спор с Уйбой, который частно ведет тебя к цели, когда ему не осталось и месяца пути?

Тит глядел на него, не понимая.

— Месяц пути? — переспросил он, с горечью. — Какого пути? Скажу еще раз: был я обманут. Дьяволовым попечением, а не божьей волей мы шли...

Он был охвачен раскаянием и продолжал, обличая и казнясь, искать объяснений попустительству господа и властвованию дьявола.

— В наполненном чреве нет ведения' — кричал он. — А мы шли без поста, во грехах, и вот являет господь теперь волю свою... И я покорюсь. Некуда мне идти! До какого же места, —

спросил он гневно, — начел ты нам месяц пути? Не до огненных ли печей адовых и котлов кипящих, где место мне уготовано? О, господи!

Он закрыл лицо руками и припал к теплой шее коня, подобравшегося ласково к хозяину. Киргиз, мало смущенный речью, в которой он ничего не понял, кроме вопроса, ответил радушно:

— До жилья твоего дяди, хозяин, считаю я месяц пути.

— До жилья дяди? — отшатываясь от коня, переспросил Тит. — Какого дяди? Где дядя? Откуда знать тебе моего дядю?

Киргиз покосился на Уйбу. Тит осыпал его упреками за неистребимую страсть к болтовне. Уйба их вынес с холодным спокойствием. Но лишь только прервался на мгновение поток их, как он вторгся в разговор.

— А, хозяин! — кричал он. — Теперь дай мне сказать тебе новость. Довольно уж я наслушался твоих, пустых, как выведенное яйцо. Вот он, Баскур-бай, который водил караваны твоего длиннородного дяди в Чугучак! Он доведет тебя хоть до самых ворот усадьбы, которую ты ищешь! Скажи ему, Баскур-бай скажи. — обратился он умоляюще, к киргизу, — скажи, прошу тебя, бай!

Баскур подтвердил, что водил караваны Кафтанникова в Чугучак и с закрытыми глазами найдет дорогу к дубовой усадьбе на Бухтарме.

— Большой человек твой дядя, сказал он почтительно. — Пойдешь к нему жить, сам станешь большой и богатый, как он.

Тит оборачивался от Уйбы к Баскуру, от Васкура к Уйбе. Он искал знак, которому мог бы верить, как божьему знамению. Но ничем, кроме как коричневой кожей, сожженной в степи, да

узкими глазками, зорко видевшими вдаль, не могли они свидетельствовать перед ним о справедливости сказанного.

— Вот до какого места остается месяц пути, — сурово закончил Баскур. — Так если ты не раздумал, я доведу тебя туда за стоимость двух лошадей, не более, как водил я не мало русских... О другом Беловодьи не слыхано в наших краях, пройди хоть до самого солнца на восток! — прибавил он сухо, дивясь странному поведению хозяина и холодности, с какою он принял необычайную новость.

Тит слушал его, но прежде, чем отвечать неожиданному вестнику, он поторопился перемолвиться молитвою с тем, кто послал его. Он перекрестился широчайшим, похожим на взмах цепа, кулугурским крестом и улыбнулся господа. Теперь он был убежден, что и обиравший станичников самозванный епископ со своим длинноруким прислужником, как ранее Уйба, а теперь Баскур, — все были посланы ему господом-богом, неустанно хлопотавшим о том, чтобы молодой казак добрался до белых земель благословенной страны.

И, возблагодарив господа, он стал торговаться с Баскуром.

Глава девятая

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

Страшна ты, роковая сила

Нужды и мелочного зла!

Никитин

Кабы я встала, я бы до неба достала.

Загадка

Караван Баскура составляли угрюмые переселенцы, тюками бесформенного сырья громоздившиеся на медленных русских телегах. То были остатки симбирской деревни, сведенной на-нет голодом и становым приставом. Часть ее осела под Оренбургом на «горькой линии» крепостей, но большинство в сорок семей, присидев на земле два года, двинулось дальше.

В Кокчетавском уезде, где только-что начали отводить участки выходцам из России, мужикам удалось найти свободную степь, где на сто километров кругом нельзя было встретить ни одного хутора. Здесь, показалось им, нашли они белые земли, где не было ни попов, ни помещиков, ни урядников, ни становых.

Они выбрали старостой самого упрямого мужика, который и теперь шагал след вслед за Баскуром, командуя телегами и людьми, и стали пахать степь.

Места были удачные. Урожаи дивили пахарей, и в два года выросла в степи на тысячелетней целине новая деревня. Сорок семей удвоились плутающими беженцами из России. Староста не отказывал никому. «Садись и живи!» — говорил он.

Трое старейшин затем отводили новоселу участки для усадьбы, огорода и пашни. Каждый ведал свою часть и ею

распоряжался. Новосел набирал в долг для хозяйства скот и инвентарь и осенью расплачивался с процентами в пользу мирской казны.

На третий год в богатое село, росшее с изумительной быстротою и богатевшее с угрожающей поспешностью, прислано было начальство. Оно немедленно затеяло ряд дел по размежеванию, по признанию права владения, по устранению неправильно приписанных к обществу обывателей и по постройке каменного храма на месте деревянной часовни.

Упрямый староста, прозванный за крепкость Василием Кряжем, погрузился на телегу, сжег свою избу и выехал в степь. За ним вышло еще восемнадцать семей, всего около шестидесяти человек, со скотом, птицею и оборудованием. Остальные вышли их провожать. То были незабвенные проводы.

— Плакали курицыны дети, горькими слезами плакали, а не пошли с нами! — злобно стуча костью по мягкой дороге, рассказывал теперь этот Василий Кряж новым людям, приведенным Баскуром, шагая рядом с их долговязой арбой. — Не пошли. В колокола велели бить погребальным звоном. «Себя, говорят, хороним, Василий Иваныч. Знаем, что без тебя будет, знаем, на что остаемся». «Что же, говорю, в последний раз вас спрашиваю, с нами идете или не идете?» «Сыты, говорят, стали мы, Василий Иваныч, не можем подняться, пуза висят». «А, говорю, пуза свои жалеете, ну так лопай вас становой, туда вам и дорога, на то вы и нужны»...

Осенью Кряж отстраивался уже верстах в двухстах от Атбасара на нетронутой целине. Тут не было ни проезжих дорог, ни караванных тропинок километров на двадцать кругам. Поселок укрыли в ложине, обсадили ветлами сплошь так, что выросла в два года непролазная чаща, но на третий год и за

зеленой стеной отыскиали начальники нигде не значащийся поселок.

— А, самовольничать? — орал на мужиков дорвавшийся до незаконного хутора станичный атаман, размахивая нагайкой над головой старосты. — Не платить податей? Не признавать власти, от господ бога данной? Мерзавцы! Все снесу, с землей сравняю. Кто зачинщики — выходи!

Так как зачинщиков не оказалось, то атаман, сопровождаемый десятком казаков, проскакал взад и вперед крест-на-крест собранную на самовольной улице толпу. Он выбил глаз парню, перебил переносицу женщине, проломил головы двум мужикам и рассек ухо девушке. Затапанных ребят никто не считал.

Затем он приказал старосте явиться к нему в Атбасар за книгами, печатями и документами и привезти тысячу рублей штрафа за неплатеж податей и самовольную жизнь.

Срок для явки был назначен молниеносный: ровно двадцать четыре часа. Но и этого срока оказалось достаточным для того, чтобы Кряж поднял с земли одиннадцать семей, которые в ночь погрузились на дожидавшиеся под навесом походные телеги, и двинулся в путь, в сторону от следов, оставленных на дороге казацким атаманом.

Плутая по степи два месяца, упрямые симбирцы должны были зазимовать в старых киргизских кстау. К весне их осталось не больше половины; остальные поумирали, поразбежались, повозвращались на старые места.

— Вот видишь, — указал Кряж на следовавшие за ним телеги, — что нас осталось? Пять семейств в восьми телегах — двадцать четыре человека. Весну мы опять плутать начали было, да хорошо вот — Гирасим Кривой-то вот как-раз надоумил взять киргиза, чтобы довел нас куда следует... Вот он и ведет нас

теперь, слышь, в белые эти земли, где уж мы сядем, верно, крепко. Да хороший попался киргиз, вишь ты, пособие нам выхлопотал, по семнадцать рублей на семейство. Спасибо. Половину себе взял, да не жалко. Мы и подойти бы к станичному за эти деньги не взялись, а он с самим атаманом все обладил.

— Это не с тем ли, который вас нагайкой крестил?— спросил Тит.

— Нет, давно уж другой, говорят. Того-то где-то на расправе прикончили. Лют уж был очень. Как таких жалеть?

Баскур встретил плутающих крестьян в степи на пути в Атбасар. Они увязались за стадами, которые гнал на ярмарку руководимый им киргиз; они отчаялись уже каким-нибудь другим способом выбраться из спаленного зноем степного океана.

Он выслушал печальную повесть о странствованиях несчастных и сговорился с ними о плате, пообещав водить их до тех пор, пока они не одобрят выбранных им земель.

— Вот и ходим так-то девятый год, — подсчитал в заключение неугомонный староста странствующей деревни, — девятый год. Растерялось много нас. Коренных-то нас, которые то-есть из-под самого Симбирска с нами все девять лет ходят, всего человек девятнадцать. А остальные пристали. Вот женщина-то идет позади всех, видел, что ли? — спросил он. — В степи подобрали. Помирала совсем, да оходили. Ну, а в разум так и не вошла...

На привале Тит увидел, как к зареву костра из черной глубины поля подобралась эта женщина. Она долго и пристально рассматривала новых людей: Таню, Уйбу, Тита. Опершись на длинную сучковатую палку, она глядела в упор то па одного, то на другого и не перетавала шевелить губами. Тит подозвал ее и спросил, что ей нужно.

Она усмехнулась и покачала головой.

— Не тебя ищу, не тебя... пробормотала она, — Не тебя. Что испугался? Я того рыжего ищу, рыжего, с хвостом...

Таня укрылась за сипну мужа. Глаза женщины сияли безумием. Она с бессмысленным шёпотом шла на людей, не замечая костра. Огонь не остановил ее. Она наступила ногою на раскаленные угли, продолжая всматриваться и шептать. Таня взвизгнула и закрыла глаза. Уйба подскочил к женщине и сдернул ее с костра. Запах зауглившейся кожи остался в воздухе, но она не замечала боли.

— Не он, говорю, — отталкивая Уйбу, проворчала она, — не он. Что испугались?

— Иди, старая, спать! — раздался возглас из ночи, и к пламени костра приблизился Баскур, обходивший свой караван. — Иди!

Женщина послушалась и отошла, исчезнув во мраке.

Она ходила быстро и крадучись, появляясь то тут, то там возле огней со своими безумными, ищущими глазами.

— Не бойтесь ее, — предупредил Баскур, — она ничего не сделает. Я знаю ее с тех самых пор, как в нее вселился злой дух...

— Давно это было? — вежливо осведомился Уйба, интересуясь новостью.

— Десять лет! — ответил Баскур.

— О, десять лет!

— Да, десять. Ее знают в степи все казаки, все русские поселки. Она ходит и зимой и летом взад и вперед, и если бы злые духи не помutilи в ней разума, она знала бы степь лучше каждого из нас!

Баскур оглянулся, прислушиваясь, и шёпотом досказал:

— Она отстала от своего каравана однажды и вот десять лет ищет мужа и детей в степи. Сначала она могла еще говорить, что



с ней случилась... Лет пять я ее не встречал и вот увидел с этими русскими такой, как есть! Спите спокойно, — любезно пожелал он, — в степи много горя и зла, но они ходят далеко от моего каравана!

Он усмехнулся и отправился продолжать свой обход.

Глава десятая

КАМЕНЬ

Чудо я, Саша, видал:
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Волю да землю им дали.
Год незаметно прошел.
Едут туда комиссары.
Глядь, уж деревня стоит —
Риги, сараи, амбары,
В кузнице молот стучит!

Некрасов

Живи, живи, ребята, пока
Москва не проведала.

Казачья поговорка

Странствующая деревня Василия Кряжа отстала под Акмолинском. Мужики поставили сходу понравившегося им села десять ведер водки и были немедленно приняты в общество.

Баскур вернулся пьяный, но утром повел остатки своего каравана дальше.

На коне и в дороге он был ловчее и легче беркута в облаках. За его спиной, широкой и крепкой, как тугой парус, Тит правил своим кораблем на восток без страха.

И в самом деле, путешествие продолжалось, точно свадебная поездка с похищенной по степному обычаю женою: покачивался впереди неутомимый Баскур, прикладывавший к губам то-и-дело турсук с аракою; пел сзади бесконечную песню о красоте степи и храбрости казаков Уйба; приветливо улыбалась мужу не благословленная жена.

Не закрывая глаз, только остановив их на дымчатых стеклах горизонта, могла бесконечно воображать беловодскую действительность Таня. Мальчишечья стриженная голова ее, с которой ветер постоянно срывал и таток, как флюгер вертелась из стороны в сторону над арбою.

Легко было мечтать за спиною Баскура: она внушала доверие!

И когда из-за-нее, как оживающие угли в горах золы, затлели впереди розовые Каркаралы, Тит без раздумья остановил караван для молитвы. Баскур сдержал коня, глядя, как молодой казак опустился на колени рядом с женою. Он осведомился у Уйбы, что это значит. Уйба объяснил без всякой почтительности к святости своего хозяина, Тогда Баскур сказал:

— Не на месте встал твой хозяин! — И с усмешкой прибавил: — Да ничей бог, я думаю, не рассердится за лишнюю молитву... Пусть!

— Разве это не Беловодские горы там в облаках?— спросил Тит, оставив занесенную для креста руку.— Других будто нет в степи?

— Как солнце перед месяцем — Золотые Горы¹ перед этими! Через два воскресения ты увидишь их! — пообещал Баскур и сказал: — Я думаю, ваши русские не станут называть счастливой страну каркаралинские рудники... Медь и серебро стоят дорого, хозяин!

Он не прибавил более ничего, но вечером, возвращаясь с охоты, привел с собою откуда-то из гранитных и порфировых скал маленького худенького оборванца.

— Садись к огню и будь гостем, пригласил он его и, представляя Титу, добавил: — вот местный житель, плутающий в горах, который попался мне невдалеке отсюда. Спроси его, хозяин, он расскажет тебе о счастливой жизни в здешних краях! Ведь здесь тоже живут длиннородные русские, которые всегда молятся богу...

Баскур рассмеялся и посмотрел на гостя, приглашая его подтвердить сказанное. Оборванец дрожал как кролик, и красные уши его на голом черепе заметно двигались. Было бы большой неожиданностью, если бы он оказался разговорчивым. Но Баскур поднес ему чашку араки, и он стал отвечать на вопросы. Он оказался рудокопом, бежавшим с рудника и пробиравшимся в Камень.

— Куда? — переспросил Тит.

— В Камень, — повторил он.

— Ему по дороге с нами, — объяснил Баскур. — Вершины Золотых Гор называются здесь Камнем, как у тебя — Беловодьем. Каждый дает свое имя тому, что любит...

Тит предложил беглецу присоединиться к их отряду.

1) Алтин-тау, Ал-тау или в просторечии Алтай в переводе на русский значит — Золотые Горы.

Оборванец перестал дрожать. Он был согрет водкой, огнем и гостеприимством.

— Я не захотел уступить своей жены штейгеру, — с суровой усмешкой признался он вдруг, — и вот он умер, а я ушел.

— А жена?

— Они тоже умерли. Жена и дети вместе.

— Все вместе? Отчего же?

— Да, все вместе, от одного и того же.

— Да отчего, отчего?

— От топора, — тихо отвечал рудокоп.

Таня прижалась к мужу. Тит вздрогнул. Гость заметил это.

— Что тут страшного? В рудниках страшнее! — сказал он.

Баскур смеялся и глядел на гостя с одобрительной усмешкой. Тит встал и вновь опустился к огню.

Уйба спросил строго:

— Почему ты не пошел сначала к хозяину, чтобы он разобрал твое дело?

— К хозяину? Да ведь ему некогда заниматься нашими делами... — отвечал оборванец. — Он молится и день и ночь!

— Молится? — переспросил Тит.

— Кулугур, как же!

Тит отвернулся.

— А суд? — приставал Уйба.

— Нет лучше суда, чем баранта! — заявил вдруг Баскур, перебивая разговаривающих, и подал с явным сочувствием гостю свой турсук. — Выпей, ты дрожишь, как волк в когтях халзана! — пригласил он.

Рудокоп с жадностью пил. Баскур, как мать над ребенком, говорил:

— Ничего, добирайся до Камня, там найдешь и работу и жену, а дети придут сами! Пойдем с моим караваном, со мной не случается бед...

Ночью в отравленных свинцом легких рудокопа свистела буря, и от ураганного храпа содрогался воздух. Нельзя было представить, чем могло сотрясать ночь это маленькое существо, чем могло оно производить этот рев.

Никто не спал, кроме Баскура. От розового гранита веяло холодом топора. Тит поднялся чуть свет и, вздрагивая от рассветной стужи, разбудил без сожаления Баскура, Уйбу и Таню.

— Вперед, Баскур, вперед, — прошептал он, — скорее! Жить страшно в этих местах, а до Беловодья близко. Что медлить, Баскур? Идем!

За долгие годы подземной работы, отнимавшей три четверти суток, рудокоп теперь вознаграждал себя мертвым сном. Арака приковала его к каменной постели. Тит велел оставить его: он рад был случаю избавиться от убийцы. Рудокоп был брошен, но холодный блеск топора еще долго отсвечивал в порфириновых обломках скал слюдою и кварцем.

Баскур не спорил. Он оставил возле спавшего дневной запас пищи и вскочил на коня.

— Страшный народ, — шепнул он Титу, кивая назад, — надо бояться. В рудниках, — пояснил он, — в них вселяются злые духи, живущие под землей, чтобы выйти наружу вместе с человеком, и остаются в нем навсегда!

— Зачем же ты приводил его? — упрекнул Тит. — Да еще собирався взять его в караван...

— О, — воскликнул Баскур, — подгоняя коня, — в горах за каждым камнем, в тайге за каждым деревом может подкарауливать прохожего страшный человек! Здесь все

тропинки политы кровью... Тут человека легко убить, человек здесь дешевле скота. Так уж лучше держать с ним дружбу! — неожиданно заключил киргиз с хитрой усмешкой. — Я знаю, как делать, чтобы зло ходило подальше от моего каравана...

Тит оглянулся на шум упавшего камня и вздрогнул. Баскур усмехнулся.

— Наш путь недолог, говорю тебе! — напомнил он.

Он был прав. Но путь беглецу всегда кажется слишком долгим и шаг лошади — медленным. А Тит спасался бегством из края лжи и убийств. И даже ускоренный бег каравана казался ему ничтожным!

К тому же через два воскресения отряд только переправился через Иртыш. Но к третьему он вошел в Бухтарминскую долину, и тогда Баскур сам предложил хозяину стать на колени,

— Благодарю своего бога, — сказал он, — вот мы вошли в страну, которую ты ищешь. В следующее воскресенье я поставлю тебя перед дубовыми воротами бая, которого ты называешь дядей. Молись...

Тит сошел с коня. Молочный туман укутывал клочьями ваты вершины гор. Меж ними, истощив к концу все силы и резвость в борьбе с берегами, спокойно несла свои голубые воды Бухтарма. Сытые пастбища стояли нетронутыми. Они свидетельствовали о великом просторе и благополучии. Темно-зеленая хвоя сосен, елей, кедра и пихты взбиралась по скалам под облака. Живой тишиной и веселым безлюдием дышала зеленая долина счастливой страны!

Тит помолился с достоинством и, подняв с колен жену, трижды, как на пасху, поцеловался с ней.

— Так вот оно, Беловодье! — прошептала она и не прибавила ничего более.

Баскур глядел на них улыбаясь.

— В Камне лучше, — сказал он. — Не трать, хозяйка, всей молитвы: она еще понадобится там! Садись на коня, хозяин, пойдем дальше. Я не хочу еще раз тебя обмануть своим обещанием...

Теперь только один он думал о быстроте передвижения. Хозяева не торопили его, с волнением оглядывая все, что попадалось по пути. А старый Уйба, заключавший теперь караван, отставал и от них. Бывший владелец табунов и стад проходил знакомыми местами. Все пастбища Казакстана, вплоть до этих, вклинивавшихся каменным наконечником в Бухтарминский край, были ему известны. Он читал по ним книгу своей жизни.

И гордясь воспоминаниями, он часто подзывал Тита и останавливал его на тропинке.

— Гляди, хозяин, гляди, — показывал он то на прозрачную даль, то на ущелья и скалы, горные ручьи и водопады, — вот место, достойное, чтобы тут свить молодому орленку гнездо! Гляди...

Бухтарма, чем дальше, тем становилась быстрее, бурливее и краше. Часто она, суживаясь, входила в глубокое ущелье сланцевых гор, поднимавшихся тогда над нею со страшной крутизной. Узкая, гладкая на каменном своем подстиле дорога вилась по самому кособоку над синей рекой. Темные ели висели над обрывом.

Иногда каменные берега сжимали реку так, что путники с одного берега видели противоположный, нависший над быстрыми водами совершенно вблизи. Однажды Баскур указал на медведицу, игравшую там с медвежатами. В просвете коричневых стволов веселые звери были видны, как в ярмарочной панораме. Вид путешественников их не пугал.



Водяная бездна, урчавшая в каменном мешке, ограждала их неприступным рвом.

Впрочем, и звери и люди не были боязливы в этом краю. Табуны лошадей паслись в горных долинах без пастухов и охраны за десятки верст от крестьянских селений. Ручные маралы¹ встречались повсюду, и только по пенькам срезанных рогов можно было их отличить от диких.

Здесь все дышало счастливою простотою, богатством и спокойствием. Горные озера походили на садки, переполненные рыбой. Леса кишели зверем и птицей. Тучные пастбища стлались по горным долинам. Между тем кочевья алтайцев были редки, а поселения каменщиков, этих суровых потомков вольной Сибирской Сечи, ютившейся в каменной долине верхней Бухтармы, были еще реже. Они отстояли друг от друга на десятки верст.

Длиннобородые старообрядцы встречались не часто. Они были угрюмы и неразговорчивы. Взволнованные вопросы Тита не трогали их, и он с ужасом видел, что ни волей, ни счастьем не веяло от молчаливых хранителей правой веры.

Впрочем, Баскур не позволял останавливаться ни на один лишний час. Близость осенних дождей заставляла его торопиться. Горы, ущелья, долины, быстрые реки, падавшие в Бухтарму с высоких берегов, дикие кочевья алтайских татар, теленгитов и коренных алтайцев, поселки русских, украшенные церквами и станичными управлениями, — все проходило мимо.

1) Маралы разводятся на Алтае из-за их рогов, высоко ценящихся в Китае, где их употребляют, как и кровь, в качестве медицинского средства. Весною маралам срезают молодые рога и собирают кровь, бьющую из пеньков, Дикие маралы теряют рога сами. К весне они вырастают у них снова.

Утрами Тит долго молился розовой заре и ускренничками потухающих в голубом небе звезд. Потом с твердостью продолжал путь, поглядывая в прозрачную даль: красота древнего благочестия сквозила в диком камне, благочестивом как намогильный гранит. Отчего бы и не явиться несказанной красоте Беловодья среди гор?

Баскур сдержал свое слово. Он гнал лошадей две ночи без отдыха и поставил караван в сизое утро четвертого воскресения перед дубовыми воротами старинной усадьбы.

Тит благоговейно сошел с коня. Баскур нетерпеливо постучал в частый переплет слюдяного оконца.

Не скоро и после долгого спроса вышел на крыльцо такой же древний, как усадьба, старик. Прищурившись, он признал Баскура и поклонился гостям, но не выразил никакой радости принять их.

— Скажи баю, — крикнул ему киргиз, — что старый Баскур привел ему гостя, которому он будет рад! Он из тех же мест, где рос бай, и приходится ему кровным близким!

Старик с любопытством взглянул на молодого казака, но тут же опустил глаза в землю,

— Да ведь Прохора Федоровича нету здесь с самой весны. — тихо сообщил он. — Они в Беловодье ушли!

— Куда? — вскрикнул Тит.

— В Беловодье! Белые земли искать, — тихонько и радуясь за ушедшего, объяснил старик. — Двадцать два года тут прожили, а умирать пошли в тайгу, в скиты... Беловодье там, говорят. А тут одолели нас слуги антихристовы, печати дьявольские, бумаги сатанинские... И вот ушли, весной ушли! Святой человек! — прибавил он и, жалея растерянных гостей, пригласил их войти. — Забредайте, забредайте, — сказал он, —

все равно как к самому. Я ведь по его наказу тут живу... Дел-то у нас теперь давно уж нет никаких. Пора и о душе подумать...

Тит вдруг ощутил всю тяжесть бесплодного и бесцельного пути своего. У него не нашлось сил даже на то, чтобы перекреститься, и впервые переступил старовер порог чужого жилища, не призвав на него благодати божией.

Старик растворил дверь, и запах дубового тлена овеял входивших.

Кашира.

Июнь 1929 г.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ПОИСКАХ «БЕЛОВОДЬЯ»

1

Нынешнему читателю нелегко поверить, что события, ставшие предметом нашего повествования, действительно происходили. Пожалуй, он согласился бы признать их правдоподобными при условии, что они относятся к далекому прошлому, чуть ли не к тем сказочным временам, когда наши предки призывали варягов для установления порядка на нашей великой и обильной земле...

Даже если мы напомним ему о том, что и в 1927 году был обнаружен в северной части Якутской республики населенный пункт, который вел значительную торговлю пушниной, но нигде не был зарегистрирован и ни на одной карте не значился, то и тогда нынешний читатель решительно усомнится в существовании белых, т. е. никому не принадлежащих, никем не занятых или никому не подчиненных земель.

Современного читателя еще удастся убедить, что через все восемнадцатое и девятнадцатое столетия проходит это неустанное искание счастливой страны, где нет ни царя, ни станового, ни попа, ни помещика, где земли на всех вдоволь, где не собирают податей и где каждый молится, как хочет, не боясь преследования и гонений. Однако нынешний читатель отвергнет всякую мысль о том, что эти поиски продолжались до самого последнего времени.

И все же; мы должны заверить читателя, что все рассказываемое нами могло иметь место в действительности, и не в доисторические времена призвания варягов, а в начале того

самого двадцатого века, который именуется громко веком пара и электричества, веком аэро, авто и радио!

Больше того, мы можем утверждать, что странствования и приключения, подобные нами описываемым, вовсе не представляются исключительными или ред. костными. Конечно, они случались и раньше. Едва ли не с первых же лет закрепощения русского народа возникла в его среде мысль о том, что одним из средств освобождения от крепостного ига является, бегство в свободную страну.

Эта мысль получила особенное распространение после того, как произошел так называемый раскол церкви, то есть отделение группы верующих, которая не пожелала принять новшества, введенных, царем Петром I и патриархом Никоном. Староверы, старообрядцы или раскольники, спасаясь от царского преследования, уходили не только в глухие леса и горы на родине. Они шли и дальше, за ее пределы, на поиски страны, где всякий свободно исповедует свою веру и не знает над собой никакого начальства.

Даже и для темных народных масс и их полуграмотных вожakov было ясно, что белые земли лежат на востоке. Запад был заселен известными всем народами, север и юг были исследованы до конца. И лишь загадочные и таинственные просторы, лежавшие за Уральскими горами, могли скрывать в своих безграничных пределах счастливую страну.

Если проследить историю колонизации западной Сибири и Алтая, то можно убедиться, что главнейшею силою, толкавшею русское население уходить все дальше и дальше на восток, в край, который стал называться в народных легендах Беловодьем, были поиски свободных белых земель.

Славяно-беловодская фантастическая иерархия существовала и существует даже до сей поры в русском расколе

рядом с австрийско-белокриницкой иерархией. Раскольники никогда не оставляло убеждение, что где-то на далеком востоке находится истинная, избегнувшая никоновых новшеств древнеправославная церковь, сохранившая через своих епископов священное преемство, не прерывавшееся с апостольских времен.

На почве этого убеждения выросла легенда, связываемая с именем некоего Марка, инока Топозерской обители, находящейся в Архангельской губ. Во второй половине XVIII века в раскольничьих кругах распространилось рукописное описание путешествия инока Марка, посетившего с двумя товарищами сказочную страну — Беловодье, от имени которой и получила свое название славяно-беловодская иерархия. В этом сочинении рассказывается о том, что инок Марк ходил в Сибирь, дошел до Китая, перешел степь Губарь (Гоби), достиг «опоньского царства» (Японии) и там нашел царство «ассирийского языка 179 церквей», а также патриарха православного антиохийского поставления и четырех митрополитов, а российских до сорока церквей.

Раскольники стали ревностно заниматься поисками беловодских иерархов. В 1807 году томский крестьянин Бобылев подал по начальству записку о беловодских епископах. Многие искатели приключений в XVIII и XIX веках пользовались, разумеется, доверием раскольников и выдавали себя за священников, посвященных беловодскими иерархами. В конце прошлого столетия представителем славяно-беловодской иерархии, например, являлся «архиепископ всея России и Сибири смиренный Аркадий», в действительности — Антон Савельич Пикульский, родившийся в 1832 г. Он архиерействовал главным образом в Сибири, а затем под Петербургом. В восьмидесятых годах об архиерействе Аркадия узнал «архиепископ всея Руси» белокриницкой иерархии Антоний Шутов и при помощи

известного раскольничье его начетчика Анисима Швецова обличил Аркадия в ложном ставлении, после чего от беловодского иерарха отшатнулись все почитатели. Однако он еще долго продолжал архиерействовать в других местах и особенно в приволжских степях¹.

Но разоблачение лжеепископа, конечно, нисколько не могло повлиять на народные представления о Бело-водьи и нисколько не подрывало веры в существование счастливой страны. Искателей заветного края становилось все больше и больше, и часто целыми семьями Двигались переселенцы на восток.

Это были отважные и решительные люди, которым тяжело жилось на родине, и они шли «куда глаза глядят» искать себе новую родину. Естественн, что движение это направлялось туда, где природа была богаче и где можно было укрываться от преследования.

Правительственная колонизация неизменно всегда и всюду шла лишь по следам этой колонизации.

В 1761 году, когда основана была Бухтарминская крепость, обнаружилось, что в окрестных горах есть уже русские поселения, образованные зверепромышленниками, беглыми крестьянами, староверами и всякого рода вольницаей. Русскому правительству пришлось таким образом ловить новооткрытых поселенцев и облагать их ясаком.

И, несмотря на это, с образованием южной пограничной линии, переступить которую строжайше воспрещалось, в Джунгарии к 1761 году существовало уже семнадцать русских селений.

1) См. П. С. Смирнов — «История русского раскола, старообрядства» (СПБ, 1895) и С. НикиФоровский — «К истории славяно-беловодской иерархии» (Самара, 1891).

Стремление к свободе заглушало страх перед наказанием!

Кто же были эти храбрые, свободолюбивые люди?

Трудно ответить. При приближении русских отрядов большая часть их уходила дальше в горы. Именами этих людей, от которых сама жизнь требовала подвигов и героизма, названо не мало речек, долин и урочищ.

С этими именами связано не мало местных легенд, но мы имеем немного точных сведений о жизни этих русских скваттеров.

Однако и в исторических проверенных материалах отыскиваются почти легендарные приключения. Вот одна из таких эпопей.

2

В пятидесятых годах восемнадцатого столетия в Кузнецком остроге содержался некий Афанасий Селезнев. Сидел он не первый раз: зимою, не имея пристанища, он отдавался в руки властей. Весною же трудно было удержать его в неволе.

Он бродил в лесах и горах, занимался звероловством, а иногда и угоном чужого скота.

В последний раз после неудачного побега пришлось ему сидеть в тюрьме почти два года. С ним вместе были посажены его девятилетний сын и старик-отец. За это время Селезнев выучил по часослову сына грамоте и составил план побега. На второй год трое Селезневых и двое их товарищей по заключению бежали.

Сначала они скрывались в Касмалинском бору у двух острожников, бывших Селезневу товарищами по одному из прежних побегов. Здесь все вместе решили они, взяв с собою детей и жен и что можно из хозяйства, двинуться на поиски

белых земель, где можно было бы начать спокойную трудовую жизнь. За неимением нужных им лошадей они угнали их из соседних деревень и, нагрузив четыре воза мукою, двинулись в Беловодье на Бухтарму.

Было их всего семь человек с женами и детьми.

Дорогою им пришлось пережить не мало лишений. Не раз подвергались они опасностям. Им удалось избежать встреч с бродячими шайками урянхайцев, но у Красноярского пикета они были настигнуты пограничной охраною. Бросив все свои запасы, они верхами усаkali от солдат.

На Бухтарме выстроили они две избы. Селезнев, как человек предусмотрительный, построил свою избу отдельно и укрепил ее так, что она представляла собою блокауз. Предусмотрительность его вскоре и была вознаграждена, потому что с первых же дней пребывания на новых местах новоселам пришлось не раз отбиваться от урянхайцев.

Урянхайцы прежде всего угнали у них лошадей, а вскоре напали и на поселок. Селезневцы отсиделись в своем блокаузе, но двое из них были ранены. Зимю, вооружившись, чем нашлось, селезневцы, чтобы избавиться навсегда от врага, сами пошли в наступление.

Им удалось ночью напасть на сонных бандитов и всех перебить.

К селезневцам пытались пристать калмыки. Однако они не могли ужиться долго. Партия поселившихся у них калмыков нарушила права гостеприимства: однажды, когда большая часть новоселов отсутствовала калмыки отняли у оставшихся хлеб.

Возвратившись с охоты, возмущившиеся селезневцы перебили калмыков.

Всегда находясь наготове дать отпор врагу, промышлявшему здесь грабежами, селезневцы не раз выдерживали бои. В конце

концов они внушили к себе уважение. Однажды, например, мимо них проходила партия киргиз-кайсаков в пятьсот человек которая занималась грабежами. Селезневцы приготовились защищаться до последней крайности. Но киргизы отказались от нападения, признав силу врага.

Этот же отряд в другой раз предложил селезневцам, как равным, вступить с ними в товарообмен, не решаясь отбивать их запасы силой.

Между тем, оставшись без лошадей, селезневцы волей-неволей должны были прибегнуть к такому же способу обзаведения ими. Весною они спустились на плотах вниз на Иртыш. Здесь угнали они шесть лошадей, но были пойманы казаками. Селезнев с товарищем оказался в плену. Остальным удалось бежать.

Из следственных показаний Селезнева видно, что у него на Бухтарме осталось десять лосевых кож, десять куниц, пять красных лисиц, сто белок, десять тулупов, четыре медных котла и полтора фунта серебра. Очевидно, предприимчивый бродяга занимался не только охотой, но и раскопками древних рудников и курганов.

К сожалению, дальнейшая судьба этого недюжинного человека и своеобразного русского скваттера остается невыясненной.

3

Бухтарминский край, изборозженный громадными горами и непроходимыми ущельями, издавна являлся надежным убежищем всем, кому было тесно или жилось трудно в населенных частях Сибири и Европейской России.

В этом малодоступном краю беглецы находили и полную свободу и жизненные средства. «Чернь» в изобилии давала им зверя и птицу, а горные речки — рыбу.

Бежать в горы Бухтарминского Алтая, по выражению обитателей степей, значило уйти в «Камень» (горы). Отсюда бухтарминские беглецы и получили прозвище «каменьщиков».

Сюда бежали люди разного звания и состояния уже с начала XVIII века: одни—чтобы избавиться от рекрутчины, другие—чтобы избежать уголовного наказания или каторги. Сюда же уходили старообрядцы и сектанты от религиозных преследований на родине, ища здесь то загадочное Беловодье, где «во всем сиянии парит красота древнего благочестия». Дивная красота горной природы невольно настраивала на фантастические мысли. Горные долины, причудливо извиваясь, манили к поискам среди них несбыточного царства, а борьба с горной природой закаляла меж тем характер и умеряла алчность.

Много бежало сюда заводских крестьян от жестокостей горного начальства.

Так, в 1748 году бежали в Камень шмельцеры Битков и Плотников, но были пойманы, прежде чем успели уйти в глубь Камня. На расспросах под кнутом они показали, что ушли «в бега» для того, чтобы «жить в легкости», и что с ними были и другие товарищи, которые ушли дальше в горы с тем, чтобы «их никто никогда не мог отыскать».

Были случаи, когда заводские рабочие уходили в Бухтарминский край толпами.

Так, в 1764 году сюда сразу ушли двадцать пять человек рабочих Змиевского рудника.

Мало-по-малу здесь накопилось население в несколько сот человек. Оно сложилось в своеобразное общество с особыми порядками и собственными неписанными законами. Эта

«Сибирская Сечь», удачно отражая при нужде нападение казачьих команд, китайцев и калмыков, жила обычными занятиями сибирского крестьянина—хлебопашеством, а особенно звероловством и рыбным промыслом на реке Черном Иртыше и озере Зайсане. Шкуры горных козлов, маралов, белки. Выдры, бобра, соболя каменищники сбывали китайцам иногда и русским из ближайших солений, куда каменищники иногда тайно приходили.

Тайно же им приходилось ездить за солью к соленым озерам Кулундинской степи. Это было сопряжено с большой опасностью, так как горные власти сторожили их.

Одного не доставало каменищникам — женщин. Это вынуждало их на рискованные подвиги для похищения жен из тех же пограничных русских селений, куда они являлись для мены и торга.

В целях лучшего укрывательства каменищники жили или избушками, раскиданными врозь, или хуторами в три — четыре двора. Сходились они или съезжались вместе только в экстренных случаях для решения каких-либо общих дел, а также для суда и расправы.

За тяжкие преступления каменищники наказывали виновных, привязывая их к маленькому плоту и пуская его по чрезвычайно быстрой Бухтарме. Иногда и убивали преступника тут же, на месте суда.

Когда алтайские власти узнали о каменищниках, то всеми силами старались уничтожить соблазнительный для заводского люда «притон», но без успеха. Однако с развитием горного дела укрываться становилось все труднее.

Одновременно с этим возникшие между ними распри, всегдашняя опасность столкнуться с исковыми заводскими партиями, наконец неоднократные неурожаи — все склоняло

каменьщиков к мысли сблизиться с русскими и отдаться под покровительство «законов». Долго опасение наказаний удерживало каменьщиков от явки к русскому начальству, и есть известие, что в 1786 году беглецы просили о принятии их в китайское подданство.

Богдыхан, не находивший для себя ничего лестного в подданстве русской голытьбы, отказал ей в этом. Да и сами каменьщики отказались от своего намерения после того, как посланные для переговоров с китайцами их доверенные, вернувшись из китайского города Кобдо, рассказывали, как часто совершаются у китайцев мучительные казни даже за самые незначительные преступления.

Между тем на Бухтарме был открыт серебряный Зырянский рудник, и горное начальство принялось усиленно снаряжать отряды рабочих и мастеров на новое место горной деятельности. Каменьщики не могли больше оставаться в безывестности. В 1790 году они объявились прибывшему на Бухтарму чиновнику Приезжеву и изъявили ему желание, если им будет дано прощение, «быть гласными правительству» и платить подать на правах инородцев.

В 1792 году Екатериною II им было дано это прощение. Каменьщики были облажены небольшим ясаком и подчинены инородческой управе. В 1882 году селения каменьщиков представляют северно-русский тип. Все путешественники говорят об их зажиточности, редкой добросовестности, простоте нравов, гостеприимстве, а также о высоко развитом в них чувстве своего достоинства, смелости и ловкости. Богатырский рост, нож за поясом, винтовка за плечами придают бухтарминскому обитателю воинственный вид.

Но дух деятельной энергии переходит нередко в неумную жажду движения. Отсюда идет и передвижение бухтарминцев все

далее и далее в горы, куда перенеслось теперь загадочное Беловодье.

4

«Наделяя намеченную область идеальными качествами, русский колонизатор, попадая в нее, каждый раз должен был неизменно убеждаться, что и тут жизнь имеет свою оборотную сторону, что и тут социальные отношения зачастую выступают во всей своей жестокости и неумолимой требовательности, — говорит профессор Шмурло. — Первоначальная мысль, что он нашел Беловодье, сменилось мыслью, что это Беловодье—в другом месте. Таким образом наступало известное разочарование: слабее—если новые условия жизни при всех своих несовершенствах все-таки оказывались существенно лучше старых, сильнее—если разница между брошенным гнездом и вновь заведенным оказывалась ничтожною. В первом случае человек легко примирился с мыслью, что Беловодье так-таки и не далось ему в руки, во втором случае вновь поднимался с места и шел на его поиски».

Едва ли основатели каждого русского поселения в Сибири не были искателями счастливой страны. Воодушевляемые мечтою о ней, подгоняемые сзади суровыми преследованиями за веру, эти настойчивые люди проникали в самые глухие уголки Азии.

В 1828 году партия в тридцать восемь человек мужчин, женщин и детей бежала на озеро Капас, находящееся в китайских пределах, где и думала зажить на привольи. За ними была послана погоня, которой однако не удалось вернуть бежавших, и только обещанием манифеста о помиловании удалось их воротить.

Большие размеры приняли поиски Беловодья, например, в Томской губернии в 1828 году.

В 1832 году бежали в Китай сорок два крестьянина, но были возвращены.

В 1861 году появились крестьяне в Нарымской долине (деревня Таловка и Медведка), смущенные фантастическими рассказами бывалых людей Бобровых о существовании где-то вблизи Беловодья. Более полусотни мужчин и женщин в тот же год из пограничных деревень перешло границу реки Нарым, перевалили Нарымский хребет и направились в Беловодье, но вожаки Бобровы сбились с пути и вывели партию в приайсанские пустыни и в низовья Алкабека. Два года бродили крестьяне в китайских пределах, но счастливой страны не нашли. Селиться же в этих местах не позволяли китайцы. Ничего не оставалось, как воротиться домой. Однако Бобровы и несколько других не захотели вернуться и исчезли неизвестно куда. Начальство посмотрело на воротившихся снисходительно и даже вернуло им часть распроданного перед уходом имущества.

Неудача эта несколько не остановила движения.

Русские селения вскоре появились в горах по реке Кабе и близ озера Марк-Куля. Хлебопашество, пчеловодство, рыболовство, охота—все давало там отличные результаты, и крестьяне, несмотря на протесты киргизов, основывали здесь свои селения.

Русскому правительству при заключении трактата с китайцами в 1881 году пришлось выговаривать себе всю полосу земли между Нарымом и Кильджиром, как уже фактически захваченную русскими.

Первые колонисты Кабинских долин однако вскоре вновь поднялись с места и пошли в новые края. Образованные ими деревни запустили, а потом снова пополнились пришлым

населением. Оно в свою очередь, проникаясь желанием дойти до Беловодья, само пополняло ряды искателей, усиливая таким образом вольную колонизацию. В 1896 году в Кабинских долинах существовали три официальных деревни: Тюсь-Каин, Чана-гаты и Балык-Булак. Может быть, не одна сотня человек, кроме того, временно проживала в горах на пути в Беловодье.

Никто не отдавал себе отчета в том, где находится загадочная страна. Вначале Беловодье искали в северо-западном Алтае. Первые пионеры, вероятно, и находили здесь его, но когда русская граница передвинулась сюда, то Беловодье в свою очередь отодвинулось дальше, в таинственные Бухтарминские горы. С появлением здесь русских властей и более многочисленного населения Беловодье начали искать в южных, неприступных хребтах Алтая, стали уходить на юг, в Китай¹.

Стремление во что бы то ни стало найти не дававшуюся в руки сказочную страну владело странствователями долгие годы. Оно помогало им преодолевать всяческие препятствия, проникать в самые глухие местности.

Известно, что Пржевальский, замечательный наш путешественник и исследователь Центральной Азии, открыл колонию русских крестьян-староверов в Центральном Китае у Лоб-Нора. Они целиком сохранили свой язык, нравы, обычаи, точно оказались перенесенными сюда каким-то чудом из уральской станицы или иргизских скитов.

Староверы всегда оказывались самыми рьяными искателями Беловодья.

1) Подробно об этом изложено у профессора Шмурло — «Русские поселения за Алтайским хребтом» в «Записках Сибирского Отдела И.Р.Г.О., XXV, 1899 г., а также см. «Россия», изд. Дервиена тт. XVIII и XVI.

В январе месяце 1898 года на Урале была выбрана делегация из трех казаков: Онисима Барышникова от Мустаевской станицы, Вонифатия Максимычева от Рубежанской и Григория Хохлова от Зимовья. Делегатам этим было поручено отыскать страну, именуемую Беловодьем, вызнать, как там живут люди, и узнать, принимают ли туда поселенцев, и если принимают, то на каких условиях.

Было вручено делегатам две тысячи пятьсот рублей, собранных по казачьим станицам на путешествие. Дополнительно пожертвовали еще горожане Уральска сто рублей.

После молитв, слез и проводов делегация пустилась в путь-дорогу.

Делегаты имели очень неясное представление о земном шаре. За справками о Беловодьи они прежде всего направились в Иерусалим через Одессу. Посетив Иерусалим, походив по Палестине и ничего не узнав о Беловодьи, казаки пробрались в Египет, поехали в Сингапур, а оттуда на французском пароходе в Индо-Китай, затем в Китай и Японию. Никаких следов таинственной страны им отыскать не удалось, хотя все окружающие относились чрезвычайно внимательно к расспросам длиннородых путешественников, упрямо отыскивавших никому не известную страну.

В 1900 году В. Г. Короленко встретился на Урале случайно с одним из делегатов, ходивших в Беловодье¹.

Удивительный рассказ старика поразил писателя. Он потребовал от старика, чтобы тот во что бы то ни стало как мог

1) Встреча эта и путешествие казаков описаны Вл. Г. Короленко в «Записках Русского Географического Общества» (1903г., т. XXVIII).

записал его. Старик исполнил эту просьбу и через некоторое время выслал Короленко рукопись. Готовясь отвечать перед посылавшими его соотечественниками, грамотный старовер, оказывается, вел путевой дневник, по которому впоследствии ему и удалось восстановить главнейшие события в пути.

Вообще обеспеченные достаточными Средствами, казаки совершали путь довольно благополучно. На пути в Сингапур они потерпели жестокую качку. В Сингапуре сошли на берег, бродили по городу, разыскивая какого-нибудь русского, чтобы переговорить с ним о Беловодьи.

Никого не найдя, казаки поплыли дальше, а через неделю, рано утром вдруг услышали на берегу колокольный звон. Трудно передать, как взволновались делегаты.

— Слышите, слышите, звон-то ведь наш, церковный! — сказал Барышников. — Не Беловодье ли тут, православные?

— Надо идти, — решили все вместе. — Идти прямо на звон — и все тут.

На вопрос, что это за место, им отвечали: «Сайгон».

Пароход вошел в устье большой реки, и делегаты могли сойти на! берег. Местные кули, возившие гостей в город в одноколках, куда сами же и впрягались, с великой охотой посажали странных путешественников в свои коляски и побежали в город. Казаки старались объяснить «бегункам», как они их называли, чтобы они мчались прямо на колокольный звон, и те, точно понимая, в самом деле сначала бежали на звон. Но, доведя седоков до какой-то большой площади, остановились и потребовали расчета за труды.

Напрасно седоки, не выходя из колясок, лопотали:

— Дон, дон, дон! Вези на дон-дон!

Бегунки смеялись и требовали своего. Казакам не оставалось более ничего, как расплатиться и пешком продолжать дорогу. Так

они и сделали. Через полчаса они добрались до большой и богагтой церкви с крестом, но не похожей на православную. На паперти стояли трое мужчин. Максимычев стал их опрашивать, указывая на церковь:

— Католическая или православная?

Те посоветались и, понявши вопрос, отвечали:

— Католик, католик!

Разочарованные путешественники пошли обратно через весь город пешком. Среди нагих обитателей Сайгона, прикрывающихся лишь широкими зонтами от солнца, седобородые люди в длиннополых кафтанах служили предметом самого усиленного внимания. Дети и подростки бежали за ними толпами. Парень лет двадцати, посмелее других, ощупал бороды невиданных людей и под бородами оглядел их шеи.

— Должно быть, думает, что у нас второй рот на месте горла. — проворчал Барышников.

При таком внимании оставаться в городе дольше было мало привлекательным.

В августе прибыли казаки в Гонг-Конг. Здесь ни в консульствах, ни у случайных людей не удалось им получить ничего по интересовавшему их вопросу. Не унывая и не отчаиваясь, но прямодушно веря, что рано или поздно, а следы найдутся, отправились они в Китай.

Приближаясь к Шанхаю, заметили они, что цвет морской воды изменился: из темного, но прозрачного стал белым и мутным.

Делегаты встревожились. Белая вода, разумеется, наводила на верные следы.

— Не тут ли Беловодье, православные?

Казаки бросились к капитану и стали у него допытываться:

— Почему здесь морская вода белая? Тысячи верст прошли по морям-океанам—нигде в море белой воды не бывает!

Капитан кое-как понял вопрос и с большим трудом объяснил, что цвет воды здесь зависит от того, что в этом месте вливаются воды великой китайской реки Ян-Тзе-Кианга.

Тем не менее и по прибытии в Шанхай казаки продолжали расспрашивать о праведной беловодской земле. Они отыскивали здесь русских, но и те не могли ничего сказать им по поводу Беловодья.

Делегация направилась в Японию, откуда намеревалась ехать дальше на восток океаном. Но в Нагасаках они решились побывать у русского консула. Консул, выслушав рассказ их, решительно отсоветовал им продолжать поиски. У старика Хохлова записано в дневнике об этом разговоре так:

«Консул нам сказал: «Какие сказки. Можно ли верить таким баснословиям? Здесь на островах не только церкви староверческой, но даже одной семьи староверцев не слышать. Если бы были даже на дне моря, и то было бы известно. Европейцы не оставили ни одного пятна на земле, на океан-море, чтобы было неизвестно. Даже дно морское теперь измеряется и знают, что есть подводные мели». Затем сказал нам, чтобы мы ехали домой, выдал дам пароходные билеты до Владивостока. Поблагодарили мы его и поехали на пароходе во Владивосток...»

Делегаты благополучно вернулись в родные станицы. Казалось бы, что после подобного основательного обследования, произведенного казаками на востоке, можно было спать спокойно в уверенности, что в самом деле Беловодье существует лишь в мечтах русского человека!

А между тем поиски продолжались и, разумеется, не могли не продолжаться, пока существовали экономические и политические условия, их порождавшие.

Некоторые данные самого последнего времени утверждают нас в нашей уверенности.

6

Увенчались ли поиски Беловодья успехом или не выпало на долю никому из искателей дойти до его пределов?

Нынешний читатель без раздумья решит этот вопрос, но для русских людей того времени вопрос этот решался иначе.

В самом деле, целые семьи из разных углов нашей необъятной страны уходили на поиски Беловодья. Некоторые из них, как мы видели, возвращались после долгих и бесплодных поисков. Никого, даже самих путешественников, это не могло однако убедить в том что Беловодья нет на свете. Тот, кто не находил дороги в счастливую страну, еще не мог утверждать, что ее не существовало.

С другой стороны, у многих на памяти были те семьи, которые, отправляясь на восток, никогда уже потом не возвращались на родину. Погибали ли они и пути? Устраивались ли где-нибудь новоселами? Или достигали границ прекрасного Беловодья и оставались там навсегда, не имея ни нужды, ни охоты сообщать о своей судьбе на родину?

И то, и другое, и третье—все одинаково было возможно, одинаково вероятно.

Уже одного этого было достаточно, чтобы легенда о Беловодье не умирала. Беловодье было для темных, религиозно настроенных масс единственным лучом среди беспросветной нужды и гнусного произвола.

И оно влекло на восток все новые и новые толпы беглецов. Они рассеивались в горах Алтая, в степях Казахстана, в глухой сибирской тайге.

Как бы заключительной главой этой огромной исторической поэмы о Беловодьи является и совсем недавнее, всего лишь год назад, открытие старобрядческих хуторов в Енисейской тайге.

Вот как было рассказано об этом в «Красной Газете» (№ 333 от 3 декабря 1928 года).

«В прошлом году летом к пароходу «Кооператор», рейсировавшему в верховьях Енисея, вышел из тайги старик, одетый в какую-то домотканную хламиду, и, пользуясь остановкой парохода, подал капитану Ильинскому прошение. Оно было написано на толстой старинной бумаге церковно-славянскими буквами и начиналось с такого обращения: «Великих Енисейских вод обладателю...» В прошении рассказывалось о том, что в глубине тайги живут отрезанные от всего остального мира православные русские люди, неизвестные властям, которые страдают от голода и холода и которым надо помочь.

Старик говорил тоже на каком-то древне-славянском языке. Толком объяснить, где именно находятся люди, посылающие прошение, он не мог и скоро опять ушел в тайгу. Прощение его привезли в Красноярск, сдали в музей краеведам, а о старике пошла молва, что это был сумасшедший.

На этом дело и кончилось.

Но вот недавно, нынешней осенью, охотники-промысловики, бродя в поисках пушного зверя по северу Тутало-Чулымского края, действительно, наткнулись на неведомых людей и обнаружили девять поселков и шесть хуторов, о которых до сих пор никто ничего не знал. Эти диковинные поселения найдены в верховьях таежных речек Читалыгач, Кандот, Чейнаде, впадающих в речку Чичка-Юл, приток Чулыма. До границ Красноярского округа от этих поселков сто сорок километров, а до Томского округа — сто пятьдесят километров. Пробраться к

ним чрезвычайно трудно, ибо колесных дорог нет, а есть только глухие таежные тропы, заросшие травами, заваленные буреломом.

Население хутора «состоит из староверов, говорит на полуславянском языке, не имеет ни имен, ни фамилий (вернее, скрывает их), и каждый называет другого братом. Занимаются исключительно пчеловодством и охотой: добывают пушнину и мед. Уклад жизни — старозаветный, граничащий примерно с бытом XVII века. Но здесь есть и советские товары. Мануфактуру и прочее сюда доставляли, как выяснилось, скупщики-спекулянты, которые одни знали пути в этот район и безнаказанно обирали его жителей.

Никакой прямой связи со всем остальным миром таежные староверы не имели, никакие власти их не тревожили. Теперь туда направлена специальная экспедиция, которая регистрирует поселки и введет их в состав СССР»¹.

Сообщение это газета заканчивает мнением известного сибирского краеведа А. Р. Шнейдера, который заявил по поводу открытия:

«При наших сибирских просторах и оторванности таежных районов от городов и административных центров, да еще при наличии бездорожья и почти непроходимых дебрей мы еще немало откроем таких «америк». Староверы всегда имели

-
- 1) Несколько времени спустя корреспондент газеты „Вечерняя Москва“ в статье „Хованщина в Тайге“ сообщал, что экспедиция, направившаяся в тайгу, нашла на месте поселков лишь одни пеньки. Напуганные появлением чужих людей, староверы снялись с места и передвинулись дальше, исчезнув в тайге.

тенденцию уходить в самые глухие места и там скрываться от грешного мира. Сибирские просторы и дебри представляют для них в этом отношении удобный край, где есть полная возможность скрыться. Поэтому, сколь ни сенсационно открытие девяти поселков и шести хуторов, ничего особенно неожиданного в том нет. Наоборот, надо ждать новых открытий, не менее любопытных».

Приобщение к современности всех этих беловодцев, скрывающихся в тайге, горных ущельях или; степных просторах, привело бы, вероятно, их к убеждению, что методами социальных революций государство справедливости, труда и свободы будет создано значительно раньше, чем найдется легендарное Беловодье.

Вячеслав Новоселов

Беловодье
повесть

I

Панфил еще в детстве любил послушать, как отец рассказывал про прежнее.

Отец его, чернобородый, весь будто выкованный великан, был лучшим на Алтае кузнецом. Никто не умел ни по длине, ни по калибру отливать таких стволов, какие выходили у Панкрата.

Бывало, долго собирается и много думает над каждым кусочком железа, а потом тряхнет нечесаными прядями волос, ядрено кого-то выругает и пойдет на речку, к кузнице. В это время Панкрата не трогай: ничего не поймет, ничему не удивится; стоит часами над огромной наковальней и, сдвинув брови, плющит молотом упругое железо.

С ним неотступно Панфилка. Пробрется, крадучись, в кузницу, юркнет под

мех и следит оттуда за каждым движением отца-великана. Отец тяжело налегает на меха, хватает клещами железо, нагибается за молотом, но одному неловко, и Панфилка, пользуясь моментом, неуверенно выглядывает.



— Тятенька, я покачаю мех?

Тот удивленно смотрит в сторону чучала, шурит правый глаз и раздраженно сопит носом.

— Между ног пролезет, окаянный! Не увидишь! Ишь, куда забился!.. Инструмент туда кладу... а ежели бы я тебя калеными клещами тыкнул в харю-то? Соображай!

— Я, тятенька, вижу, увернусь!

— Увернусь! Ну, да качай уж!

Панфилка кубарем летит наружу, берет, как опытный кузнец, обмызганные кончики веревки, мех злобно пыхтит, а в такт ему пыхтит и Панфилка.

— Стой! Ты! Леший... Видишь, в горне пусто. Неча зря буровить.

— Тятенька, чтоб не потухло.

Но Панкрат уже не слышит. Жилистые темные руки, шутя, играют раскаленной полосой, а на лице — и тоска, и надежда, и удаль.

Панфилка раскис, обессилел и давно весь в поту, а отец все покрикивает:

— Ну, поддай! Поддай еще! Еще поддай!

Наконец, когда железо принимает форму длинного ружейного ствола, Панкрат твердо ставит молот к наковальне и садится на обрубок. Панфилка только этого и ждал.

— Зашабашили, тятенька?

— Зашабашили, брат! — кричит весело отец. — Ну, Панфилка, ружьецо удастся!

Панфилка сияет.

— На козлов, тятя, пойдем?

— На козлов? Нет, тот зверь покрепче, на которого пойду. Да... Ну, на кого там случится. Сам еще не знаю. Подрости немножко — расскажу.

Панкрат запускает кулаки в густую бороду и, облокотившись в колени, сидит так долго-долго, необычно задумчивый.

Панфилка недоверием обижен; но заспорь с отцом — прогонит. А впереди самое интересное: надо заготовить и инструмент, и ствол, потом сверлить, потом прицеливать. Много работы еще!..

Так бывало в детстве.

И тогда же — помнит он — отец надолго уходил куда-то в горы. Раз вернулся через месяц, а в другой раз — через год.

Вместе с ним уходили многие. Снарядятся, как на охоту, а там и пропадут. Прискачет начальник, соберет стариков, накричит, на шумит, половину перепорет, но ничего не добьется: молчат старики. По всем горным тропинкам пойдут мелкие отряды казаков-разведчиков. Но куда им! Потеряют следы на бродах и вернуться. Мужиков же приведут потом китайские солдаты или сами они придут отдельными группами. Уходили целыми деревнями, и во главе всегда стоял Панкрат.

Не понимал тогда Панфилка, куда уходили мужики. Слышал, что ищут какие-то «белые воды». Но кристальная вода родной реки не казалась ему черной, и в душу кралось недоверие: не воду ищут, нет!

Когда Панфилу было уже лет под тридцать, отец после долгих лет спокойной жизни снарядил из соседних деревень человек пятьдесят и в одну ночь успел укрыться за границей. Четыре года не было о них ни вести, ни слуху. На Бухтарме решили, что они нашли, наконец, Беловодье, осели там, и вот-вот пошлют гонца. Стали поговаривать уже о сборах в дальний путь, как беловодцы объявились. Часть из них погибла, часть вернулась под конвоем. Панкрата с ними не было. Много прошло еще времени, пока его доставили на родину.

Это было последнее его путешествие. Больной, жестоко изувеченный монголом за былые подвиги, почти седой, он не вставал уже с постели.

Панфил не раз подходил к нему, но старик сурово хмурился и отталкивал его костлявым кулаком.

Пролежал всю зиму, наступила новая весна. Однажды вечером Панкрат поманил к себе сына, выслал всех из горницы и заговорил:

— Прощай, Панфилушка... Прости, Христа ради, меня...

Панфил, как подкошенный, пал на колени.

— Меня прости, батюшка!

— Ну, там бог тебя простит... А я уж... Куда мне... Неудобен я господу... Не дал мне вывести народ православный из царства антихристового.

— Что ты, батюшка!

— Молчи!

Старик прерывисто дышал, выдавливая слово за словом из разбитой недугом груди.

— Не поспалось опять... Раздумался я ночью-то и вспомнил... Махонькой ты был... Бывало, выйду в кузницу, а ты уж там... Помогать все просил...

— Помню, батюшка.

— Помнишь?

Не поворачивая головы, он скосил глаза на склоненную голову сына и минуту думал что-то, морща складчатый, широкий лоб.

— Ишь ты, ведь!.. Помнишь?.. Лежал я, думал все, Какой ты был у нас... Золото парнишка был... Да... А потом ты спрашивал, куда я ходил. Спросишь, а я крикну... Парнем был уж, опять спрашивал... Теперь знаешь, куда мы ходили, а не спрашиваешь, боишься меня. Господь бог наградит тебя за почтение... А ведь это

я тебя боялся. Вот что... Как на духу тебе сказываю. Послухмянный ты был своим родителям, церкви-матушке угодливый, ко святому писанию усидчивый... Думаю, взять его в помощники, а он и сделает все без меня, найдет Беловодье... Ты это можешь.

— Слаб я, батюшка.

— Не говори, Панфил. Ты можешь... Наказан я за гордыню свою. Может, если бы ходил с тобой, нашел бы... Вижу я, как зверь идет к тебе... Охотник ты в крае первеющий. А это в нашем деле — первая рука. Все тебе горы, все ущелины — будто родные. Не заблудишь, не оступишься... Да... Только стыдно тебе ходить с тем базарным ружьишком. Ты не какой-нибудь...

Панкрат с большим усилием приподнял кисть руки и показал глазами и высохшим пальцем на стену, где висело самодельное ружье:

— Достань-ка мне его.

Встал Панфил, перегнулся через высокую скрипучую кровать и осторожно принял на руки тяжелый ствол. Ружье давно уже сильно проржавело. От широких ремней висели жалкие клочки, а расколотая ложа была вдоль и поперек обита жестью.

— Поднеси.

Панфил нагнулся.

Старик ласково провел сухой ладонью по стволу и судорожно сжал его.

— Слуга мой верный... Все напасти поделили... На охоте ли, на баранте ли с некрещеными — не подвел ни разу... Тридцать два медведя положил им, семь киргизцев, а монголов — так без счету.

Он нащупал жерло и дробно, много раз кряду осенил его крестом.

— Возьми, Панфил... Поправить только надо: раскололи нехристи... Отцовское оно, заговоренное, обстрелянное... Возьми теперь.

— Спаси тебя господи, батюшка!

— Ладно... Только ты его почисти...

Панфил растерянно повертывал ружье в руках. Потом с благоговением повесил на старое место.

Иссохшая рука отца тяжело скатилась с живота на край постели.

— Сядь тут.

Сел Панфил. Взглянул на желтое обросшее лицо и отвернулся: не мог смотреть и сознавать, что перед ним лежит тот самый богатырь-вожак, за кем шли стар и мал.

Панкрат дышал все тяжелее.

— Не нашел вот я... Неудобно, значит, богу... Что же, ты найдешь... Скажи мне, веришь ли в землю Восеонскую, правой вере обетованную?

— Верю, батюшка.

— А как ты веришь?

Сын молчал.

— Как ты веришь, говорю? Всяко верят. Есть, которые смеются. Из стариковских, из наших же такие есть. А другие опять рассудком затмилась и ищут сказку богомерзкую... Думают, на белых водах калачи по березам висят... Не то надо искать... Не такое Беловодье.

— Понимаю, батюшка.

— Вразуми тебя господи! Беловодье оно ото всех стран отличительно... Найдешь, небось... Вдоволь там воды, вдоволь черной земли, и леса, и зверя, и птицы, и злаков всяческих, и овощу... Трудись только во славу божью, как прародитель наш

Адам трудился. Не смотри, что хорошо сама земля родит. Потом поливай ее... Ты слышишь, Панфил?

Тот вздрогнул, поймав себя на нехороших мыслях.

От старика, от одежды его, от постели тянуло смрадом. Сердце ныло в тоске, а к горлу подступала тошнота. Боролись два чувства — отвращение к беспомощному трупу и страх, благоговение перед каждым словом навсегда уходящего в вечность столпа.

— Что ты, батюшка! Ни единого из слов твоих не утрачу.

— Угодья разные там высмотри, да не забудь и душу... Не должно там быть власти, от людей поставленной... Тем и свято оно, Беловодье. Ни пашпорта тебе там, ни печати антихристовой — ничего... Правой вере простор... Живи, как хочешь... Управляйся стариками... Вот как... Понимаешь?

— Понимаю.

— Пойми... пойми...

Хотел сказать что-то, но в груди в буйном приступе кашля забились разбитые легкие, и вместо слов всю избу наполнили дикие, жуткие звуки. Давно нечесанная борода трепалась в серой холщовой рубахе, щеки вспыхнули румянцем, а широко открытые безумные глаза, с густой сетью красных жилок, упрямо смотрели в низкий черный потолок.

Долго кашлял, стонал и бессильно плевался. Потом затих. Потом опять заговорил:

— Дай мне Триодь Цветную!

Панфил послушно шагнул в передний угол, снял с киота толстую, обтянутую кожей, в дубовых корках книгу и поднес.

— Возьми тоже себе... Старой печати она... Дониконовской... Истинная книга... Одна осталась. Все походы с ней сделал, пуще глазу берег... Береги и ты... Теперь встань сюда и наклонись.

Панфил опустил на колени.

— Клади левую руку на Триодь... Так... Сложи двуперстно правую... Клянись мне, что не отступишь от старой веры.

— Батюшка, клянусь!

— И живот и душу за нее положишь?

— Положу! Клянусь!

— И детей и внуков к ней приведешь?

— Клянусь!

— Клянись, что по гроб, по конец земной своей жизни, не смиришься духом, пока не сыщешь землю Восеонскую.

— Батюшка! Слаб я.

— Клянись!

И звякнули стекла, медным звоном отдался в ушах могучий, властный голос. Будто крикнул не старик, а тот прежний великан Панкрат.

— Клянусь, батюшка.

— То-то!.. Теперь ты скован, но господь тебе поможет, поведет тебя.

— Батюшка, батюшка...

В сухом рыдании Панфил уткнулся лбом в постель. Отец нащупал его голову и, больно тыкая в темя крепкими горбатыми ногтями, трижды осенил крестом.

— Благословляю тебя... Родительским своим благословением. Помоги тебе бог... А теперь ступай.

— Батюшка, батюшка!

— Говорю тебе, ступай!

С низко опущенной головой Панфил вышел в сени. Через два дня Панкрат умер.

II

Давно это было, с лишним сорок лет назад. А Панфил все искал Беловодье. Высокий, тонкий, всегда в черном кафтане, всегда благообразный, он внушал всем доверие и, куда ни приходил, везде был первым. И старики и молодые знали, какое бремя носит на своих плечах Панфил. Когда его старуха, вечно скорбная Никитишна, умоляла бросить странствия, заняться домом, позаботиться о старости, он, сверкая глазами, сильно возвышал свой кроткий голос:

— Клятва! Клятва на мне! Не ваш я не твой. Я правой веры слуга и послужу ей до смерти, не за страх, а за совесть. Укрепи меня, не искушай!

Никитишна подолгу плакала в углах, но возражать боялась. Слишком велико было обаяние его и слишком ничтожной казалась она перед вождем народным. В душе она даже гордилась им. Но человеческое побеждало.

В тот же год, как схоронили отца, Панфил увел беловодцев на поиски земли Восеонской.

По неопытности, в первый раз, пошли огромным табором. Пошли в ту же сторону, куда водил Панкрат — все на юг и на юг. Но, очутившись за горами, в необъятной шири каменных полей и кочующих песков, не знали, куда двинуться. Бродили наугад, роптали друг на друга и всех больше на Панфила, но каждый новый день встречали с тайной верой в счастье. Иногда ничтожный случай приводил их в трепетный восторг, и они ликовали, как дети. Покажется на горизонте ярко зеленеющая сопка, заискрится змейкой студеная речка — и забыты ссоры, жалобы, как не бывало мрачных мыслей. Бодро шумит тогда усталый табор.

Один раз беловодцы после долгих, трудных переходов, после того, как отчаянье холодным камнем легло на все сердца, когда уже не было сил идти куда-нибудь, случайно вышли на безымянное урочище с плодоносной нетронутой почвой, богатое зверем и птицей. Высмотрели каждый уголок, все обсудили, взвесили и тогда только решили осесть. После строгого трехдневного поста, подкрепленного горячими молитвами и славословием, взялись за топоры. Загудели девственные рощи, взвыл хозяин их — не знавший человека зверь. Бойко и радостно работали люди. Один Панфил бродил тревожно-молчаливый. Странно это было: не нашел он радости. Ночами он подолгу вздыхал и молился: просил все веры и духа кротости. Но смутное, тяжелое сомнение давило душу. Не того он ждал от Беловодья, и все казалось, что вот-вот кто-то придет и скажет: «Куда же ты завел доверчивых людей? Тебе ли, слабому?». Наконец, мужики приступили к нему:

— Скажи нам, если чувствуешь что-нибудь.

Но уклонился Панфил, подумал выждать. А на другой же день пришла орда! Мстя за прошлые обиды беловодцев, налетели ураганом всадники, по бревну раскатали они едва заготовленный лес, разграбили добро, забрали в плен всю молодежь, а стариков погнали табуном к границе.

Позорен и мучителен был этот путь, и лишь немногие перенесли его, дошли домой. В числе их был Панфил.

Но неудача не скосила его. Только в длинной узкой бороде и на висках несчастье перевило черные густые пряди тонким серебром, да по лицу скользнули мелкие морщинки. Мучительно и крепко думал свою думу Панфил. Ни насмешки, ни жалобы, ни частые крутые разговоры с малым и большим начальством — ничто его не волновало. И это гордое спокойствие передавалось всем. Знали, что Панфил опять уйдет. И ушел.

Так тянулось тридцать лет.

Но устал ли Панфил, потерял ли он веру в успех, — только все реже и реже уходил он за границу.

— Слаб старик, — с глубоким уважением говорили мужики. — Оскудел, поизносился.

И вот, случилось, заболел Панфил. В жару, теряя временами память, лежал он пласт-пластом на лавке. Большая козловая шуба тяжело давила ему грудь. Мысли путались. Длинными ночами лежал Панфил один в пустой избе, беспомощный, недвижимый, и тогда безумный страх наступил на него из жутко-молчаливой темноты. Казалось, что лохматое чудовище, всем телом навалившись на хрипящую слабую грудь, все ближе наклоняет к его лицу свое уродливое рыло, дышит смрадом, злобно скалит мерзкий рот и шепчет:

— Что ж ты не покажешь людям дорогу к Беловодью? Клятвопреступник ты! За мирские прелести проданся! Там, в чужой земле — и голод, и холод, и смерть под пулей. А здесь тебе почет!..

Отступило чудовище, и вкрадчиво сладок его голос:

— Разве ты не человек? Почему ты должен мыкаться всю жизнь, как какой-нибудь Бергал? Где твой дом? Подумай только, что ты сделал с собой, со старухой, с ребятами? Они тебя не знают, и ты не знаешь их. Брось, Панфил, одумайся! Вот теперь ты наставник... Здесь ты нужен. Брось!.. Что там говорил тебе отец — забудь! Сам он не нашел, не найти и тебе. Нет там земли Восеонской! Разве здесь вам худо? Вспомни, сколько исходили вы, а где вы видели лучше, чем здесь? Тут и Беловодье вам...

Плыли иплыли из душной темноты слова его, и нельзя было уйти от них.

Панфил в безумии тыкал руками в воздух, падал с лавки на пол и кричал:

— Отыде от мене! Отыде! Грешник я великий... Не искушай! Клянусь животом своим, пойду еще на Беловодье. Есть оно! Нет, не искушай. Найду его!.. Господи, господи!..

Домашние с трудом привели старика в рассудок.

Но с каждым днем Панфил креп духом. Твердое решение удесят�еряло силы в борьбе с чудовищем, все легче было с ним тягаться и совсем стало легко, когда Панфил излился в исповеди перед сонмом древнейших стариков общины.

III

Стояла яркая весна. Все круче поднималось солнце на небо; курились трещины и пади; с гор хлестала бурным валом мутная вода; на припеках зеленели сопки; цвел матерый черный лес. Время было пахать.

Бухтарминцы с раннего утра ползут из глубоко заброшенных в долины деревушек по отлогим жирным скатам. К вечеру по тем же чуть приметным тропкам, группами и в одиночку, из-за малых и больших гребней, то теряясь в перелесках, то цветными пятнами мелькая по каменистым лысынам, спускаются они домой. И только достигнут долины, вихрем взмоют на поджарых лошаденках. Обгоняя стариков и грузных баб, с хохотом несется молодежь в деревню. Парни и девицы скачут вперемешку. Увлеченные ворвутся в улицу, всклубят густую пыль, и долго потом по косым переулкам то тут, то там пронизывают воздух громкие, веселые выкрики.

Весь великий пост Панфил служил исправно. Трудно было: не слушались ноги и срывался голос, но старик крепился. Росло в нем то огромное, святое, что он вынес из борьбы с болезнью. Радостью полна была душа.

Наступило третье воскресенье после пасхи. Как всегда в такие дни, Панфил поднялся рано. Свежо было на улице. С белков

тянуло сыростью и холодом. Лучи уже слегка ласкали гребни ближних гор, а тут, внизу, над крайними домами у скалы, еще плавали гуськом клочки тумана, невзначай захваченные днем. Они растерянно искали выхода.

В черном нанковом кафтане и большой тяжелой шапке шел Панфил в моленную. Шел не торопясь, намеренно виляя по всем закоулкам, чтобы видели прихожане. Велось так издавна.

Вот за пряслом углового дома выпрямилась рослая фигура женщины. С высоко подоткнутым подолом, держа в одной руке подойник, а другую далеко откинув, она испуганно смотрела на Панфила.

Он степенно снял шапку.

— Здорово, Власьевна!

— Здорово ночевал! Да нешто уж в моленную?

— С божьей помощью, пошел.

— Проспала, знать. Ах ты, милый мой!.. Дашутка! — колыхаясь дряблым телом, закричала баба: — Где ты, пропастина, провалилась? Дашка! Мне идти уж время... Коровенок-то подой!

И везде, где проходил Панфил, из-за плетней и прясел доносились голоса:

— Пошел в моленную.

— Дедушка пошел в моленную.

— Служба скоро — дедушка идет.

Моленная стояла вблизи речки, в самой гуще построек, где усадьбы вплотную сходились грязными задворками. Среди дряхлых, покосившихся навесов и никогда не чищенных хлевов, невзрачное, низкое зданье моленной никому не бросалось в глаза. Старенький амбаришко — не больше. Кто подумает, что по ночам под этой крышей люди отбивают тяжкие поклоны, славят бога и несут ему в немудреных словах свои горести, обиды, жалобы?

Но начальство проведало, налетел орлом сам заседатель и наложил на дверь и узкое окошко крепкие печати. Да Панфил надоумил. Послушались его, и вышло хорошо.

Моленная вплотную примыкала одним боком к новому высокому амбару, не больше пол-аршина было между стенами. Их прорубили в полроста, забрали бревнами короткий коридорчик, а пустоту засыпали навозом. Когда кончили работу, не могли нарадоваться. Трудно стало попадать в моленную, но сладка была молитва за печатью.

Знакомой дорогой завернул Панфил во двор Евсея. Дедушка Евсей стоял среди двора еще неумытый, босой.

— Здорово ночевал, Евсей Семеныч!

— Здорово живешь!

В ответ на поклон Панфила он кротко склонил седую, исключенную голову.

Сам нащупал рукой на узком поясе тяжелый ключ винтом и, отвязавши, протянул его Панфилу.

Тот принял и совсем было пошел, но снова обернулся.

— Ты, Евсей Семеныч, старикам-то тут наказывай, чтоб не разбрелись потом. Да тихонько, смотри, чтоб не разгудело по деревне.

Старик даже обиделся.

— Не впервой, поди, тут караулю вас.

— Ну, я так ведь... Не серчай, Евсей Семеныч.

— Ладно, ладно. Вот обуюсь, приду.

Панфил открыл амбар, прошел в полутьме мимо длинного сусека и не без труда отставил в сторону две кедровых плашки, закрывавших маленькую дверь в стене. Тут опять тяжелый навесный замок. Долго гремел им, нащупывал ржавое отверстие, наконец, отомкнул и осторожно растворил скрипучую, расхлябанную дверцу.

Из темноты ударило прогорклой сыростью.

На верхнем косяке всегда лежал огарок. Панфил высек огня и, прикрывая рукой мерцающее пламя, переступил порог. Что-то жуткое хлынуло в душу. Всегда так с ним случалось. Дом божий! С трепетом входил он в этот дом. Желтое пламя, виляя дымным языком, едва боролось с темнотой. Огромная уродливая тень Панфила, перегнувшись, закрывала потолок и стену. Блеснули небольшим квадратом стекла наглухо закрытых окон. Стройными рядами полусвета их пятен обозначились иконы.

Панфил подошел к узкому длинному налою. Тут же рядом стоял деревянный, токарной работы подсвечник. Заткнул в него огарок и трижды, широко крестясь, сотворил земной поклон.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий...

Громким шепотом повторял он первые слова молитвы, высоко закидывая двоеперстие, и бесшумно падал на колени, ловко подстилая под руки и лоб углы кафтана.

Положивши малое начало, он погладил бороду в раздумье и с любовью посмотрел на длинный ряд тяжелых темных книг. Много их лежало тут, больших и маленьких. Все в обитых кожей толстых корках с медными застежками, все дониконовского тиснения. Панфил вынул аршинный кумачовый платок и старательно хлопал пыль. За детьми своими никогда он не ходил так, как за этими книгами. Столько в них правды, столько мудрости великой, не всегда понятной даже человеческому разуму! Уже не первое столетие идут они с рук на руки, уже обитые и сильно потемневшие листы их густо, обильно укапаны воском и с трудом читаются, а все же сберегли их тысячи любовно прикасавшихся к ним рук.

В амбаре загремело. Стали собираться старики. Первым, как всегда, ввалился, громохая черемховым костылем, рослый и тучный Асон. С широкой белой бородой, до ушей облысевший, с

обжигающим взглядом из-под нависших тяжелых бровей, старый строгий Асон уже привык к тому, что под веселую руку его часто называли пророком. Не сердился на это.

Войдя, он ловко кинул на пол мягкую большую шапку и, грузно падая на нее широким лбом и кулаками, сотворил исусову молитву. Потом трижды в пояс поклонился ожидавшему того Панфилу, расправил бороду и, опершись обеими руками на костыль, покорно замер.

Вслед за ним то и дело стала открываться дверца. Люди тихо и торжественно вставали на свои места. Старики все в черных церковных кафтанах, бабы — в шитых позументом покрывалах. Многие несли с собой самодельные желто-восковые свечи, клали их на книги, кланялись Панфилу, кланялись на все четыре стороны. Но ни слова, ни звука. Стоят, скрестивши руки на груди, и ждут. Лишь из дальних рядов кто-то, не удерживая настроения, кончает вздохи страстным шепотом: «О, господи, господи!».

Панфил порылся в книгах, отыскал, что нужно, и уже несколько раз беспокойно оглянулся на дверь.

Но вот, сильно запыхавшись, проскользнул сквозь ряды стариков Панфилов крестник, Гриша. Он тоже в кафтанчике. Шили давно уже — сильно вырос из одежды, — а бережет ее, надевая только в праздник к службам.

Панфил укоризненно качает головой:

— Собирался уже начало класть... Где это шарился?

Гриша молчит. Он суетливо роется в книгах, чтобы не запутаться в службе, проверяет, на местах ли кумачовые закладки. Потом забирает пук тяжелых свечей и поднимается за дедом на амвон.

Вся стена уставлена иконами старинного письма по дереву и медными распятиями, складнями. Перед каждой вбит железный крючковатый гвоздь для свечки. Посреди иконостаса выделяется

своей величиной распятие с цветной эмалью. Цены ему нет. Принесли из приволжских скитов. Оно врезано в толстую доску, а в доске под ним есть потайник, где сохраняют крошечку святых даров. К нему к первому подошел Панфил, помолился и поставил самую большую свечку.

Прежде чем зажечь свечу, Панфил трижды кланялся иконе, а вместе с ним в пояс кланялся и Гриша. Обошли так все ряды.

Иконостас, обильно освещенный, не горел богатыми окладами, но строгие лики святых в желтых дрожащих лучах снова ожили, согрели храм.

Сейчас же приступили к службе.

Вели ее неторопливо и старательно. Панфил творил возгласы перед распятием, а за длинным налоем в ряд стояли вместе с Гришей трое стариков. Гриша успевал везде. Обученный Панфилом по псалтырю, он звонко отчеканивал фразу за фразой и, щеголяя ученостью, старался прочесть на вздох по полстраницы. Когда нужно было петь, он быстро кивал влево и вправо следящим за ним старикам, но дедушка уже затягивал мотив, и нудно-тягучее пение, сначала робкое, потом растущее, смелеющее, наполняло души торжеством. В хаосе старческих скрипучих голосов звенящий альт Григория был струйкой жизни, голосом жаждущей солнца земли.

Свечи сильно коптили и плавились. В храме становилось душно. Уже в задних рядах одряхлевшие до слепоты старухи сидели на полу, бессильно вытянувши ноги, склонивши головы на грудь. Уже солнечный луч длинным серебряным прутом тянулся от окна к налою, показывая, что пора вести к концу, а плотная толпа молящихся стояла твердо. Панфил часто клал поклоны и за ним, как один человек, наклонялась толпа. Только шорох пройдет и застынет.

Обходя ряды с кадильницей, Панфил пытливо всматривается в каждое лицо. Вот собрались опять. Значит, верят ему. Все тут — верные товарищи. Что сказать им? Как начать?.. Да разве не знают они! Но нечаянный взгляд через головы, дальше, поймал в темноте что-то странно-жуткое, досадное. Хрисанф пришел! Это он так смотрит. Это он всех выше. Рыжая, монетной меди, борода его чуть не лежит на ближней лысине. Не смутился, не дрогнул Панфил, в упор приблизился к Хрисанфу и трижды накрест окадил ему лицо. Взгляды встретились — смиренный, безбоязненный и гордый, упорно-настойчивый. Скрестились на один момент, а сказали много и понятно. Но никто не видел этого. Хрисанф кротко склонил голову, принимая благодать наставника, и даже не взглянул на него, когда тот отошел.

Окончили длинную службу. Толпа неторопливо удалилась. Лишь, как бы ненамеренно, задержались старики, Немного их, всего десяток, полтора..

Панфил прибрал моленную, задул огарки, разложил в порядке книги, поставил на полку кадильницу — и подошел.

Поздоровались молча, побряхтели, поохали.

— Немощен стал, — отозвался Панфил на сочувственный вопрос столетнего Герасима.

Немного задумался над этим, но сейчас же вспомнил:

— Дух тяжелый здесь. Стены страсть потеют, как народ соберется. С потолка все каплет... В амбарушку выйти, што ли?

— Пойдем, посидим.

— О-хо-хо! Прости нас, господи!

Обвели глазами почерневшие во мраке стены, сокрушенно помолчали и, покрестившись на безликие теперь иконы, вылезли в амбар. Дверь замкнули на ключ и приставили, как прежде, плахи. Все расселись по закромям.

— Припекает! — молитвенно-радостно сказал хозяин. Он подошел лишь к концу службы. Вышел тоже раньше всех. Старший сын собрал его на пасеку. Посреди двора стояли в волокушах лошади. На длинных упругих шестах были увязаны колодки. Давно бы выехал: пчела не ждет, — да неловко как-то.

На правах хозяина он снял уже кафтан и, бодрый, довольный, со светлым лицом, присел на груды хомутов. Белая холщовая рубаха до колен, расшитая шелком, плохо закрывала отвислый живот, а густо волосатая грудь выпирала в прореху. Почесываясь то за воротом, то в бороде, Евсей нетерпеливо озирался и пыхтел.

— Пчела-то как? — спросили его рядом.

Он хлопнул пухлым кулаком по ляжке и посмотрел в ладонь, словно там искал ответа.

— Пчела работает. Пока с нее много не проси. Отощала, поправляется. Помогите только вовремя, да не пала бы помха, а она не обманет... Вот хочу поехать...

— Весна-то ныне — благодать! — не поднимая головы, скрипел дедушка Герасим. — Вот тоже... как заходили суды... по первости еще... весна стояла...

Он поперхнулся, закашлял и потерял свои мысли.

Молодое, огненное лицо солнышка смотрело через крышу дома. Старики, отдыхая, разомлели. Не хотелось двигаться и думать. Но Панфил нарушил отдых.

— Весна ранняя — лето будет мокрое... Легче пройти-то по камням да пустыням.

Все обернулись в его сторону. Все знали, о чем он говорит. По привычке давно уже не называли то, к чему стремились, что носили в тайниках души.

— Ты это правильно... — степенно вставил Асон. — Убийство без дождя-то. Помнишь, поди, как?..

Он не кончил: в дверях, закрывая собой свет, неожиданно вырос Хрисанф.

Остановился у порога, снял черную большую шляпу.

— Здорово, отцы!

— Здорово ночевал, Хрисанф Матвеич!

— Будь при месте.

— Благодарим покорно. Сядем, што ли.

Он опустил на широкую бадейку, бросил шляпу на пол за себя и, упираясь кулаком в бедро, пытливо оглядел собрание.

Тонкого сукна кафтан его, шитый серебром по поясу, сидел плотно на статное могучей фигуре, на ногах были богатые с тяжелыми гвоздями сапоги. Он всегда так одевался.

Хрисанфа боялась. Но в трудную минуту за спиной его прятались, и он стоял скалой. Великая сила дана была ему. Лишь бы взялся Хрисанф, — не уступит, не свернет с дороги.

— Лошадей готовить, что ли? — без подвохов и обиняков загудел он.

Асон, опираясь бородой и кулаками в толстый набалдашник костыля, насупил лохматые брови.

— К тому дело идет. Вот послушать бы Панкратыча.

Панфил встрепенулся.

— Я што? Я за миром... миру послужу во славу божию.

— От тебя не отступим!

— За тобой пойдем!

— Созывай, Панфил! Пойдем!

Голоса шумели. Панфил снова чувствовал свою силу. Но случайно брошенный взгляд в сторону Хрисанфа напомнил старое. Тот не уронил ни слова. Только улыбался снисходительно. И в мгновенном порыве к правде, к истине Панфил открыто посмотрел ему в глаза.

— Пошто молчишь, Хрисанф Матвеич? Али душа не лежит? Ране ты охочий был до этого.

Все испытующе смотрели на Хрисанфа, а он сидел все так же подбоченясь, только лицо стало серьезным.

— Не тебе бы спрашивать, отец. Пойти — пойду. Может, раньше вас поспею. А вот лучше спроси, по пути ли нам будет? Помнишь прошлый раз? Да. Помнишь? — Он начинал волноваться. — Разное мы ищем, Панфил. Несогласно пойдем, разобьемся. Тебе надо древние обители найти, ну, и помоги тебе господь, разыскивай, блюди во славу Божию в пустынях. — В крепком голосе его звучала насмешка: — А нам, грешным, обитель — не находка, ежели она не там стоит, где надо.

Старики забеспокоились.

— Не ладно говоришь, Хрисанф! — внушительно стукнул костылем распрямившийся Асон. — Не ладно! Не накидывай святому делу петли. Не засевай поверх зерна бурьяном. Разве ты с Панфилом не ходил? От отцов, от предков нам дано это. Есть такая обитель; старой правой веры русские люди основали ее; содержат ее; содержат там веру по старому виду, и священство там истинное и епископство. Вот что! Слыхал, поди! Найти-то трудно, а надо найти.

Хрисанф пожал плечами.

— Дело доброе. Да только давно ли разговор об этом повели. Пошто раньше не искали обителей? В нашем-то краю народу какого не шляется. Занесли молву, а кто занес, а ладно ли это?.. Пошто Панкрат-покойник не мутился?.. Земли вольные искал он — вот что.

— Истина поздно придет, да на первом месте сядет, — наставительно и кротко вставил Панфил.

— Истина! — взревел Хрисанф, багровея лицом: — Кнутом к ней не погонишь! У тебя своя, а у меня другая.

— Не захочешь — не поймешь, — все так же кротко говорил Панфил: — Сделай милость, поясни, куда тебя манит...

Хрисанф оторопел и, посмотревши на седую голову Панфила, весь опустился, размяк.

— Куда манит? — спрашивал он, обращаясь в воздух: — Да почему я знаю? Душа про то ведает.

Он погладил в раздумье кафтан на коленке. В глазах уже не было ни злобы, ни насмешки.

— Нет нам места на земле. Каторжные мы. Нас гонят, нас ловят, будто дикого зверя, с трех сторон охотятся, а мы што?

Он замолчал.

— Надо бы того... с повинной... я давно говорю... — несмело вставил Евсей.

Хрисанф опять вспыхнул.

— Ну, пошто не идешь? Ну, поди!

Евсей виновато посмотрел на всех и, везде встречая укоризненные взгляды, поспешил оправдаться.

— Мне ништо. Вперед не вылезу. Как мир, так и я.

— Шея у нас толстая, — ехидно шурился Хрисанф, — не погнется для поклону-то. Надо в пояс кланяться. А в пояс поклонись, как бы лбом начальника не зашибить. Кулак тоже может зазудить не вовремя. Ишь, народ-то все какой. Возьми-ка вон Асона. Помекаю, на восьмой качнуло.

— Семьдесят девятый, — отозвался польщенный Асон.

— То-то вот и есть. А дедушка Герасим! Ему только глаза бы. А Николай Самсоныч, а Быковы! Да все! Дуб народ!

— Лонись, как Бабкины в Расее были, так, говорят, мокрый там народишка, дря-яблый, — словно радуясь чему-то, смело выскочил тонкий Назар: — уж ежели под пятьдесят ему дошло, он помирать собрался. Мокрый народишка.

— Со зверями живем, — продолжал Хрисанф, — по-звериному и жизнь идет. Заелись, будто кони под белком. А ты спроси, куда меня тянет, кого я ищу? Почему я знаю? Душе беспокойно, ежели на месте сидишь да кругом тишина.

— Это ты правильно!

— Ладно, парень, сказал!

— Ушиб прямо в сердце!

— Опять и то сказать к слову: всякому свое нравится. Волку дай темную ночь да дубровушку, а барану — хлевок.

— Правильно!

— Охо-хо!.. Чего уж!.. Так оно...

Старики оживились. В памяти вставали длинные поездки и скитания. Не было уже ни озлобления, ни старых счетов. Разговор стал шумным, зажигающим. Только дедушка Герасим, плохо слыша, о чем говорят, тянул свое:

— Не будет благодати, ежели не с добра пойти. Панфил-то он... того... с обетом... ему откроются, примут... Надо за ним, как за святой звездой... Хрисанфа надо... без него никак... Не можно без Хрисанфа... Выведет!.. Орел он!.. Хрисанф-то, говорю...

Слова его совпали с настроением и примирили всех.

— Кого тут толковать, — серьезно подхватил Асон, — рази кто об этом говорит? Несогласья не будет. Так, по-стариковски пошумаркали... Крепче дело выйдет.

— Вот тоже по первости... как суды заходили...

Но опять слова Герасима потухли в общем говоре.

Наговорились досыта. Безмолвное согласие скрепило всех, сковало цепью. Но вперед никто не забежал. Это успеется потом, по избам.

Надо бы уже и уходить. Усталое тело давно просит покоя, а не хочется сдвинуться, вернуться к будням, к серой обыденщине.

Редко удастся так сойтись: все заботы о семье, о хлебе, а жизнь-то — вперед да вперед.

Евсей давно уже беспокоится: выехать время. Ожидает только, его кликнут обедать.

Панфил сидит против двери. Он не слышит затихающего говора. В просвете амбарной двери горит солнечный день. По пятнам золотого света на дворе гуляют голуби, шныряют воробьи. Они громко славят жизнь и сами торопятся жить. У дверей амбара лежит старый черный пес, вылез из-под пола, натянул насколько мог свою цепь и греется. Голова его лежит на лапах. Глаза смотрят в одну точку. Думает он свои собачьи старческие думы, отдыхает, нежится. Белый статный петух подходит совсем близко, вытягивает шею, и, подставляя один глаз, долго, внимательно смотрит на пса, но, поймавши другим глазом в небе ястреба, вдруг пускает тревожную трель. Хохлатки стремительно выскакивают из вырытых ямок и, забывая даже отряхнуться, кривят головы, зорко смотрят в небесную синюю глубь.

По двору, от амбара к дому и обратно, часто пробегает дочь Евсея, Акулина. Она в пестром сарафане. Толстая коса повита бисером. Кисти пояса упали до подола. Собирая на стол, Акулина ради праздника несет и меду в сотах, и кваску медового, а мать — у печки: сторожит пирог с тальменем. Девка кипит и торопится: не опоздать бы на полянку. Выбегая из избы, она шибко дробит толстыми пятками по скрипучим ступеням и что-то напевает вполголоса. А перед дверью амбара, стесняясь стариков, проходит с серьезным лицом. Совсем постная девка. Но крутая грудь и во всю щеку краска выдают ее. Кто не видел Акулину на полянке! Первая затейница.

Проходя в последний раз, она приостанавливается и бросает чуть слышно:

— Тятя, обедать.

Евсей беспокойно передергивается, шарит острыми глазами по амбару и кричит вдогонку:

— Ну, ладно, приду.

— И то ведь, обедать пора! — вдруг хватился Асон. — Поди, ждет старуха-то.

Поднялись и пошли.

А Панфил будто застыл, замороженный золотом дня.

Жизнь-то! Вот она! Жизнь-то! Не убьешь ее. Под сараем, пол крыльцом, на крыше! А люди-то — мимо да мимо. Топчут, в прах вгоняют. Все мнутесь и мнутесь, все им мало да тесно.

Что-то кралось опять в душу, крепкую решением, отчего-то стало беспокойно.

Но пропало все, потускло золото. Перед Панфилом выросла фигура Хрисанфа. Тот стоял с безразличным; спокойным лицом и, прощаясь, тянул руку.

— До свиданья, Панкратыч! Пошел я.

Посмотрели друг другу в глаза и ничего не сказали.

IV

Уже два месяца, как жизнь в деревне раздвоилась. С виду все идет по-старому. Встают рано, до солнца, работают, пока не подберет туман и не подымется над снеговым шишом светило, потом обедают — и снова за работу. День за днем ложатся рядом, будто баба стелет холст: ни короче, ни длиннее — холстина к холстине.

Но под серой мутью буден зреет новое, яркое, тревожное, большое. Его радостно вынашивают в сердце, хоронят от самих себя.

Всюду проникающей змеей ползет сплетня по деревне: «Беловодцы мутят, сухари толкут, суммы готовят». А беловодцы молча улыбаются: «Мало ли кого ни скажут! Килу бабе на язык не

посадишь. Поболтают да устанут». И, чтобы не было соблазна, хозяйство ведут, как всегда.

Крепче всех сторожит беловодцев Гундосый Фома. Прошлый раз ему много прилипло. Распродавались — накопил добра за полцены.

Потянул и теперь.

Завернул мимоходом к Назару. То да се.

А Назар все юлит под навесом. Худосочный, длинный, он болтается в широкой рубахе, словно чужую надел. Бороденка серая, куделькой, волосы липнут ко лбу. Все торопится куда-то, не может на место присесть. Перетаскивает седла со спиц к подвалу, разминает просмоленные уздечки. А глаза-то будто зайцы по кустам.

Фома, облокотясь в колено, сидит тут же, под навесом, на обрубке.

— Коровенок-то, слышь... не мотай, говорю.

Назар хлопает ремнем по толстому столбу.

— Что это, Фома Гаврилыч?

— Да коровенок-то, как в отправку, не бросай. Я за собой оставлю.

— А пошто мне мотать? Молочишко дают, ничего себе... Нет, коровы дельные.

Фома долго щурится. Наконец, раздраженно гугнит:

— Доить-то кто будет без тебя их, белка, что ли, станет?

Назар прыскает на столб:

— Ну, чудной же этот самый Гаврилыч!

— Да ты не пудляй! Загибать как пошел!

— Тоже выговорит!

— Чего петлять? Кого хошь обогнуть? Знам мы вашего брата!

А Назар, верно, не слышит. Переходит, копошится по темным углам и говорит, говорит без конца:

— Пошто это люди врать умеют? Врут и врут — кабы что. То ли тесно им, то ли как? Не придумаешь сразу. Черт под баней выюшками стучит, а баба говорит: «К обедне зазвонили». Тут в работе жилы вытянул, а он в отправку собирает... Ты, Фома Гаврилыч, топором-то ловко мастеришь. Мне бы горницу к избе приткнуть. Баба все тоскует. Тоже в праздник Христов негде и гостей попотчевать. Ежели что, так и поеду лес сочить.

Тонко и вычурно плетет он свой узор, едва ли и сам себе не верит, да не проведешь Гундосого. Он презрительно меряет глазом Назара, чистит культиными пальцами сильно рваный нос, потом с сердцем плюет в землю и, забывая застарелую боль на иссеченной кнутом спине, срывается с места, домой.

Беловодцы свое делают. Лучшие, испытанные кони наготове. Понашиты крепкие сумы. Сухарей насушили пудами. Мужики ненароком где-нибудь столкнутся и опять поговорят. Каждый на себя готовит, но мирских советов держатся. Бабы много шепчут по закутьям, да не все договаривают. Другая лишнее сболтнет, так задержат ее потом и свои и чужие.

Ко всему другому мужикам забота — Сенечка Бергал.

Почти все они сами того же заводского корня, да забыли уж об этом. Схоронили тяжелое прошлое вместе с тем, как хоронили отцов. Теперь все один к одному — и Бергал, темной ночью отковавшийся от тачки, и солдатский сын, и чернец с Иргиза — будто век тут жили. Сенечка пришел совсем недавно. Не пошел в деревню, сколотил себе избу под соседним шишом. Пасеку из двух колодок там завел, выкрал в дальних волостях трех киргизских лошадей, промышляет зверя. По-медвежьи живет, по-берложному. С мужиками разговаривает гладко, а бояться его. Все толкуют — не с добра тут дело. Заседатель знает и не трогает его. Почему так? Позабрали их тут сколько, все ущелины обшарили, а его будто не видят.

— С заседателем снюхался, вот и все нипочем. Сторожить его приставили.

Не могли забыть того, как прошлый раз нагрянул заседатель.

— Ровно клин загнали — не позднее, не раньше. А кому же больше? Сенечка наворожил. Это он.

Уже за сорок стукнуло Сенечке, а все он — Сенечка. Никто и никогда не назовет иначе. Лицо Сенечки, избитое оспой, изуродовано во всю левую половину сильным ожогом. Еще в юности, случилось, подвернулся на заводе к какой-то машине, да не вовремя. Струей пара сварило, пузырем подняло кожу. Долго гнил и лечился молодой Бергал — ничего не помогало. Уже хотел — с заводской плотины вниз головой, да старуха Бугрышиха заживила рану куриным пометом на коровьем масле. Кожу на щеке стянуло в три кулька, а отгнившие веки на левом глазу так и не выросли, отчего белок, затянутый кровавыми жилками, постоянно слезится и мокнет. Круглый красный глаз сделал ординарное лицо незабываемым и страшным. К тому же на опшаренном месте борода растет клочками.

Болезнь разломила каторжную жизнь на две половины, и то, от чего раньше хотелось умереть под кнутами, живет теперь в сердце праздным воспоминанием. Тогда он был здоров, был такой же, как все, и вот умер прежний Сенечка — фатовый паренек, а вместо него плутает по свету старый, изувеченный Бергал, никому не нужный, всех пугающий.

Сенечка давно уже отвык делить людей на дурных и хороших, на добрых и злых. Все они в его глазах равны, все живут для себя.

Идет Сенечка по улице, а мальчишки, прячась за плетень, горланят с надсадой: «Сенечка Бергал, шел по улке да моргал! Сенечка Бергал, глаз на кустике продрал». Или, пробираясь за деревней, натолкнется на играющую молодежь, а девки прыснут в сторону и все охают пока не скроется из виду: «Напужал,

окаянный! Думала, черт»... А другая над ней шутит: «Хошь, сосватаю?».

— Оборони господь!

Сенечка молча пройдет, не оглянется, не вздрогнет, только в сердце станет больше одной капелькой яда. Копит его Сенечка, бережно носит, будто казну дорогую, уже много-много накопилось.

В темные зимние ночи, когда, задувши сальную светильню, лежит Сенечка на нарах под овчиной, грудь теснит и давит страшной тяжестью. И кажется ему, что скоро сбросит он проклятый камень, встанет во весь рост, здоровый, красивый и сильный, а камень с грохотом рухнет в долину и раздавит деревнюшку вместе с сытыми мужиками, краснощеками бабами, со скотом и со всем.

Жизнь идет отдельно от людей. И те, что внизу под ногами, и те, что в таких же деревнюшках, городах и заводах за туманным хребтом, все они, как муравьи: нагребли свои кучи, натаскали сору-мусору, кровью да слезами его полили. От рождения до могилы копошатся в своих кучах: одни голодают идохнут, тогда как другие стоят над ними с толстыми ременными кнутами. А лица у этих — широкие, красные, рубаха без пуговики, точь-в-точь как у заводского палача Емельяна Игнатыча. Мир-то большой — не окинешь глазом с самого высокого белка, а земля вся складками, с высоты посмотришь — будто море волнуется, и в каждой складке — люди. Душно там стало Бергалу, омерзели люди. С горы теперь смотрит на них и смеется. А умрет — назовут эту гору Сенечкиной, как назвали уже много по имени таких же скрытников. Гора, темная, большая, поросла до снегов непроезжими лесами, вся изрыта падыми. Избушка Сенечки приткнулась одним боком к оголенному граниту, и не видно ее. Выйдет Сенечка к обрыву, взглянет на пол, на деревню, и тошно

станет, как вспомнит, что опять надо идти за хлебом. А деревня-то лучше других: все отбойный народ, каждый сквозь огонь прошел. Да уж начали корни пускать, по-мужицки жить хочется: где ни ходят, ни ищут, а назад вернутся.

Пришел Сенечка в деревню попариться. У вдовы Агафьи городил плетень, так обещала пустить в баню.

На дворе суббота. Все идут — кто с реки, кто на реку — все с березовыми вениками. Бергал тоже наломал дорогой лохматых веток. Заглянул в проулок, а на речке шум стоит. По берегу курные баньки паром исходят от жару. В отворенные низкие дверцы мечутся красные фигуры, прямо от каменки да в ледяную воду. Вон под мостком, по пояс в плещущей валом струе, стоит разомлевший Хрисанф. Сенечка присел было за прясло, да тот уже увидел, окликнул его:

— Подходи под мостки-то попариться. Жжет тут, парень. Сверху и снизу калит.

— Может, мне и каменка найдется? — огрызнулся Бергал, выходя на ярочек.

Хрисанф плеснул воды на грудь и густо крикнул.

— К Агафье што ли? Та-ак.

Он подряд три раза окунулся и, спотыкаясь на гладко обточенных гальках, выбежал на берег. Бергал уже спустился к нему и присел. Его небольшая фигурка казалась бугром рухляди, прикрытой рваным зипуном да тяжелой бурой шапкой, из которой лезло во все стороны перо. Хрисанф стоял перед ним, напяливая белую рубаху, огромный и сильный. Одеваясь, он искоса взглядывал на Сенечку и никак не решался сказать того, о чем давно уже болтали на деревне, а тот повертывал в руках длинную красную гальку, внимательно разглядывая на ней каждую крапинку, словно делал что-то неотложно-нужное, потом с силой отшвырнул ее, вскочил и пошел.

Хрисанф собрался с духом.

— Вот што, Сенечка! Слышь!

Бергал вернулся.

— Ну, рассказывай. Каменка стынет.

— Вот што, парень... — сам застегивает пуговку у ворота и опять молчит.

— Ну?

— К тебе на гору с деревни ветром не напахивает?

Бергал испытующе прищурил глаз.

— Бывает случаем.

— Слышал, значит?

— Много слышу, еще больше вижу, с горы-то способнее.

— Та-ак. На казачий пикет, видно, весточку послал?

— Боле меня знаешь, пошто спрашиваешь? Пока не посыловал, а сорок мимо летает довольно. Не усмотришь за каждой.

— Брось-ка, парень!

— Чего это?

— Если хочется гулять по свету, брось. Пропадешь за гроши.

— Пошто так сердито?

— А вот так! Говорю тебе — значит надо. Мужики не попустятся. Сумленье ты нагнал большое. Сам понимаешь.

Сенечка закашлял от смеху. А Хрисанф одним шагом подвалился вплотную идохнул ему в самое лицо такой злобой, что в спине зазнобило:

— Д-дымом пустим! Против миру не ходи.

Бергал отступил и насупился.

— Не пужай, Хрисанф Матвеич. Меня этим не возьмешь: самого бояться.

Он оглянулся на деревню и перекинул веник под другую руку.

— Не тем зельем лечить меня взялся... Коней-то видел моих? Телом шелковы, а жилы — проволока. Не устанут, небось, впереди пойдут.

— К чему это ты?

— А уж там смекай. Хочу избу сиротой оставить. Тогда отпихнули, ну и вышло ни сладко, ни кисло. Теперь снова миру кланяюсь. Возьмут с собой счастье пытаться — глаже дело выйдет. Заседателю мраку подпустим... Вот так-то, Хрисанф Матвеич.

А сам запахнул армячишко вглухую и пошел по берегу, шурша мелкой россыпью в ложбинках. Немного отошел и обернулся.

— Подумай хорошенько... А я коней-то кормлю...

Хрисанф, хмурый и косматый, все смотрел ему вслед.

V

Петровки были на исходе. Беловодцы собирались в поход.

Теперь часто на деревне видели Бергала: его брали с собой. По вечерам он бывал у Хрисанфа. Они подолгу разговаривали после ужина в глухом крылечке. Иногда подходили и другие мужики, чаще всех Асон с Назаром, но Панфила там не было видно. Прихворнул опять старик. Как-то тронется в путь? Не в последний ли раз?

Народу собиралось уходить немного. И Хрисанф и Панфил после долгих споров выбрали новый, неведомый путь. Если все будет благополучно, можно выслать гонца; тогда и остальные тронутся. С семьей поднимались только двое — Назар да Анисим.

Сын Назара, Иван, с той поры, как стали говорить о сборах, все тоскует, ходит с темным лицом. Надо уважить отца. Как он там, один-то? Уже к старости дело, да и просит пойти. Но как оставить Акулину? Не упустит Гараська. Евсей так и прочит ее за Гараську Фомы Гундосого, об осени свадьбы играть собирается.

Акулины не видно давно: на пасеку угнали. Это тоже неспроста. Не девичье там дело. Знать Фома с Евсеем уж по рукам ударили, а девку хоронят. И вдруг смертной тоской загорелся Иван. Всегда скромный и тихий, не умеющий ответить на Гараськины насмешки, он заметался, вспыхнул лютой ревностью.

Отдать Акулину? Никогда! Никому!

Повидать бы ее, да за белок, на пасеку, не ближний путь. Но вот Акулина вернулась. Пришла ночью пешком, вся ободранная в кровь на россыпях.

На другой день под вечер вышла в ельник за деревней. Иван туда пробрался косогором.

Вот густая, до земли опустившая свои черные лапы, старая толстая ель. Здесь прошлым летом в первый раз они встретились один на один: ушли с полянки. Все дурили, смеялись, а потом присели отдохнуть, да и проболтали до ночи...

Скотская тропинка извивается в кустах веревочкой. Идти по ней легко. На душе так радостно и жутко. А вдруг еще нет Акулины? Ель-то вот уж, совсем близко... Распахнул последние кусты и растерянно остановился. Под одной из старых веток, прислонясь к ней головой, сидела Акулина. Улыбнулась, расцвела во все лицо и молча хлопнула рукой о землю.

Иван опустился с ней рядом. Сам тоже такой ясный и радостный. Не замечает даже и того, что не сказал: «Здорово!». Акулина поправила на голове цветную гарусную шаль, повитую жгутом, и протянула раненые руки.

— Глянь-ка! Изукрасилась.

— Где это?

Она улыбнулась...

— Пошла с пасеки за ягодами... Ну, заблудилась по ключам-то... ходила, ходила да Собачьей речкой на деревню вышла.

— Соба-ачьей?! — ужаснулся Иван. — Ты ври-и!

Он с восторгом смотрел ей в серые глаза, и в памяти проносилась картина ущелья. Бурливая, порожистая речка... Острые утесы один за другим.... Между ними — россыпи, по которым нельзя шагу сделать, чтобы не скатиться вниз и не обрезать на сланцевых осколках. Кусты, столетние коряги. Только собаки забегают в него да Бергал за козлами.

— Одурела девка! На деревню, што ли, поманило? А?

— Не знаю.

Сказала уже без улыбки, но в этом «не знаю» было так все понятно и близко обоим.

Иван обнял ее за плечо и притянул к себе.

— Ой! Тихонько ты! Рука-то ноет, отбила на камнях.

— Рази где упала?

— Прямо к речке скатилась. Чисто всю исколотило. Коленки в кровь снесла.

Говорила тихим шепотом, уткнувшись головой ему в складки кумачовой рубахи.

Иван, забывшись, снова тиснул за плечо.

В сердце поднималось то жгуче-туманное чувство, с каким всякий раз он вспоминал Акулину. Сначала стыдился его и боялся. Казалось, что с ним только одним бывает так. Надо работать, а тут в голову невеста что забьется и мутит, и кружит, будто пива медового выпил. Все последние дни, как ни работает, как ни устанет, а до вторых петухов не может глаз сомкнуть. Все стоит перед глазами Акулина — будто манит его. А то вспоминается, как на полянке отрезала она Гараське. Прилип к ней хуже липучки-травы, никак не отдерешь. Сам пьяный, все хохочет, скалит зубы, а как рядом сядет — за рубаху лезет. Дала ему локтем прямо в рожу.

— Отвались, окаянный!

Вспыхнул, загорелся Гараська.

— Тебе бы Ваньку подкатить?

— Да не тебя уж, чертов зять!

— Так Ваньку?

И не утерпела Акулина, крикнула в слезах:

— Отвались ты, окаянный! Богом прошу!.. Мил он мне!.. В ковшичке воды его бы выпила, а тебе ни в жизнь не дамся.

Вся поляна ахнула: Гараська не спустит посмешища, не таковский он.

С тех пор оба боятся его.

— Ишь ведь дура, убралась как.

Акулина прижимается крепче. Так вот сидеть бы и день, и другой, никуда не уйти от Ванюшки, никого не видеть... А он откинул осторожно сарафан и гладит колени.

Рука нежно скользит по горячему телу. В голову ударило что-то пьяное, тяжелое.

Но Акулина спрятала колени, и разом все потухло. Понял, что не так теперь надо. Еще крепче прижал ее, а она упала головой в колени и, закрывая ноги сарафаном, повернулась лицом вверх, — всегда так делала, когда встречались здесь.

— Што на деревне? Сказывай.

— В отправку скоро... Раза два-то, может, и приду сюда, а потом уж...

Он с болью улыбнулся.

— Гараську приведешь...

— Ду-урной какой ты.

Акулина с обидой вздохнула и круто отвернулась.

Сквозь кусты черемухи ей видно в мелкие просветы у корней деревню. Избы все такие жалкие, не больше пчелиной колодки, и все серенькие, одинаковые. Солнце уже село за белком. Внизу тускнут, темнеют дружные деревья над речушкой. По дальним ложбинам ползет серая муть. Скоро поднимет ее из долины до

самых белков. От деревни по ветру наносит жильем. Акулина смотрят на деревню, и перед ней встают все мелочи летнего вечера. Мать несет из погребушки молоко и озирается по сторонам: Пахомку ищет, а тот, наверное, у Петьки — в «Зелено» играет... Отец ходит по амбарам — шупает замки... Вот за ветлами изба Фомы. Жить в ней, чо ли, придется? С Гараськой.

Жутью и холодом пахнуло в душу. Будто подвели к обрыву и толкают. Едва передохнула, чуть не крикнула. Обернулась порывисто, схватила Ванюшку за плечи.

— Не останусь я тут, не останусь! Смерть мне без тебя... Возьми с собой!.. Не бросай!.. Ванюшка!

Он растерянно смотрел на нее.

— Да как это? Что ты, Акулина! Обумись!

— Нет, не останусь, не останусь! — с ужасом твердила она, обвивая его шею руками.

— Пойдем вон куда... Поди, слышала, кто назад-то приходит. На смерть, можно сказать. Мужикам — за беду, а вашему брату...

— Там и бабы будут... с седла не свалюсь, хошь куда доеду.

Иван замолчал. Нежданной радостью пахнуло на него, будто нашел дорогую потерю.

— Я еще на пасеке все обзаботила. Лошадей двух возьму. Одну — Белку, помнишь по весне-то скинула? А другую — Каренького. Под седлом он хорош: зыб сюда, зыб туда. Добро. Можно выспаться... Приданные обе. Тятя сам благословил... Сухарей вот только... — Она задумалась. — А я муки нагребу полнехоньки сумины, да масла, да меду. Никого не объем.

Уже отхлынул страх, пропала нерешительность. Боялась сказать, а теперь так легко. Но Ванюшка все молчит. Наконец, словно проснувшись, засмеялся радостным свободным смехом и, обнявши ее сильными руками, притянул к себе.

— Ну, девка! С этакой не пропадешь! Беловодка голимая. Куда загнула! А что же Гараська-то? Как его? Значит с горки, да вниз?

— Подь ты к духу вместе с ним, бергаленок окаянный! С души меня прет, как увижу его.

— Все не краше его, — с серьезным лицом протестовал Ванюшка, но каждое ругательство по адресу Гараськи было слаще меду и хотелось слушать, слушать без конца.

— Не возьмут старики, — вдруг нахмурился он, вспоминая действительность, — тоже с мозгом народ.

Акулина насмешливо сгримасничала.

— Дуру нашел! Кто-то пойдет к старикам. Обойдется без них.

— Никуда от стариков.

— Выеду с пасеки... Коней там теперь кормим. Тятя глазом не сморгнет, как я утянусь. Сумы в сопках схороню накануне.

Иван блаженно улыбался, качал головой. Не было слов, и не хотелось говорить. Вот она, с ним! Разве может быть что-нибудь лучше! Разве не статней она всех, не красивей! Перед ней все девки будто обглоданный коровами кустарник перед пихточкой, будто звезды перед месяцем. Досталось же счастье! Не всякому дается. Верно, бог благословил. Вместе с ней и жизнь до могилы вести. Хозяйка — на завидаль. А как кичку наденет — заглядишься.

— Не оставлю. Пойдем, — в сладком волнении шепчет он, наклонясь к самому ее лицу, — женкой будешь... Дедушка обратит, не откажется.

В мертвой темноте еловых веток кто-то шумно шевельнулся. Хрястнул сухим треском подломившийся сук. Оба вздрогнули и испуганно вслушались. Но вверху по-прежнему — ни шелеста, ни ветерка.

— Али белка, али сыч, — догадался Иван.

— Ну его!

Сама, в неге, закрыла глаза и потянулась по-ребячьи, выгибая спину.

— И пошто ты такая? — чуть слышно спрашивал он.

— А какая же!

— Черт тебя знает... Голова с тобой болит без водки.

Уже сильно стемнело. Под горой, на болоте, старательно скрипит дергач. Невидимая крохотная пташка все еще пырскает в ближних кустах и, поднявшись на вершинку, без конца твердит свою несложную, звонкую песню. С полу, от речки, то потянет теплом, то пронизает сыростью.

Глаза у Акулины потемнели. Только вскинет их — будто омут откроется. Сладко и боязно искать его дно. Не оторвешься, не уйдешь. А сама огнем горит. Жаром пышет от тела...

Не заметил, как рука скользнула за расстегнутый ворот. Шершавая ладонь с дивной лаской легла на испуганно вздрогнувшую грудь и мигом потушила испуг, разбудила ее. Акулина положила свою руку сверху, придавила что есть силы, еще и еще. Пусть больше будет, пусть, потом дольше, дольше болит грудь, вплоть до следующей встречи... Глаза манят глубиной. Силы нет в них смотреть.

— Не отдам, никому не отдам!..

Шепот тонет в складках сарафана на груди... И оборвались слова, погасли. Все ушло назад...

Были только двое. Была тайна, великая, как мир, глубокая, как небо...

Черным тяжелым сукном лежала ночь в долине, когда они спустились по крутому склону к речке.

— Так завтра?

— Ладно, ладно, — соглашалась Акулина. — Только не припер бы Гараська... Ему на ухо нечистики подносят... Думала сегодня подкатится, да видно робить привалили.

— Поглядим, как придет! — с задором отзывался Ванюшка, ныряя в кустах. — На бергальят железко по руке найдется...

А заснувшая старая ель словно только ждала, когда подальше отойдут ее гости. Лишь затихли шаги, в ее плотных ветвях кто-то грузно шевельнулся, закачал их и пополз по стволу, ломая хрупкие сучки.

— На Беловодье собрались! — вылезая из-под ели, злобно хохотал Гараська. — Святую обитель отыскивать!.. Блудить под елками!

Он оправил штаны и рубаху, постоял немного, что-то думая, потом плюнул на то место, где примяли траву, и, скверно, вычурно обругавши Акулину, скользнул в темноту.

VI

Никитишна безропотно несла через года свое горе, глубоко затаенное, никому неповеданное, и все привыкли видеть на лице ее застарелую, тихую скорбь. Словно схимница, принявшая обет невозмутимой кротости, плела она скучный, изо дня в день одинаковый, узор своей жизни. Но, много лет сбиравшиеся, тучи опускались на седую голову все ниже. Вот уже середина лета. Беловодцам скоро в путь. Панфил опять повеселел, помолодел и вечерами долго молится, а днем с утра хлопочет над дорожными запасами.

На воскресенье вечером, после горячей бани, Панфил ушел в моленную к вечерне. Никитишна долго чесала в крылечке свою голову роговым щербатым гребешком, перебирая на руках серебряные пряди, потом успела подоить, прибрать корову,

обошла по хозяйству и уже накрыла стол для ужина, а старика все не было.

— Затянулся к Хрисанфу. Сговор там теперь. На другой, видно, хочет жениться.

Она горько улыбнулась своим мыслям, но сейчас же отпугнула их, как надоедливую муху, и пошла опять в несчетный раз по вросшим в землю, ее ровесникам, клетям и амбарушкам, всюду находя неотложное дело.

В сумерках вышла на улицу, села там на приваленное к стене бревно, и тут только почуяла тупую боль, боль в разбитом старом теле. Не хотелось уже ни хлопотать, ни думать о домашнем. Сидела маленькая, сгорбленная, неприметная, а по широкой улице плелись хмельные мужики. Их голоса — один задорно-высокий и требующий, другой глухо бухающий непонятные слова — мешались с настойчивым собачьим лаем. Видно было, как рослые, тяжелые фигуры без пути сорвались в темноте и то сходились носом к носу, то порывисто бросались в стороны.

— Он это кобылу-то мою! А! — икая и отплеываясь, звенел ржавой струной тот, что был выше. — Са-аловую! Может он понимать? А?

— Ца-аган! Язва его задави! — буравил тишину другой, и тяжкие слова его, как падающие с утеса камни, пропадали где-то тут же, словно уходили в землю.

— Вот! Ты хорош... хороший человек, Петро Степаныч... тьфу! Вот!.. Я ему грю... горю ему... нне-ет, брат, нас за это место не уку-у-сишь. Верно? А! Верно я говорю?

Тени подвигались медленно. Никитишна старалась разглядеть, узнать их.

— Ишь, назюкались благословленные. Другого-то никак не вспомнить... Ах ты, матушка моя, да это ведь зять Бухваловских! Приехал, видно. Вот Бухвалиха его накроет.

Никитишна вздрогнула: она и не заметила, как подошел Панфил.

— Заждалась, поди, к ужну?

Голос у него был кроткий, извиняющийся.

— Ну, дак время уж, мотри. Народ, однако, весь отужинался.

Хотела выпросить, куда ходил, да по привычке промолчала. Покряхтела, тяжело поднялась, опираясь костяшками пальцев в бревно, и пошла за Панфилом.

В крыльце они оба едва взобрались по скрипучей крутой лестнице и оба говорили старые слова о том, что надо бы подколотить расшатанные доски, подпереть их снизу, да уж вместе и всю избу обиходить к осени. Изба высокая, хорошая изба. Один лес кондовый чего стоит — рубили старики на выбор, когда деревню заводили — пол и потолок из аршинных, расколотых надвое бревен, через сто лет не погнется. Но не доходят руки.

— Суета все: то да се, — хозяйственно говорил в темноте Панфил.

Так хотелось верить этим простым мужицким словам, и Никитишна верила, опять надеялась на что-то радостное, светлое.

Отыскавши привычной рукой на полочке сальный огарок в самодельном подсвечнике, она ощупью попала в отворенную дверь и, пока дошла до печки, натолкнулась на Панфила, тихо творившего у самого порога краткую молитву, запнулась за полено, наступила на хвост кошке.

— Прости, господи, чисто без глаз. У-у, изжаби те, хвостатая!

Но и в брани было больше благодушия, чем злобы.

Она быстро раздула на горячей загнете лучину, и, как только вспыхнул огонь, мухи шумно снялись разом с потолка и со стен и бестолково закружились по избе роями. Тишина ушла куда-то в уличную темь.

Оплавшая свеча горела беспокойно — черная светильня загибалась, обвисала, и пламя исходило копотью. Пушисто-серые ночные мотыльки, ворвавшись через выбитое стеклышко, доверчиво летали вокруг пламени, садились на него и, обожженные, беспомощно крутились по столу на спинках. На них напоззали медно-золотые тараканы, останавливались, мудро шевелили тонкими усами и, испуганные, быстро убегали под столешницу.

Никитишна, не затихая, шваркала ногами по полу. Панфил сидел на лавке. Утомленный длинным хлопотливым днем, он отдыхал. Мысли о том, большом и значительном, все еще властно проходили в голове, но старуха бросила с шестка тяжелое полено — и все пропало. Панфил вздрогнул и вгляделся в угол.

— Что она там? Все хлопочет, день-деньской не уймется.

И, как гость, давно не бывавший в этой чистой и теплой избе, он оглядел все стены, печку, потолок. Все было такое же, как у других, но откуда, когда и как попало оно в избу, этого Панфил не мог сказать: все это шло мимо него. Особенно странными казались ему пестрые, расшитые причудливым узором, рушники. Спускаясь по стенам от потолка до лавок, они придавали избе нарядный, хозяйственный вид. Сама ли вышивала их Никитишна, иль нанимала девок за ведро медового квасу для парней на вечерке — никогда об этом не подумал, не спросил, да и самые полотна — хотя видел их каждую минуту — разглядел только теперь. Словно незнакомую, рассматривал он сгорбленную, одряхлевшую фигуру старухи в подоткнутом за пояс темном сарафане, с головой, повязанной по кичке теплой шалью. В душе родилось что-то теплое, хорошее, и крепко захотелось сказать его, поделиться думами, спросить совета, но Никитишна, подойдя к столу с ковригой хлеба, посмотрела упорно в глаза, готовая спросить бог знает о чем, и он мгновенно встряхнулся, выбросил

из головы житейское, опять наморщил лоб. А за ним потухла и Никитишна.

За ужином, неторопливо черпая из чашки горячие постные щи вприкуску с перистым зеленым луком, они скупно говорили малозначащие обиходные слова.

— С конями неладно у Хрисанфа, мокрец навалился... Мается теперь, подлечивает.

Никитишна насторожилась.

— Был там, видно?

Панфил низко нагнулся над чашкой, разыскивая мелкие куски картошки.

— Был... старики потолковать сбирались.

Он тихо улыбнулся и покачал головой.

— Беда с этим Евсеем. Разговору много, а того гляди останется. Опять на пасеку уплелся.

— Как ему не утянуться? Добро блюдет, — горячо сказала Никитишна, и в словах ее был нескрываемый укор. Но, спохватившись, она мирно добавила: — Куда ему! Настасьюшка заточит, съест, не пу-устит Настасьюшка.

— Вот, скажи, взяла силу баба, — самому себе говорил Панфил. — Кажись и немудреная, а по-мужицки правит.

«Таких-то не бросают, — думала Никитишна. — Вот увязаться бы, так и ты подумал бы... Сказать ему? Рассказать, как живу тут одна-то, как побираюсь? Докуда маяться? Случись — умри, и глаза прикрыть некому»...

Но пока сбиралась с мыслями, Панфил наелся. Облизнул надломленную ложку, заглянул в нее и положил перед собой горбушкой кверху.

— Слава тебе, господи... Досыта...

Длинные желтые пальцы, сложенные в двоеперстие, опустились птичьим клювом на высокий лоб и, на мгновение задержавшись, быстро побежали по плечам, на живот и обратно.

Никитишна смотрела, как он крестится, как истово и просто шепчет длинную молитву, и опять он был перед ней чужим, далеким, мирским избранником, опять она боялась и не знала его.

— Собирался народ-то, — медленно тянул Панфил, отодвигаясь по лавке к окну. — Уж к одному бы, а то тянут и тянут. Там, гляди, опять рассохнется все дело.

Никитишна взглянула искоса и вытерла горстью сморщенные впалые губы.

— Кто идет-то?

Она знала, кто идет, но так хотелось разговору, откровенности.

Панфил послуныявил пальцы, сощипнул нависшую светильню и вытер руку о подол рубахи — все медлительно, спокойно.

— Идут немного. Асон в первую голову, — он загнул к ладони тонкий длинный мизинец, — Хрисанф — это два, потом — Анисим с бабой, Назар с бабой да с Иваном... вот. Бергал еще путается. Не к добру этот, да Хрисанф восстает за него.

Он поцарапался, собираясь что-то сказать, и обернул лицо к старухе.

— Бабы, вот идут... ничего себе, думают справиться. Может и пройдем... Куда здесь одной-то?.. Тоже ведь ни как-нибудь двинемся, с припасом да с оглядкой...

Дрогнула Никитишна, совсем поверила, да нет — не те слова, не так надо звать.

«Куда тебе со мной! Поперек дороги стану», — обидчиво думала Никитишна, едва прожевывая корку.

— Ну да и вправду, — живо закончил Панфил: — хлебнешь там горечка, какого и не видывала. Сперва проведем, да тогда уж всей деревней... Вернее будет.

«Испугался, думал стану проститься»...

Никитишна сдержала подступившие слезы.

— Ступайте с богом. Где нам, грешным, всем-то.

Скорей встала и загремела опять посудой в закутке, стараясь не показывать лицо к огню.

Ночью Никитишна не спала до вторых петухов. Тихо-тихо лежала она на скрипучем голбце, а на ум приходили такие жалостливые слова, что бороться со слезами уже не было сил, и они бежали ручейками по щекам и по носу, обильно смачивая изголовье — лохматый овчинный тулуп. Никитишна боялась громко всхлипывать — не услышал бы Панфил на полатах — старалась спрятаться лицом в густую кислую шерсть. Жизнь расстилалась перед ней бесконечной пестрой полосой с горем, с радостями, с незаживаемыми до старости ранами, и то мелькала солнечным пятном веселая вечерка, где Никитишна — румяная Машенька — до смертной усталости отплясывала перед парнем, то ненастной хмурой ночью наплывала сиротская доля. Тошно и темно становилось тогда на душе и хотелось плакать голосом, плакать громко-громко, в тон той мухе, что с самого вечера звенела в паутине под матицей.

VII

Петров день выдался мятежный, нерадостный. Не ходили по улицам девки, щеголяя бисером и лентами, за ними не следили парни и не гремели дружным хохотом, подкарауливши врасплох неразлучных подруг. По завалинкам — пусто. А солнце, как нарочно, не торопится. Купает землю в жарком золоте, белыми

ключами гонит с гор снега. Высоко-высоко ушло оно в небо от студеных вершин и кажется, что никогда ему оттуда не вернуться.

Но за сборами, за предпрощальной суетой не заметили, как круто повернуло солнце книзу, как сменился знойный день прохладным вечером, как поползла из глубоких щелей тихая черная ночь, закрыла пади и вершины гор, схоронила землю до утра.

Беловодцы тянутся гуськом по косогору. Деревню пока еще слышно: она сразу за речкой. Разбуженные необычной суетой, собаки лают тревожно, настойчиво. Кое-где виднеются огни — такие неуверенные, слабые. Кажется, что огоньки перебегают с места на место. Мелькнет то здесь, то там и вдруг потухнет, а то разом вспыхнет их несколько — перемигнутся, дрогнут, и опять не видать. Всадники часто оборачиваются и, не замедляя шага лошади, ловят эти, будто им кивающие, огоньки. Тревожная тоска сжимает сердце. Все оставили — родню, хозяйство, теплую толстую печь...

В голове стоит еще прощальный плач, с которым провожала их деревня. Вспоминаются отдельные выкрики из темневшей на другом берегу толпы, когда уже перебродили речку. Много было слез и суеты. И друзья и недруги, словно по сговору, собрались проводить. Сплетни и дразги забылись. Ни к чему это в такое время. До того ли!..

Теперь толпа уже расходится. Идут по улицам группами, толкуют о них, вспоминают Панфила, как он совсем по-особому кланялся каждому в ноги... Запирают наглухо ворота, стелятся, ложатся спать.

Не отгонишь мысли о деревне.

Друг за дружкой, молча едут всадники. Растянулись по крутому косогору от подола до середины. У каждого по два коня, завьюченных тяжелыми сумами.

Когда выступали, впереди поехал дедушка Панфил с раскрытым медным складнем на седле в коленях, а теперь продвинулся Хрисанф. Старику-то где же! Повернет неладно, а потом выпутывайся по тропинкам. В середине одна за другой качаются в широких седлах Дарья — Назарова баба, да Анисиха Василиса. Грузными клочками увязли они в седлах — не сшибешь, не стащишь. Обе вволю наревелись и дуются теперь на кого-то, будто их кровно обидели.

Огоньки пропали. Косогор все круче забирает вправо; выше и плотнее становится лес. Но все это пока еще — свое, родное. Василисе даже кажется, что она отправилась всего только на пашню, и сейчас же вспоминается действительность. Она вздыхает глубоко и оборачивается, стараясь разглядеть на извивах тропинки лошадь мужа, а разглядевши, сдержанно кричит:

— Анис! А! Ты это, чо ли?

— Ну, кого тебе?

— Ладно, ладно, поезжай... Я так.

Голос у нее низкий, грудной.

— Подпруга-то не хлябает? — допытывается Анисим. Не поймет того, что бабе только надо было слышать его голос.

Василиса отвечает нехотя:

— Ничего пока, держит... Сам заседлывал...

Но, минуто спустя, ей уже хочется использовать непривычную заботливость.

— Сумины вот ерзают. Быдто на бок тянет...

— А ты поддегивай... Слышь? Поддегивай, говорю...

Тетка Дарья откровенно хохочет.

— Иззаботила совсем!..

Она закидывает голову и звонко кричит:

— Сядь ты с ней вместе на рыжуху.

— Неловко на седле-то, — в тон ей отзывается Анисим.

Да, знать, не вовремя с шутками вылезли. Никто не откликнулся веселым словцом.

Под горой бежит речка. Ее ропот, чем выше дорога, сливается в баюкающий ровный шум, и, если долго слушать, то начинает казаться, что там шелестит густой камыш под ветром. Но ветра нет. Он гудит по снеговым вершинам, а внизу, как в ямб — не пахнет в лицо, не дрогнет глубоко заснувшая трава. Лес черный, пугающий, застыл в своем молчании. Стволов не видно. Они тонут в непроглядной темноте, и лишь те, что стоят подле самой дороги, изредка рисуются прямыми толстыми колоннами. Там, где колонны подступают к тропинке вплотную, набитые туго сумины, то одна, то другая, шебаршат по корявым стволам. А под плотным навесом листвы — одна сплошная заросль кустарников и большетравья. К самым седлам тянет свои крылья папоротник, сверху кроют широкими лапами листья гигантских борщевников, а тяжелые шляпы их тонут в хвое нижних веток. Небо опустилось на вершины огромных деревьев. В редкие просветы между ними оно блещет крохотными огоньками. Звезды — как оконца. Через них на заснувшую землю брызжет тонкими лучами свет того неведомого мира, что закрыт от суетной земли непроницаемой завесой. Как там ослепительно светло! Как радостно!

Панфил, качаясь на стременах, поднимает глаза к небу, но не с жалобой и не с мольбой. Ничего ему не надо. Ликующим смехом смеется душа. Будь один — запел бы вполголоса, как любил это делать всегда, священные стихи, да на людях не умеет, и не хочется. Не верил все, казалось, что конца не будет сборам, и вот тронулись, пошли. В последний раз! Назад он не вернется. Он это знает, как точно знает и то, что Беловодье будет найдено.

Панфил молитвенно смотрит на звезды.

— Господи, господи! Благодарю тебя, всесильный.

Он бодро выпрямляется в седле, вдыхает полной грудью свежий воздух и начинает охорашивать коня. К седлу на длинном поводке привязана другая лошадь. Она покорно тянется в хвосте, Панфил потрогал ее повод, подвернул кафтан под ноги и, невольно дрогнув от ночного холодка, опять сгорбился, ушел в свои думы... Никитишна? Пошли ей, господи. Ни роду, ни племени. Всех ребят схоронили... На кого осталась? Старуху уважают, да уж все не то. Перестала роптать. На проводинах шибко убивалась, а не сказала поперек ни слова...

Панфилу вспомнилась вся жизнь, и до слез стало больно за старуху. «Как дойдем на место, надо вывезти ее». Мечты захватили его, понесли через пустыни. Чудилась новая опрятная деревня. С того лета заживут они уже по-новому и никуда, никуда он не уйдет из дому. Только бы обет исполнить, а там можно и пожить спокойно.

И вдруг обжигает огнем. Дьявол это путает. Про деревню шепчет, окаянный, да про теплую избу, отводит от обители. Нельзя, нельзя! Обитель прежде...

Его будит бодрый оклик сзади. Назар тоже вспомнил проводины и хлопоты старосты.

— Василий-та! А? Ладно коробок заплел? Быдто ничего себе не знает, прилетел на речку: «Е-етто кто тут? Куда сбеленились! Опять за границу? Без пашпорта? Сейчас вернись, не то с пикета поворотят!...».

Назар подражает густому басу старосты, и это выходит забавно. Все смеются, но не столько над Назаром, сколько тому, что Василий Так умно увернулся.

— Ему тоже, брат, спину покрывать берестом не по ндраву, — хохочет в темноте Анисим. — Заседатель прибежит: «Чего смотрел, староста! Беловодцам потакаешь. Ложись! Втесать

ему сотню березовых!»... А теперь ему што! Вестовой по утру на пикет поедет — так и так...

Хрисанф слышит разговор и молчит. Он едет впереди на молодом, задорном жеребце. Жеребец, волнуясь за кобыл, идущих сзади, часто косит туда глазами и чутко слушает родную поступь. Хрисанф, подбоченьясь, все смотрит и смотрит в таинственную темь, и не темную ночь, не небесные оконца видит он — видит жаркий, сияющий день, огромные неведомые горы, а за ними необъятный простор... На гряде холмов, встающих поперек дороги, показались всадники. Они машут руками, кричат и бегут врассыпную... Хрисанф понесся им наперерез.. Вот, вот!.. Не уйдут!.. Быстро вскинул ружье и прицелился. Гулкий выстрел толкает в плечо. В голове зашумело. Лошадь спотыкается о подкатившийся под ноги труп киргиза... Собака, живучий! Зеваает!.. Надо лошадь поймать. Неужели покупать их тут?..

Но и в самом деле жеребец неловко спотыкается о придорожный камень, падает на колени и, испуганно взбросивши голову, сбивается с мерного шага на рысь. Едва усидевший Хрисанф натягивает повод так, что лошадь скалит зубы и мотает головой. Он вполголоса ругается и вслед за тем зычно кричит:

— Куда смотришь! Гляди у меня! Нно!.. Ты!

Жеребец, словно стыдясь за оплошность, начинает еще больше нервничать.

Выше и выше дорога. Уже обогнули всю гору. Лес окончился, открылась падь. Она темнеет слева бездной, а справа — оголенный давними пожарами, крутой, высокий склон. По нему кое-где торчат мертвыми столбами обгорелые пни. А выше гладким-гладким скатом тянется он к небу. Не найдешь ему конца. Дорожка мягкая. По сторонам ее двумя невысокими стенами стоит темная густая трава. Лошади срывают на ходу лохматые пучки и, переваливая языком железо, жуют громко, старательно. Они

быстро отдохнули от лесного подъема. Теперь целых пять верст до самой вершины речушки — все по склону, не ниже, не выше. Люди, зная это, распустились в седлах. Теперь не надо поминутно наклоняться, отводить руками ветки, лбом не ударишься о корявый сучок. Над головой — простор. Мерцающее тысячами огоньков, опять ушедшее в свои высоты небо так величественно и спокойно, что под надежным покровом его невольно хочется закрыть глаза и чуточку вздремнуть.

Все уже давно молчат. Только в последнем звене неумный Назар чуть слышно наговаривает что-то лошади. Асон едет вслед за ним. Он беспокойно поворачивается в седле, подолгу щурясь в темноту, и, наконец, окликает Назара:

— Погляди, што ли, парень...

— Чего это? — беззаботно отзывается Назар.

— Да погляди, мол... Ровно бы Бергала не слышать.

Назар тоже смотрит и смеется:

— Куда ему деться?.. Ползет... Эй! Иванша, — весело кричит он через голову Асона: — Сенечки не слышно?

— Туто... едет, где-то совсем близко, — говорит Иван, но так неприветливо, словно его разбудили не вовремя.

Назар как будто хочет оправдаться.

— То-то! Не завяз ли, мол, где... Ишь ведь ноченьку-то бог благословил.. Ежели чо с конем неладно — не распутаяешься.

Асон неодобрительно ворчит.

А Бергал придерживает лошадь. Одному свободнее. Бодро и чутко сидит он в седле. Не проронит ни слова. Все слушает, но не людей — от них он ничего не ждет — душа его слушает дивную ночь. Много их, мертвых ночей, провел он один на один, да эта совсем не такая. Она сулит что-то опять, рассказывает, как ребенку, жуткие дикие сказки... Жизнь ломает эта ночь...

Дробным шагом идут лошади, позвякивая серебром на седлах. Внизу, по подолу горы, шумит невидимая речка. С пади тянет сыростью и потому все больше зябнется.

VIII

Речку извершили только к свету. Перевал был тяжелый, но свежие кони осилили. Все осталось внизу — без устали бегущие потоки, темные леса, хутора и деревни — все утонуло в океане мутной мглы. Над головой — предутреннее, стали подобное небо. Под ногами — красная, бесплодная земля. Широка и покойна поднебесная лысина, едва прикрытая лоскутьями снежных ковров. Лишь в одной стороне, неподалеку от дороги, торчит уродливым наростом каменный утес, а под его защитой уцепились крепкими корнями и живут три кедра-карла, три околдованные небом смельчака, дерзнувшие перешагнуть земные грани. Ветви их ушли в сучки. Вся жизнь малюток-стариков — холодна и скупа. Выросшим под дикие песни метелей, непонятна им нежная песенка случайно залетевшей птицы. Но над ними, на старом утесе, часто отдыхает свободный орел...

Мутные, растрепанные клочья сырого тумана, вырываясь с ветром, быстро проплывают по земле и исчезают в пади. На зябком сквозняке прохватывает дрожь. И люди и лошади спешат к привалу. Вот только бы пройти седло, спуститься к полосе лесов.

Когда шли мимо кедрачей, Ванюшка приотстал, свернул туда и осмотрел внимательно сучки.

— Много шишек-то набил?.. Угости, што ль, орехом, — хохотал Назар, когда тот вернулся.

Ванюшка, чем-то сильно обрадованный, скалил зубы и молчал, пряча в пазуху завязанный тремя узлами кумачовый лоскут.

Дорога скользнула в уклон. Уже скрылся за седлом утесик. Внизу обозначается вершина речки. Тропинка сначала несмело огибаёт крутые места, но вдруг падает и вместе с ключом, не отступая от извилистого русла, уходит по щели в долину. Земля тинистая, слабая, напитана ключами. Коня подтянулись. Они зорко смотрят в землю, пробуют копытом, где ступить, и, сильно приседая на хвост, с тревожным храпом, то скользят по мокрой глиняной катушке, оставляя вытянутыми передними ногами глубокие борозды, то дробно чмокают копытами и подбирают зад. Люди опустили поводья, предоставили себя уму и ловкости животных. По сторонам опять встает стеной тяжелая под утренней росой трава. Редко кто ее тревожит — наклонилась над тропинкой и купает до колен студеной влагой, пробивая армяки и кафтаны.

Но вот ключи слились и идут уже бойкой речушкой, оголяя груды мелких валунов. Дорога все отложе, и скоро глинистые кручи остаются сзади.

Опять начинается лес, — чем ниже, тем строже и гуще. Тропинка то и дело опускается к воде. Идти по грудам скользких камней трудно, тяжело. Холодная, белесая во мгле, вода бурлит и мечется. А над рекой уходят в небо острыми вершинами ряды вечно парадных пихт, многостолетних лиственниц, уютных, пышных елей.

Ночь медленно идет к теснинам гор, а вслед за ней с одиноких подзвездных вершин опускается утро. Небесные ночные огоньки бледнеют, тухнут в сером свете. Небо — холодное, мертвое. Местами по нему ползут гуськом, черневшие в ночи провалами, а теперь такие белые-белые небесные лебеди, и на глазах людей творится чудо — свет рождается в самом себе. Порозовели лебеди и вспыхнули. Совсем уже светло. Пропала тайна леса. Он проснулся, начал длинный, яркий день. В его тени запели птицы. И земными переживаниями полутонув играет воздух. Еще не видимое,

солнце на шпиль утесов, на вершины снежных гор кидает пятна краски. День идет царственной поступью. Он близко, он подходит! Из-за дальнего гребня, четко вычертившего свои зубцы на огненном небе, поднимается солнце. Оно бьет прямо в глаза, слепит и заливает падь...

Хрисанф, щурясь, подставляет руку козырьком и смотрит на дальний лужок. Там, подле черной ели, виднеются две лошади. Он бессознательно натягивает повод.

— Погляди-ка, Панфил.

И не успел Панфил оглянуться, как жеребец, насторожившись, заржал звонко и радостно, сильно подбирая брюхо.

— Кого это закинуло?.. Не Афанасий ли с маральников тянется?

— Афанасию зачем? — протестовал Хрисанф, — никак не по пути.

Забота перекинулась другим, и все, приподнимаясь ни стременах, смотрят вдаль.

Иван ерзает в седле, оправляется и попусту кричит на соловка.

Нехорошая встреча. Свои все дома, значит, заехал чужой. Но после коротких размышлений, снова прибавили шагу. Вот под деревом и человек виднеется.

— Баба! — не то удивленно, не то торжествующе кричит Назар. — Правильно! Баба!

— А лошади Евсеевы, — добавляет Хрисанф.

Все забыли усталость. Ожидание встречи было жутко и радостно. Ведь совсем ушли от людей и от мира. Ночь за ними бросила тяжелую завесу, навсегда отрезала, и вдруг — живой человек, кто бы он ни был.

Когда спустились в ложбину и от елей остались только стройные вершины, любопытство сделалось мучительным. Наконец, поднялись. Задорно и приветливо заржали лошади.

— Акулина! — вырвалось у всех.

Она лениво поднялась с разложенных сумин. Стоит, потупясь, неуклюжая, толстая, в широком зипуне, крепко стянутом мужицкой опояской. Сбоку в ножнах длинный нож. На голове глухой повязкой шаль.

Обступили ее. Бабы лезут вперед.

— Господи Иисусе! — шепчет Василиса и сейчас же испуганно спрашивает:

— Ты откуда, девка? А?

Молчание.

— Гляди, гляди! Две лошади! Сумины! — насмешливо тыкает плетью Хрисанф, не замечая Акулины. Он уже понял, в чем дело. — Совсем беловодкой обрядилась. Верно, Евсей за себя посылает.

Но он быстро меняет тон и, слегка наклонясь в седле, говорит повелительно:

— Укладывайся-ка, деваха! Вот что!.. Завьючить поможем... Укладывайся, да качай до деревни. К вечеру подъедешь. Не моги у нас. Без тебя запутаемся...

— Да ты того, постой... — нерешительно перебивает Панфил, — может, ей чего-нибудь... Кто ее знает...

Акулина поднимает кулаки к лицу и голосит:

— Дя-яденька-а Хрисанф!.. Пойд-ду... Ей-богу, ну, пойду-у.

— Ккуда-ы ты пойдешь? — орет Хрисанф. Он хочет сказать что-то еще, но плюется и кричит:

— Ходу, ходу! Пошли!

Сам круто поворачивает лошадь на тропинку.

Но Назар протестует:

— Девку бросить, што ли? Как она? Одна-то.. Ты пошто, Акуляша... убегла?

Голос у него добрый, отеческий, и Акулина не выдерживает. Она громко всхлипывает и, опять обращаясь к Хрисанфу, взывает:

— Дяденька Хрисанф!

Знает, что вся сила в нем.

А он:

— Хрисанф! Хрисанф! Кого я тебе?

Молча оглядывает ее и презрительно смеется:

— Са-аплюха!

Как под струей холодной воды, Акулина вздрагивает, отнимает руки и, ни на кого не взглянувши, садится на сумины лицом к дереву.

Панфил качает головой и ласково ворчит что-то под нос. Асон хмуро смотрит под ель и, тяжело дыша, собирается сказать свое громкое слово. Но Ванюшка разбил нерешительность. Все сидел в седле, как на иголках, краснел и уклонялся от пронизательного взгляда отца, а когда заметил, что мать неодобрительно поджала губы и вот-вот метнет Акулине обиду, вскочил с седла и, сильно хромая на затекших в дороге ногах, весь красный, какой-то не свой, подошел к Акулине, поймал ее за руку и потащил повелительно к отцовской лошади. Девка ошалела, смотрит и не знает куда. Иван не видит никого. Перехватило горло. Пал на колени, увлекая Акулину, дуется, хочет громко сказать, а голосу нет, как во сне, когда гонятся волки или медведь насаждает. Наконец, сказалося.

— Тятенька!.. Мамонька!.. Благословите!

Акулина смутилась, потеряла с лица и мольбу, и угрюмость, смотрит в сторону, будто ищет, куда скрыться. Иван что-то лепечет, но никто не слышит его слов. Все это кажется таким несуразным, неожиданным. Хрисанф, не скрывая любопытства,

подвигает лошадь и, лихо подбочениваясь, как-то особенно лукаво смотрит Назару в глаза. Тот поперхнулся, поглядел на всех и, мгновенно входя в роль, застрожился:

— Ты мне сын али нет? А? Сын ты мне али нет? — И, воображая, должно быть, отрицательный ответ, еще больше повысил голос: — Ты этого... того! Не можешь! Вот што, приятель!

Дальше он не знал, что сказать, да и не хотелось говорить. Он давно все видел и давно мечтал ввести в дом Акулину, породниться с Евсеем наперекор Гундосому, но все это представлялось необыденно-праздничным, «как у всех», с двухнедельной гулянкой, шумом, суетой и, главное, дома, а тут выходит вон что... Боролись два чувства. Но вспомнивши, что на него, на отца, теперь все смотрят, опять закуражился.

— Поперек еще лежишь!.. Можно разговаривать... Посмотрим! — взвизгивает он, болтая рукой.

Акулина вырвалась и убежала к дереву, уткнулась головой в сумыны, словно прячась от великого позора.

— Посмотрим, как ты это без отцовского-то без благословения справишься..

И не понял Иван отцовского сердца. Вскочил, затрясся, чуть не взвыл.

— Я тебе собака? — закричал он в морду Назаровой лошади. — Собачью жизнь мне хочешь?.. Я... Я... Сам-то жил?.. Домом, хозяйством... Моего там поту немало. Куда меня погнал? Хочу тоже, хочу домом жить!

— Иван! — резко крикнул Асон, ударяя лошадь каблуком, да так, что она заплясала: — И-иван!

Ванюшка съезжился, затих на полуслове. Он уже не верил себе, что мог так сказать. Кому! Отцу!

Дарья затянула было голосянку, что-то наговаривая нехорошее, обидчивое, но Назар прикрикнул:

— А уймись ты!.. Испрожабь вас в душу, в горло!

Он уже и в самом деле обозлился. Зачем-то соскочил с коня и, сильно покачнувшись на отсиженных ногах, еще больше вскипел:

— Куда от вас от окаянных?.. Забежаться бы в лес!

— Брось, Назар, не шуми, — мягко вступился Панфил. — Кого тут? Оно, конечно, дело твое, сказать, истинное, ну да кого там... — неловко заикнулся и обратился уже ко всем: — Расседлаться бы?.. Стан тут богатеющий.

— Надо расседлаться, — радостно откликнулся Анисим.

Хрисанф благодушно покрутил головой и, грузно падая с седла, захохотал:

— На свадьбишку, значит, наклонули... То-то, смотрю я, у Назара будто жбанчики с кваском в суминах хлюпают. Мужик запасливый.

И этого было достаточно, чтобы скрасить неприятность, заговорить свободно, громко, как будто ничего и не случилось.

IX

В суете событие померкло, к нему сразу привыкли и лишь украдкой взглядывали на Акулину, а она из кожи лезла, чтобы угодить. С упорством, тяжелым молчанием, брала она котелки, спускалась по камням к речушке, черпала студеную воду и расставляла посудины перед костром, у которого хозяйничал Хрисанф.

Народ разбрелся по кустам, прибирая поклажу. Только Бергал в стороне. Он обходит лошадей, осматривает спины, поднимает ловкими руками передние ноги и шатает подковы — нет ли ослабевших. За лошадь он умрет: у него, кроме лошади, нет ни друзей, ни товарищей. Ему все равно — своя она или чужая. Но

попроси доглядеть — оборвет на слове, фыркнет и уже не прикоснется: не для тебя, мол, делаю. У него с собой и инструмент.

Обошел всех, погладил, каждой что-то тихо-тихо сказал на ухо. У Анисимова воронка одна подкова надломилась. Долго щупал ее и ворчал, потом нашел Анисима и буркнул сердито:

— Подкову-то, што ли, достань.

— Аль изломалась?

— Ну.

— Вот беда, скажи!.. Сейчас я... — Он долго копался в суме, пересыпая там запасное железо, и все говорил виноватым, извиняющимся голосом, а Бергал уже обхаживал Акулинину пару.

Бабы у костра месили саламату — в кипящие котелки засыпали мелко истолченных сухарей и заправляли маслом.

Ванюшка успел уже слазать на утесик за речкой, притащил в поле и шапке груду черных, шумящих листьев бадана, чтобы сварить чаю. Хрисанф одобрительно крякнул. Когда Иван наклонился к костру, он, шурясь от дыма, не то серьезно, не то шутя кивнул на Акулину и вполголоса заметил:

— А девка ладная, мотри. Не пропадет... Зря я облаил ее...

Панфил ходит и присматривается. Давит его нехорошее молчание. Надо что-то сделать, чтобы снова все заговорили, отворили душу, будь там хоть одно худое — все равно... Не будет так добра, пока не скажут...

Когда снятые с пыли котелки задымили вкусным запахом в тени у ели, Панфил, умывшись над ключом, без шапки, подошел к стройной молоденькой пихточке и в десятый раз оправил складень, укрепленный на серебряном стволе. Потом попятился и, постоявши перед образом со сложенными на груди руками, закрестился часто-часто, кланяясь в пояс. За ним стояли все, тоже кланяясь и наговаривая шепотом знакомые с детства слова.

Сотворивши молитву, Панфил повернулся к народу, провел рукой по жидкой бороде и огляделся.

— Акулинушка! — кротко позвал он, всматриваясь через куст. — Ты пошто же не подходишь?

— Брось там шариться, поди сюда! — уже решительней крикнул Асон.

Акулина, потупляя глаза, стала сзади, с Бергалом. Иван, задержавшийся у потников, видя общие взгляды, поспешил подойти.

Панфил оглядел всех спокойно.

— Вот, братие, пошли мы... Сущие далече мы путешествующие, как в святом писании... Да... С помощью божьей пошли, со угодниками со святыми... С миром надо. Теперь нам никто и ништо. Не жди себе помощи. Земля, да небо, да ты. Ближе надо один к другому. В согласии дело-то спорится... Сегодня вот неладно вышло. На душу греха прибавили. А сердце-то, оно уже и того, закаменело. Нету в нем правды, нету покою. Змеей шипучей извивает... Нет... С согласия надо, братие, надо сообча. Ежли не по ндраву тебе что, не хоронись, а говори перед всеми. Ежли миром положили, повинуйся, не ропщи.

— Верно!.. Так, так!.. — кивал Асон, стоя впереди других.

— Без этого не выйти нам на истинный путь... Сегодня сомустил лукавый. Побороть его надо, правдой побороть.

Панфил заглянул через головы и строго поманил Акулину.

— А ну-ка, подь сюда, девка.

С убитым лицом, едва-едва переступая, подошла она.

— Вот сюда стань...

Панфил строго оглядел ее.

— А поясни теперь нам, откуда это ты и как и пошто?

— Деданька Панфил! — заревела Акулина, падая в ноги.

Но он наклонился, взял за локоть и строго приказал:

— Не валяйся! Встань!

Поднялась Акулина, оборвавши рыдания.

— Отцовское благословение имеешь?

Помолчала и чуть слышно ответила:

— Нет.

— Как же ты?

— Убегла... С пасеки...

— А пошто так? Богу послужить пошла, али как?

Молчит.

— Не почтила родителей. Грех великий приняла! — Панфил сильно повышает голос: — Тяжкий грех сотворила!..

Акулина беспомощно уткнулась в конец шали и плачет, сгорбившись, вся вздрагивая.

Асон нахмурился, вздыхает:

— Грехи наши... Охо-хо! Царица матушка, небесная!..

Панфил разглаживает бороду и громко спрашивает:

— Как же, братие? Овца заблудящая... Миром, значит, порешим. Какое ваше слово?.. Куда ее.

Акулина все ниже опускает голову.

Неясным шорохом прошли над ней слова, пугающие непонятной тайной. Но Хрисанф сказал громко и открыто:

— Идет пуцай.

— Как ее одну-то? — спрашивает Асон.

И, радуясь подсказанному слову, все возбужденно зашумели.

— Возьмем! Пуцай идет! — покрыл все голоса Хрисанф.

Панфил с просветлевшим лицом положил свою руку на голову Акулины.

— Значит, счастье твое, Акулинушка.

Он уже скинул притворную строгость.

— Иди с миром, сердешная.

Панфил взял ее за руку и, отыскавши глазами Ивана, поманил его. Тот подошел, испуганный, покорный.

— Вот чего, Ванюшка, и ты... Акулина... Мое дело теперь никакошное... В вашей судьбе есть хозяин побольше меня... Как отец с матерью... К отцу подите...

Он повернул их лицом к Назару, а сам глубоко-глубоко, касаясь перстами травы, поклонился народу.

— Бога ради, меня, грешного, простите, ежели чо неладно вам сказал.

Ему ответили общим поклоном.

— Нас прости, отец!

Назар мирно, но с серьезным и грустным лицом шагнул к Ивану. Тот грохнулся в землю.

— Прости меня, тятенька!

— Изобидел меня сын родной, крепко изобидел. А кажись бы, слова худова от отца не слыхивал... Теперь вот тоже сомустил всех. Откуда это, парень, у тебя? Ровно бы раньше не такой был, Иванша. А?

— Тятенька, прости!

— Ты это кого задумал? Жениться?

Иван швыркает носом.

— Жениться, говорю, задумал?

— Благословите, тятенька, мамонька, — вдруг решительно поднял голову Иван: — Гараське я ее не дам... Убьюсь, а не дам. Ежели чо... Дочерью будет, не скажет поперек... А Гараське не дам. — Он вскочил и говорил все громче, сильно волнуясь. Пошто мне нету места?.. Все, поди, не лучше нашего...

Панфил тронул его за плечо.

— Не ропщи, сынок, не ропщи. Помоли лучше угодника, чтобы сердце родительское оборотил к тебе.

Хрисанф, улыбаясь, что-то маячит Назару. И встряхнулся Назар.

— Э-эх! — крикнул он, отмахнувшись рукой: — Мать! Поди сюда. Да поди ты, што ли!

Дарья, нехотя, подвинулась.

— Кого тебе опеть?

— Кого? Сноху тебе в новую горницу.

Умиленно и растерянно смотрели все, когда они благословляли молодых.

Котелки уже сильно простыли. Пока рассаживались на траве, бабы снова подогрели их и, перекидывая с руки на руку раскаленные дужки, поставили посудины в кругу разложенных на небольших холстинках ломтей хлеба. Молча и старательно таскали жирную саламату большими ложками, густо посыпали солью толстые ломти.

Чай пили долго, со вкусом, и еда умиротворила. Сам собой завязывался оживленный разговор. Акулину никто не затрагивал. Даже Дарья только сокрушенно вздыхала, раздражая мужа. Ее мутила прошлогодняя обида на девку за какие-то сплетни. Акулина, с уставшим лицом, едва шевелилась. Сидевший рядом с ней Асон все косился на нее, присматриваясь и, должно быть, тронутый забитым видом, стукнул ложкой в ее руку.

— Ты мне, дочь, скажи-ка вот чего... Как ты сбегла-то? А?

Акулина покраснела, громко швыркнула носом и сейчас же нахмурилась.

— С пасеки ушла.

— Нет, ты поясни мне, как ты это удумала? А?

— К Гундосому ийти? Небось, удумаешь!.. Об осени свадьба, говорили...

— Та-ак.

Асон, опершись кулаками в толстые ляжки, осмотрел ее внимательно.

— Ведь отчаянность экая! Н-ну! Быдто в гости ушла!.. Ну и как же ты не заблудила?

— Иван направил, куда надо.

— Та-ак... Значит, спозаранку снюхались. Старики-то, может, сколько годов это дело мозговали, а у вас без хлопот.

Он повернул лицо к Ивану.

— А ты почем же чуял, что она прошла тут? Али зверем по следу тянулся?.. Кабы не пустили, да запуталась в ущелинах?

Иван вспомнил что-то. Загорелое лицо само собой поплыло в откровенную улыбку. Рукой пошарил за рубахой и не сразу вытянул обрывок кумачу.

— На кедрачах отметину оставила.

Девка сконфузилась, вспыхнула и наклонилась вплотную к холстинке.

Назар поднес было кусок к губам, да так и застыл. Похлопал глазами, ища себе сочувствия, взглянул на лоскут, на Ивана и хихикнул:

— Вот те, язви те!.. А я это думаю... Ха-ха-ха!

Он прожевал кусок, запил из чашки и прибавил резонно:

— Супротив прежнего нонешны умом, парень, ку-у-ды!.. Скажи, отколь чего берется?

— Народ дошлый, чего говорить, — согласился Анисим.

— Ну, па-а-рень — идет в ворота, — опять насел Асон. — Нет, девка-то, девка! Собралась, завьючилась, поехала!.. На пашню доле собираются.

Хрисанф, поднявшись и уходя к лошадям, кинул внушительно:

— Не пошел Евсей, от бабы отлипнуть боится — дочь ушла. Вот и все тебе. Кого тут разговаривать!

Анисим взъерошил черные с отливом волосы и, щуря угольки-глаза, захохотал:

— Уважила дочь!

Бергал украдкой улыбнулся. Ему ясно представлялось, как теперь шумит Евсей. И, словно подхвативши его мысль, Назар встрепенулся:

— Погоня, мотри, будет. Евсей теперь гу-гу! Вихрем землю дерет.

— Никого не доспее, — отозвался Иван, решительно вставая и крестясь: — Не бараны, поди. По колодкам теперь шарится да дымком окуривает... Акулина на деревню лошадей ковать поехала.

— Штобы-те! — заливался Анисим.

Иван солидно одернулся, накинул шапку и повелительно взглянул на Акулину:

— Ты дохлебывай, чо ли. Сумины надо раскладывать.

Она покорно, по-бабьи откликнулась:

— Сичас я. Рассупонь поди ремни-то. Не могла. Росой смочило, затянулись шибко.

Догоняя Ивана, она продолжала все тем же деловитым тоном:

— Надо там бадейки досмотреть: не потек бы мед.

И эта деловитость разоружила всех, кому на верхосытку так хотелось пошутить над девкой.

Оглянувшись на нее, Анисим восторженно потряхнул головой:

— Девка! А? Нет, ты, парень, — обернулся он к Назару: — не мутись. Вот тебе мой сказ. Не мутись. Золото девка! Твое дело таперь какое? Куды ты и што ты. Ни дому, ни печки. Скажи, дура нашлась, потянула...

Дарью прорвало:

— Скажи на милость! Калачом медовым не манили. Не хуже бы сосватали. Изба, поди, не без углов...

Все захохотали:

— Изба! — торжествовал Асон. — Супротив этого не скажешь. Изба, одним словом, молодяжничком огорожена, синим небом принакрыта, на полу — зелено.

Он развел руками в стороны.

Дарья обидчиво подвинулась за круг и, громко вздыхая, занялась своей торбочкой.

Польщенный Назар не сдерживал улыбки.

— Кого там! Обидно, слышь, то: не по-людски выходит. А девка, што говорить...

— Ты, ты-ты! — оборвал его Бергал, крича на жеребцов. — Покусайси-и!

Он проворно вскочил.

Подошел Хрисанф.

— Складываться бы, што ли? Как бы не скатило кого оттоль. — Он красноречиво показал на перевал.

— Это ты правильно, — согласился Панфил. — Кони поедят — седлаться.

Все сильнее припекало. Солнце плавно поднималось на небо. Лес стоял тихий и радостный. Неумолчно кипела и ворчливо пенилась речушка. Обсохшая трава стлалась цветистыми коврами по лесным прогалам. Светлой и красивой жизнью жила глубокая долина, огороженная в небо уходящими отвесами.

Х

За день ушли далеко. Не достать, никому не сыскать. Только небо видит темные, глубокие, лесами поросшие пади, а над ними — горы, мрачные гранитные утесы и снега. Шпили утесов в клочья разрывают бесприютные, кочующие над землею облака. Высоко-высоко, выше хмурых туч вздымают они царственно гордые головы. А горсточка дерзких упрямо и настойчиво идет по

их груди. Дорог здесь нет. Одна дорога — смелая мечта. Она ведет через бездонные провалы и гранитные поля, через старый-старый темный лес, которому конца нет, по долинам.

На закате расседлались.

— Эко место добро! — выйдя на опушку, радовался разомлевший от езды Назар.

Луг, заросший большетравьем, уходил зелеными полянами куда-то вслед за речкой, разлучая горы.

Панфил, тихий и кроткий, подойдя, встал рядом.

— Ты мотри, каку травищу гонит!

Ничего не ответил Панфил, и оба молча радовались неизменному богатству, глубоко вздыхая и почесываясь в предвкушении спокойной ночи.

Бергал с Хрисанфом крепко спутывали лошадей. Их голоса — один зычный, веселый, а другой раздраженно-отрывистый — неслись через густые заросли с большой полянки за рекой.

Бабы суетились под деревьями с поклажей. Асон тут же починял испорченное днем седло; все ворчал и сопел, да приморился, бросил. Сидит теперь и смотрит. Акулина хлопотливо перетаскивает пухлые сумы, насаживается, закусывая губы и краснея.

— Надсадишься, деваха, — сочувственно качает головой Асон, — ты того бы... по траве волокла... Ну, да и брось! Соберут мужики. Брось, ли чо ли, говорю!

— Пропаду без мужиков-то, — огрызается она. Сама ищет глазами Ивана. Где он? Вспомнила — ушел по речке удить хайрюзов. Оглянулась на Асона — тот разувает ногу, ничего не видит, скользнула проворно в кусты и, пробираясь по колючей заросли, бросилась по следу.

Далеко забрел Иван. Примятая трава ведет по берегу. Акулина изморилась, выдергала ноги на разбросанных в траве камнях. Скорее бы Ванюшка! Рассказать ему все...

Из-за густой черемухи со свистом поднялось непомерной длины удилище. Тускло блеснуло оно в воздухе, передернулось, вздрогнуло змейкой и упало почти к самым ногам, придавляя траву. И сейчас же с шумом вылез из куста Иван.

— На тебе! — вскрикнул радостно он. — Видно, притянуло.

— Зря, поди, измаялся?

— А это што! Гляди! — он подкинул связку рыбок, нанизанных на тонкий прут.

Но Акулина смотрела растеряннo, куда-то мимо, на реку.

— Хватит, што ли? — спрашивал Иван, играя связкой.

Акулина не ответила.

— Пойдем еще маленько.

— Ты ничо не знаешь?.. — убито улыбнулась она.

Иван насторожился.

— Кого опять?

У Акулины по лицу и по губам перебежала неуклюжая улыбка. Девка собралась что-то сказать, да не сумела, не хватило силы — как ребенок всхлипнула и, закрываясь руками, зарыдала. Все, что накопилось с прошлой ночи, полилось неудержимыми слезами.

— Ой, тошнешенька мне-а! Ой, тошнешенька-а! — голосом ревела Акулина, припадая вперед.

Иван растерялся.

— На вот! На вот! Ты сдурела?

Акулина топнула ногой и, отбросив руки, показала красное, все неприятно мокрое от слез, лицо.

— Гараську я зарезала! — громко выкрикнула и кулем опустила в траву.

Иван, раздавленный двумя словами, стоял над ней со спокойным лицом. Он видел пестрый сарафан, под которым вздрагивали плечи, слышал грубо-низкий голос, повторявший какое-то страшное слово, но все это было так далеко и непонятно, так незначительно и чуждо. Наконец, очнулся. Непонятное сменилось жутким страхом. А может быть, то была радость? Сам потерял себя. Иван наклонился, упал на колени и, положивши руку на плечо Акулине, а другой опираясь на камень, попытался приласкать:

— Не вой ты, моя...

Жалость и нежность вынесли из глубин яркое, горячее слово, но сказать его не мог.

— Брось, ли чо ли... Акуляша! А?

В голове пронесется: «Когда это и где? Гараську!».

Акулина надрывается, все ниже опуская голову, как будто хочет спрятать ее под тяжелую черную землю.

— Ах, ты! Вот скажи! Ну, уймись, ли как ли... Растолкуй, хошь.

Он решительно сел рядом и, обхвативши ее сильными руками, опрокинул к себе на колени. Акулина покорно уткнулась в живот.

— С пасеки... с-са-а-мой...

— Ну?

— Ну, прилип тот...

Она утерлась рукавом и передвинулась, по-детски сухо всхлипывая.

— Бергаленок, што ли?

— Кому боле.

— Ну?

— Я это утре только съехала с лохматой сопки, а он и тут. Гляжу, у речки шарится. На саврасом хлюпает. Едет будто бы

тихонько этак. Куды тут, думаю? Свернула лесом, а он оборотил... Подъехал, скалится, проклятый. «Здорово, што ли, — говорит. — Знать, по пути нам?» У меня и речи нету. Обомлела, молчу, дура дурой. Ну, кого я с ним доспею?... Одиным-одна. А он крутит и крутит... Повернула на дорогу, а он следом. По пути, говорит. А кого там, по пути — ни сумин, ни припасу. Знамо дело, галится... — Акулина опять нервно вздрогнула и, закрывши глаза, сильно прикусила губу.

— Ну? — Иван нетерпеливо теребил ее шаль.

— Ехали, ехали. Он все рядом норовит. Сам болтает и болтает языком. Я и спрашиваю: «Ты куда же это?» — «Я-то, — говорит, — куда? С тобой пойду»... Зубы скалит... «Помнишь — как под елкой-то? Может, мы не хуже...». Ухватил меня ручищей вокруг шеи, к себе тянет. Понужнула я Белку, а та сколыхнулась, дернула, я и вылетела из седла. У ево саврасый тоже, как выграл — оба повалились... Ой, тошнехонько!.. Облапил, значит... храпит зверем...

— Ну?

— Так маленько — и уделал бы... Силушки нету моей. Да одну-то руку выкрутила... Ножом ударила в лопатку... Выкатил белки... Отпал...

Ванюшка дышал тяжело и отрывисто, будто видел все перед собой. Вот-вот сорвется с места, бросится.

— Ссабака!

Акулина широко открытыми глазами смотрела куда-то вниз и вдруг в ужасе вздрогнула, съежилась.

— Страсти-то, страсти! Куды я денусь? Тошно мне, тошно!.. Все ноченьку дрожала. Куды ни гляну — все он ползает, корячится.

Она помолчала с минуту, что-то вспоминал, и порывисто схватила за руку:

— Как побегла от него, обозвал нечистым словом. Сам хрипит, а сам по-матерному... Потом уткнулся головой под камень.

— Ссабака! Бергалу и смерть по-бергальему.

— Ой, куды я денусь! Грех-то, грех!

— И никакого тут нету греха. Кабы это человек, а зверь и зверь. Ежли волк, али кто там, на тебя напустится, в зубы, поди, не полезешь. Он и зверя вредня... Ну, дак как же не вредня? Ты смекай, кого он удумал?

Иван долго говорил, и злоба пропадала вместе с тем, как Акулина делалась спокойней. Облегченная рассказом, она тоже затихла, смирилась.

— Исповедаться бы дедушке, — осторожно подняла она глаза.

Иван согласился:

— Как хошь. Он не бросит, на поклоны поставит. Не великой грех твой.

— Исповедуюсь я.

— Ты себя сберегала, — продолжал свою мысль Иван. — Всякой так бы сделал. Кому жизнь не дорога? Пошто он этак? Сам неладно закрутил, оно и вышло...

Ласково и мягко говорил он. Слова его были такие простые, понятные. Акулина им отдавалась вся, без раздумья, без тяжбы, теснее прижималась к Ванюшке, стараясь поглубже зарыться в рубаху, а он гладил тяжелой ладонью ее голову, круглые плечи и грудь.

— Ты не думай только. Не надо думать.

— Да как я? Не идет из головы.

Она передернулась, всхлипнула, вздрогнула.

— А ты о другом... Пройдет... Не сама вить, не нарошно... Бог-то видит, поймет. Не обманешь его. Небось, видит.

Она затихла, вся ушла в себя и распустилась, не отталкивая ласковой руки и ничем не отвечая на теплую нежность. Было столько мыслей, бурных, мятущихся, никогда не изведанных. Жизнь с рожденья тянулась такая простая, знакомая — сегодня, как вчера, и вчера, как сегодня, будто во сне ее видела, всю наперед узнала. Да обманул тот сон. Дорожка виляла, виляла и вывела к такому, перед чем растерялась душа, и стоять ей не на чем, повисла в воздухе. Все ушло, все потерялось.

Не отрываясь, долго, снизу вверх, смотрела на родное сильное лицо. Знала на нем каждую морщинку, но не умела понимать того, что есть-за мелкими морщинками. Там другое лицо. Словно невзначай разгадала мудреную загадку. Вот он, тот, который все знает и выведет, — Ванюшка! Все теперь устроится. Ванюшка знает, как. Он знает! Лежала тихая, покорная и отдавалась ему в мыслях телом и душой, но не так, как иногда, — до угару, до боли — нет, не так. И в этой покорности было неизведанное счастье, было небо и солнце.

Очнулась от толчка: Иван подвинул затекшую руку.

— Разбудил, знать?

Она молча улыбнулась, поправляя волосы.

— Отдохни маленько.

Опять ничего не ответила, покрутила головой и вытянулась в рост.

За спиной в лесу темнели тени. Пятна зелени, воды и камней потеряли свои краски. Серой дымкой застилало всю долину.

— Ночь, мотри, идет, Ванюшка, — с трудом вставая показала Акулина на дальнюю кайму хребтов, из-за которых поднимался на небо украдкой молодой, бумажно-белый, месяц.

— А вить хайрюзов-то, знать, мы подавили, — смеясь, потянула она длинный прут.

Иван улыбнулся.

— Пластать не надо, работы меньше.

Когда возвращались, Акулина на каждом шагу припадала в малинник, набивая полный рот рассыпчатыми ягодами.

— Лошадей бы надо доглядеть, — заботился Иван.

— Пойдем, пойдем!

Она поймала его за руку, и оба побежали вдоль речушки, поребачьи прыгая через большие камни. Но по дороге встала черная черемуха, раскинув лапы далеко над речкой. Акулина, уцепившись за одну из веток, вскрикнула:

— Ты глянь-ка, глянь! Черным-черно от ягоды! Набрать-то вот бы! Наберем? Ну, давай, ли чо ли, шапку!

Он покорно протянул ей меховушку и, подпрыгнув, наклонил развесистый сучок. На каждой веточке висели длинные сережки черных мягких ягод. Стоило до них дотронуться, как ягоды дождем катились по ладони в шапку, в рукава и на траву. Ванюшка все старался отыскать корявые сучки, где ягода была крупнее и слаще. Акулина искоса взглянула на него, и что-то в ней проснулось, хлынуло огнем по жилам. Будто год не видела. А он совсем уже не парень. Борода пушится. А ручки-то, а плечи! Муж он, муж! Сын в него издастся, капля в каплю. Застыдилась своей мысли, вспыхнула, вплотную подошла к нему и, пропустивши свою руку под его, тянулась к вздрагивающим сережкам. Радостно и жутко было прикасаться к его телу, чувствовать тяжелую родную руку на своем плече и у лица. Оттого ли, что рука так крепко пахла, или оттого, что сердце сильно билось, пальцы прыгали по листьям, не захватывая ягод.

— Обтрясла все дерево, — ворчал Ванюшка, крепко прижимая девку свободной рукой. У Акулины закружилась голова, когда он, как бы невзначай, запрятал грудь в широкую ладонь и тиснул так, что дух занялся. Но сейчас же выпустил и властно повернул на тропинку.

Стан был близко. За рекой визгливо ржали жеребцы. Тянуло дымом. Дальние кусты сливались в темную густую поросль. Вечер был тихий и теплый. Шагая сзади, Акулина все смотрела на могучую спину Ванюшки, на косматую большую голову, и в сердце был великий праздник. Но кому было сказать об этом? Разве только что Ванюшке... После, ночью.

XI

Золотые, горячие дни чередовались с непогодью, мокрыми туманами и зимней стужей под белками по ночам. Нерукотворными громадами тянулись горные хребты, и не было конца им. Они поднимались то выше, то ниже, замыкая дали тесными рядами стен. Но к концу шестой недели горы снизились и поредели. Зелени подолов расстилались шире с каждым перевалом. Наконец, под вечер того дня, как миновали каменный курган, воздвигнутый неведомым народом на вершине сопки, перед глазами развернулась во всю ширь великая пустыня.

Пали стены. У предгорий, словно стражи-пограничники, возвысились мертвые, серого камня утесы, а там, за ними, шли пологие холмы, сливаясь с гладью песчаного моря, еще неясного, но властно захлестнувшего далекий горизонт.

В последней зеленой долине сделали привал на целую неделю. Лошади, измученные, похудевшие, со сбитыми спинами, поправлялись быстро. Люди усердно работали. Мужики чинили сбрую, вялили наловленную бродничком рыбешку, выходили на охоту. Бергал все хлопотал у лошадей: разыскивал какие-то травы, жевал их и прикладывал к болячкам. Хрисанф с Ванюшкой успели загнать двух архаров. Мясо тоже вялили, но соли было мало — жалели ее, — и в сморщенных кусках стали появляться черви. Бабы собирали и сушили ягоды. Неизвестно, что там ожидало, за

последними холмами. Собирали и прикладывали каждую крошку; подолгу, обстоятельно обдумывали всякую мелочь.

Накануне выступления вечеровали дольше, чем всегда. И лошадей, и сбрую, и поклажу привели в порядок еще утром. День прошел в мелкой починке, а вечером все не хотелось отойти от большого костра, как не хочется выйти из теплой приветливой горницы на холодную пустую улицу.

Ночь пришла тихая, звездная, прекрасная своей великой тайной, никем не разгаданной. Огромный, широкий костер в кольце невысоких кустарников уже погасал. Сгорели все корявые сучки, натасканные за день, и в середине костра едва слышным звоном жалобно звенели раскаленные угли, утопая в золе. Лишь по краям огнища вспыхивал то тут, то там случайно уцелевший прутик. Иссиня-белая змейка проворно шмыгнет от костра, испепелит сухую ветку и угаснет, скроется. При отблеске последних вспышек круглая полянка оживет, покажет все свои углы, забитые странными грудками скарба, и потонет в темноте. Ночь тогда кажется еще темней и глуше.

Почти рядом с костром и в кустах слышен легкий говор — все не спится. Только Анисим да Назариха перекликаются через поляну нудным однотонным храпом.

Асон кряхтит и кашляет, часто обрывая Панфила.

— Вот попущение божеекое; спать, однако, слышь, не даст. Асолодки пожевать бы, да теперь ее где? Не уищешь. Вся трава одинакова.

— Асолодка — хорошо, — мирно отзывается Панфил...

Он помолчал и возвратился к своему рассказу:

— Много их тогда ходило, с батюшкой с покойником. Все рассыпались. Старики-то на особицу двинули. На семьдесят девятый день пришли, значит, к морю. А оно, это море — озеро святое, без конца и без краю идет. И нет, говорит, ни погоды, ни

ветру, а оно себе стонет, страшным гудом гудет. А по зорям, по вечерной и по утренней, волна уймется, тихо станет. Так тихо, будто бы молится море святое. Звон тогда слышится. Издалека доносится, ровно из воды, ли как ли, говорит. Тихой, тихой звон, а шибко слышно, ровно поднесено под ухо, и столь-то колоколов там звонит, что ни есть числа им...

Панфил с кряхтеньем поднялся и поправил изголовье.

— А звон-то этот с островов идет...

Он не раз рассказывал о море-озере и уже привык на этом месте останавливаться. Остановится и поглядит на слушателей.

— С островов... Кругом того моря пустыня великая. Берег такой, что как бы и не берег вовсе. Ежли в пасмурный день, то и не знатко, где вода с песком сливается. Глаз слезится, как посмотришь вдоль его. А острова-то, значит, на середке. На самой середке. В ясной день глядеть, так видно их. Не всякому только даются. Другой сколь ни смотрит, ничего не углядит. Слеза затягивает зрак. Не допускает, значит. А ежли с постом да с молитвой, так ничего, откроются. Из воды это, будто, леса поднимаются. И видно их, и не видно. Больше сердцем чуешь. Далеко уж шибко. А в тех лесах святые схимники. И монастырей там, и храмов — не счесть! Все по старой вере. Народ русский зашел, стало быть, с царя Константина.

Хрисанф крепко крикает где-то совсем близко в кустах.

— Никакошная жизнь, пропащее дело. Первое дело тебе — слобода. Без этого, брат, никуда. Не спасешься без нее.

— А как это... — Асон закашлялся, сел и, тяжело дыша, долго плевал в сторону. — Прости меня, господи!.. Как это святые-то отцы спасались, а? Скажи ты мне, Хрисанф Матвееч. А? Ровно бы грамотный, поди, читал в писании. Кого хошь возьми, ну, кою ни возьми — все из миру уходили, который — в скит, который — в пещеру...

— Вот ежели в пещеру, да один — оно подходит. Ты думаешь, пошто он этак делал? Слободы захотел, вот оно што. Один он — сам себе хозяин. Понял? Сам себе хозяин. Не пришьешь, брат, его! А как сердце в покое, оно и к богу ближе.

— Да ты постой, постой! — кричал Асон. — Не дай бог этак подумать, рази они в угоду свою жили? Что они делали? Вериги носили железные, в кровь свое тело спутали... А посты как содержали! Вкусит ягоду палую да росинкой запьет. А которые, вон, предавались молчанию, а то опять были такие...

— Правильно сказываешь, сами грамотны, а только все это для виду делалось, для положения. Потому полагается отшельнику плоть свою измаривать.

Хрисанф говорил спокойно, и это особенно волновало Асона. Старик чуть прилег и опять приподнялся на локте.

— Ты пошто так, ты пошто?..

Хрисанф не слушал.

— Для слободы это, для себя так способнее. Плоть-то он и так, и этак, а духу оно легче. Раз пошел за этим делом, надо содержать себя в полном обиходе. Мирской придет — ему подай и пост, и вериги, и все. Какой это, скажет, исхимник, ежели нет порядку? А исхимнику-то легче...

— Нет, ты не мути, Хрисанф!

— Чего мутить? Не для ча мне...

Хрисанф, давно уже растянувшись на спине, покрытый армяком, не отрываясь, вглядывался в черную звездную глубь. Было что-то там таинственно-жуткое, чего он никогда не замечал. С детства видел эти звезды и ни разу не взглянул за них, туда, в небесную святую бездну. Теперь она была перед глазами, вся открытая. Мысль робко скользила от светила к светилу и, словно утомленная, обезоруженная, возвращалась на землю, к знакомым

предметам, и все земное ей казалось таким мелким, незначительным, понятным...

Странно было, что Асон, проживший чуть не сотню лет, не мог понять простого положения: для порядку много делают тяжелого, а как посмотришь — для себя же.

— Нет, ты не мути! — не унимался старик, — сказать теперь к слову, на этом на море скиты... По-твоему — тоже для себя?..

— Знамо дело. На миру не по ндраву, вот и сокрылись.

— Да вить старой веры, истинной! — надсаживался Асон, наклоняясь всем тяжелым корпусом к Хрисанфу.

Хрисанф замолчал. Он боялся, что не выдержит, а не хотелось оторваться от небесных огоньков и своих мыслей.

— Ты куда же с этим? Не допустят! Не допустят, мотри! С поганой-то думой. Нет, не можно...

И вскипел Хрисанф — помутнела глубокая синь, задрожали на ней звезды — круто расклонился и отшвырнул в сторону армяк.

— Ты не страшшай! Не страшшай, говорю!

Крикнул так, что где-то в густых ветках испуганно, с жалобным писком забилась приютившаяся на ночь птичка, а Назариха громко сглотнула слюну и захрапела тоном ниже.

Панфил беспокойно вздохнул:

— Кого вы это?.. Не ладно, мотри-ка, Хрисанф.

— Не ладно! Говорил заране: не будет согласия, несогласно пойдем. Я не махонький тоже. Маракую, поди-ка, куды вы погнули. А только мне к монастырю не по дороге... вот што!

— Накажет те господь, — подавленным голосом тянул Асон, глухо ударяя кулаком в сырую землю. — Накажет, накажет.

Хрисанф уже снова улегся и, взволнованный, весь будто в струну натянутый, старался отвечать спокойно:

— Может, и накажет. Люди мы... Под богом ходим... А только туда не заманишь. Ежли мне спастись уж придет на

сердце, в старости, значит, так я уйду в ущелины, в самые камни, куда птица прилетит не всякий день.. В скиту мне не подходит. Там покорство первое всего и ни ногой никуда. Море, оно похоронит... А ну, как душа-то запросит слободы, да как в море те потянет, на самое дно, к нечистому в колени... Беда!

Сенечка лежал на другой половине за потухающим огнищем, обложенный суминами. Он не обронил ни слова, слушал с сладким перебоем в сердце и представлял себе, что это не Хрисанф, а он так говорит. К горлу подступало жгучее удушье. Сенечка привстал легонько, так, чтобы никто не разглядел и не расслышал.

— Чего Хрисанф притих? Боятся? Не таковский он. Вот тут их прижать-то! Пусть жуют, прожевывают... Молчит Хрисанф! Не так их надо.

Мысли теснились одна другой злее. И откуда эта злость? В походе улеглась было, не думал ни о чем о старом; стал даже бояться самого себя: к ним недолго привыкнуть, а там, смотришь, оседлают, затянут, своим сделают. Да вот проснулось старое, полезло с глубокого дна, и нет ему удержу. Все опять вспомнилось.

— Мир-то, парень, завсегда был подлый...

Сенечка и сам не знал, как это вырвалось, а слова будто обрадовались, побежали юркими подкаменными ящерками.

— Подлый он... Нету в нем правды, совести нету... Нет, нету... Не найдешь, не ищи... Одному все надо. Пока один — живешь по совести, а как вышел на мир, привяжут те и поведут, и поведут, куда не хочешь... Потом сам пойдешь. Бараны вот этак же... Ума-то своего нету. Одному надо сюда, другому в эту сторону, а их вон куда кнутом поворотили.

— Ты кого там? — огрызнулся Асон. — Кого? Взъелся опять?

— Ты один, я один, — уже выкрикивал Бергал, словно боялся, что не дадут сказать всего. — Каждый, значит, по образу и

подобию божьему... Ты ли, я ли — все один фасон... Да пошто тебе дорога, а мне чертоломины? Не по-божецки! А потому — все мир. Пошто ты с кнутом, а я на кобыле? Может, я не хуже. А? Пошто так?

— Сеня, брось! — сердито оборвал Хрисанф.

— Один-то, брат, царем!.. Царем живешь! Возьми орла — она птица непокорная. С голоду подохнет, да не покорится. Ни в жисть! Дак пошто человек?.. Человек пошто собакой скинулся?..

— Ну, брось ты, Сенечка! — с досадой прикрикнул Хрисанф, зарываясь в армяк.

Асон в волнении никак не мог найти необходимых слов.

— Плохо те били, Бергал... Мало выколачивали... варнацкого-то духу не выбили всего... — сказал он с дрожью в голосе и, сдержанно побряхтывая, опустил голову на потники.

Сенечка сразу замолк. Оборвалась в его душе какая-то струна, оборвалась со жгучей болью. Снова вспыхнула злоба, залила пожаром и эту боль, и самого его, и небо — захлестнуло заревом весь мир. Как от сильного удара, стеснило дух, тяжелым, угловатым камнем придавило грудь, Бергал упал затылком на траву и замолчал. Замолчал теперь надолго, быть может, на целые годы. Будь он проклят, будь проклят! Разве можно с ними говорить? Разве поймут они правду? Сенечке казалось, что говорил он долго и много, говорил понятными словами. Нет, не поняли!

А сколько черных, одиноких ночей ушло, пока он отыскал эту правду! Находил понемногу, по зернышку. Запутали люди, развеяли по всей земле. А он собрал. Хрисанф — тот знает тоже. Для виду только путает...

Сенечка вздрогнул от сырости, потянувшей по кустам с ключей, вдохнул прерывисто, давясь своим горлом, и только тут увидел небо. Звезды там... Темно и тихо... Небо никогда не звало

Сенечку к себе. Других зовет, его не звало. Никогда он не подумал: что там, как там. Должно быть чудно все устроено. И рай, и ангелы, и пророк Илья на колеснице. Как посмотришь — пусто, а он проедет — грохотом оглушит. Горы стонут, как покатыт шибко. Едет по небу и мечет в грешников огненные громовые стрелы. Сенечка не раз их находил остывшими в песке у речек и продавал Зиновьюшке — старухе-шептухе. Та лекарство делает из громовой стрелы и корня Петров Крест от грыж, от всяких — от жилинной, от суставной, от простой, от белой и от внутренней сколотки.

Верил Сенечка в пророка, сильно верил, считал, что это правильный святой: не как другие, его видно, он себя оказывает. Да случилась неправда. Убил он у Сенечки недельного теленка. Лежал тот под елью за избушкой. А за что его было? Без пути пристукнул. Какой в нем грех, в недельном-то? Не может быть греха. А если за него, за Сенечку, так это не по правде. Самого и наказывай. К чему животину губить? Не на то она родилась.

Сенечка не раз дерзал против небесного. Бывало, по ночам откуда-то подкрадываются такие мысли, что и не скажешь их: страшно сказать. Он старается не думать, не смотреть на небо. Может быть, ему только не открывается, а другим там видно все, что надо. Но одно он знает хорошо — не там надо правду искать. Не откроет ее бог, никому не покажет. Он спустил ее на землю, отдал людям, чтобы сами сохраняли. А они растащили ее по земле, развеяли песком и потеряли. Теперь ищут, вырывают друг у друга, злобствуют, мечутся, у бога молят помощи. А бог-то видит и молчит. «Ищите, мол, ищите. Тут она, у вас. Как помрете да ко мне явитесь, тогда скажу. Узнает тогда каждый, по правде он жил или нет»...

Сенечка ушел в себя, затих, будто замер каждой жилкой, и душой, и сердцем. Совсем близко, в темноте, стоит над ним кто-то или что-то. Стоит, наклонившись, готовя удар. Не поймет никак

Сенечка, не думает об этом, а душа ожидает. Вот-вот должно случиться это, страшное, неотвратимое. Но побежали мысли по небесным огонькам, ушли в былое, в молодость, и Сенечка рассеялся, забыл Асона с его подлыми речами. Тело распустилось, млеет в сладком отдыхе, да только душа не отходит. Закрылась наглухо, окостенела и никого теперь не впустит за тяжелые двери. Знает это Сенечка и радуется: сам себе хозяин.

Асон мирно ворчит. Он поймал на лице колючую козявку и не успел ее отбросить, как другая пулей врезалась в густую бороду. Он осторожно выдирает жучка из волос и разговаривает сам с собой:

— Ишь, нанесло ее. Глаз этак выхлестнет... Тварь господня тоже ведь... По ночам ей показано...

Назар с ним рядом нерешительно побрякивает. Не дослушал Панфила. Надо бы спросить — потом забудется, — а тут так все обернулось, что и разговаривать неловко. Обидно Назару. Он настроился на тихий, сладкий разговор, и вот пропало все. Но так хочется послушать правду, побывальщину. Панфил умеет рассказать. Назар вслушивается и ловит ухом легкий вздох Панфила. Тот сокрушенно молчит.

Назар тихонько спрашивает, будто самого себя:

— Дак, говоришь, на островах?

Панфил шевелится и отвечает не сразу:

— Сказывают так. Не знаю, сколь правильно.

В его голосе звучит обида.

— Ну, а как же, значит, прознали-то про это самое, про монастыри, там, и про веру?

— А уж так случилось... Люди видели.

— Вот скажи ж ты! Значит, удостоились?

И забыл Панфил обиду.

— Ты, поди, помнишь Малафея? — повернулся он к Назару. — На Малафеихе на речке?

— Ну, дак как же!

— Вот Малафеев-то родитель и угодил туда... Этак же, случилось, пошли старики. Много пошло. Малафеев-то родитель, Агафон, и отбился. Лошади пристали, што ли, только ушли всем табором, а он остался. Говорит: «Как справляюсь, догоню. Ступайте с богом»... Место каменное, гибельное место... Ушли, а он и не показывался больше. Сколь ни ждали — нету старика. Куда тут, где искать? Помянули душу православную, погоревали, да и только. А потом, уж много лет прошло, вдругорядь как двинулись — вышли на это море-озеро. Те же самые, значит, и вышли. Стали станом. Смотрят — к вечеру, как утихло погоды, едет к ним лодка, вся черная. Скоро так едет, а в лодке монахи, втроем сидят, и тоже в черном. Наши их встретили с почетом, на колени миром пали. Стали, значит, умолять, чтобы свезли к себе, а те и говорят: «Покажите нам книги». Ну, показали. «Нет, неправильные книги. Наши вот какие». Пошли и пошли им выкладывать. Одно слово, знающие люди. Покойник Данило Петрович с ними было в щеть пустился, да куда, брат. Замолчал, накрысили... Так ничего и не доспели. А уж как просили-то. В ногах валялись. По сто тысяч поклонов на голову брали. Нет! Неправильные книги. Не оскверним, говорят, святой обители. Нельзя. Нам, говорят, што. Нам не жалко места, сами рады, ежели кто придет, да лишь бы правильный. Вот, апрошлый год пришел старец Агафон, тот с правильными книгами. Ну, значит, наши, как есть Малафеев родитель. Живет, сказывают, бога славит, молится...

Панфил вздохнул.

— Крепкий был старик. Веру шибко держал.

— Ну, а те как? Монахи? — справился Назар.

— Уехали монахи.

Панфил помолчал и добавил:

— Совсем уехали.

Полянка затихла. Но Хрисанфа подтолкнул нечистый под руку:

— Не помстило им с монахами-то? А?

— Кого это ты? — кротко откликнулся Панфил.

— Да говорю, с монахами-то не помстило? С голодухи, может. Все причудится... А то и концы, поди, хоронили. Старик был денежный. Сказывают, полную сумину серебра китайского повез с собой. Укокали, поди.

Ничего не ответил Панфил.

Асон выждал минуту и, не слыша протестов, тяжело повернулся.

— Тьфу ты, богохульник! — плюнул он в сторону. — Прости меня, царица матушка небесная...

Никто не отозвался даже вздохом. Только в дальних кустах, на краю поляны, прорывался легкий шепот. Там лежали Ванюшка с Акулиной. Под тяжелым домотканым армяком верблюжьей шерсти они не чувствовали зябкой свежести. Акулина все не находила места, не могла устроиться. Сначала долго говорила с мужем. Потом не давали заснуть старики, а теперь нашла забота и тоска. О чем, по чем — она сама не знает. Наконец, устроилась, прижалась крепче к мужу, положила голову к нему на сильное плечо. А Иван поминутно засыпает. Говорить уже не может. Молча проведет ласкающей рукой по горячей спине, и остановится рука на полдороге, повиснет мертвой тяжестью.

— Никак, заснул опять? — с упреком шепчет Акулина.

— Мгы-ы... кого тебе? А?

— Да, говорю, не могут те уняться. Слышь, Асон с Бергалом позубатили.

— Подь они!.. Спи, ли чо ли! Возится и возится... Первый спень — он слаще... после не заснуть... Да ноги-то на улицу пошто суешь? Кака-нибудь нечисть привяжется. Давай их сюда. Вот так... Ну, спи.

Покорная под сильными руками, Акулина сладко съежилась, будто встала между ней и людьми высокая, неодолимая стена. Она уже привыкла к этому. Но тоска была с ней. От нее не спасали и стены.

Акулину никто не корил за Гараську. Бабы долго охали, шептались и плели свое несурзное, да мужики покончили. Не своей охотой добивалась, всякому жизнь дорога, и толковать тут нечего. А что погиб он, так не сегодня — завтра все равно сложил бы варнацкую голову. Ему — по пути.

Прежде чем обратиться, Панфил поставил Акулину на поклонны. Заказал ей сорок тысяч, да девка выбилась из сил, не могла на лошадь сесть, с лица и с тела спала. Старик смиловался, сбавил по дорожному делу. Разбитая, больная Акулина с упорством отбивала каждый день по сотне, и с каждым днем с души отваливался лишний камень. Когда закончила, душа опять воскресла. Расцвела Акулина, снова стала, как и прежде: телом крепкая, упругая, душой — веселая, живая, радостная. Искупила вину, заплатила за все. Но по ночам подкрадывалось что-то беспокойное, неясное, и девка металась в тоске, обдирая зубами высохшие губы. И не поймешь его, никак не расскажешь. То Гараська наступает — щерится, то опять падут на память деревенские. Больше всех почему-то — братишка Пахомик... Подбежит к окну с улицы, взберется по венцам и ляжет грудью на широкий подоконник.

— Нянька, а нянька. Обедать скоро?

— Погоди, не убрались.

— И-ись шибко манит, — сморщится Пахомик, но поскребет босыми загорелыми ногами по стене и отпадет, будто в яму провалится. Как за стол садиться — не найдешь.

Много путается в голове. Всего и не собрать, не вспомнить. Но к утру все пропадет. День в работе, в хлопотах, подумать некогда.

А тут еще совсем другое подступило, новое, страшное, близкое. Свое это. Свое и Ванюшкино. Третий день, как поняла его, почуяла сердцем. Тяжело одной-то, а сказать — не находится слов.

— Ты! Ванюшка!

— Агы-ы... кого там?

Акулина привстала, опустила на него горячей грудью, прилипла к самому лицу.

— Ваня!

Называла так редко, лишь в минуты близости.

Иван открыл глаза, насторожился. Утомленный вечерними ласками, он осилил усталость, и быстро проснулся.

— Ты чево не спишь-то? Рази холодно? Ложись вот так.

— Ваня!

— Ну?

— Боязно мне што-то.

— Плю-юнь.

— Другой месяц, однако, пошел... Привязалось видно...

— Чево это?

— Да так.

Иван понял без слов, вздрогнул, замер душой.

— Али што почуяла?

— Ага.

Она опрокинулась на спину и лежала, непокрытая по пояс, не чувствуя холода.

Иван приподнялся на локте, склонился над ней и гладил по лицу ладонью. Что было сказать и как сказать? Вдруг явился откуда-то стыд, совсем особенный, не уличный, и то, что раньше было будничным, простым, теперь стало выше давно знакомых слов и понятий.

Словно его чутко подслушивала ночь, Ванюшка наклонился еще ниже, подавляя шепот:

— Понесла?

Акулина не отозвалась, не шевельнулась. Он только видел черные провалы ее глаз и чувствовал — глядят они не по-дневному, не так, как на всех и всегда, а глядят самым дном. Иван обнял ее, тиснул крепко и прилип губами к голой шее...

Костер потух. По краю неба, в глубине долины, пала предрассветная серая занавесь, скрывая великую тайну — рождение нового яркого дня.

ХII

Уже целую неделю шли песками. Во всю ширь раскинулась пустыня, бесконечным морем уходя за горизонт. Лишь позади синеющей невысокой каймой колыхались в знойном мареве оставленные горы. На них оглядывались часто, но никто не говорил об этом, хоронился от других.

Пустыня встретила сурово. Сухая, знойная, величественно строгая в своем молчании, она ничего не сулила и ничем не радовала. Каждый знал, что здесь надежда — только на себя. Раз осмелился — иди вперед, иди, не останавливаясь, не сворачивая и не оглядываясь. Только смелый пройдет. Будет жечь тебя, будет голод томить, будет смертью пугать — все иди, все вперед.

Асон с Панфилом много говорили о прежних странствиях, и к ним прислушивались. И как было не верить, глядя на Панфила? Он опять был впереди, он знал, куда ведет.

Идти старались по ночам: боялись, что лошади не вынесут зноя. Они спали с тела как-то сразу. Сухой, колючий саксаул не мог им заменить душистых зеленых лугов, а воды встречалось так немного, и была она такая, что только мучительный голод и жажда заставляли пить ее сквозь зубы. На каждом дневном переходе попадались колодцы — с широким устьем небрежно разрытые ямы. Прежде чем достать воды, подолгу приходилось выгребать сырой песок, идти дырой все вглубь и вглубь, а потом часами ждать, пока насочится вода...

Ночь была свежая, лунная. Ехали сгрудившись, стараясь держаться плотнее. В родных горах не раз случалось в одиночку путаться ночами по глубоким падам и уремам, слышать треск под крепкою ногой косматого «хозяина», ночевать в покинутой избушке разоренного бродяги, сталкиваться носом к носу с темным человеком, но все это было родное, свое. Пустынные поля пугали мертвой мощью, нехорошей, жуткой пустотой. Лучше бы кручи безумные, чем эта, проклятая небом, застывшая навеки зыбь, давно покинутая всем живым.

При лунном свете серые пески лежали рябью, темными прерывистыми полосами. Чем дальше, тем меньше, короче и ниже становились полосы, сливаясь в ровное, безгранно-огромное поле.

С самого утра на душе беспокойно. Бергал отстал и не показывается. Случилось вечером: у колодца застали небольшой калмыцкий караван. Хрисанф соблазнился, на коней позарился. Стал торговать — не вышло: выдавал за них дешевле, чем за курицу. Обидно стало: вдруг орда и на тебе — артачится. Дальше — больше. Остальные поддерживали. Асон с Панфилом вспомнили былое, как насели, как вскинули ружья! Не дрогнула старая рука, наметанная на прицелах по калмыцким головам... Долго кружились и кричали калмыки, попусту разбрасывая стрелы, и не выдержали, побежали, побросавши все добро, оставив

пятерых убитыми. Сенечка действовал на славу, а как начали делить, Хрисанф обидел, отобрал вороного коня. Из-за этого коня Бергал и бился, только одного и видел, когда грех на душу принимал — уложил двух человек да побывал на третьем, а Хрисанф налился кровью, подскочил и выхватил из рук поводья.

— Где тебе! Не к рылу конь-то.

Сенечка осатанел, накинулся, да тот отшвырнул его, ногой притопнул и еще расхохотался.

— Как его забрало, парень!

Теперь Сенечка пропал. Когда пошли со стану, он остался. Думали, догонит, как бывало не раз, а теперь и не придумаешь, куда его закинуло.

— Нет, скажи, кого он там удумал? — снова вспомнил Назар, обращаясь к Асону.

Старик солидно помолчал, поправился в седле и нахлобучил глубже шапку.

— Надо так располагать, что обернулся... Без пути ему с нами.

Он не одобрял Хрисанфа, но и от Бергала с самого начала не ожидал хорошего.

— Лучше бы и не вязался. Миру не выносит, как поганый ладану, а сам все вяжется.

— Душа, парень, ищется, — вставил задремавший в седле Анисим, — жизнь-то шибко уж нескладная, собачья, прямо, так сказать, ну, оно и манит к людям.

— Ну, дак ты пошто все выкамуриваешь? — внушительно спрашивал Назар, будто обращаясь к Сенечке. — Слова гладкого не скажет, все с гвоздями, с заковыками. Покуль гладишь по шерсти — молчит, а поведи напротив — ерихорится.

— Да подавись он и конем-то! — отзывается Хрисанф. — Лошаденка так себе, запаренная, с виду только манит. Будь он с ней! Бери. Отдам...

Панфил придерживает лошадь.

— Всякому, Хрисанф, не за любо покажется. Всем известен Сенечкин обычай. Надо бы подальше.

— Да кому тут коня-то? Ну, скажи, кому отдать? Добро бы, путный был. Сесть путем не сядет, все с пенька таращится.

— Нет, ты шибко его не охайвай, — вступился Анисим, — с лошадьё он мастер.

— Мастер! Тоже выговорит... Да отдам, поди он к ляду.

Сам поддернул повод воронка и так сдавил его ногами, что лошадь захрапела, испугалась и шарахнула задом Василисину кобылу.

— Держи, ли чо ли! — взвизгнула баба, хватаясь руками за гриву. — Топчется и топчется...

— У-у ты, Азия! — рычит Хрисанф, еще сильнее забирая повод. — По обычаю видно... Только норовит, куда бы в сторону.

В хвосте, за отбитыми с баранты лошадьми, плетутся молодые.

— Жалко, слышь, Сенечку, — вздыхает Акулина.

Иван что-то думает и убежденно говорит:

— Не пропадет он.

Тяжелой поступью ныряют кони по холодным песчаным холмам. Идут, понуря головы, ленивым шагом. Животы подтянуло. Во рту высохло и горячо. По привычке, будто все еще не веря окружающему, наклоняют они головы и ищут пересохшими губами травы. Но губы прикасаются к холодной и мертвой земле.

Кони чувят что-то необычное, смутно-тревожное. Все идут в полусне и вдруг, словно по команде, высоко поднимают головы,

насторожатся, вслушаются, глубоко потянут в себя воздух. Тревога переходит к людям, но никому не хочется сказать об этом.

Перед светом отвоёванные кони стали беспокоиться. Потеряли и усталость. Бодро вскидывают головы, строчат ушами, озираются.

— Не Сенечку ли чуют? — высказал догадку Анисим.

— Бывает это, балуют, — успокоил Асон: — она животная степная, дикая. Взыграют вот, мотри.

Он, обернувшись, крикнул:

— Эй, бабы! Поддержись, кто на калмычках. Тетка Дарья! Ты, однако?

— Чо это?

— Да поддержи, мол. Кони урсят.

Дарья и сама заметила.

— Моя-то все ушами хлопает.

— Ну, вот то-то. Штоб тебя не схлопала.

Хрисанф долго вслушивался. Наконец, когда оживший воронко и еще другой калмык — буланый под Панфилом — звонко и надсадисто заржали, он не скрыл беспокойства.

— Што за притча? Тут, мотри, не Сенечкой попахивает.

— А кого тебе почудило? — пряча страх перед чем-то, засмеялся Назар.

— Да уж это, брат, так — свату сват поклон заказывает. — Он натянул поводья.

— Осади-ка малость. Эй, Панкратыч, придержи.

Все задержали лошадей и, тесно съехавшись, посмотрели на Хрисанфа.

— Землю вот послушать, — ответил он на общий молчаливый вопрос, слезая с лошади, — она не утаит, сейчас расскажет.

Остановившиеся лошади, как по команде, повернули головы, насторожили уши, и опять жеребцы залились, подбирая тощие брюха.

— Я боюсь, Ванюшка, — вздрагивала Акулина.

— погоди ты... помолчи.

Он сознавал, что, может быть, близко уже то, о чем так много говорили по деревням, чем беловодцы так гордились. Смутно чувствовал, что им, закинутым в пустыню, угрожает что-то и это что-то не от них и не с ними пришло, а наслала его пустыня. Боязни не было. Хотелось открыто и смело посмотреть в глаза тому, что надвигается из холодной, затянутой подлунным сумраком могильной дали. Он наклонился к передней луке и чутко слушал, вглядывался.

— Зря, поди, все? — усумнился Анисим. — Где-нибудь отбилась лошаденка, шарится.

Хрисанф, едва передвигая ноги по песку, отошел и растянулся на земле, прилип к ней ухом. Все затихли. Прошло, казалось, много времени. Хрисанф вскочил. Его засыпали.

— Ну, рассказывай!

— Слышно?

— Слышно, што ли?

Он ответил одним словом:

— Наступают.

И никто не нашелся ничего сказать.

— Коней, так, десятка три, не меньше... Подвигают ровным шагом.

— Да кто это? — выкрикнула перепуганная Василиса.

— Нас проводывать с деревни едут, — огрызнулся Хрисанф.

Панфил заторопил.

— Садись, садись! Поедем шибче. Ежли чо, так и уйти не хитрено.

— Куда уйдешь? — наплыл Хрисанф. — Куда уйдешь?..

— Куда тут? — согласился Асон.

Дарья заскулила:

— Вот не надо было по-людски, так бог послал... Отольется за разбой-то...

— Помолчи ты! — строго и испуганно крикнул Назар.

— А помолчи-ка сам! Вот посмотрю, как завертишься. Ну, што теперь? Куды тут?.. Матушка царица, богородица!..

— Ой-ой-ой! Да што это, скажи, нам навязалось... — сквозь слезы вздыхала Василиса.

— Бабам в кучу и молчать! — властно зыкнул Хрисанф.

Не слушая жалоб и стонов, он окинул взглядом всадников и, сознавая силу, стал громко приказывать:

— Коням смену! Пересядь на заводных! Полы за пояс! Стремена огляди, узду! Подбери чумбуры! Сумины сделай на отлет — как ежли уходить, так чтобы сбросить сразу. Да зря не бросай. Без харчей пропадешь. Стреляй не сразу — надвое. Покуль трое заряжают — трое отбивайся. Цель в упор! Сади на муху! Пистон обмени. Подсыпь на полку!..

Небо на востоке задымилось серой мутью. Звезды потеряли яркие иглы-лучи: подходит утро. Стан, готовый к бою, ровным шагом, бесшумно плывет по пескам. Разговоров не слышно. Лица строги и спокойны. Но старики и молодые поминутно смотрят, вслушиваются в белесую глухую муть. Теперь уже ясно, что их обходят, окружают.

— И завсегда вот так, — бросает спокойно Хрисанф, — заездом норовят, собаки.

Круг понемногу суживался; скоро видно стало всадников. Они двигались редкими звеньями, все приближаясь, все затягивая так хорошо закинутую петлю.

И когда неумогу стало терпеть, когда цепь, казалось, захлестнула вокруг горла, Хрисанф не выдержал. Высоко привставши на стременах, он страшно крикнул что-то непонятное, бросил дерзкий, требующий вызов. Кругом вздрогнули. А лошади нетерпеливо перекликнулись и зашагали нервной поступью.

В цепи, будто выждавши должное, где-то справа, звонко крикнули, и не успели мужики взять на прицел, как в воздухе взвыли грузными шмелями длинные, тонкие стрелы. Дарья взвизгнула, взревела и тяжело упала на бок. Под Асоном взбеленился рыжий: вдруг осел, поднялся на дыбы, лягнул кого-то задом и, взбешенный, ринулся от круга, унося в своей шее стрелу.

— Держи Асон! Держи! — кричал Панфил, прицеливаясь влево.

Грянули гулкие выстрелы. Но снова прогудели ядовитые шмели, впиваясь в сгрудившихся лошадей, и, словно по сигналу, цепь с визгом и криком захлестнула окруженных. Мужики в упор ударили огнем из широкогорлых и длинных стволов, без прицела, по намету. Тяжелыми черными комьями грохнулись двое в песок, но остальные стиснули, в мгновение смяли баб и мужиков, насели с диким ревом, потрясая копиями.

Хрисанф увидел, как Панфил с плеча хлестнул нагайкой подскочившего к нему калмыка и вдруг словно осел, потерялся с коня, а над ним уже суетливо топтались с победными кликами двое. Где он? Как с ним?

— Ну, Панфил, не сдай же! Ну, не сдай, Панфил! — закричал Хрисанф, да так, что справа шарахнулась чья-то брошенная лошадь. — Держись! Крути его!.. Прочь, собаки! Размож-ж-у!

Он ударил коня в ребра и, держа ружье за ствол, взмахнул им, как дубиной. Кто-то дико вскрикнул, что-то хрястнуло под кованым прикладом. Лошадь, скаля зубы, взвилась на дыбы и грудью врезалась в свалку. На песке, ворочаясь, пыхтел Панфил.

Не сдержал, видно, старый двух крепких молодых волков. Хрисанф резко опустил приклад и под ним в предсмертной судороге закрутилось что-то грузное, живое. Новый взмах — и Панфил уже был наверху, доканчивая дело своим верным ножом. Он работал молча, и Хрисанфа радовало, что старик так ловко и проворно управляется с насевшими.

— Вали, Панфил! Вали! У-ух ты! Ого-го!

Он тигром рыкнул, круто повернул коня и совсем приготовился обрушиться туда, где с визгом и ревом крутился живой черный клубок, как страшный удар по затылку черным колпаком накрыл все окружающее. Шапка свалилась. Снопом ослепительных искр, как освещенная полуночной молнией, вспыхнула в глазах пустыня. Но свет погас, как и вспыхнул, мгновенно. Хрисанф зашатался и уже готов был опрокинуться с седла, как на горло легла петля. Едва держась на прыгающей лошади, он полусознательно приподнял руки и поймал у горла что-то крепкое, упругое. Побеждая угасающую память, чуть открыл глаза... Бергал!.. Или смерть в его образе? Напряг все силы, разом сбросил с себя черный и душный колпак, оторвался от петли. Нет, нет! Это Бергал! Это Сенечка! Лезет вместе с лошадей, будто переехать хочет, злобно и страшно шипит. Вот выдернул нож!.. И загорелся Хрисанф, пожаром вспыхнул, бросился на Сенечку голодным волком, перевернул его через седло, грузно рухнул вместе с ним, подмял, ударил головой о землю, стиснул крепкими руками глотку... Бергал, умирая, хрипел, а над ним хрипел Хрисанф:

— Христопродавец! Собачье подхвостье! Вот куда! Так вот-те! Вот-те! Сволочь!

Раненая лошадь, потерявшая седока, наткнулась на Хрисанфа, перепрыгнула, хлестнула его задом по спине.

Хрисанф отпал от Сенечки, опомнился. Но чуть привстал, как на него наплыли толпой те, куда он только что так рвался. Баб скрутили, волокут и отбиваются от мужиков. Пыхтят и гайкают. А Ванюшка с Анисимом работают по головам. Но вот обломился Анисим — не остерегся заднего.

Хрисанф вскочил.

— Не сдай! Иван, не сдай!

Как пудовые молоты, опустил он жилистые кулаки, — и погнулись, захрустели кости. От баб разом отступили. Ванюшка поймал Акулину и не знает, куда деться: помутился разум, растерял всю силу.

На Хрисанфа навалились трое, но над ними гаркнул кто-то пронзительным и властным криком, ему отозвались во всех концах, и шайка хлынула в пустыню...

Все пропало. Словно ничего и не было. Будто ураган пронесся. Налетел безумный, беспощадный, закрутил и разбил, и ушел, свободный, к граням неизведанной пустыни, унося с собой надежды.

ХІІІ

Солнце поднималось над землей багровым шаром. И побледневшая перед его лицом лазурь, и до земли пронизанный лучами-стрелами сухой недвижимый воздух, и пески, подернутые мертвой рябью, — все было залито жарким золотом. Но не жизнь к радость, не смех и песни были в знойном молчании — то было великое молчание смерти. Она была близко, была разлита всюду и, спокойная, открыто смотрела беловодцам в глаза. К ней подошли вплотную.

Могилы Сенечки, Асона и Анисима почти не выделялись из песчаных холмов. Назар с Панфилом молча мастерили крестики из завезенных веток саксаула, перевязывая их суровой пряжей.

Ветки, сухие и корявые, плохо прилегали, и так они были изогнуты, что только страстное желание подсказывало, что у того и у другого получились не перепутанные диким ветром пучки высохшей травы, а надгробные кресты.

Отпевали покойных по полному чину, хотя гробов и не было. Панфил служил истово, спокойно и торжественно. Теперь, соорудивши крестики, опять молились и вздыхали. Василиса обезумела, лежит пластом и не шелохнется. Глаза открыты. Дышит и не дышит. Помутнело небо. Потерялось солнце. Все ушло куда-то, сдвинулось в тусклые дали. Что случилось? Где она?

— Все теперь ладно, — нарушил тяжкое молчание Панфил, оглядывая бугорки с корявыми крестами.

Василиса вдруг метнулась орлицей, грудью упала на могилу мужа.

Она не могла уже плакать, не могла причитывать. Отдала все слезы серому песку, а слова разбросала по ветру. Она стоном вылиwała свою смертную боль и, упавши лицом в землю, скребла ее пальцами, будто умоляла бесстрастный песок разверзнуться и отдать ей Анисима.

Дарья скорбно наклонилась над ней и положила руку на плечо, но ничего не посмела сказать: пусть до конца изольется, пусть выплачет горе.

Все сидели молчаливые, тяжелые. А солнце крыло раскаленным одеялом, и под ним становилось так душно, что хотелось уйти в землю и от света, и от зноя, и от этих могил. Велико было горе, но некогда было ему отдаваться. Между мертвецами и живыми вставала бездна, и чем выше поднималось солнце, тем чернее и глубже становилась пропасть, тем дальше и дальше уходили ее берега. Предстояло сделать выбор —

перешагнуть через могилы и дерзнуть идти в пустыню или возвратиться к граням жизни.

Лошадей угнали. Уцелела Василисина рыжуха, но и та была исколота, изрублена. Воды и харчей оставалось так немного, что только дня четыре — пять можно было на них продержаться. Все пропало вместе с лошадьми.

Хрисанф долго смотрел на песок и тяжело о чем-то думал, потом прошел глазами по всем лицам и остановился на Панфиле.

— Ну, Панкратыч, рассказывай, как поменяешься?

Голос был тихий и покорный. Панфил кротким, но открытым и решительным взглядом посмотрел кругом.

— Миром надо.

— Миром — это правильно. Вот и рассказывай. Тебе начало класть.

— Говори, Панфил, — расклонился Назар, сдвигая на затылок кошомную шляпу.

— Говорить надо немного. Слова человеческие, что песок в пустыне: больше говоришь — глубже истину хоронишь.

Он помолчал, поправляя разбитую руку, оглянулся, сдвинул брови, будто клал на весы последнюю, самую малую гирьку, и заговорил тем учительским тоном, к которому привык в моленной.

— Господь нас, братия, настиг... не калмыки — господь! Великое нам испытание поставил. Так-то, разом, без искусу — где же! Пошел — и сразу все тебе открылось... Будто бы на пасеку приехал. Нет, ты огнем опали свою грешную душу, источи из сердца кровь, претерпи до конца... до конца претерпи!

Панфил возвысил голос.

— Без того нельзя помыслить! Страсти нам господь послал, большие страсти! А оно все к лучшему. К лучшему, братия! Великое горе ниспослано. Душа-то пала, страхом убило ее. А это

господь нам милости послал. Допустил, зная, до горна небесного, чтобы горем да слезами выжгли все поганое. Доброе это знаменье!

Хрисанф нетерпеливо кашлянул и, глядя в упор на Панфила, спросил громко:

— Значит, дальше пошли?

Панфил вздохнул.

— Назад-то некуда.

Хрисанф долго молчал, рассматривая каждую морщинку, каждый белый волосок на лице старика.

— А эти как? — показал он на баб. — Как ты с ними?

Назар совсем собрался сказать что-то свое, накипевшее, но Иван перебил:

— Кого там разговаривать! — выкрикнул он, вскакивая на ноги. — Не пойдем никуда! Покуль целы остались... куда еще? Дай бог выбраться!.. Баба у меня на сносях ходит. Не пойду!

Акулина испуганно поглядела на Хрисанфа, а тот насупил брови.

— Молодой, да шершавый! Помолчал бы, стариков послушал!

— Не пойду!

— Но, уймись, ли чо ли! — пригрозил Назар, вставая на колени.

— Ты, Панфил Панкратыч, разбери теперь вот што! — волновался он, стараясь высказать набежавшие мысли. — Коней-то нету, харчей-то — вот оно все тут, а пески — конца им не видать. На смерть пойдем мы, Панкратыч. Наказание, может, и вправду нам на милость, а только без харчей не пойдешь. Ну, куда без харчей?

Замолчал и, обтирая ладонью мокрый лоб, взволнованно перебежал глазами по всем лицам. Ему казалось, что и слов не

сыщешь сказать убедительней. Ведь так это просто, так понятно: нет харчей — нельзя идти.

Панфил, ни на кого не глядя, сказал тихо-тихо, будто самому себе:

— Близо тут.

Хрисанф прищурился.

— Докуда тут близо?

Но Панфил не ответил.

— Вот чево, Панкратыч!

— Сказывай!

— Не допустил господь, наперекор идти нам не с руки. Вот оборотимся, да сызнова.

Панфил тяжело пересел с ноги на ногу.

— Куда я? Мне не обернуться. Я с обетом.

Хрисанф начинал закипать.

— Обитель ты все... Где она? Кому указана? Надо до угодьев пробраться... Оттоль и к обители можно...

— Нет уж, пойду, — спокойно отозвался Панфил.

Хрисанф насупился. Не мог он, сильный и кипучий, выносить его голоса, такого кроткого и тихого, но всегда спокойного, решительного.

— Так ты што тут? А? Хоронить всех хочешь? Разом штобы?

— Не кричи, Хрисанф Матвеевич, — невозмутимо посмотрел ему в глаза Панфил.

— Хоронить всех? Не пойдем! Вот до вечера только, а потом одно нам — назад подаваться. Назад! Доскребемся до гор — значит, живы. Умирать не захочешь — дойдешь...

Дарья всхлипнула, взвыла:

— Выведи ты нас, батюшка! — Она обернулась к Хрисанфу и упала головой ему в колени. — Выведи, Хрисанф Матвеевич! По

гроб, по конец своей жизни буду бога молить... Пропадем мы тут... Разнесет, развеет наши косточки.

Хрисанф не слушал.

— По мне — этак, а там как кому приглянется. К вечеру складаться...

Назар скорбно крутил головой.

— Ой да, и скажи, стряслось же! Вот напасть! А все Сенечка! Увязался, слышь, на грех да на свою погибель. Ведь это что, скажи, выкинул! С ордой спознался! А?

— Собака драноглазая! — скрипнул зубами Хрисанф.

Он взглянул на могилу Бергала, вскочил, вырвал крестик, изломал и бросил.

— Крест! Куда ему с крестом? К сатане без креста хорошо... Кол ему осиновый!

Панфил в ужасе встал и, вихляясь на тонких ногах, растопырив руки, бросился к Хрисанфу.

— Што ты, што ты! Богородица с тобой! Покойный он!

— Сенечка?! — дерзким хохотом захохотал Хрисанф.

Старик, как стоял, уронил свои руки, ничего не мог сказать и сел.

— Отвернулись! Уходят! Потерял былую силу. Ни словом, ни голосом их не вернешь. Хрисанф теперь им сила. За Хрисанфом пойдут. Не отстать им от мира.

Он не слышал голосов за спиной и не видел, как прошел мимо Хрисанф. Голову теснили тяжелые мысли, немощное тело побеждало дух. Перед Панфилом поплыли в волшебном мареве родные горы, развернулись темные луга, налитые влагой, напахнуло терпким ароматом большетравья, и живой перед ним стояла грязная деревня со знакомыми домами, с моленной и гурьбой ребятишек на улице. Спокойно там, сытно... Все опять будет свое, родное. Примут с радостью. Будут долго охать и

расспрашивать, а там пойдет по-старому.. Пасека брошена. Угодье-то какое! Лесу, лесу! А воды! И бежит она с кручей, будто песни поет. Не замолчит ни днем, ни ночью. И цветов, и трав там всяких! Красота господня! Утром встанешь вместе с солнышком, и нет тебе ни суеты и ни печали. На слезу позывает, как посмотришь. Молится каждая травушка, стоит тихохонько, а молится. И лес, и горы, и букашка всякая, и солнышко — все смеется ангельской улыбкой... День-деньской — по колодкам, а устали нету. От пчелы отстать не хочется...

Панфил сидел, склонивши голову в колени. Акулина, сама разбитая, пришибленная, не могла оторваться от Панфила. Она издали следила за ним и жалела его женской теплой жалостью.

— Один! Куда он? Да и как с ним? Умирать он собрался уж, што ли? На день, на два хватит, а там сгинет... Может быть, и передумает? До вечера-то долго. Ой, дождаться бы только! Нету силушки сидеть среди огня.

Солнце будто и не движется, остановилось в небе. Акулина, спасаясь от жгучего света, прилегла на сумы и наглухо закрылась шалью. Господи! Да неужели же не выйти! Не пожить в деревне по-людски, не походить за домом! Да ведь она бы избу-то держала, как игрушечку!.. Ванюшка хочет на полянке выставить, за Иваном Елисеичем, над самой речкой. А на речку — балкон... расписной... Хозяйство сладить помаленьку. Все бы к месту, все в порядке. Мимо дому добры люди не прошли бы. Жить да радоваться... И вдруг вспомнила... Ребенок! Замерла душа в тоске и сладком трепете.словно с жару студеной водой по спине окатило. Промелькнуло то, как сказал Ванюшка: «Баба у меня на сносях ходит». И казалось, что это правда, что должно оно случиться скоро, что уже близко это страшное, великое, таинственное. Нет, скорее, скорее! На деревню, к людям, в свою избу!..

Акулина в смятении откинула шаль. Солнце обожгло и ослепило ее, а в его сиянии стоял Панфил. Стоял без шапки, опустивши руки. Но это уже был не тот Панфил, что сидел на песке беспомощный и немощный — сухое, длинное лицо его горело волей. Он стоял без движений, без слов, но по глазам, по каждой тонко вырезанной складке на лице все видели, что он решился, что он останется один, и никакие силы не вернут его.

XIV

Вторые сутки были на исходе, как Панфил все шел и шел. Море-озеро святое было близко. Когда солнце накаляло и песок, и воздух, в дальнем мареве вставали тенистые рощи, и тогда Панфил с новой верой, с новой силой смотрел в сияющее небо. Ему ночью было чудное видение, и он знал теперь дорогу. В котомке у него лежала старая из старых книг — благословение родителя, и с этой книгой, верил он, его пропустят. Книга правильная.

Плечи давит длинное, тяжелое ружье, горячим камнем налегла на голову пуховая шапка, ноги тонут, обрываются, скользят в песке, во рту давно уж сухо, глотку обжигает с каждым вздохом, по губам сочится кровь, а в глазах нехорошо — темно и мутно! Но сквозь темь и муть опять маячат острова и рощи. Близко, близко! Только бы до берега! Припасть к воде...

Но спустилось солнце с неба — и пропали дивные леса...

Был третий полдень. И все также, без границ и без жизни, расстилалась желтая пустыня. Панфил, маленький, сгорбленный, переползал с холма на холм, и высокое солнце видело лишь черную фигурку, в безумстве борющуюся с пустыней, да воробыный дробный след в волнах песка.

Все медленней и медленней ползет безумец, и вот-вот затихнет, остановится, и оборвется след.

Панфил уже минутами не сознавал, идет ли он или стоит. Ему было все равно. В глазах потемнело. Леса ушли. И возропала душа. Он давно уже бросил и ружье, и кафтан, идет теперь, делая последние шаги, чтобы пасть и не встать.

Совсем один! Ушли! Теперь подходят к первому колодцу. Жалость и боль за себя вызвали откуда-то последние соленые слезинки... Вспомнилось, как расставались.

Акулина подошла украдкой.

— Дедушка, пойдем, ли чо ли... пропадешь тут. Где тебе?.. После... потом сходишь опять...

Сама плачет и хоронится, чтоб не заметили.

До слез это тронуло. Не баба — золото. Сердце голубиное. Благословил ее горячей старческой молитвой:

— Награди тебя господи за доброту твою, за ласку...

Будто с покойным прощались, искушали сатанинскими речами... Хрисанф не выдержал. Пойми его! Все бегал, рыкал, а как простились да ушли — вернулся. Далеконько были — прибежал.

— Ну, Панкратыч, поднимайся. Будет! Ждут там. Без тебя не пойдем...

Уж не дьявол ли в образе Хрисанфа? Сомустить хотел. Да не дался ему. Заклятием великим отпугнул... Ушел ярый, с богохульными словами...

И опять щемит сердце, да не осталось слез, все высохло.

«Захотели бы, так на руках, силком подняли... Лишний, верно»...

Мысли путались и обрывались.

Вот опять! Опять видно! Панфил уже не верил и остановился, пораженный и испуганный: «Дьявольское наваждение! Ничего там нету. Дьявол путает, глумится».

Но за ближним длинным гребнем встали темною каймой живые, настоящие леса. Нет, вот они, вот! А озеро! Видно, как над ним повисли, опрокинувшись вершинами, высокие деревья. Вот когда оно открылось! Верно, только так и можно подойти к нему... Вздрогнул! Не выдержал! Чуть не погиб под самым берегом!

Панфил, спотыкаясь, добрел до холма и обессилел. Подломились ноги, в голове потемнело. Последние силы убивал он, чтобы передвинуться вверх, и полз на острых, высохших коленках, цепляясь пальцами за землю, будто сзади была пропасть!

Вот скоро, вот близко!

Выбрался на гребень... Страшно посмотреть... Глаза не открываются... Каждая жила струной натянулась, и поднялся он, словно вырос из холма, во весь свой рост, в разорванной серой рубахе, обтянутый по тонким и длинным костям задубевшей темной кожей... Открыл глаза, всмотрелся...

Вплоть до светлых краев неба был песок... песок... песок.

И так же, как вырос, ушел он в холм. Пал на землю и затих.

Но, верно, того только и ждало море-озеро святое. Подступило оно к самому холму и открылось Панфилу в красоте своей великой — с островами, скитами и храмами. Ликующим, радостным звоном зазвенели невидимые, по лесам и под водой, колокола.

Подошла к холму лодка.

Панфил, ясный и спокойный, поплыл к тихой обители.



Шишков Вс.

Алые сугробы
рассказ

Есть на свете такая диковинная страна, называется она — Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где-то. Сквозь надо пройти степи, горы, вековую тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница сама собою круглый год растет — ни пахать, ни сеять, — яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся — бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна — диковинная.

Молола бабка Афимья — безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал: «Беловодье под индийским царем живет».

Врет бабка Афимья, врет солдат: Беловодье — ничье, Беловодье — божье.

I

Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличью не схожи.

Афоня — мужик как мужик, обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же — угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан — черту брат: повстречается медведь-стервятник — хватить ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.

И этих-то разных по виду людей судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги — «иди!».

Дело случилось так.

— Ну, так вот, с богом, ребята, со Христом, — сказало все согласие села Недокрытова. — Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте: крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны. А земля наша — сквозь песок. А дождей который год нету, сами знаете... Чистая смерть, господи помилуй...

— Еще вот что, ребята, — сказал староста Нефед, ласково посматривая на Афоню со Степаном из-под широкополой жеваной шляпы. — Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо... переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками да малину с медом кушайте. Ей-бо!

Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и — в дорогу.

Степан еще раз попросил мужиков:

— Не забывайте баб-то наших. В случае чего так...

— С богом! Езжай без сумленья. Сказано — поможем.

Их жены разливались слезами, выли ребятишки.

Мать Афони, сморщенная, маленькая, прятко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.

— Буди благословение мое... буди благословение...

— Не плачь, мамушка, брось... Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу.

Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок — и всадников не стало.

II

Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли — вот так река! До чугулки добрались — как пошли отмахивать да как пошли крутить, Урал — вот так это горы! А там и Сибирь — плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речичка — Обь... А за речичей опять горы начались, не горы, а горищи — сам Алтай! Господи помилуй, господи помилуй, этакие чудеса на свете есть.

— Куда же это ваш путь принадлежит? — спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк-чалдон.

— Правильную землю ищем, Беловодье, — робким Афоня ответил голосом.

— Беловодье? — переспросил сибиряк и насмешливо присвистнул, нахлобучивая картуз на брови. — Это сказки. Старухи на печи рассказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда... Езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут — куда. Много вашего брата, самоходов, в тот край прет.

Долго ли, коротко ли ехали — горы, речки, луга, калмыки — и всех встречных спрашивали:

— А скоро ль Возгудай-то?

— Какой Возгудай?

— А этот самый... как его...

Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке поутру. А ночью в густо-синем небе — звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.

— Степан, господи Сусе... Степан? Глянь-кось, глянь-кось.

Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.

— Степан!

Но всему бывает свой черед: за рекой Урсул засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгудае их снова опажули холодом.

— Где это видано, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх вы, лапотоны! Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Расея-матушка!

Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:

— Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.

— Так и толкуй, — сказали сибиряки-чалдоны. — Добрую землю мы вам покажем. Это надо за Кемчик идти, в Урянхайский край.

— Чей же это край? — спросил Степан.

— Не то китайский, не то наш. Попросту сказать — ничей.

— Слава те Христу, — перекрестился Афоня. — Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!

Прожили в Онгудае путники целую неделю. От Онгудая через горы, рассказывают, суток шесть пути; они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.

Хозяйственный Степан суров, смекалист, быстр. Афоня же так... все про пустяковину: а красива ли дорога? а какого, мол, цвета горы? а какие распевают там птицы, громко ли грохочет гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом, — рассказывала, мол, бабушка Афимья.

Только на прощанье по-серьезному проговорил Афоня:

— Ну, а ежели заблудимся да погибать начнем?

Ему ответили:

— Тогда — аминь. Кругом безлюдье.

— Ни-ичего, — бодро протянул Степан. — Несчастья бояться — счастья не видать.

Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть — и нет его. Степан как гикнет: «Айда!» — как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь — солнце опять над сопкой, снова светлый день.

Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.

Остановились на ночлег в горах.

— Вот так это горы! — радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.

— Настоящих-то гор еще и не нюхали, — возразил провожающий Иннокентий. — Что буде завтра.

Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня — и все внутри его заплясало: весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей: ближние — в ярко-зеленой щетине леса, на ободранных боках кровавые подтеки; а там — черные ребра обнажились, там — осыпь серых камней — курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор, — было синим-сине. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.

Все они вздымались серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.

А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и... что это там впереди блестит — больно глазами глядеть?

— Снег! — вскричал Афоня. — Гляди-ка, Степан, снег!

— Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так, — внушительно сказал Иннокентий. — По-нашему называется — белки.

Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.

— Через эти снега вам придется идти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, — эвот, эвот чернеет?..

Иннокентий толковал им целый час, все обсказал подробно, куда идти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну прямо отпечатал.

— Самое трудное вам — до белков добраться, — сказал сибиряк. — Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.

— До этих белков мы, поди, завтра же и доползем, чего тут, — проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. — Рукой подать.

Сибиряк с презрением посмотрел на него, — он видел в нем человека никудышного, — сказал:

— Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.

— Да ты сдурел! — крикнул Афоня.

Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.

— Нет, паря, не докинешь.

Афоня стал сибиряка просить:

— Иннокентий, проводи нас, чего тебе.

Тот сверкнул глазами, как ожег:

— Каждого провожать — подохнешь. Поди, хозяйство у меня. Эт ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!

Степан сурово тряхнул головой.

— Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.

Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня — в разных переделках бывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.

III

К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда идти: вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и — шабаш. Громады каменных хребтов, клоч неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козявки еле движутся вниз. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза? Зачем? Орлу — простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!

А в глубокой котловине сырой, обманный сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.

Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.

— Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.

Степан только улыбнулся.

— Настоящий ты Афоня.

Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.

— Он ви-ди-ит, — улыбнулся и Афоня, подморгнул парящему в выси орлу.

Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрим конем своим одно. Он внимательным взглядом шупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож. За широкими плечами — наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст.

Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплеывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо — ахнула душа Афони: все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше.

И кричит Афоня:

— Степан! Степан! Чего это?

Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки, плавно поворачивают в сторону и манят за собой куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь, и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметающимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не

коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают.

Водопад кропил всадников золотой, в блесках солнца, пылью; их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и, казалось Афоне, тряслась земля.

— Степан, голубчик! — что есть силы заорал он. — Вот так чудо!

Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.

— Ой, ты, чудо-то какое, — бормотал он. — Вот так диво!

Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне, он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.

— Ой, смерть! Ой, поедem скорей, господи! — карабкался он на коня.

И долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки; грохот глуше, глуше, и, когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.

IV

Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хропать. Степан встревожился. Афоне нипочем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивая руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадалась на пути, а главное,

чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.

Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях курума.

Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая — человеку враг.

— Ну, Афоня, теперича держись.

— Держусь.

Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.

Солнце в горах садится рано: горный дух Алтая любит прохладу, одиночество и мрак.

Солнце садилось. Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела речонка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман.

— Степан, чего-то боюсь я.

Путники были на большой высоте.

— Гляди мне в спину, не гляди вниз, — не поворачивая головы, проговорил Степан.

Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб — вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.

Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше — кони шли вольготно; то она суживалась до аршина: тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афони обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли в наклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка — сиди, не шелохнись, не мешай коню; всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали; напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.

— Повернем назад, — слезно взмолил Афоня.

— Дурак, — ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен. — Как же назад, ежели коню не оборотиться?

Афоня понял, что обратно повернуть нельзя.

Кони всхрапывали все чаще, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже začínалась ночь.

Афоня боялся глянуть вниз, но круча под ногами с правой стороны тянула неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ощупывал глазами широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало: взгляни вниз! — и не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу: то напозлали на речку туманы. И еще он видел, не глазами, а чем-то другим — видел такое, что...

— Ой, Степан, я слезу... Я пешком пойду.

Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы?

Конь его идет ощупью, дрожит, прядет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покатился вниз, задняя нога коня скользнула. Степан ахнул и враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею. Коню передался ужас всадника, он всхрапнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Охваченное мраком пространство как бы исчезло: стало совсем темно. А сзади молил Афоня:

— Степан, голубчик! Погибель наша.

— Стой, дождидай! В потемках куда, — дрожащим голосом проговорил Степан.

Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову: ухнешь с конем в пропасть.

Впервые в жизни Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт, отвага, сила — ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень — конь вздрогнет, неверный шаг и — смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его. Но как же быть? Дождаться до утра в седле? Задремлешь. Слезть с коня? Опасно: тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва умещаются на ней. Степан терял присутствие духа.

Он уже ничего не мог различить перед собою: горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам, черные, немые. Обложенное облаками небо мрачно. Слева едва серела скала, в холодный гранит которой упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно, она вся без остатка увязала в этой тьме, выхода не было, и Степан, зло сопя, скрипел зубами:

— Будь оно проклято, это дьявольское Беловодье.

И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или

нет. Мрак убил его, он как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь переставала дышать, мысль пресеклась, он — мертвец.

«Фу ты, леший... Неужто смерть?» — вдруг вздрагивала вся его душа.

Степана бросало в мгновенный жар, волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто: ни земли, ни неба, одна тьма, и что он среди этой тьмы подвешен на гнилой веревке, в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает, еще минута — и веревка лопнет: враз засвистит в ушах ветер, обомрет дух, а тело будет падать, падать, падать — хрясь!

— Ох, ты...

Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Это ревет горный козел. На душе стало легче — не умер, жив.

Афоня хныкал, бормотал:

— Экие страсти, батюшки мои... Голова чего-то у меня кружится.

— Ну?..

— Тово гляди сорвусь.

— Держись. А то костей не соберешь.

— Пресвятая ты моя богородица... Заступница...

Вдруг облака стали серебриться.

— Никак месяц, — радостно сказал Степан.

Из-за хребтов взнялась луна, облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места, внизу засверкала серебристым шнуром речка, из мрачных провалищ плыл туман.

— Батюшка Степан... Сорвусь!

— Завяжи глаза.

— Страшно шевельнуться.

Степана покорило. Он чувствовал, что Афоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед.

— Поезжай полегоньку. Ежели страшно — зашурься! — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади цокают о камень копыта.

Тропа быстро пошла книзу, стала шире, от сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха: рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различал над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней.

«Слава богу, выбираемся», — облегченно вздохнул он.

Но вот его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку.

Еще прыжок — Степану больно стукнуло ружье о спину.

— Эй, держись! — закричал он Афоне.

Но в этот миг что-то загрохотало сзади. Степан круто обернулся, обмер: лошадь Афони сплеховала — всхрапывая и цепляясь передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть.

— Афоня! Афоня!

Еще мгновение — и, высекая копытами искры, лошадь со ржанием покатилась вниз.

— Афоня!! — чужой, отчаянный крик вылетел из груди Степана. Он соскочил с коня и бросился к краю пропасти. — Афоня, где ты? Эй!

Лунный сумрак молчал. Только разрывало сердце смертельное лошадиное ржанье внизу, сменявшееся тяжким кряхтением и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытом о камни.

— Степан, умираю... Степан... — слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме.

Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз. Он не думал об опасности, его кто-то вел, указывал, куда ступить, он сделался легким, бездумным, странным, ноги враз прозрели, руки к скале — магнит к железу, крылья опасности поддерживали его над бездной, страх вел книзу бесстрашным для души путем.

— Помоги... Ради Христа.

Степан склонился над Афоней. Тот завяз в расселине скалы. Степан догадался: на том проклятом месте Афоня не усидел, упал и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня.

— Руки, ноги целы? — спросил Степан, ощупывая стравшегося приподняться товарища.

— Кажись, целы... Ведь я не высоко летел, сажени с две... Бок зашиб, голову.

— Сиди. Дожидай...

Степан, так же по-кошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади.

Он не знал, долго ли и как спускался, — он был не свой, не здешний, он спустился в пропасть, широко открыл глаза. И содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломленного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она ржала мучительно, с смертельной тоской, била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться. Но

крепкое острое все глубже уходило в распоротый живот. Рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно моталась во все стороны. Степан с маху ссек топором лесину, лошадь стала на все четыре ноги — и зашаталась. Степан потянул из живота ствол — вместе с хлынувшей кровью вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи; задние ноги ее отказывались служить, подгибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел. Лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею.

— Миленькая моя... Лошадушка... Детишка моя, лошадушка... Лошадушка!

Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно.

— Миленькая, лошадушка.

Степан глухо крикнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо.

Глухо, перекидисто загрохотал в горах выстрел, долго перебрасывался от горы к горе, и последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.

V

Теперь приятели плелись пешком, Степанов конь тащил на себе весь груз. Торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочное Беловодье не подавало о себе никакого голоса. Путники приуныли. Афоня шел с обмотанной головой, припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь и за свое спасенье. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве, от самоцветных гор веяло теплым, смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк

в глазах Афони, бледное, постное лицо его сосредоточенно, все думы его там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржания. Он не видел солнца, не замечал росистых трав кругом.

— Хоть бы черт повстречался, — буркнул Степан.

— Что ты такое слово вымолвил! — ответил Афоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана.

Степан сказал укорчиво:

— У тебя ведь душа коротка. Ты все над землей привык порхать, по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не... Я знаю, о чем ты думаешь... Вот уж тебя богородица или ангел божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам. Натё, кушайте, Афанасий Митрич. Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?

— Вовсе даже не об этом я думаю, — печально молвил Афоня и, помолчав, спросил: — Степан, отчего Чалка так ржала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.

— Ничего не ржала. Тебе погрезилось... Сразу насмерть зашиблась.

— Пошто ты выстрел дал? Пристрелил?

— Ничего не пристрелил. Козла увидал, да промазал.

Афоня вздохнул, испытующе посматривал в притихшие глаза друга.

Обедали у ручья, в тени густого кедра. Степан набрал грибов, хлебково было вкусное. Афоня повеселел, взор вновь окрылился сказкой, мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его:

— По расчету, вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся. Поколеешь тут.

— В Беловодье отдохнем.

— Плохой ты товарищ. Беловодье... Кажись, сказано тебе ясно, что Беловодья на свете нет! — отрубил Степан.

— Куда же оно девалось? Есть. Мне видение было, сон. Вот уснем в беде, а проснемся у молочных рек.

Степан насупил брови и махнул рукой.

Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден, неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь.

Вдруг на повороте внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь.

Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. «Ну, теперь доберемся, — подумал он, с надеждой поглядывая на приближавшегося всадника. — Кровь пролью, а лошадь будет наша».

— Куда? В Урянхай, что ли? — зычно спросил всадник, поравнявшись. — За хребты?

Путники рассказали ему все. Афоня захлебывался от радости, умильно поглядывая в свинячьи глазки великана всадника, и юлил перед ним, как повстречавшая хозяина заблудившаяся собака.

Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал:

— Вертайте, самоходы, назад. В белках вам крышка.

— Выберемся, — возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. — Взад оглобли поворачивать не рука нам.

— За смертью идете, — угрюмо проговорил мужик. — Вьюга была, путь в снегах перемело.

— Продай, пожалуйста, коня, выручи нас, — стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь.

— Ты умен, — раздраженно ответил всадник. — Для себя его купил, зэот какую путину сломал.

— Продай! — решительно отсек Степан, глаза его сверкнули. — У тебя два коня... на одном доедешь.

Мужик, не ответив, тронул коня.

— Продай! — с отчаянием заорал Степан, хватаясь за ружье.

Мужик обернулся и, вмиг сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нащупало Степанов лоб.

— Бросай ружье, язви тебя! Убью!!! — взревел из-за скалы медвежий голос.

Афоня пал на колени, взмолился:

— Дядя! Дядя!!

Степан подался назад, закрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь. Лицо налилось желчью и подергивалось.

Мужик вперевалку подошел к Степану и спокойно сказал:

— Мой совет — назад. Упреждаю. Было бы сказано. Садись на мою лошадь — и айда... А промежду прочим... Знаете дорогу?

И опять подробно рассказал им, как идти. Сел в седло и, не оборачиваясь, поехал.

Афоня кричал ему вслед:

— Ежели погибнем, на тебе ответ перед богом!

— Всяк сам за себя ответчик! — гулко бросил тот.

Степан с ненасытной злобой сек взглядом широкую удалявшуюся спину, руки чесались пустить вдогонку пулю, но мощь и звериное бесстрашие всадника были защитой ему.

— Ну и дьявол... — скрипел Степан зубами.

Афоня проговорил:

— Господь с ним.

— А подь ты к праху, фалья! Тьфу!!

VI

На следующее утро, пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу:

— Степан, Степан! Глянь-ко, белки!

Степан приподнялся из-под шубы. Перед ними, совсем близко, высились громады гор, их подол и взлобки опущены густым лесом, выше — полоса леса обрывалась, обнажая серые, исчерченные черными ущельями склоны, а вершина хребта придавлена пластами снега, приветливо розовевшего в нежных потоках утренней зари.

Афоня был в одной рубахе. Не чувствуя холода, он дивился на вознесенные к облакам снега. Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.

Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь:

— Господи, господи, снег-то какой... красный... Так бы и погулял там.

— Может, там смерть наша сидит, — сурово сказал Степан, разжигая костер.

Но Афоня не слышал, не замечал его. Афоня опустился на колени и гнусаво, по-старушечьи, запел:

— «Заступница усердная, мать господа выщая».

— Выщая, выщая, — брюзжал Степан и крикнул: — Где у тебя чайник-то? Ишь замерзла в нем вода-то. Оболокись, заколеешь!

Степан знал, что эта видимая близость белков — прямой обман, дай бог хоть на вторые сутки дойти до снегового перевала. Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных трупоб, и сегодня же последний сухарь будет съеден.

Степан угрюм и молчалив, Афоня радостен.

— Ты не беспокойся. Вот помяни мое слово: как в лес вступим, живность найдем — рябков либо зайчишек...

— Мерблюда на сосне, — буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст.

Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли. Болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой: для куропаток — рай. Степан держал ружье наготове, но — странное дело — кругом мертво.

Тропа то пропадала, то оборачивалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, искали — не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке: что скажет утро. Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на онучи. Афоня целую шапку прошлогодней клюквы набрал:

— Птица век ягодой кормится.

— А ты птица, что ль? — возразил Степан. — Сдохнешь... — Голос звучал печально, как ни старался бодриться Степан.

— А ты верь, ты верь! — выкрикнул Афоня, ударяя себя сухим кулаком в грудь; голубые глаза его вспыхивали, и белая борода, хохолок, трясась. — Тогда, Степанушка, все будет хорошо.

Степан поднял на Афоню тяжелый взгляд, собираясь ударить друга злобным словом, но чувство нежности, поднимавшейся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, дивясь беспечности товарища.

Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей, голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхивали — нет.

Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса — нет. Поиски длились очень долго, неудача злила Степана, плевки и ругань летели из его уст.

Весь мокрый, от неудачи позеленевший, Степан подъехал к Афоне. Тот приподнято сказал ему:

— Идем! Я знаю. Идем скорей.

Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, теперь же все небо в тучах: путники подвигались наугад, вслепую. Степан то и дело припадал к земле, шарил мох, пушистый и мокрый, — не было никаких следов.

Прошел вечер, прошла ночь.

Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно: снеговые хребты пропали. Дождь все моросил.

— Надо солнца ждать. А то... — не dokonчил Степан и, отвернувшись, засопел.

Сделали шалаш из хвои. Лежали рядом с закрытыми глазами. Не спалось. Думали каждый о своем. Глухая ночь.

— Ты спишь? — спросил Афоня.

— Нет.

— Я все думаю. Деда-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали — не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы выйти — ан нет, лукавый сомустил: грех вышел, перегрызлись деды, и — прощай, земля святая! Идут назад ни с чем.

Помедлив немного, говорит Степан:

— Я звонов твоих колокольных не ищу.

— А что же ты ищешь?

— Чернозем. Да всякое угодье чтобы... Пущай мужики на землю крепко сядут. Отъедятся хоть.

— Эх, брат, брат... Ты все о брюхе...

— О чем же еще?

— А ты о душе бы...

— Душа попу нужна.

— Ведь в той земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушко во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь... Я люблю думать по ночам...

— Ночью спят, днем работают, — попыхивал трубкой Степан, — а ты все в размыслах каких-то бабьих... Анхимандрит...

Афоня вздохнул и проговорил негромко в нос:

— Какие вы все обидчики!

VII

День был пасмурный, накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве покрыта мохом и лишайником, бока у лошади от бескормицы ввалились.

Беспокойство в душе Степана все нарастало, сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему посматривал на друга, как больной ребенок на отца.

Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движения его были неторопливы и уверенны, потом стали быстрее и суетливей, потом... Дрожащие руки его судорожно хватались за тряпье, как за раскаленное железо: трепал, встряхивал, швырял, обшарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно-бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх.

— Что ищешь? — тоскливо спросил Афоня.

— Ножик, маленький такой, — помедля, дрожащим голосом проговорил Степан.

— А эвот он, эвот...

Степан сел на пень, под морду лошади, обхватил колени и весь согнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул, кого-то ругнул сплеча и завалился спать. Сон его был глубокий и крепкий.

Афоня охал, бредил, звал мать с женой.

На другое утро засияло солнце.

Степан поднялся нехотя. Глаза его были потерянные, пусты, но рассеянный Афоня не прочел в них ничего.

— Жрать, Афоня, жрать, — хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь.

— Нету, — уныло вымолвил Афоня. — Вот заячьей капустки, травки кисленькой пожуй.

Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило.

Пошли на восход, чуть левее солнца.

— Солнышко красное, укажи путину верную, — приговаривал Афоня.

Шли напрямиком. Попадались огромные, скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины. Ругаясь, обходили. Сапоги истрепались вдрызг, одежда о сучки трек да трек — в клочья.

Начался пологий подъем — тянигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным, согнулся и походил на старика.

Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил:

— А не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще?

— Куда мне? Не брал.

Ну да, дело ясно, значит, обронули на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка.

— Да, Афоня, любезный друг, — начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, чтоб ошеломить Афону, но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу. — Теперича мы, Афоня, оживем... лишь бы снега перевалить.

— Бог поможет. Только бы вот маленечко поесть, — откликнулся Афоня и тяжело вздохнул.

Вдруг Степан бросил повод:

— Козел... — и быстро пал за валежину, взводя курок.

Афоня взметнул глазом на высокую, торчавшую вверх сосен скалу. На остряке прямо и неподвижно стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба. Руки дрожали.

— Не торопись, промажешь, — шепнул Афоня. Устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло.

Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козел подпрыгнул и кувыркнулся рогами вниз.

— Готов, готов! — закричал Афоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале.

Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил оземь. Лицо озверело, рот плевался и шипел:

— Анафема. Пропастина... Змей.

Он видел: пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался единственный дробовой заряд. И неизвестно, для чего теперь его беречь.

«Для себя. В рот», — без всякой жалости подумалось.

Афоня возвращался медленной, вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот.

— Сам видел, как он мякнулся. Все обползал — нету, — сказал Афоня скрипучим, задыхающимся голосом.

— Целехонек. На рога пал, да и умчался. Они завсегда на рога кидаются.

Афоня лег на траву и прикрыл глаза рукою.

— Измаялся я, Степанушка... Тяжелехонько мне.

— Пойдем, валяться некогда.

На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Афоня опустил голову, шагал нетвердо, враскачку.

— Трое суток не ели мы с тобой.

VIII

Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги, к густому большетравью. Впереди было мрачно, взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо.

Вот он, хребет со снеговой спиной: перевали его — и вступишь в теплый, безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, но путники угрюмыми, почти враждебными взорами встретили эту мрачную твердыню: в них все приникло, ослабело, съежилось.

Степан лениво и вяло, двигаясь как во сне, стал разводить костер. Афоня в бессилии лег, укрылся шубой, у него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хотелось напиться холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиной, как к врагу.

Думы Степана были тяжелы и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он — Степан.

Он так загряз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Афоня застонал. Степан покосился на него.

«Афоня, друг... Желанный мой...» — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову: голова пылала.

— Сидеть бы тебе дома, с бабой, а я, черт, дурак, сманил тебя — пойдем, мол, чужие края усматривать... Да в могилу и завел, — вслух думал он. — Э-эх!

Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдомагу: ягода, трава, неизвестные корни и грибы. Есть хотелось неимоверно. «Аж от голодухи пупок к спине присох». За эти дни он очень исхудал, плотно пригнанная к его фигуре синяя поддевка висела мешком, ноги дрожали, руки обессилели, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец.

«Хоть бы ломоть хлеба черствого, покрытого плесенью! Неужели больше не суждено досыта наестся? Мяса бы, мяса вареного, с желтым жиром!»

Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы.

— Нет, врешь, — бодрясь, шептал он, помешивая бурдомагу. — Авось фартанёт. Жизнь — шутка темная, словно лес в ночи.

Но сердце не верило обману слов, сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю.

«Вот и обед, ха-ха! Будить иль не будить?»

Афоня подал голос:

— Я кусочек съел бы. Дай мяса. Горяченького. Козлятинки...

— Нету, браток, нету, милячок.

— А? — поднялся на локтях Афоня. — Ты чего, Степанушка, сказал?

— Нету, мол. Какая козлятина? Вот суп без круп.

Афоня сбросил шубу, сел:

— А козел? Я нашел. Я притащил. И спереди и сзади по башке... А рога в сапогах... Э-э вот какие!..

Он снова повалился, почавкал пересохшим ртом, сказал:

— Пить...

Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему.

— Ой, ты... Никак огневица. Заговаривается... Афоня, Афоня!

Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка, губы шевелились, вытягивались, искали чего-то. Льяные волосы нависли шапкой на белый потный лоб.

— Вот грех... — горько сказал Степан, вздыхая.

Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища.

Бурдомага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал, по-волчьи, горькие коренья и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим.

— Чертово пойло... А?

Он берег ее для перевала через снега, но соблазн огромен: скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту: было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса посматривал на костер, не видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства. Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая, она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно.

— Только разбередила... Тьфу!

Где-то надрывно стонала выпь, поухивал филин. Над головой теплились звезды, крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи, от каменистых гребней и деревьев пала густая тень.

Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыхание костра ослабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова:

— Эвот ты куда взобрался, месяц-батьюшка, какую высь. Поди, и деревню нашу видишь? Известно. Вот и скажи, крикни

нашим-то, ведь рот у тебя, и глаза, и нос... Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?

Степан помахал месяцу шапкой, силился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая, язык заплетался, в отуманенной голове пляс и чехарда.

— Да ты ничего, понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц! Все, мол, честь честью... очень примечательно... Любви Офросимовне скажи, хозяйке моей... Сидит, мол, твой супруг, Степан Недокрытов, у костра, жив, здоров, и таковы ли радостные думы у него во всех мозгах... очень даже радостно у него на кипучем сердечушке... Так все чередом, брат, и обскажи... Могилкам тоже посвети, батюшке с матушкой. Пускай не дожидаются гостя во сыру землю, пускай одни полеживают... вот, вот... А ты зубы-то не скаль, знай слушай!

Степан огляделся кругом и зябко повел плечами: ему почудилось — живая тень бродит меж деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть, Степан не струсит. А может, леший-лесовой?

— Эй! — вскочил Степан, в сердце его бурлило. — Черт! Леший! Бери душу! Продаю! Отрекаюсь! Себя не жаль, товарища жаль... Бери! Только укажи дорогу. Брось водить. Не озоруй... Бери душу! Черт, сатана с хвостом! Кажи харрю! Эй!!! — И Степан по-цыгански свистнул.

— Степан, Степан! — резкий раздался Афонин голос. — Какие слова мелешь... Окстись!

Степан покачнулся. Словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточки.

— Тяжело чего-то стало, — тоскливо сказал он. — У души ноги ослабели, Афонюшка, не держат, в шат пошли.

В голубоватых зыбких далях посвистывало, пересмеивалось, пискливо завывало.

Афоня заохал, с боязнью перекрестился.

— Ну, как? — спросил Степан.

— Плохо. Порешился я весь.

Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, Сохатый[*Большая Медведица, созвездие.*] перекинулся вправо. Степан лежал у потухшего костра, не смыкая глаз. Чертово гуканье затихло, тягучая настала тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Все внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знал. Впрочем, года три назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду, — боль вдруг стихала, но через мгновение с удесятеренной силой валила его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страдание кончилось.

— Ничего не остается, — сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож.

«Не смей», — ясно отпечаталось в самых ушах его.

Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистели в ночном воздухе. Отфыркивался конь.

— Матушка, матушка... Родимые мои детушки... Жenuшка ненаглядная, — шептал из-под шубы Афоня.

Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.

IX

Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаянье перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в тартар. Он верил в настоящий день — будет удача; в жилах гуляет взбудораженная кровь, в небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный.

Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дробин и, поглядывая на сверкавшие снега перевала, уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка, либо зайца, либо большую птицу.

Последний выстрел будет смертелен.

Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест.

Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевельный, облитый солнцем куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах замелькали мухи, по пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюною.

«Афоня, Афонюшка, голубчик». И, припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче. Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят.

Хрустнул под коленкой сук, тетеря сорвалась, заклохтала и, описав круг, вновь села к тетеревенку. Сзади чуфыркнул тетереверчельник, тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять... Пора.

Цыпленку захотелось поразмяться: он вытянул одну ногу, потом другую и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его: «Клу, клу», — и клюнула ветку с кровавыми ягодами.

В Степане ожил голодный хищник, но от волнения, от бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома в ветер. С пихты, под которой притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя: над самой головой его предупреждающе крикнул подлетевший тетерев. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться.

«А ну!»

Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетеря снялась с места и полетела низом, в чащу, маня за собой тетеревенка. Тот с испуганным гвалтом носился меж кустов, удирая от настигавшего его врага.

«Врешь, не уйдешь!.. Стегнуло!»

Степан пал на него, он выскочил, понесся, Степан за ним.

«Ага! Папороток перешиблен!.. Папороток!»

Тетеребенок взлетел на сук, отдышался и, перепархивая с дерева на дерево, улетел на зов матери.

Степан, сжав кулаки, долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт. Потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и, рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложе — вдребезги, ствол изогнулся в колесо. Он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыв ладонями свое крупное бородатое лицо, ссутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдерживать малодушного язвительного стоны. Чтоб заглушить его, Степан до боли стиснул зубы, тогда из ноздрей вырвалось звериное мычанье. Степан хрипел, плевался. И вдруг сразу захотелось выкричать все, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его.

Тут представилась вся его каторжная участь, с малых лет и до последнего месяца, вся русская мужичья жизнь. Безземелье, голод, нищета. А кругом: болезни, смерть, тяжкий, черный труд впустую, из-за корки хлеба. И единая радость — царев кабак. И единая радость — на шею петля. Для чего ж родился, для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди, в городах, — те все знают, им многое дано, вся мудрость жизни у них как на ладони.

«А мы кто? Ни зверье, ни люди... Эх! Скотинка, тварь...»

И лишь одна особая мысль кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками, она хотела ему открыться — и не открывалась, не могла: так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть.

«Жалеючи шел. Для миру старался. Мужиков жалел...» — скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное. И не осенило большим светом, и не оправдало: слишком темна была ночь в душе.

И вновь на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь своей личной жизни: тетеря, потерянная коробка с пистонами и порохом, неудачи.

Ноги его подгибались, плечо скользило по древесному стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, выл. Вой был темный, страшный, необузданный: все человеческое, все вечное тонуло в нем, оставалась одна земля, один допотопный зверь.

Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой — разом все свалилось с крутых плеч — и твердым шагом пошел к костру. Был в душе холод, мрак, яркая ненависть к самому себе. Будь что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку, он выткнет себе оба глаза. Он... О, погоди, погоди!

Афоня лежал с открытыми глазами.

— Что, милячок, каков? — спросил Степан ласково.

— Нemoжeтся мнe.

— Ничего, как-нибудь. Недалечко теперь. Да и солнышко...

— Степанушка, мне плохо.

Губы Афони белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились.

— Ничего, как-нибудь, — утешал его Степан, свернул шубы в торока и навьючил лошадь. — Пойдем.

— Не выдюжить мне... Я бы тут подождал тебя.

— Пойдем!

Афоня повиновался. Степан взял его под руку, Афоня пошатывался, охал. Степан ощущал через свою рубаху, как от тела друга пышет жаром.

— Как же мы с тобой в снегах-то поплетемся? Афоня, друг...

— Не знаю. Заслабел я шибко.

— А там, за хребтом, — кисельные берега, радуги, петухи индейские, калачи крупичатые на березах...

Степан говорил, как сказку сказывал, улыбаясь, заглядывал в его глаза. Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал: почему Афоня не спросит — где ружье?

Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными откатными камнями. Начинался взъем хребта. Афоня едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах от голода темнело, голова кружилась, позванивало в ушах.

По пути в полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться, да тут и расселась лениво: крут подъем. Афоня со стонами повалился в ее тень.

— Не пойду... Хоть зарежь... — и заплакал.

Солнце палило. С хребта струились по склонам ручейки — дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался воздух. Под ногами Степана прошмыгнула зеленая

ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистывала. Ей откликались другие свистунки.

Вверху, под бледно-голубым небом, кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба, еще видел за хребтами — вот тут и есть, рукой подать — жилища людей, табуны, зеленое приволье. А вот и эти две серые, припавшие к земле козявки... живы! Раскидистым винтом, плавно орел спускался, орлиный клекот слетел к земле. Свистунчики стремглав, вниз головой, — за камни.

— Орел, — сказал Степан, подымая к небу взгляд.

Афоня молча лежал с открытыми мокрыми глазами.

— Как же быть, Афонюшка? Надо идти.

— Силушка кончилась. Нету силушки.

— Ты сам посуди, милячок: назад идти — об одном коне, без корму, ближний ли свет? И помыслить страшно. Нежить кругом, безлюдье.

— Ку-у-да тут, — уныло протянул Афоня.

— А тут, может, два шага — и жительство. Сказывал крестьянин, снега не широко лежат. Авось как ни то... А может, и повстречается человек какой, как знать?

— Может, и повстречается.

Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу: хорошо он знал, что снеговой путь — убойный и человека встретить — не придется. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь, что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну, вот тут, да скрестить на груди руки, ждать конца. Нет. Степан со смертью еще поспорит.

И вдруг:

«Убить коня».

Лицо его сразу прояснилось, глаза загорелись. Вот оно! Отъедятся, отдохнут, а там разыщут путь: с сытым брюхом куда угодно: вперед, назад.

— Посади ты меня на лошадь, — скрипуче заохал Афоня, — может, усижу.

— Дело, — согласился Степан, и мечта его камнем в омут.

«Нет, действительно не гоже... Назад без коня — голод замучит, вперед пешком — прямая смерть в снегах».

Едва хватило сил посадить в седло безжизненного Афоню. Степан задохнулся от натуги, присел на камень, обливаясь холодным потом. Мучил голод, ни на что бы не смотрел. Заморенный в тайге конь тоже обессилел: велик ли груз — высохший Афоня, а коню в тягость.

Подъем делался все круче, израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет да станет... Степан понукает — стоит, дерет — стоит, только глазами говорит Степану: «Пожалей».

— Зарезать падину, съесть! — кричит Степан...

— Да я лучше на осине удавлюсь... Что я, турка, что ли? Тьфу!

Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый, голова моталась.

— Привяжи! Свалюсь я... Ой, смерть... — как сквозь сон, тянул Афоня.

Становилось холодно, из балки, по которой подвигались, несло зимой.

Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но, пока солнце высоко, надо залезть на хребты: авось сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось...

Х

Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афони глаза прикрыты тряпкой. Вначале, по северному склону, плотный наст снега

вздымал коня, но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюхо. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился: снег раздрязг от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это разом кончить. Ему припомнилось предостережение мужика — не сворачивать с тропы: путь опасен, в ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом: шагнешь — могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, идти гуськом. Где она, тропа? Где веревка? Скорей бы провалиться.

А солнце снижалось, может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня?

Афоня совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади.

— Погубитель, погубитель... Что ты со мной делаешь? Куда завел? — бессвязно шептал он и, сорвав с глаз повязку, позвал шагавшего рядом Степана. — Степанушка, где ты? Не давай ему, не давай...

Степан шел, увязая вместе с лошадыю, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, с маху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба. Степан изозлился, истегал ее. Выдираясь из густо рассеянных, прикрытых снегом камней, она оборвала себе все копыта, щурила поврежденный плетью глаз, поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота: ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело, белки глаз покрывались желтым налетом. Он перестал себя чувствовать, обратился в пень: дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навееет над ним сугроб.

Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.

Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.

— Мороз на дворе, зима... На печку бы...

Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.

— Степан, — тихо позвал он, очнувшись. — Поди ко мне...

Степан взглянул на солнце.

— Ого! Фу ты, черт... Вечер! — и подошел к Афоне.

Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.

— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.

«Баба... — подумал Степан. — Из-за тебя гибну», — и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:

— А ты верь. Что же ты хнычешь?

— Верю.

— Верь, верь. Авось бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура!

Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:

— Смерть так смерть... Когда-нибудь надо же... За мир старались.

Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.

Степан стоял в одеревенении.

— Жене моей кланяйся, батюшке кланяйся... — Афоня замотал головой.

— Отец твой давно померши. И жена также.

— Все равно кланяйся.

Степана что-то ударило в сердце.

— Скажи им, скажи...

Тут полились у Афони слезы, и лицо его исказилось.

Степан сказал:

— Пойдем.

— Закрой шубой, перекрести... Ступай.

— Пойдешь или нет?

Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.

— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукрах. Слышишь? Солнце закатится. Слышишь?!

Афоня заметался:

— Домой, домой! Я вперед тебя... Ковер какой — жар-птица... А ты верь, Петрованушка. Петрович... Ваня...

Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на корточки. От Афони шел жар, дыхание вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед.

Идти было недалеко: громадная трещина саженой ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца-краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обесеченные, грани льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.

Степан боялся подойти к обрыву: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздрыгнул и — ползком назад. Руки заоченели. Всего облепило холодом,

сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтобы согреться. Из груди мужика помимо его воли рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы! Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!» И другая, в левое ухо, кровь огнем кричит: «Так тебе, черту, так... Торчмя башкой... Ну!»

— Помоги-и-те!!

Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлестнул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:

— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу... Выручу, выручу, выручу...

Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровенилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.

Степан перевел дыхание: «Сыт».

Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.

— Афонюшка, товарищ... Повремени чуть-чуть, запри дух... Выручу, не умирай.

Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:

— Айда! Ррррработай!

И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям. «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня... Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка... Дьявол!

И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.

— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.

Но всадник не остановился.

— Эй! Стой! Стой!

Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи выюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.

— Стой!.. Стой!.. Стой!..

Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить... Уйдет, уйдет...

Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился.

— Эх, пропадай, душа... — и взвился над провалищем.

Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.

XI

Сугробы алели.

Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.

Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».

Поля, поля... Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуйся, Афоня, великий чудотво-орец!» — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел... Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрывал медведь.

В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.

ХП

— Нишяво, нишяво, лежи...

Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.

— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.

— А где товарищ мой, Степан?

— Какой товарищ? Нету товарища.

Едва шевеля языком, Афоня объяснил.

— Яман дело... Совсем наплевать... Уж десять дней притащил тебя... Давно... Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.

— Он за меня душу положил. Степан-то мой, — проникновенно, горестно сказал Афоня. — Сам загинул, а я живой... Собака я. — Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.

— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши, — дружески сплюнул татарин. — Шибко хорош, ой, какой хорош!..

— Из-за меня он... Собака я... — замотал головой Афоня. — Сидеть бы мне, собаке, дома.

Татарин опять сплюнул и сказал:

— Земля шибко якши тут... А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, денга колотить можна.

Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.

— Нишяво, ладно. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер... Вот какой. На! Денга не надо... Помогать надо. Вот-вот.

Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами... Как?! Значит, они были у него, у Афони?! А где ж ружье? Но не спросил.

Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей радости, все побеждая, гулко била в берега.

Приложение

**Путешественник, сиречь маршрут в Опоньское царство,
писан действительным самовидцем иноком Марком,
Топозерской обители, бывшим в Опоньском царстве. Его
самый путешественник .**

Маршрут, сиречь путешественник: от Москвы на Казань, от Казани до Екатеринбурга и на Тюмень, на Каменогорск, на Выбернум деревню, на Избенск, вверх по реке Катунь на Красноярск, на деревню Устьюбу, во оной спросить странноприимца Петра Кириллова.

Около их пещер множество тайных и мало подале от них снеговьягоры распространяются на 300 верст, и снег никогда на оных горах не тает. За оными горами деревня Умоменска 4 и в ней часовня; инок схимник Иосиф. От них есть проход Китайским государством, 44 дня ходу, через Губань, потом в Опоньское государство. Там жители имеют пребывание в пределах окиянаморя, называемое Беловодие. Там жители на островах семидесяти, некоторые из них и на 500 верстах расстоянием, а малых островов исчислить невозможно.

О тамошнем же пребывании онаго народу извещено хриstopодражателям древляго благочестия святых соборных и апостольский церкви. Со истинною заверяю, понеже я сам там был со двумя иноками, грешный и недостойный старец Марко. В восточных странах с великим нашим любопытством и старанием искали древляго благочестия православного священства, которое весьма нужно ко спасению.

С помощью божиею и обрели асирского языка 170 церквей, имеют патриарха православного антиохийского постановления и четыре митрополита. А российских до сорока церквей тоже имеют митрополита и епископов асирского поставления.

От гонения римских еретиков много народу отправлялось кораблями Ледовитым морем и сухопутным путем. Бог наполняет сие место.

А кто имеет сомнение, то поставляю бога во свидетели нашего: имать приноситься бескровная жертва до второго пришествия Христа.

В том месте приходящих из России принимают первым чином: крестят совершенно в три погружения и желающих там пребыть до скончания жизни. Бывшие со мною два инока согласились вечно остаться: приняли святое крещение.

И глаголют они: «Вы все осквернились в великих и разных ересях антихристовых, писано бо есть: изыдите из среды сих нечестивых человеки и не прикасайтесь им, змия, гонящегося за женою: невозможно ему постигнуть скрывшейся жены в расселены земныя».

В тамошних местах татьбы и воровства и прочих противных закону не бывает. Светского суда не имеют; управляют народы и всех людей духовныя власти. Тамо древа равны с высочайшими древами. Во время зимы морозы бывают необычайные с рассединами земными. И громы с землетрясением немалым бывают. И всякие земные плоды бывают; родится виноград и сорочинское пшено. И в «Шведском (?) путешественнике» сказано, что у них злата и серебра несть числа, драгоценного камня и бисера драгого весьма много. А оные опонцы в землю свою никого не пуцают, и войны ни с кем не имеют: отдаленная их страна. В Китае есть град удивительный, яко подобного ему во всей подсолнечной не обретається. Первая у них столица — Кабан.

Г. Т. Хохлов.

Путешествие уральских казаков в „Беловодское царство“.

С предисловием В. Г. Короленко.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Летом 1900 года мне пришлось провести несколько недель в области Уральского войска. От моих знакомых в гор. Уральске я слышал, что за два года перед тем три казака совершили очень интересное и далекое путешествие в Индокитай и Японию, разыскивая мифическое „Беловодское царство". Путешествие это было изложено одним из участников (Варс. Данил. Максимычевым) на страницах местной газеты, а затем издано отдельной брошюрой, которую, как мне говорили, жадно покупало казачье население. К сожалению, в то время мне не могли достать ни одного экземпляра этой брошюры, ставшей тогда по разным причинам библиографическою редкостью¹⁾.

В июле того же года я совершил поездку по казачьим станицам среднего Урала, и здесь учитель войсковой школы Кирсановской станицы сообщил мне, что другой из этих путешественников, казак Григорий Терентьевич Х о х л о в, живет в Кирсанове и в настоящее время находится в станице. По моей просьбе, любезный хозяин пригласил его к себе, и таким образом я познакомился с автором путешествия, предлагаемого теперь вниманию читателей.

Оказалось, что во все время своих странствий он с чрезвычайной обстоятельностью вел путевой дневник. Это была небольшая, обыкновенная записная книжка, с французским словом „Notes“ на обложке, но внутри вся исписанная очень убористо, по-старинному полууставом. По моей просьбе Григорий Терентьевич согласился восстановить свои впечатления, и изобразил их гражданским письмом в объемистой рукописи, которую и прислал мне впоследствии.

¹⁾ Впоследствии мне ее достали. К сожалению, изложение автора подверглось чьей-то слишком сильной перделке.

Он позволил мне сделать из неё выдержки, которые и были напечатаны в моих очерках¹⁾, а я, в свою очередь, обещал похлопотать об отдельном издании всего путешествия, причём, кроме естественного желания видеть свой труд в печати, — автором очевидно руководило также стремление ознакомить своих единоверцев с трудным и тщетным опытом отыскания сказанного Беловодского царства.

Для того, чтобы читателю, незнакомому с предметом этих исканий, было понятнее все нижеследующее, я считаю нелишним сделать несколько предварительных пояснений.

Автор путешествия сам называет себя и своих товарищей „никудышниками". Это слово, происходящее от наречия „никуда“, обозначает на Урале людей, которые, не признавая современного священства греко-российской церкви, не присоединились также ни к одному из „поповских“ старообрядческих согласий. Это не значит однако, что они отрицают самое начало церковности и священства. Совершенно наоборот. Перед воображением „никудышника“, ярого отрицателя всех реально существующих церковных форм, — носится мечта о „настоящем“, чистом преемстве благодати от апостолов, о какой-то особенной иерархии, которая избегнув „никоновой прелести" и порчи, сохранила во всей чистоте и догматы и обряды „древнего“ дониконовского православия.

Поиски этой иерархии проходят живую красную нитью через всю историю старообрядчества с тех самых пор, как первое, застигнутое великим церковным расколом, поколение духовенства постепенно вымирало, оставляя паству без священников. На этой почве и началось дробление старообрядчества, смотря по тем приемам, какими оно стремилось разрешить этот болящий вопрос и восполнить недостаток священства. Одни, находя основания в апокалипсисе, решили, что

¹⁾См. „Р. Бог.“ Ноябрь 1901г., очерки „У казаков.“

наступает конец мира, и отказались от всяких поисков в ожидании второго пришествия. Это — самая быть может последовательная хотя и наиболее удаленная от жизни часть русского старообрядства. По мере того, как время шло, поколения сменялись, а грозная труба второго пришествия все молчала над погрязшим в грехе миром, настроение большинства старообрядцев должно было приладиться к очевидному факту дальнейшего существования грешного мира. Отсюда две попытки компромисса, давшие начало двум ветвям старообрядческого священства. Обе исходят из признания, что иерархическая преемственность, по слову Христа, не могла быть прекращена даже временно. Значит она все-таки существует непрерывно в господствующей церкви, как источник мутный и загрязненный, но не иссякший. Отсюда следует, что им можно пользоваться, приняв лишь меры для очищения того, что из него получается. Таким образом возникло согласие „Белого священства“, заимствующего всяким приемами священников у греко-российской церкви, но принимающего разные меры для того, чтобы, не уничтожая самой благодати, очистить „никонианского“, попа от налета „никонианской прелести“. Само собою разумеется, что найти священника, по убеждению и добровольно соглашающегося на это „исправление“, чтобы затем вести незаконное существование скитальца, — очень трудно и по большей части беглопоповцам приходится довольствоваться отбросами официального священства. Это заставило старообрядцев обратиться к другой форме того же, последовательно развиваемого компромисса: вместо того, чтобы заимствовать священников, поставляемых греко-российскими иерархами, стоило только найти епископа, который, сам согласившись на „исправление“ — мог дать начало центральной старообрядческой иерархии и поставлять затем священников на обычном основании.

Отсюда возникла австрийская или Белокриницкая иерархия. В 1846 году два инока-начетчика Павел и Алимпий, после многих тщетных поисков „правильной“ церкви, познакомились в Константинополе с бывшим Босно-сараевским митрополитом

Амвросием, который, по причинам политического свойства (ревностное заступничество за свою паству), был отозван с епархии и проживал в Царьграде. После некоторых переговоров, Амвросий согласился переехать в Белокрыницкий старообрядческий монастырь (в австрийской Буковине), где подвергся „исправлению“ чрез миропомазание, на основании тщательно выработанных правил „о чиноприятии ереси“, и положил начало новой старообрядческой иерархии.

Так возникла и ныне существует Белокрыницкая или иначе Австрийская иерархия, перенесенная в 1849 году и в Россию. Событие это вызвало в старообрядческом мире огромное движение, несколько „соборов“ и целую полемическую литературу, центром которой является личность и сан бывшего Босно-сараевского владыки. При этом прежде всего конечно возникал вопрос: действительно ли Амвросий, в то время, когда совершился его переход к старообрядцам, сохранял ещё ту благодать, которую в нем искал старообрядческий мир. То-есть — оставался ли он епископом, или, как уверяли его противники, вместе с епархией он был также лишен и епископского сана. Отголоски этого спора читатель найдет в своеобразном дипломатическом обращении казаков к константинопольскому патриарху, — которым начинается путешествие (гл. II), и которым оно заканчивается. Патриарх, как увидим, сохранил красноречивое молчание, и вопросные пункты уральских вопрошателей остались без ответа.

В результате движения, вызванного изложенным выше историческим событием, только часть старообрядцев признала новую иерархию. В другой части усилилось течение к единоверию, третья и самая, кажется многочисленная, — отвергла новый иерархический компромисс, как отвергла прежние, и осталась, со всем разнообразием раздробившихся „толков“ и „согласий“, при прежнем отрицании всех существующих церковных форм, и при прежних ожиданиях и надеждах на какие-то идеальные формы, более или менее „не от мира сего“.

К этим последним принадлежат и уральские „никудашники“. В главе IX (стр. 68—74) читатель найдет чрезвычайно характерное, драгоценное своей автобиографической подлинностью и очень красноречивое изображение их настроения. На почве этой жгучей духовной жажды, которой, при всей её исключительности, нельзя отказать в большой искренности и глубине, и возникла легенда о сказочном „Беловодском царстве“, в которой пламенная мечта непримиримого старообрядческого мира получила яко бы осуществление в качестве живой действительности.

Очень характерно, что возникновение этой легенды связывается с именем некоего Марка, инока Топ-езерской обители (Арханг. губ.). Лицо это несомненно, мифическое, но совпадение имен невольно напоминает о другом путешественнике венецианце Марко-Поло, объехавшем в XIII веке много восточных стран и оставившем описание своих скитаний, ни мало, кажется не фантастических для того времени, но теперь давно задернутых уже загадочной дымкой отдалённого прошлого. Есть еще одна черта, сближающая путешествия Марко-Поло с фантастическим сказанием Инока-Марка об его путешествии в Беловодии. По этому последнему сказанию, христианство в беловодском царстве процвело от проповеди апостола Фомы, и у Марко-Поло упоминается о стране, где жил и умер апостол Фома, признаваемый одинаково за святого и христианами и сарацинами¹⁾. Без сомнения, этих совпадений недостаточно для точного определения источника данной легенды, но они придают все-таки некоторую вероятность предположению (высказанному мне Батюшковым), что отголоски путешествия умного венецианца могли отразиться отчасти на нашем сказании о скитаниях топ-езерского инокa.

¹⁾ **И. П. Минаев.** Путешествие Марко-Поло. Изд. Импер. Русского Гео-графич. О-ва, гл. CLXXVI.

Легенда эта не нова и давно уже потрясает простые сердца своей заманчиво-мечтательной прелестью. Складывалась она постепенно, пробиваясь из глубины народного настроения в разных, все более определяющихся формах. Так, еще один из первоучителей старообрядства диакон Федор высказывал мнение, что не все патриархи „отступили от православия“. „Патриарх-де иерусалимский по-старому слагает персты" и проклинает Никона¹⁾. Но Иерусалим слишком близко, и потому надежда на „неотступавших от православия патриархов" постепенно отодвигается, приурочиваясь то к Антиохии, то к Абиссинии, вызывая странствия и поиски. Неудачи этих поисков не охлаждали мечтателей, только самая мечта отодвигалась все дальше. Во второй половине XVIII века начали циркулировать в старообрядческом мире несколько сказаний о стране, сохранившей правую веру от первых веков христианства, и между ними — то самое сказание инока Марка, с которым читатель встретится в самом начале повествования Григория Терентьевича Хохлова и которое последний, чисто по-военному, называет „маршрутом". В этом путешествии говорится, будто этот старец ходил в Сибирь, добрался до Китая, перешел степь „Губарь“ (Гоби) и дошел до „Опоньского государства“ (Японии), которое лежит „в пределах окияна-моря“, называемого Беловодие. „Искав с великим любопытством и старанием древнего благочестия православного священства, которое весьма нужно ко спасению, он нашел в Японии „асирского языка 179 церквей“, а также патриарха православного антиохийского поставления и четырех митрополитов. А российских до 40 церквей, процветающих всяким благочестием.

¹⁾ См. у Субботина. Материалы для истории раскола за первое время его существования (т. VI. — 161.

Уверенность в действительности этой легенды доходило до того, что (как рассказывает И. И. Мельников ¹⁾), в 1867 г. поселянин Томской губ. Бабылев подавал правительству о „Беловодских епископах“ особую записку. В 1839 году о том же заявлял Семеновскому исправнику один старообрядец-бродяга, а в сороковых и потом в 60-х годах были известны случаи, когда из деревень Алтайского округа (Бухтарминской вол.) люди уходили за китайскую границу для отыскания „Беловодья“. Надо думать, что это тихое, малозаметное просачивание русского населения в китайские и тибетские пределы не прекращалось. Некоторые из статистиков, исследовавших Алтайский округ, уже в последние годы сообщали пишущему эти строки, что и в настоящее время известны еще случаи этих попыток проникнуть в Беловодию через таинственные хребты и пустыни средней Азии. Некоторые из этих искателей возвращаются обратно, перетерпев всякие бедствия, другие не возвращаются совсем. Нет сомнения, что эти „другие“ погибают где-нибудь в Китае или в суровом, негостеприимном и недоступном для европейца Тибете. Но наивная молва объясняет это исчезновение иначе... По её мнению — эти пропавшие без вести остаются в счастливом Беловодском царстве. И это обстоятельство манит новых и новых мечтателей на опасности и на гибель.

Само собою разумеется, что эта пламенная, но темна мечта дает также богатую почву для обмана. Всюду, где есть простодушная и темная вера, есть и охотники воспользоваться ею в целях корысти или своеобразного честолюбия. В своем весьма известном и богатом этнографическими данными романе („В лесах“) Андрей Печерский (И. И. Мельников) рисует очень яркую фигуру такого полу-обманщика, полу-мечтателя. Но действительность дает нам еще более яркую фигуру того же рода

¹⁾ П. И. М е л ь н и к о в ь. „Историч. очерки поповщины“. М. 1864.

в лице часто-упоминаемого в путешествии казаков „епископа Аркадия Беловодского“.

Факты из жизнеописания этого по-своему замечательного человека изложены в брошюре И. Т. Никифоровского¹⁾. Не пускаясь в подробности, скажем только, что и теперь не вполне установлено происхождение и личность этого интересного самозванца. В одном из показаний он назвал себя Антоном Савельевым Пикульским, сыном мелкого чиновника, и за этим показанием признано наибольшее вероятие. Отец его, из крестьян, Киевской губ., дослужился до обер-офицерских чинов и умер в Киеве. Мачеха и братья признали в Аркадии своего родственника; но в формулярном списке Савелия Пикульского сын Антон не значится и в показаниях относительно возраста выходят трудно объяснимые противоречия. Есть указания на какие-то приключения и тюремное заключение еще в 1858 году. Затем, в августе 1881 года загадочный человек появляется в Осташкове, именуя себя протоиереем села Зарехенского, Томской епархии, быстро скрывается при появлении полиции, является в Москве уже под именем единоверческого архимандрита; в декабре того же года в одном письме именует себя „епископом Аркадием“, в 1882—1883 — выдает себя за „противураскольниковяго миссионера“, и наконец, очевидно ознакомившись с легендой об „Опоньском царстве“ и „Беловодии“, — окончательно утверждает себя в звании „епископа Беловодского“, в качестве какового является и на Урале.

Дальнейшее видно будет из самого изложения Г. Т. Хохлова. Прибавлю только, что там же, на Урале, в станице Круглоозерной мне довелось встретить других исследователей этого вопроса, тоже казаков, которые изъездили чуть не всю Россию, чтобы собрать точные данные о личности самозваного архиепископа. Они снабдили меня, между прочим, несколькими номерами

¹⁾ К истории „Славяно-Беловодской иерархии“. Самара 1891. Кажется, теперь эта брошюра составляет библиографич. редкость.

„Пермских губ. Ведомостей“, в которых была напечатана (из дела об Антоне Савельеве Пикульском, производившегося в Пермск. Окр. суде) автобиография Аркадия Беловодского и составленная грамота, которую он яко бы получил в Беловодии от „смирненного Мелетия, патриарха славяно беловодскаго, камбайскаго, японскаго, индостанскаго, индиянскаго, англо-индейскаго, ост-индии, и юст-индии, и вест-индии, и африки, и америки, и земли хили, и магеланския земли, и бразилии, и абисинии“¹⁾). Изложенная запутанным, неправильным старинным стилем, эта самодельная грамота подписана кроме „смирненного Мелетия“, еще „Григорием Владимировичем, Царем и Кралем Камбайского царства, индии и магеланския земли“, а также многочисленными митрополитами и епископами. Тут есть и „смирренный митрополит Александр Лагоря града“, и „смирренный Ермоген — Гоа града, и „смирренный Василий — митрополит Нью-Йорка (!) града“ и „смирренный Захарий епископ Амеяна (Амиена?) града в Галии“... Список занимает около 350 газетных строк, причем составитель его, по-видимому, старался не пропустить ни одной заметной страны ни в одной части света. Для „поставления“ епископа Аркадия в гор. Левск, столицу Беловодского царства, съехались очевидно епископы всего мира, начиная с „смирненного Симеона, епископа Алторфа (Альтдорф?) града, неподалеку (!) от горы Готгарда“, — или еще более смирненного „кесаря-архимандрита афанасие-онуфриевского монастыря в провинции Алешенжо (?)“ и кончая более близкими к нам — смирненным Уамвльхом, архиепископом Толона града“, „Георгием — архиепископом равенским града рвина (!)“ и „Карпилием, Анжерского града“. Автор этой грамоты составлял ее по-видимому с каким-нибудь старинным учебником географии в руках, нисколько не заботясь трудностью—сводить в одну епархию Нью-Йорк и Потози,

¹⁾ См. Пермские губ. Ведомости 1889 г. №№ 247, 252, 253 и 278

Калькутту и Швейцарский Ааргау, Вальядолид и Парагвай. Столь же нелепа, детски наивна и невежественна автобиография Аркадия, рассказ его о путешествии в Беловодию и описание этой страны. Грустно подумать, что эта полуграмотная пачкотня способна еще и в XX столетии производить в нашем отечестве свое действие.

Теперь несколько слов о личности автора предлагаемого путешествия и об его рукописи. Как уже сказано, черновые наброски путешествия были сделаны полууставом. Полууставом же, к которому рука автора-казака очевидно более привычна, сделаны в переписанной рукописи надстрочные и на полях вставки и примечания. Подготавливая ее для печати, я позволил себе только, для облегчения чтения, разбить текст на главы и снабдить главы перечнем содержания. Затем мною же исправлены все чисто грамматические ошибки в написании слов и расставлены знаки препинания и абзацы. В остальном я сохранил в неприкосновенности своеобразный и часто очень выразительный при всей неправильности слог автора. Слог этот, как читатель заметит, — очень неровный. Наряду с наивной неповоротливостью изложения — встречаются с одной стороны целые страницы, в которых непосредственное красноречие достигает значительной выразительности и спилы (напр. указанные выше места гл. IX), — с другой страницы, напоминающие бесцветно-правильное изложение путеводителей и описаний, откуда вероятно они и заимствованы. Таких мест немного. Затем — наряду с формами архаическими, а также чисто народными или местными словами, — попадаются выражения в роде: „соединились в один тип с местными жителями“ (стр. 61), — „крик, потрясающий нервы (стр. 45), „трудно представить себе занятие, более неэстетичное (стр. 76). Все это, однако, не должно удивлять читателя. Даже более, — это именно характерно для „землепроходцев“ нашего времени, соединяющих с мирозерцанием XV или XVI века невольное знакомство с внешностью современной культуры. Проезжая по Красному морю, наши путники вспоминали Моисея Боговидца и переход

Израильтян. При этом они вглядывались в волны, чтобы увидеть, — „не вылазят ли“ из моря поглощенные пучиною „фараоны“, чтобы спросить у путников, скоро ли наступит светопреставление. Так им говорили старые люди на родине. Отметив это обстоятельство с оттенком некоторой иронии, автор переходит вскоре к описанию электрического фонаря, который пронизывал тьму египетской ночи с мачты французского парохода.

Эта двойственность проходит через все путешествие и отражается в самом слоге. Нет сомнения, что только при мировоззрении чисто детском или современном Марко-Поло можно придать серьезное значение наивно-невежественным рассказам топ-езерского инокa или Беловодского Аркадия. Невольно приходят в голову самые грустные мысли при чтении фантастической грамоты беловодского епископа, в которой Алтдорф, Ааргау, Амиен, Ольмюц, даже Нью-Йорк, выстроены в один ряд с неведомой Беловодией и задернуты одной завесой грубого невежества и незнания. Можно подумать, что самые элементарные географические познания для массы народа представляют еще грамоту за семью печатями, столь-же недоступную и фантастическую, как и сказочная Беловодия. Не надо, однако, забывать при этом, что все путешествие казаков, при незнании языков и без всяких пособий в виде карт или географических сочинений, — представляет психологически— настоящий подвиг с целью критической проверки этих же невежественных сказаний. Правда, и во время этого путешествия проявляется немало легковерия: автор верит, по-видимому, в „обжаренных рыбок“, которые „спрыгнули со сковородки“ во время завтрака Царя Константина в день гибели Цареграда. Он даже заглядывает испытующим оком в темную воду балыклинского бассейна, в смутной надежде увидеть один „ожаренный темно-красный“ бок этих рыб (стр. 19). Верит также и в то, что у гостиницы, у которой останавливаются палестинские паломники и туристы, сохранилась (весьма кстати) та самая смоковница, на которой около двух тысяч лет назад сидел Закхей в ожидании Христа. Даже подлинный дом доброго самарянина (из

притчи!) не возбуждает в нем особенного недоверия (стр. 39). Соляной столб, в который, за любопытство, была обращена жена Лота, по его словам, потому не стоит до сих пор близ Мёртвого моря, — что „ее давным-давно увезли англичане“ (стр. 41), а в городе Наблосе до сих пор „сохранились признаки, где ушиблась, упавши с верхнего этажа, Царица Иезавель и как собаки лизали её кровь“ (стр. 35). Вообще, если отважные путники наши представляли довольно благодарный материал для эксплуатации и обмана, густой сетью раскинувшихся над современной Палестиной, то все же порой в них просыпается критика (напр. по поводу славянской надписи на иконе Дм. Солунского — стр. 25), а иной раз как напр. в размышлениях о религиозной самонадеянности (стр. 35) — проявляются признаки настоящей разумной терпимости. Как ни слабы эти движения критической мысли, — не надо все-таки упускать из виду, что именно сомнение в подлинности маршрутов и сказаний Аркадия вызвало самое путешествие. И если этот тяжелый и трудный „опыт“ может принести значительную пользу людям одного с автором настроения, — то с другой стороны — для читателей из культурного слоя, быть может, главный интерес сосредоточится на своеобразных фигурах самих казаков-землепроходцев. Их настроение, которое переносит мысль на несколько веков назад и кажется таким архаическим, есть — и это следует помнить — настроение и мировоззрение огромной части русского народа.

Я полагаю, эти соображения служат достаточным основанием тому, что Географическое Общество решило издать настоящее „Путешествие уральских казаков "в Беловодское царство“.

В. Короленко.

Путешествие уральских казаков в Беловодское царство.

I.

Поводы к путешествию. — Рассказы о Беловодском царстве. — Маршрут инок Марка. — Первая попытка путешествия казаков по почину донского казака Шапошникова. — Появление на Урале „архиепископа“ Аркадия, якобы поставленного в Беловодии. — Сомнения в подлинности его.

Прежде чем приступить к описанию нашего путешествия, я поясню читателям, что именно побудило нас к этим трудам. В текущем столетии распространилось много письменных маршрутов, указывающих, что на Японских, Савичевых и Аланских островах народы цветут христианским благочестием от проповеди Фомы апостола. В особенности маршрут под названием инок Марка (бывшей Белозерской обители), который будто бы сам с двумя товарищами путешествовал чрез Китайское государство и достигли этих островов и Беловодии; на этих-де островах народы русские имеют до 40 церквей с полным духовенством и на сирском языке народы имеют множество церквей и патриарха. Товарищи инок Марка остались навсегда там, а сам Марк возвратился обратно в Россию и путешествие свое подтверждает Евангельским словом. Слух этот для наших, как называют, „никудышников"¹⁾, желающих снабдиться древней хиротонией священства, настолько показался правдоподобным, что никудышники в 60-х, годах составляли несколько съездов, на которых совещались для отправления депутации в восточные края.

¹⁾ „Никудышниками“ в области Уральского войска называются старообрядцы беспоповцы, не признающие ни одной из существующих иерархий священства (т. е. православной, единоверческой, беглопоповской и белокриницкой).

Но решение долго не могло состояться, так как чрез азиатские владения депутации к путешествию решаться было опасно, а чрез Одессу морями в Индейский океан нужно было принять много трудов (в то время Суэцкий канал не был еще разработан). Наконец донской казак Дмитрий Петрович Шапошников (житель г. Новочеркаска) вознамерился на свой счет послать депутацию в Ост-Индию; от нас же (уральцев) попросил только людей.

В то время для поездки за границу по выбору назначен был казак Головского поселка Варсонофий Барышников, которого Шапошников снарядил с двумя товарищами в дорогу и вручил им денег 500 червонцев. Барышников проехал чрез Суэцкий канал, доезжал до Ост-Индии, был в городе Бомбее и на Малабарском берегу; но далее проехать им по каким-то препятствиям не пришлось, и они приехали обратно в Новочеркасск. Оставшиеся от поездки червонцы Барышников сдал обратно Шапошникову. При этом Шапошников сказал Барышникову: „Я деньги эти давал не с тем, чтобы Вы мне их привезли обратно. Если бы утратились они все на путешествие, мне было бы приятнее“.

После этой попытки вскоре явился в Пермской губернии „архиепископ Аркадий“, который назвался беловодским. Слух об этом опять пробежал по всем старообрядцам. Немедленно от нас была послана депутация из двух человек (В. Барышников и Раннинского поселка казак Устин Пустобаев) к Аркадию беловодскому, чтобы узнать, какими путями выехал он из Беловодья в Россию. Но Аркадий при всем разговоре уклонялся открыть свой путь и метоположение Беловодии, а только не стыдясь навязывался ехать с ними на Урал, или предлагал хотя бы одному из них принять от него хиротонию во священника. Тогда Барышников и Пустобаев в свою очередь стали с ним обращаться уклончиво и уехали обратно, не пригласив его с собою и не приняв от него хиротонии, а признавали его за самозванца и бродягу. Лет 5—6 тому назад Аркадий беловодский достиг своей заветной цели: случайно пришлось ему приехать и самому в пределы уральской области в поселок Силкин (Благодарновской станицы) к почетному казаку Степану Силкину. Здесь

лжеархиепископ Аркадий сумел на какой-то струне заиграть в сердце богобоязненного человека: он подделался во всем согласным в понятии и толковании со Степаном Силкиным, и в Силкиных (хуторах) образовал приход, поставив в попы вывезенного из Общего Сырта, Бугурусланского уезда какого-то мордвина с долгими волосами, а в Соболевской станице в поселке Протопоповом поставил в попы казака Ф. Л—на, который, не имея прихода, кроме своих семейных, и до сего времени не выучил ряд священнической службы; а другого казака Мустаевской станицы, уже совсем безграмотного, хиротонисал в архимандриты.

В 97 году на, съезде в Головском поселке мне пришлось видеться с новопоставленным архимандритом Израилем, и я спросил его: „Отец Израиль, скажите Бога ради: чем вы могли удостовериться в истинности архиепископского звания Аркадия Беловодского и даже принять от него архимандрита нового рукоположения?“

Израиль ответил: „Я удостоверился на основании прежнего быта. А именно: в святом писании говорится, что посланы были от христиан некие старцы на поклонение к святым местам, с тем, чтобы в обратный путь принесли с собою частичку святыни. Старцы посетили все святые места, но на обратном пути вспомнили, что от святых мест ничего не взяли и придумали между себя: возьмем простую вещицу на подобие святыни и скажем братии: „принесохом от святых мест“. По приходе старцы показали всей братии лже-святыню. К ним повезли больных, хромых, слепых и разных калек, которые с уверением и чистою совестью приступали к мнимой святыне и по своей вере получали недугам исцеление до тех пор, пока старцы не признались явно в своем обмане. По признании же неправды от мнимой святыни больным отрада быть прекратилась. Так вот и я верю страшным клятвам Аркадия, что он принял чин архиепископа от патриарха Мелетия в Канбайском¹⁾ царстве восточного Индокитайского

¹⁾ „Канбайское царство“ нередко упоминаемое и дальше, означает, очевидно, Камбоджу, одно из государств Индо-Китая, у Сиамского залива, граничащее с Сиамом, Аннамом и Кохинхиною.

полуострова. А когда он признается в своей несправедливости, тогда и я от него откажусь. Теперь же, пока я по чистой совести верю его евангельским клятвам, надеюсь получить душе спасение по вере“.

Я сказал: „теперь вы доказали свое уверение к Аркадию Беловодскому на основании Вами сказанных старцев. Нужно будет, братие, об этом посудить: те старцы были всем известные, доброго жития и правохристианского исповедания; посланы они были тоже к известным уже святым местам, которых старцы и достигли; по поклонении же забыли взять для них нужное и случайно придумали пополнить неправдой.

Больные доверяли им, как известным достойным христианам. Притом, видимостью приступая к принесенной старцами святыне, мысль свою они повергали к той истинной святыне, куда посылались старцы. Поэтому больные и получали исцеление. А об Аркадии кто может подтвердить, что он истинный христианин (не говоря об архиепископстве). А может быть он католик или протестант и указывает на местность Канбанжи (Камбоджи) и Беловодию, где нам ясно неизвестно даже, пребывают ли там христиане? А что, если окажется, что там нет христианства, а только одни многобожники буддисты? Нет основания брать пример с известных и по житию свидетельствованных лиц на неизвестного никому, принявшего на себя титул архиепископа и указывающего на местность никому неизвестную. А вернее может подпасть он, Аркадий, как положено в Номоканоне: „аще ли неции поупущением Божиим в толикое приидоша дерзнутие, яко же не верни и злочестивни; неверие бо есть вещь таковая, еже кроме священства прияти хиротонию, священная действовати, — несть слово рещи о осуждении сицевых. Сие бо дело горше есть и самих тех нечестивых бесов, во ангела светла прообразующихся, но не сущих и Божие убо лицемеретвующих, безбожных же сущих и противных Богу. Ниже бо гласы божественные от них, ниже где крещенных или хиротонисанных; сии бо ни хиротонисаны, ни крещени суть. Никто же бо дает не имеяй, и никто же примет от

неимушаго, аще и мнится имети“. Так и вы получили от него чин архимандрита, а он сам быть может самозванец.

Архимандрит Израиль, видя, что показанный им пример известных старцев совсем. неподходящий, смутился и наконец сказал: „Что же теперь делать? По всему, нужно доехать и осмотреть восточный Индокитайский полуостров и прочие восточные острова". Многие стали говорить тоже: „без отлагательства нужно доехать до показанных мест маршрутами и Беловодским Аркадием“.

II.

Съезд в Кирсановском поселке и выбор депутатов для нового путешествия в Беловодию. — Отъезд. — Встреча с бывшим крепостным человеком. — „Зайчик" в вагоне. — Новочеркасск. — Ростов. — Таганрог. — Екатеринослав. — Одесса. — Пароход „Царь“. — Отправление войск на Крит. — Прибытие в Константинополь. — Перевозчики и их вымогательство. — Затруднение в турецкой таможне из-за револьверов. — Андреевское подворье. — Прощение, поданное казаками Константинопольскому патриарху с вопросными пунктами о митрополите Амвросии.

После этого, в 1898 году, 25-го января состоялся съезд в Кирсановском поселке, на котором порешили отправить депутацию из трех человек для отыскания этих стран, процветающих древним благочестием. Выбор пал на трех человек: казака Мустаевской станицы Онисима Варсонофьева Барышникова, урядника Рубеженской станицы Вонифатия Даниловича Максимычева и Григория Терентьева Хохлова (Кирсановской станицы). На расходы было собрано 2,500 рублей, да жители города Уральска прибавили от себя около 100 рублей. Около половины февраля каждый из депутатов выправил от станичного атамана удостоверение о неимении препятствий к выезду за границу, в чем помог нам безвозмездным написанием

прошений действительный студент Николай Михайлович Логашкин. Затем 22-го мая из областного правления выдали нам билеты на семь суток до Одесского градоначальника, и того же числа, в 8 часов мы тронулись в путь по железной дороге из Уральска до слободы Покровской. Здесь нас через Волгу перевезли на пароходе в Саратов, где нам пришлось ожидать поезда часа 4, после чего мы поехали на Тамбов и Козлов.

В Козлове на вокзале встретился нам человек по росту мальчик лет 8—9, опиравшийся на посох. Но по лицу был старик и на вопрос мой ответил, что действительно ему уже 68 лет. Он рассказал, что живет под Козловым верстах в 50-ти. Был когда-то барский, пас скот. За провинность барин своеручно высек его, так что даже спустил с задницы всю шкуру; но и это ему показалось мало, так приказал подвесить под мышки на полтора часа; после же этого в числе четырех ребят променял его на трёхмесячного щенка. „Вот как в прежние времена, говорил он, терпели крестьяне от недобрых господ, а у добрых житье было лучше, чем как на воле“. Он попросил у меня копеечку. Я подал пятак и поскорее побежал на поезд.

За Козловым на 1-й станции появился в вагон молодой человек лет 18-ти и сказал: „Казачки! нельзя ли мне будет проехать около вас зайчиком?“ Мы, не понявши этой игры, спросили: „а кто же будет собакой?“ — Кондуктора, — ответил на это молодой человек: я залезу под койку и, согнувшись, буду все время лежать. — „Дело твое, ответили мы. Только вместо зайца не оказался бы ты волком: у нас тут вещи. Ты их, пожалуй, потянешь“. Он побожился, что дурного от него не будет, полез под койку и лежал, как есть заяц. Так проехали около 200 верст. При проверке кондуктора усмотрели под нашей койкой зайчика. Впрочем, зайчик, как видно бывалый, отдал им 50 коп., а деньг, как видно, повсеместно добавляют правды. Кондуктора скоро сменились, а зайчик опять притаился и за эти 50 копеек доехал до Новочеркасска.

Город Новочеркасск расположен на горе при реке Доне. Постройка домов изукрашена разными фигурами, по обрезам

панелей рассажены высокие раины¹⁾ Здесь пришлось нам пробыть не более 4-х часов. Казака Шапошникова дома мы не застали и поехали на Ростов, оттуда на Таганрог и Екатеринослав, где ждали поезда 8 часов. Здесь, отправившись на базар, в первый раз встретили мы электрические вагоны. Сели, отдали по пяти копеек, машинист повернул рукоятку, и вагон быстро с визгом побежал по чугунным рельсам на крутую гору. Не мало дивились мы этому электрическому устройству. Потом в Елизаветграде мы еще раз проехали на такой же тележке.

29-го мая, в 7 ч. утра мы приехали в г. Одессу и того же числа подали просьбы Одесскому градоначальнику, графу Шувалову на предмет выдачи нам заграничных паспортов. 30-го мая получили паспорта, а 31-го мая в 9 ч. утра разочлись в гостинице за нумера, наняли извозчика, поехали на пристань Чёрного моря. Это было на вешнее заговение, в воскресный день; берег пристани морской покрыт был войсками и множеством градского и стороннего народа. Мы немедленно купили пароходные билеты и взошли на военный пароход, под названием „Царь“. Вскоре за нами взошел один батальон солдат, который следовал на остров Крит. Остальные войска стояли на берегу, два хора духовой музыки уныло играли, отъезжающие солдаты в печальном виде стояли на палубе. Наконец раздалось слово „смирно"! Солдаты встрепенулись, музыка замолкла, и так было спокойно и тихо, словно все померли. Подъехала карета, из которой вышел человек пожилых лет, стройный, высокого роста, с грудью, покрытой орденами. Это был командующий войсками Одесского военного округа, который поздоровался с войсками, взошел на пароход и поздоровался с отходящим батальоном; затем священник отслужил на пароходу молебен, после чего командующий войсками уехал, музыка снова запела печальным голосом, пароход „Царь“ заревел во все горло и пошел в открытое море.

¹⁾ Раиной на Дону называется пирамидальный тополь.

В ночь на 1-е число месяца июня' поднялся сильный ветер, полил дождь, заблестала молния, загрохотал гром, пароход от волн с боку на бок переваливался, но перед утренним светом ветер затих, а на восходе солнечном по обеим сторонам парохода выпрыгивали из моря водяные свиньи. Солдаты и все мы, пассажиры, весело смотрели, как эти чудовища целыми семьями выпрыгивали и играли.

В 10 часов дня появились признаки зелени; *это были горы по сторонам Константинополя. В два. часа пополудни наш пароход вошел в Константинопольский пролив, по взгляду шириною две версты. Интересно и весело было смотреть: на берегах, по обеим сторонам пролива расположена древних греческих царей столица, под названием Царь-град. Проехав верст пять проливом, повернули направо в бухту, называемую Золотой рог, который на протяжении 7—8-сот сажень наполнен пароходами и баржами. Проехав Золотым рогом ста четыре сажени, на середине мы остановились. Тут суеилось в лодках множество турок, которые возят пассажиров с пароходов на берег, в числе коих оказались три лодки греческие, нанятые от русского подворья для перевоза русских паломников. В Константинополе откуплены русским правительством три подворья: Пантелеймоновское, Ильинское и

Андреевское, на которых выстроены о четырех и пяти этажах огромные дома с роскошными помещениями. В них проживают монахи, высланные с Афонских русских монастырей для принятия русских, приезжающих на поклонение святым местам.

При остановке русских пароходов, монахи подъезжают на лодках, выходят на пароход и приветствуют желающих посетить ихнее житье и посмотреть русскую роскошную постройку. Нам с монахами вместе уехать не случилось; спустились мы по пароходной лестнице и сели к турецкому перевозчику. Турок перевез нас на берег и, протягивая к нам руку, закричал: „бумажка, бумажка!" Нам показалось это за перевоз очень дорого, и я дал ему 60 коп.. Турок денег не берет и из лодки на берег нас не выпускает.

„Отдай чего просит, — сказал мне Максимычев: — не в русскую страну мы заехали". Я вынул рубль, подаю его турку, он получил рубль и, улыбаясь, сказал: „а, бумажка!“

Стоявшие на берегу двое турок взяли наш багаж, понесли не более 10 сажень, в таможеню, положили и, протягивая к нам руки, также начали говорить: „бумажка, бумажка!" Максимычев, улыбаясь, сказал мне: „Чего стоишь? Выпячивай бумажку!“ Я вынул два чирека (по 40 к.) и отдал им.

Таможенная стража, при осмотре наших вещей нашли бывшие при нас по револьверу и по 50-ти патронов, которые от нас отобрали и самих нас признали за шпионов, хотели арестовать, но, благодаря защите монахов, отпустили, и монахи взяли нас к себе в Андреевское подворье. Эконом подворья устроил нам на 3-м этаже одну комнату, при ней три железных койки с прибором под стенами.

Между этих русских построек, греки откупили у турок сажень 15 (квадратных) земли и построили летний трактир. Каждый день перед солнечным закатом сюда собираются болгары, греки, черногоры, сербы и итальянцы с музыками, играют, поют и выпивают до 2-х часов ночи. Экононы русского подворья не раз уже пытались просить греков об уничтожении музыкальных игрищ под стенами подворья, но греки не обращают внимания на просьбы и даже делают напротив: монахи начинают служить вечерню, а греки с прочими играют в музыку и поют песни.

Второго июня мы направились в патриархат. Путь нам лежал по мосту через Золотой рог. Этот мост битком набит проходящим народом; за переход взимается по 2Vг коп. с пешего. В течение каждого часа мост зарабатывает 270 руб. На половине моста мы спустились и сели на турецкий маленький пароход, проехали версты две, до пристани Фанарь, и вошли ко вселенскому патриарху в канцелярию. Секретарь патриарший Христопа-Иоанну спросил нас на чисто-русском наречии: „Кто есть Вы и чего Вам нужно?" — Уральские казаки, — ответили мы, — нам желательно узнать о бывшем Босносараевском митрополите Амвросии?“ — „О чем же это замечательное дознание?“ —

спросил опять секретарь. — „По какой вине был отозван с кафедры митрополит Амвросий Босносараевский в 1840 году?“ На вопрос этот секретарь сказал: „Вам нужно подать прошение на бумаге“.

3-го июня мы приготовили прошение, а 4-го июня подали в Патриархию, в котором написано следующее:

„Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Константину 5-му и находящемуся при нем Святому и Священному Синоду.

Ваше Святейшество!

„Ниже подписавшиеся представители Старообрядцев Уральского края в России, подвергая Вашему Святейшеству и Святейшему Синоду Патриаршему на обсуждение нижеследующих шесть вопросов, мы имеем честь покорнейше просить Ваше Святейшество не отказать выдать нам письменно ответ на них. Вопрос I-й: по какой вине был отозван с кафедры митрополит Амвросий Босносараевский в 1840 году? Вопрос II-й: был ли произведен суд Амвросию от синодального начальства по отозвании с кафедры Боснийской? Вопрос III-й: остался ли Амвросий при своем сане митрополита после суда, ежели был над ним суд? Вопрос IV-й: литургисал ли он в облачении архиерея на сопрестоле в какой-либо церкви по отозвании с кафедры из Боснии после 1840 года? Вопрос V-й: какие сведения имеются в Патриархии о смерти Амвросия: умер ли он в соединении с православною греческою церковью или до конца оставался соединенным с старообрядцами в Австрии? Вопрос VI-й: какое значение имеет фраза в 5-м пункте, данного из Патриархии в 1876 году старообрядцам ответа об Амвросии? Значит ли она, что Амвросий был под запрещением, или что он жил в Константинополе без места?

Константинополь, 3-го июня 1898 года.

Вашего Святейшества покорнейшие слуги Уральского Войска: казак Григорий Терентьев Хохлов, урядник Вонифантий Данилов Максимычев, Анисим Варсонофьев Барышников“.

При подаче просьбы мы просили, чтобы нам дали точные сведения, которые чрез 4 месяца выслать к нам на Урал, потому что из путешествия мы раньше возвратиться не надеемся.

III.

Новые затруднения из-за оружия. — Поездка по подземной дороге. — Парад и высочайший смотр в Константинополе. — Разговор с турками о войне и опасность столкновения. — Разговор с греком. — Султанские жены. — Церковь Балыклейская и её предание. — История завоевания Константинополя турками. — В турецком правлении. — Отъезд из Константинополя.

Того же числа из турецкого таможенства пришел в Андреевское подворье человек, который объявил нам, чтобы один из нас явился в таможенство. Пришел я; спросили у меня: „Можешь говорить по-турецки?“ — „Нет“, ответил я. Тогда отыскиали переводчика, который спросил меня по-русски: „Ты капитан?“ — „Да“, ответил я. — „Для чего имеете при себе револьверы и по пятидесяти патронов?“ — „Как ясе нам при себе не иметь оружия? Мы едем в дальний путь. Случится быть в каких местах опасных одним при нападении злодеев, чем же мы защитим от гибели свою жизнь, кроме оружия?“ — „Это в России можете ездить с оружием, ответил он, но у нас в Турции строго воспрещается иметь русским при себе какое-либо оружие. Хотя из паспортов ваших видно, что вы казаки, но может быть вы какие-нибудь шпионы. Хорошо, что за вас поручились монахи; а не поручись они, тогда бы вас арестовали, и вы сидели бы, пока не навели бы о вас справки“. — „Мы не знали такового воспрещения и покорнейше от вас просим извинения, сказал я. Теперь могу я получить их себе на руки?“ — „Нет, — сказал переводчик и, достав револьверы: — это ваши?“ спросил он, держа их в руках. — „Наши“, сказал я. — „Вот мы их опечатаем и передадим в главную таможеню, а вы обратитесь к русскому консулу, пусть он

представит о вас сведения: кто вы. А за револьверами при отъезде вашем вышлет своего гаваса, тогда вы получите их“.

5-го числа пошли мы в русское консульство; нам сказали идти на туннель. Вошли мы в здание на подобие какой-то магазины, в середине небольшая комнатка, вокруг которой масса людей. Подошли мы поближе и усмотрели, что из этой комнаты человек в окно выдает билеты, а в саженях пяти, в полутемном месте стоят вагоны. Получившие билеты идут к вагонам.

Мы также купили билеты и в числе народа пошли в вагоны. В каждом вагоне были пристроены по две лампы; через пять минут дан был свисток, тронулись вагоны и резко двинулись вперед, под землю.

— Не в ад ли нас повезли, товарищи? — сказал Максимычев.

— Нет, вагоны поднимаются кверху, а в ад спускались бы вниз...

— А куда же под землю нас вагоны везут, а паровика нет. Чем же двигаются вагоны?

— И я этому удивляюсь, ответил я. Минут чрез 5 нам завиднелся свет, и выехали мы подобно в такую же комнату. Вагоны остановились, и мы сошли.

— Бес никак на хвосте эти вагоны таскает, — сказал я Максимычеву, а Максимычев в это время что-то смотрел вниз под вагон.

— Эй, смотри, чем действует! — закричал он. Я подбежал к нему и спросил: — „Где?“ — „А это что?“ Действительно, за передний вагон внизу пристроен был широкий ремень, который тянет вагоны на гору под землю, а другие вагоны этот же ремень спускает напротив вниз, по другим рельсам. Но чем же тянет кверху этот ремень? Не иначе — машина, которая работала посредством ремня.

После этого мы нашли русское консульство и обратились к секретарю, который спросил у нас заграничные паспорта. Мы их ему подали. Он просмотрел паспорта и спросил нас: когда думаете выехать из Константинополя? Мы рассказали, как в таможенстве у нас отобрали револьверы. — Да вам не нужно было брать

револьверы с зарядами, сказал он. — Их надо было оставить на пароходе, явиться к нам и заявить. Тогда я послал бы гаваса, который без препятствий мог пронести их сюда, или уж нужно их спрятать подальше. — Мы не знали, Ваше Высокоблагородие, о такой строгости, — ответили мы, а то могли бы их спрятать так, что при обыске не могли бы найти. — На следующее время так и делайте, улыбаясь сказал секретарь, — а теперь ваши паспорта вас оправдают; 8-го числа приходите к нам в консульство, мы дадим вам дескире (турецкие билеты), с которыми вы можете разгуливать по Турецкой державе.

Поблагодарили мы его за добрые предлоги и пошли обратно на подземельную дорогу. Вскоре дан был свисток, и вагоны полетели вниз, под землю, словно в какую пропасть. „Ну, вот, теперь летим как в тартар, сказал я. Если бы так на первый раз эти вагоны потащили нас вниз, наверно мы устрешили бы. А теперь, хоть и вниз нас тянет, — не страшно“. Пока продолжали между себя этот разговор, вагоны выбежали на свет и приостановились. Слезли мы с вагонов и пошли пешком в Андреевское подворье.

На Андреевском подворье нам сказали, что в 12 часов того же дня султан турецкий будет осматривать войска. Мы пожелали видеть высочайший смотр: разыскали себе жоака из русских, Киевской губ., с давних лет за границей бродяжничающего, который привел нас на плац-парад, где выстроен дворец. Среди дворца раскрашенная, большая и высокая мечеть. Ворота во дворец в это время были растворены, вокруг дворца и на плац-парадной площади довольно было жандармов, которые строго следили за каждым движением густой массы зрителей. Мы с Максимычевым пробрались вперед и вознамерились войти во внутрь дворца, но в воротах жандармский офицер нас приостановил, но не арестовал, потому что мы скоро догадались, дали вилка и скрылись в густую массу народа. Тут подошел к нам турок и занялся с нами разговором: „А, русска, — русска, — я Харьков был“. — „Зачем в Харьков ты ездил?“ — спросили мы. — „Осман-паша — плен, плен, твоя был Скобиль, Курка (Гурька), ты был Курка?“ спросил он, указывая на нас. — „Был, ответили мы

ему, турка гонял, гонял“ (показывая ему признак рукой). Турок переводил другим туркам наши речи, и они начали на нас смотреть недобрыми взглядами. Вожак заметил: „Берегитесь! Что вы с ними разболтались! Они вас убьют, и мне с вами не уйти“.

В это время подходили конные войска, в каждом полку играла духовая музыка; за конницей, по извилистым улицам, тянулась пехота, колыхалась, как трава; черные мундиры, на головах надеты красные фески с черной кистью. Также при каждом батальоне духовая музыка.

Остановились войска при своих местах. Затем подъехала карета на тройке серых лошадей, из которой вышел молодой, лет 16-ти господин, среднего роста, с широкими плечами и висячими эполетами. К нему подбежали два чиновника, взяли его под руки и пошли с ним к генералам (это был сын Османа-паши). Между войсков оставлено было место, как улица, по которой проезжали 12 красивых карет. Кто сидел в этих каретах — заметить было нельзя, но говорили зрители, что в каретах проезжали султанские жены, которые и въехали во дворец. После карет, этой же улицей проходили до 200 генералов, с золотыми блестящими эполетами, груди изувешены орденами. Они вошли тоже во дворец.

Затем азан (муэдзин?) влез на возвышенное место мечети и заорал во все горло: „Алла-акпер!“. Перекричал ли он все, что было нужно, или перехватило ему горло, только скоро он с высоты скрылся. После чего на этой же улице появилась вновь карета, от лучей солнца блистало на ней золото. Сажень на 15 впереди кареты ехал всадник на белом коне (кто именно — не знаю), а в карете ехал тихим шагом человек средних лет, нежного лица, с черной окладистой бородой. Это был турецкий султан. Султан здоровался с стоявшими по обеим сторонам войсками. Духовые музыки непрерывно играли, и въехал во дворец, вылез из кареты и вошел в мечеть. Более смотреть нужным мы не сочли и пошли обратно в подворье.

6-го июня вышел я на пристань Золотого рога и сел на одном прекрасном месте; подошел ко мне лет 30-ти человек, который поздоровался со мной на русском наречии, сел со мной рядом и

сказал: „Видится— ты российский?“ — „Да, а ты кто?“ спросил я его. — „Я — грек“, ответил он мне. — „Где же ты научился говорить по-русски?“ — „В Елизаветграде я 8 лет жил“.

Я стал воображать мысленно, о чем бы мне с этим человеком поговорить и чего спросить.

— За Золотым рогом, на берегу морского пролива какие прекрасные и высокия здания. Это не дворец ли турецкого султана? — спросил я. — „Нет, это дворец был древних греческих царей, это самая древняя столица Царьград, в этих зданиях находился царь Константин. Этот город обнесен кругом тремя высокими стенами, чрез каждые 25 сажень выкладены высокие барбетты по край последней стены, кругом обрытой канавой в 6 сажень ширины и 3 сажени глубины; берега канавы сверху до низу выстланы мрамором, чтобы не осыпался берег в канаву, а в канаву напускалась вода“.

— А теперь в этих высоких зданиях кто проживает? — спросил я.

— В одних зданиях турецкий монетный двор, а в других — соблюдаются умерших султанов жены.

— Это как же соблюдаются султанские жены — живые или мёртвые, мне что-то непонятно? Пожалуйста, расскажи, чтобы я понял.

Улыбнулся мой собеседник. — „Наверно ты о султанских женах ничего не слыхал, поэтому тебе непонятно. Ну, послушайка, я тебе расскажу: турки вероисповеданием магометане, или сказать: мусульманы. У них в году соблюдается один месяц поста, этот пост бывает не всегда в одних числах, но на каждый год отступает дней на 10, и поэтому магометанский пост может быть летом и зимою. Пройдя их пост, тут бывает у них праздник и празднуют три дня. В этот праздник султан турецкий каждый год и женится.

— Как же он женится: содерживал пост, когда же он успел сватать, да притом еще нужно было приискать невесту, — возразил я.

— Ты погоди, погоди, не торопись, я тебе все расскажу по порядку, не перехватывай, пока я не кончу рассказ.

— Ну, пожалуйста, извините, теперь я буду молчать и слушать от тебя, — сказал я.

— Вот к этому празднику султану готовят дюжину шестнадцати лет красивых и знаменитых девиц, одним словом, писанных красавиц. Да это случалось и у греческих царей, может быть и вы историю читали: как Филарета Милостивого внуку выбрали в числе других девиц в супружество юного царя и, когда девицы были представлены к царю, то выпало счастье на внуку Филарета, ее признали достойной быть супругой императора. Подобно тому и турецкому султану к этому времени представляют красавиц, разумеется, одна другой превосходнее. И вот на каждый год султан по одной девице берет за себя. В течение своей жизни иной наберет их несколько десятков, а придет время, султан помрет. Вот эти-то жены и запираются в Константинов дворец безвыходно, под строгим наблюдением караула, как преступницы.

— Скучно же и тоскливо положение ихней жизни, сказал я. Иная останется 16—17 лет и должна проводить всю жизнь в мрачных угнетениях. Плохо женам, оставшимся после его смерти.

— Некоторым случается и осчастливиться, — ответил он.

— Каким же случаем?

— А вот каким: за великие услуги какого-нибудь генерала иногда награждает их султан своими женами, и этот генерал считается великим счастливецом.

— А дарить-то, я думаю, которая самому мерзит! — сказал я.

— Не иначе так, как русские говорят: что самому не гоже, то тебе Боже.

Хотел я спросить еще кое-о-чем, да подошел к нам какой-то господин, и они от меня ушли на базар, а я вернулся на свою квартиру.

7-го июня, в день недельный, мы пошли на место, называемое турками Балыклы, где построена греческая церковь, называемая Балыкльнская. Эта местность за Золотым рогом. Перешли богатый мост, версты три шли пешком, 25 минут ехали по

железной дороге и проходили через крепость царя Константина. Не мало удивлялись мы укреплению крепостных стен и высоких барбетов, которые лет 5 тому назад от землетрясения полопались, и обозначаются на стенах и барбетах большие щели, отчего должны местами рушиться. Предание о Балыклах слывет такое: весной 1453 г. огромное турецкое войско (около 250 т.) под предводительством самого султана Ахмета Муратова¹), двинулось к столице Византии (Царьграда). У турок был большой флот и громадная артиллерия. Особенный страх наводила „Ахметова пушка“, которая стреляла каменными ядрами весом около 35 пудов.

Цареградским императором в это время был Константин XII-й. Он сделал все, что возможно было, для спасения столицы: укрепил стены, напустил вглубь канала воды, запер гавань цепью. Ахмет, по невозможности прорвать цепь, заграждающую путь в гавань, приказал перевести туда корабли по доскам, намазанным салом. Тогда началась осада Царьграда и с суши, и с моря. Не смотря, однако-ж, на это, греки около двух месяцев геройски отражали нападения страшного врага. 29-го мая, при первых лучах восходящего солнца, турки повели общий приступ, греки дрались с мужеством отчаяния. Сам император Константин подавал пример храбрости и самоотвержения. Наконец, император, утомленный битвой, вознамерился подкрепиться хлебом-солью. Обед ему был приготовлен у источника (раньше слепым открытого). Когда подали ему на сковороде жареную рыбу, в это время прибежал один воин с битвы к императору и объявил ему, что турки пробили стены. Император не хотел верить: „как невозможно жареным рыбам ожить на сковороде, так и туркам пробить наши крепкие стены“. И вдруг три рыбки встрепенулись со сковороды и упали в источник. Тогда император уверился, перекрестил свое лицо крестным знаменем, выскочил из-за

¹) Магомет II, Завоеватель, сын Мурада II-го.

обеда и сел на коня, на котором, как птица, полетел к градским воротам. В ворота уже вошла часть турецкого войска. Император на всем скаку рубил врага, турецкие воины падали с коней, как от помохи¹⁾ не созрелая пшеница. На подкрепление туркам вышел знаменитый визирь с своей дружиной. Константин ударил своей могучей рукой и разрубил визиря до седельной подушки, отчего дружина и турецкие воины сильно уstraшились и обратились в бегство. Константин со своими воинами гнали их, рубили и кололи до Золотых ворот. Но из ворот напротив им выступали турецкие свежие войска из янычар. Напрасно Константин старался остановить их своей острой саблей. Один воин из сильнейших арабов копьем пронзил Константина в сердце, отчего Константин наклонился на переднюю луку седла. Турки не дали ему свалиться с коня, подхватили и представили к Ахмету.

По убиении Константина, греки оробели и побежали. Тогда началось истребление христиан и разграбление города, что продолжалось три дня.

Так пала древняя Византия. Ахмет Муратов сделал Константинополь своею столицей), и вскоре турки покорили остальные части греческой империи и образовали обширное государство, которое было грозой в то время для всей Европы. Но в настоящее время Турция сильно ослабела и обеднела: по городам, кроме Константинополя, в войсках на кухнях варят солдатам, вместо говядины, жидкий изюм с примесью риса или сарачинской крупы; мундиры на солдатах все в заплатах, на самих нападает повальная чесотка, как в сухменные и голодные года на скотину.

Вход в Балыклинскую церковь через источник Балыклы, у которого устроено подобие моельного дома. На восточной стороне стоит множество образов, на западной источник быстро истекает в бассейн, выложенный белым мрамором. Около

¹⁾ Помохой называют на Урале сухие туманы, очень вредные для незрелых хлебов.

родника, на высоте от воды аршина два, стоят два больших таза, искусственно выделанные из Белого мрамора. Приостановились мы и взглянули в источник, в котором даже и воду не ясно было видно, и зашли в церковь, где началась уже обедня в присутствии епископа. В церкви по всей стене стоят кресла, прикрепленные к стене, на которых сидят греки, пришедшие к обедне. Некоторые стоят, но только большая часть прихожан имеют на головах турецкие фески. И даже когда прикладываются к напрестольной иконе, и тогда фесок с головы не снимают. По всему—обычай этот имеют с прежних времен.

По окончании обедни греки поголовно пошли к источнику, у которого приставленный человек черпает воду и наливает в эти два таза, у тазов также два человека. Народ подходит к ним, они черпают каждый из тазов и подают подходящим, которые ее пьют и умываются. Мы подошли. Я наклонился и стал смотреть пристально в родник, увидел одну рыбу величиной вершка в 3—4. Эти ли сохранились рыбки, которые у Константина со сковороды прыгнули в родник, или уже иные—сказать не могу. 0 рыбках же Константиновых передают так: одна сторона белая, а другая ожареная тёмно-красная. Этого я не заметил (да и то рыба взошла сверх Белого мрамора, который на $\frac{1}{2}$ арш. под водой, а в середине родника совсем бы не увидел).

8-го *Июня* втроем мы пошли в русское консульство за свидетельством (дескире). Секретарь консула приказал писарям изготовить при дескире, передал их нам и приказал с ними обратиться к турецкому правительству. Мы немедленно отправились в Стамбул. В дверях правления стоял турок, который потребовал за вход в правление деньги. Мы следуемые(!) за вход деньги ему уплатили, взошли по ступеням на второй этаж в турецкую канцелярию и подали бывшие при нас от консула удостоверения. Нам приказали обождать в обширном помещении, где находилось множество разных наций народа. Подошел к нам один человек в турецкой феске и вступил с Барышниковым в разговор, спросив: какой губернии? „Мы уральские казаки, а ты

кто?" — спросил Барышников. — „Я крымский татарин“, ответил он.

— „А по какому делу ты находишься здесь?“ повторил Барышников. — „Так, по своему делу.“ В это время вышел из канцелярии писарь, дал знак нам рукой, чтобы один из нас вошел в канцелярию, но мы не поняли, потому что турок вместо того, чтобы манить нас к себе, — руку обратил ладонью от себя прочь и махает рукой вниз, только у руки пальцы подгибает к ладони (в Турции такой обычай). А мы, вместо того чтобы подойти к нему, подались назад. Турок видит, что мы подвигаемся назад, еще сильнее начал махать рукой вниз. Мы поняли так, что он приказывает нам сесть, и сели среди народа. Турок подошел к нам, взял меня за руку и потарабанил в канцелярию. Здесь председатель спросил меня на турецком наречии: „Можешь говорит по-турецки?“ „Никак нет,“ ответил ему я. Тогда он приказал найти переводчика. Мы указали на крымского татарина, но татарин объяснил, (будто) по-русски говорить не знает. Что заставило его отказаться от русского языка—не знаю.

Писарь отыскал переводчика из черногорцев, и мы опять вошли в канцелярию, где через переводчика спросили меня: „Что вы за люди?“ — „Русские“. — „А фуражки, которые на себе носите, какая это форма?“ — „Казаки Уральского войска“. — „Значит, что вы военные?“ — „Никак нет, по выслуге уже лет.“ — „Почему же на вас форменная фуражка?“ (а сам быстро смотрит мне в глаза). — „У нас в Уральском войске казак всю жизнь форму не покидает.“ — „Какое вероисповедание?“ — „Христианское.“ — „Чем занимаетесь в своем месте?“ — „Занятие наше рыболовство и хлебопечение.“ — „Для чего выехали за границу и куда едете?“ — „Едем на поклонение святым местам и мимоездом желаем побывать в Афоне, в Салониках, Смирне, на о. Кипре, в Иерусалиме.“ Чиновник выслушал и приказал приготовить для нас дескире. Писарь вынес дескире в коридор и при выдаче их нам сказал: „аша, аша“. Мы не поняли его, стали искать упомянутого черногорца для объяснения: вполне ли окончены наши дескире или нужно с ними еще к кому обратиться. Черногорец не успел сказать нам единого

слова, как подошел полицейский, высылает нас и кричит: „аша, аша!“ Вышли мы из коридора, спустились по ступеням вниз, держим дескире открыто в руках. В нижнем коридоре один турок взял у меня из рук дескире и пошел с ними в канцелярию в нижнем отделении. Мы за ним, не отставая ни на шаг. В канцелярии подписали, приложили печати, взыскали с нас по мизету (1 р. 60 к.) и выдали нам билеты, и с теми (мы) пошли в свою квартиру.

10-го июня стали мы готовиться к выезду из Константинополя, но прежде нужно нам было выручить из главной таможни револьверы с патронами. Надумали мы послать за револьверами одного, и Максимычев пошёл в консульство. Секретарь из консульства послал с Максимычевым гаваса в главное турецкое таможенство. Гавас передал об нас чиновникам, что мы непременно сегодня выедем из Константинополя на греческом пароходе в Салоники. Из таможенства поехал с револьверами турецкий офицер вместе с Максимычевым на пароходе. — „А где твои товарищи?“ спросил офицер на пароходе. — „В городе, а багаж здесь.“ Офицер потребовал три рубля денег и выдал Максимычеву револьверы и патроны, но Максимычеву с парохода на берег выезжать не приказал, а сам с гавасом

уехал обратно на берег. „Что же теперь мне делать? думает Максимычев: — товарищи мои в городе ожидают меня с револьверами и не знают, что я на пароходе, через два часа пароход снимется, пойдет в путь и меня увезёт одного. Тогда я невольно должен разлучиться с товарищами навсегда. Нет, ни на что не посмотрю, уеду к товарищам. Что сделают мне турки? Резать ведь не станут?!" Он пригласил одного лодочника, срядился с ним и поехал к берегу. На пути встречает их араб и стал Максимычева обыскивать, но так как у него с собой ничего не было, то скоро араб его отпустил. На берегу в таможенстве в свою очередь осмотрели и также ничего не нашли. Пришел Максимычев в квартиру. „Что ты у нас совсем запропал?"—спросили мы. — „Меня, говорит, турки к вам не допускали. Немедленно нужно ехать нам на пароход: через час уже уеду“. Мы взяли свой багаж и пошли чрез таможенство. При осмотре опасного для них припаса

не оказалось. Пришли на пристань, наняли греческую лодку, на которой доехали на пароход.

IV.

Мраморное море. — Сан-Стефано. — Дарданеллы. — Архипелаг. — Афон. — „Автоподы.“ — Салоники. — Новые затруднения из-за патронов. — Церковь Дмитрия Солунского. — Гробница и образ. — Сомнения по поводу славянской надписи. — Венчание в столовой подворья. — Церковь Великомученика Георгия. — Недоразумение с турецким паспортом. — Волокита по турецким присутственным местам. — Смирна. — Казачья слобода в Турции. — О росном ладане. — Город Хио. — Остров Патмос. — Родос.

В три часа пополудни 10 июня пароход снялся с якоря и взял направление по Константинопольскому проливу. В правой стороне, на европейском берегу мы увидели город Сан-Стефано, ознаменованный пребыванием в нем наших победоносных войск и заключением славного мира. Затем мы выехали в Мраморное море, где добывают приличный серый и белый мрамор, которым выкладывают в торговых городах пристани и выстилают тротуары, а также искусно выделывают фигуристые разнообразные посуды, комоды, столы, на кладбищах вырезают памятники, кресты и проч. Пройдя затем Мраморное море, пароход остановился на короткое время в Дарданеллах.

Дарданеллы замечательны своими знаменитыми крепостями, устроенными на обоих берегах Дарданельского пролива, соединяющего Мраморное море с Архипелагом. На правом, европейском берегу пролива расположен порт Дарданеллы. На левом, азиатском берегу город Чинаклис, на месте, где в древности существовала знаменитая Троя, иначе Илион, а позднее город Кизик, в котором в VII веке пострадали за веру Христову девять мучеников; память их совершается 29 апреля. Города эти оба хорошо укреплены, высокие барбетты уставлены множеством нарезных орудий.

11 июня выехали мы в Архипелаг. Архипелагское море наполнено несколькими десятками островов, о которых упомянется ниже.

С полудня туманно завиднелись высоко-скалисто-обрывистые горы полуострова знаменитого Афона; в 5 часов вечера подъехали к Пантелеймонскому русскому монастырю, который построен на прекрасном побережии морском, дома о 3-х и 4-х этажах. По скалам и склонам горы Афона построены монашеские скиты; между скитов и монастырей, по обрывистым скалам, расщелинам зеленых пропастей устроены трудников хижины, к которым пройти очень трудно: нужно спускаться по крутым 200 ступеням, а к иным даже спускают пищу на длинной веревке. Ио склонам гор густо зеленится разной породы лес. Под Афоном, в море придерживаются разные морские животные: большие 10 фунтовые раки, морские „автоподы" (пауки), имеющие более дюжины ног, длиной по 5 четв. каждая, толщиной как человеческая рука; цвет имеют по грунту дна моря, поэтому в море увидеть его трудно¹⁾. Когда человек кунается, „автопод" подходит незаметно и берет своей лапой человека за ногу, а другой лапой держится за дно моря. Человек, желая освободиться, берет его рукой за лапу, автопод хватает человека за руку; человек не может освободить руку, начнет помогать другой рукой, автопод третьей лапой хватает за другую руку, опутывая его лапами. И несчастный от автопода погибает в море.

Но всячески и человек достиг, как избавиться от опасной животины, а именно: когда автопод ухватит своей лапой за ногу, тогда вскоре рукой освобождение ноги делать не нужно; неторопливо осмотреть автопода и потом рукой взять его за оба глаза; тогда у автопода отнимается сила, он разжимает

¹⁾ „Автоподами" автор называет очевидно спрутов или осьминогов (*octopus vulgaris*).

лапы и человек выкидывает его на берег. Больших морских раков афонские монахи употребляют в пищу; в особенности же автоподы монашеское лакомство: говорят, они очень вкусны. С нами вместе ехали из Константинополя афонские монахи и говорили нам, что-де и вы в Ильинском монастыре покусаете автоподов. Но нам все монастыри посетить не пришлось, так как у нас пароходные билеты взяты были на Салоники; поэтому мы автоподов не отведали и насколько вкус их приятен—не знаем.

У Афона мы были не более 4-х часов; пароход наш снялся в 9 часов ночи.

12 июня, в 11 часов дня приехали в Салоники (Солунь); на пароходе встретил нас монах Пантелеймонского афонского монастыря Герасим, который находится много лет в Салониках, сеет на монастырь хлеб, делает разные закупки, продает изделия трудников. С парохода мы сели к нему в лодку. „Нет ли у вас каких подозрительных вещей?“—спросил нас Герасим. —„Есть при нас по револьверу и по 50 патронов.“ — „Ох, Боже сохрани, —найдут! это очень опасно. Прошлый год проезжали русские два офицера, при них найдены были револьверы. Затаскали этих офицериков, право слово замотали, да спасибо русский консул защитил их. Ох, дело неладное! На кой вам их?“ — „Отец Герасим, а офицеров турки не повесили?“—спросил Максимычев. —„Да повесить не повесили, да я вчуже от печали хлеба не ел, и офицеры то даже робели.“—„Не печалься, отец, нам турки дурного не сделают и револьверы при нас не найдут.“—„Ой-ли! вы казаки, небось слово знаете?“—„Знаем, отец.“—„Ну дай же вам Бог.“

Подъехали к берегу, пошли в таможенство. Стража при обыске повытаскала все из чемоданов и сумок, но подозрительных вещей, по мнению ихнему, при нас не оказалось. Монах быстро смотрит на нас с радостью и удивляется, что револьверы, бывшие при нас, не найдены. Собрали мы все свое добро, уложили в чемоданы и подвинулись шагов пять вперед. Тут четыре человека приостановили нас и снова начали пересматривать вещи. На грех нашли у одного из нас патроны. „Ну, стой!“ и несколько рук стали пересматривать и перетрясать все, до последнего махра, но

револьвера и патронов более найти не могли. Спрашивают нас по-турецки: „Где у вас револьвера?“—„Нет ничего у нас“, отвечаем по-русски. Стража показывает нам патроны, просят у нас револьверы. Мы как будто совсем не понимаем, чего от нас требуют. Стражи смотрят один на другого,жимают плечами, затем приказали прибрать нам свои вещи, чего только мы и ожидали. Поспешно свои вещи шиворот на выворот потискали в чемоданы, но найденные при нас один комплект патронов, книжки и бумаги стража оставила к дознанию, что в них написано. Также взяли бывшие при нас турецкие дескире и сказали нам: при отъезде из Салоников деескире получите обратно.

После этого мы пошли в гостиницу и поместились на 3-м этаже, недалеко от столовой. Того же числа отыскивали переводчика и в три часа пополудни пошли мы к гробнице мученика Дмитрия (Солунского).

Устное предание о церкви Дмитрия Солунского между народов передавалось так: когда турки приступом взяли город Салоники и пытались войти в церковь, где сохранялась гробница мученика Дмитрия, то невидимою силою наказывались различно: умирали, лишались ума. Отчего турецкое правительство вынуждено было принять осторожность и к входу Дмитриевой гробницы приставить стражу, чтобы никого не впускать вовнутрь гробницы.

Пришли мы к Дмитриевой церкви (теперь обращена турками в мечеть). Вожак пошел узнать от турецкого монаха, который приставлен у дверей мечети, дозволит ли взойти христианам посмотреть гробницу мученика Дмитрия. —„С удовольствием; могут войти минут через 5.“ Мы подошли к дверям, где ожидавший нас монах пошел вперед. Мы, не отставая ни на шаг, шли за ним. В притворе мы повернули на левую сторону, в стене обозначилась пространная дверь. Монах отворил эту дверь, и мы вошли в какую-то темную комнату. Монах дверь затворил и запер. —„Что этот турецкий монах думает себе—не завел ли нас в разбойнический вертеп и не хотят ли нас ограбить?“ Достал я из кармана ножик, раскладнул его и думаю: как только кинутся турки

на нас грабить, так и всажу нож злодею в живот. Оглядевшись немного в комнате, стали мы видеть, что около двери стоят с десяток порожних бутылей; заметно было в них деревянное масло; в переднем правом углу подвешены не в уборе лампы, на полу лежит в рост человека высеченная из мрамора гробница; на крышке гробницы высечен четвероконечный крест. Монах достал три восковых тёмно-жёлтых свечи, зажег их от горящей лампы и прилепил к гробнице. Затем взял бумажный тонкий фитиль, висевший в углу против гробницы, вымерил в длину гробницы, завязал узел, помочил в масле и пережег от горящей лампы фитиль по узел, завернул в серую бумагу и подал нам. Потом достал висевший ликом к стене образ муч. Дмитрия и показывал нам. Очка образа 6-вершковая, обложена серебряной ризою, на иконе надпись славяно-церковная таковая: „Образ святого мученика Дмитрия“. Этому мы немало удивились, так как местность Салоники принадлежала раньше грекам и письмо должно быть на образе на греческом языке, а не на славянском. Не два ли образа имеются в этой темной комнате: для русских поклонников турки может быть показывают на русско-славянском письме, а грекам на греческом.

Прекрасная бывшая церковь мученика Дмитрия построена из мрамора, и клеть с Дмитриевой гробницей находится давным-давно под властью сарацин. Всемогущий Бог за злодеяния наши попустил обладать святынею неверным народам. И как в этом месте признать святыню, — об этом предоставляю на обсуждение каждому читателю.

13 июня Максимычев напомнил нам, что нужно идти в таможенство для получения обратно взятых у нас бумаг и патронов. Когда Максимычев пришел в таможенство, то турки выдали ему книги и бумаги, но патронов не отдали, а показывая на них, что-то говорили по-турецки. Потом пришел и переводчик, который тоже стал показывать на патроны и спрашивает: „где? где?“ А слово „револьвер“ видно, что запомнил. Максимычев притворился, что не может понять. Наконец, толмач говорит: „пушка где? пушка где?“ Максимычев указал рукой на крепостные

барбетты, где стояло много орудий, и говорит: „вон пушка“. Чиновники турки засмеялись над его простотой, перестали теснить его насчет револьверов и с тем его отпустили, чего Максимычев только и желал, чтобы от них поскорее убраться благополучно.

В тот же день, т. е. 13 июня, в субботу, в 10 часов вечера расположились мы на ночной покой, как вдруг послышалось пение молитвы. Мы встали, оделись и пошли; но вместо моления воскресной службы оказалось, что греческий священник в столовой венчал новобрачных. Среди столовой стоял стол, на столе три иконы. Священник водил новобрачных вокруг стола. Мы удивились, так как это было на второй неделе Петрова поста, да к тому же в субботу на воскресение. На другой день свиделись мы с Герасимом и сказали ему: „Как это в гостинице прошлый вечер было бракосочетание?“ Герасим на это ответил: „в этом нет удивления и сомнения; в Греции обычаи имеют венчать везде и во всякое время, и в гостиницах, в поле и даже без ведома отца и матери, только по согласию жениха и невесты. Каждая страна имеет свой обычай“.

14 июня ходили мы в бывшую церковь великомученика Георгия, где сохранилась по краям купола древняя живопись. Признать лиц в точности невозможно, вид показывает, как бы священнический: руки держат по обе стороны ладони распростёртые, на главах венцов незаметно; между ними во многих местах изображены голуби. Это здание, построенное до Рождества Христова, было когда-то славное идолопоклонническое капище. По обращении Солунян в христианство оно обращено было в церковь великомученика Георгия. По взятии турками Салоников церковь обращена в мечеть. Какая это сохранилась живопись и для чего турки не загроунтуют ее—этого я определить не могу.

15 июня, в 8 ч. утра пошли мы в пароходное агентство, получили до Смирны билеты и пришли в турецкую таможню для получения своих дескире. Чиновник через переводчика сказал нам: „вас из Салоник выпустит нельзя, так как у вас дескире

прописано на Салоники, а дальше не упомянуто, да к тому же обозначено, что вы турецкие подданные. Мы опять обратились к русскому консулу. Генерал Иларионов, консул, посмотрел наши дескире и сказал нам: „в дескире действительно написано, что вы турецкие подданные." — „Никак нет, Ваше Превосходительство, мы русские подданные, уральские казаки. Мы имеем заграничные русские паспорта". — Просмотрев паспорта, консул приказал писарю написать, что в дескире ошибочно прописано: турецкие подданные... „Прошу дескире переправить и прописать, что они отправляются в порт Смирну". Писарь моментально приготовил (бумагу), с которой приказали нам обратиться к градоначальнику. Мы поспешно разыскали канцелярию градоначальника. Снаружи у дверей сторож потребовал за вход с нас деньги; мы не споря деньги сторожу уплатили и вошли в канцелярию, но градоначальника не застали, и писаря на наш вопрос ответили, что он придет в два часа пополудни. Ожидать до 2-х часов нам было невозможно: пароход снимется, отходящий в Смирну, и билеты наши пропадут, товарищ наш Барышников на пароходе уедет с багажом в Смирну без паспорта и без билета (пароходные билеты все находились у меня). Что оставалось нам делать? Спросили где квартира градоначальника, и отправились туда на извозчике, но к прискорбию нашему градоначальника в квартире не оказалось. Обратились мы вторично к консулу с известием о нашем несчастливом положении, и консул нас послал к генерал-губернатору, предполагая, что градоначальник будет у него.

Отправились мы на извозчике к генерал-губернатору, но и здесь его не было. Обратились в 3-й раз к консулу; консул послал с нами своего гаваса (гавасами в Салониках служат из албанцев, рубахи носят широкие, на подоле несколько складок; рубаха делается из 40 аршин), вручил ему свою карточку и сказал: „ступайте к такому-то чиновнику, он вам, быть может, все дело обработает." Пришли к сказанному чиновнику. Гавас вошел к нему и скоро вышел. — „Дело не тянет", — сказал гавас, а нужно будет сходить в канцелярию, в которой вы были. Гавас поехал, мы остались ожидать; приехал гавас обратно и сказал: „Нет, и

карточка консульская не помогает. Давал денег и деньги не берут!..“—„Что же будем делать?“—спросили мы. —„Хоть ревите,“ ответил гавас. Наконец, нашли градоначальника дома. Он, спасибо, скоро отпустил, только приказал нам с бумагой обратиться в его канцелярию, в которой мы были уже дважды. Мы попросили гаваса, чтобы он в канцелярию съездил один, а сами сели на конку и поехали на пристань узнать, где наш товарищ и багаж. По пути зашли в пароходное агентство и попросили, не будет ли возможно на полчаса задержать пароход. —„Никак нельзя“ ответил агент. —„Мы не сами собой не угодим на пароход—нас власть задержала; иначе получите от нас билеты обратно.“—„Мы обратно билеты не принимаем.“—„А сколько осталось времени до отхода?“—„Одень час половина,“—ответил немец. Бросились мы на пристань. Барышников с багажом сидит в дверях таможни. —„Я, говорит, думал, вы уже пропали, турки вас забрали“. В это время гавас привез нам дескире, а на пароходе дан был второй свисток. Мы засуетились, разыскивая свои патроны, которые при обыске от нас были отобраны, но чиновника, у которого хранились патроны, в это время в таможенстве не было. Мы махнули рукой, сели в лодку и поспешно поехали на пароход. Только успели подъехать к пароходу, подан был последний свисток к отъезду.

В 2 часа пополудни пароход снялся и пошел по направлению к Смирне. На пути матросы нам рассказали, что в 12 верстах от Смирны есть казацкая слобода, бежавших когда-то из России, а к какому войску принадлежали они, матросы не знают¹⁾.

¹⁾ Речь идет об известных некрасовцах, вышедших из России с атаманом Игнатием Некрасовым в 1708 г. В 1827 году они переселились с берегов Дуная в Малую Азию.

16 июня прибыли мы в Смирну, где у побережья бухты стояли 12 английских броненосцев и три миноноски. В этот день у англичан был праздник—день рождения Виктории, и с броненосцев стреляли из нескольких десятков орудий. На каждом броненосце выкинуты были сотни разных флагов.

Г. Смирна числится очень древним городом; первоначально ионическая колония, разрушена за 6000 лет до Рождества Христова лидийцами и впоследствии вновь выстроена Антигоном. Смирна сделалась средоточием малоазиатской торговли и так пребывает даже до настоящего времени.

Тут вырабатывается множество росного ладана. Раньше мы думали, что росный ладан вырастает сам собою. Нет, его вырабатывают искусственно; вот рассказ почтенного грека (жителя г. Смирны), который сам работал на заводе: росный ладан сначала собирают с душистых растений, цветы до 38 разных пород и малая часть в них употребляется мингали (миндаля?). Цветы эти соединяют вместе, кладут в большие медные котлы. Когда все это приготовлено, приезжает на завод митрополит и епископы с причтом, служат над цветами молебен, после чего начинают их варить и отливают в формы, особо устроенные на этот предмет.

В Смирне насчитывают теперь около 150 тыс. жителей: турок, евреев, греков и франков. Слово Христово в Смирне посеяно с самых первых годов проповеди апостолов, церковь насаждена здесь св. Иоанном Богословом. Первым светилем смирнской церкви был святитель Поликарп, рукоположенный св. Викулом и благословенный Иоанном в епископы. Св. Поликарп пострадал в 166 году, в жестокое гонение Марка Антонина. В Смирне сохранились на одном возвышенном месте, при склоне горы Палусы, остатки развалин (амфитеатра), где пострадал столетний святитель и другой ученик Иоанна Богослова. После них на этом же месте от идолопоклонников различно были замучены еще многие христиане: колесованы, зверьми поедены, в котлах сварены. В греческой церкви этого города сохраняется евангелие, писанное Иоанном Богословом на пергаменте, которое англичане

стремились купить, но греки ни за что продать его не намерены. И теперь оно сохраняется у греков в церкви.

17 июня, избегая турецкой таможни, перебрались мы с русского парохода на австрийский. В 5 часов пополудни пароход снялся. На пути мы останавливались у города Хио, находящегося на острове того же имени. Город Хио невзрачен, наполнен развалинами, памятниками фанатизма турецкого над несчастным его населением за его сочувствие греческому восстанию; но загородные дачи его с густыми садами великолепны. Остров Хио горист, но очень плодороден, производит: виноград, маслины, хлеб, хлопчатую бумагу и шелк. Здесь пострадал в III веке от нечестивого царя Декия святой мученик Исидор (память его совершается 14 мая).

На пути из Хио, проездом среди частых больших и малых островов Архипелага, мы остановились на несколько минут у острова Патмос. Это место заточения св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в царствование императора Домициана. Здесь восторженному духом Богослову в день недельный, явился сын Божий, Альфа и Омега, посреди семи светильников с семью звездами в правой руке, изображавшими семь церквей азийских и их семь ангелов. Патмос представляется в виде двух огромных гор, соединенных узким перешейком; на вершине одной горы среди города возвышается монастырь св. Иоанна Богослова, а не в дальнем расстоянии на отдельной скале стоит бедная церковь, о двух куполах, построенная будто бы на том месте, где св. апостол Иоанн Богослов имел божественное откровение. Вправо от церкви заметно что-то в роде пещеры; местные жители доказывают, что в этой именно пещере Иоанн Богослов написал божественный „апокалипсис“.

18 июня, в 7 часов вечера достигли мы острова Родоса с главным городом того же имени, лежащего в Средиземном море при конце Архипелага, в двух милях от юго-западного мало-азиаток его берега. В Родосе пришлось пробыть 4—5 часов для выгрузки и нагрузки товаров. Остров Родос производит вино, хлеб, масло, строевой лес, хлопчатую бумагу, особенно

гранатовые яблоки („родия", откуда (?) и самое название острова Родос), воск и мед. Мягкий климат, благорастворенный воздух родосский благовонными испарениями лимонных, апельсиновых и гранатовых рощ привлекает сюда множество слабых грудью для лечения.

V.

Остров Кипр и гор. Лемнос. — Встреча со священником. — Город Ларнак. — Посещение Лазарева монастыря. — Икона, писанная св. Лукой. — Гор. Бейрут. — Сидон. — Г. Тир. — Акра. — Кяфа и гора Кармил. — Размышление о религиозном высокомерии. — Гор. Яффа, Лидда, Рамла, Язур, Потдеджан (Бет-Дагон). — Прибытие в Иерусалим.

20 июня, на восходе солнца прибыли мы к острову Кипру к портовому городу Лемносу. Здесь родина святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, который по прожитии до полных лет, чувствуя приближение своей кончины, велел перенести себя в родной город, где и преставился. Киприяне с парохода перевезли нас на лодках на берег. В городских воротах стоял черный араб, который опросил нас на русском наречии: „Чего желаете видеть?"—„Нужно нам базар," ответили мы. Араб пошел с нами, мы прошли по базарной улице и купили арбуз, слив и вишен; на обратном пути спросили араба: „Есть здесь христианские церкви?" — „Есть“, ответил араб. — „Ну пойдем с нами до церкви.“ Повернули в переулок на лево, где встретился нам человек высокого роста, средних лет, немного побелее араба, на голове длинные, черные курчавые волосы, на плечах надета короткая, черная куртка, панталоны высоко подняты. В одной руке он держал кيسет, а в другой трубку с длинным растреснутым чубуком. „Вот и священник этой церкви," сказал араб. Мы пристально посмотрели на священника и с тем пошли обратно на пароход, не заходя уже в церковь. Через полчаса пароход снялся, и в два часа пополудни мы остановились у этого же острова близ города Ларнака.

Город Ларнак на острове Кипре числится главнейшим. Киприяне приехали к нам на легких лодках и приглашали желающих побывать в городе. В числе прочих приехал один пришелец из болгар, который когда-то раньше случайно заехал на иностранном пароходе на остров Кипр, а обратно выехать по крайней бедности не имеет возможности; русские пароходы на Кипр не заходят. И вот этот болгарин на русском наречии стал нас приглашать в город. Мы его спросили: „Есть у вас монастыри вблизи города?“ — „Есть древний монастырь, называемый Тикос“ (он же и Лазарев). — „Мы слышали, будто бы в нем сохраняется образ Божией Матери с Предвечным, которую написал евангелист Лука?“ — „Да, сохраняется в церкви Лазаря Четверодневного.“ — „Можешь нас довести до церкви, указать нам икону Божией Матери и гробницу Лазареву?“ — „Могу,“ ответил болгарин.

Погода была очень ветреная, море ужасно расколыхалось, пароход, стоявший на якоре, то поднимался на хребет волн, то опускался между волн вниз, как в пропасть. Но когда услышали мы от болгарина, что приехали к тому месту, о котором за тысячи верст слышали от афонских монахов, что на острове Кипре сохраняется икона Божией Матери с Предвечным, писанная Лукой евангелистом, и гроб Лазаря Четверодневного, то двое мы спустились по пароходной лестнице в лодку и поехали к берегу. Оставшийся Барышников на пароходе с сожалением говорил нам: „Не вернуться ли вам обратно на пароход, волны грозят опасностью.“ Но мы перекрестили себя крестным знаменiem и в ответ сказали: „Пусть будет над нами воля Божия, пусть поглотят нас морские волны и вода послужит нам гробом, а дно моря могилой, но не видавши древнего написания образа Божией Матери с Предвечным — не воротимся.“ И с тем пустились ехать по пенистым морским волнам. Через $\frac{3}{4}$ часа мы были на берегу. Болгарин повел нас через город, среди которого возвышается монастырь, обнесенный вокруг высокой каменной стеной; по середине стены красиво устроенная башня с железными воротами; среди монастыря высоко-обширная церковь во имя праведного Лазаря, друга Господня. Местное предание гласит, что здесь

Лазарь, друг Божий, был первым епископом и здесь же почил до второго общего воскресения. Над могилою построена во имя его церковь, в алтаре которой хранится каменный гроб Лазарев.

Находящийся при церкви сторож отомкнул нам для входу двери церковные, и вместе с сторожем вошли из местных жителей двое мужчин и две женщины. Мы осмотрели все образа, но образа Божией Матери, писанного Лукой евангелистом, по мнению нашему не видится. Спрашиваем: „Где же та икона, которую писал евангелист Лука?“ Но как местные жители не понимают русского наречия, то и не нападут на наше желание, а только пожимают плечами и что-то бормочат, разводя руками. Одна женщина растворила алтарь и нас просит войти во внутрь алтаря. Мы думали, что она хочет показать нам икону Божией Матери, но между тем начала говорить: „Лазарь, Лазарь!“, указывая рукой слезть в подвал. Слезли мы по ступеням в подвал, где сохраняется каменный гроб воскресшего Лазаря, над которым висит горящая лампада. Посмотрели мы, вышли обратно и стали повторять: „евангелист Лука писал образ Божией Матери,“ а сами рукой указываем примеры живописания. Один из местных мужчин лет 50 в красной турецкой феске, с большими усами, по-видимому разгадал деланный признак нашей рукой живописания с упоминанием евангелиста Луки, маякнул нас к себе, а сам отступил шагов семь назад. Мы пошли за ним. Подвел нас к одной колонне; сбоку колонны пристроена коленкоровая занавесь. Длинноусый открыл ее; на колонне стоит в ветхом иконостасе икона в 18 верш. во имя Божией Матери с Предвечным, тёмного вида. У Предвечного благословляющая рука изображена двуперстно, над Предвечным оклад серебрянный, на котором написаны буквы ІѢ—ХѢ. По всему должно полагать, что оклад на иконе устроен после греками, а под окладом какими буквами раньше было изображено, — видеть невозможно: на иконе от ветхости обозначается лопина (трещина). Пока осматривали мы образ Божией Матери, местные жители желали разъяснит нам об иконе, но русского языка не знают, а только подтверждают: „Лука, Лука!“ и делают своими руками пример живописи. Нам было это

понятно; действительно, вид написания и ветхость подтверждает рассказ правдоподобным. Мы воздали должную честь образу Божией Матери, а на возвратном пути зашли в австрийское агентство и купили пароходные билеты до Яффы.

Остров Кипр (по-турецки Кибрис) лежит в восточной части Средиземного моря, занимает 150 квад. миль и имеет 110 тыс. жителей, большей частью греков. Он весьма плодороден: хлопчатая бумага, южные плоды, строевой лес, кедровые, финиковые, кипарисные, буковые и дубовые леса, медь, железо и множество соли. В настоящее время он находится под властью англичан, а всеми духовными делами Кипрский митрополит управляет независимо. Между древними обитателями Кипра было распространено служение богине Венере, которая, по баснословному рассказу, родилась на берегах Кипра из пены морской, отчего и получила прозвище Киприды.

На этом острове родился великий угодник Божий и чудотворец Спиридон. Вначале Спиридоний занимался земледелием и пас стада овец, но в последнее время, по святой своей жизни, сделался пастырем Тримифутской церкви, силою веры производил чудеса с такою же простотою, как и дела обыкновенные; так напр. он спрашивал мертвую девицу, где лежит золото, данное ей в залог, и получил от неё ответ.

20 июня, на закате солнца снялись с кипрской пристани, а на другой день остановились у пристани города Бейрута. Бейрут, древний Вирит, лежит на малоазиатском берегу в Сирии, в прекрасной долине, у подошвы Ливанских гор. Местные жители рассказывают, что в древности тут было знаменитое римское училище правоведения. Бейрут, занимая выгодное положение в торговом отношении с одной стороны между Тиром, Сидоном, Акрою, Кайфою и Яффою, а с другой между Триполисом, Лаодикиєю (Латакия) и Александреттой, — служит важным торговым пунктом. От Дамаска отстоит в недалеком расстоянии.

Население Бейрута составляют, можно сказать, все племена востока. Христиане католического вероисповедания имеют церкви и епископа. Вне города католики имеют монастырь, где находится

у них училище для арабских детей. Православное исповедание также имеет 9 церквей, в коих богослужение совершается на арабском языке, и своего архиепископа, подчинённого патриарху Антиохийскому. В Бейрутской гавани стоят военные пароходы: английские, французские и турецкие. В Бейруте стояли мы одни сутки; таможенство осматривают и следят строго каждого иностранного человека, как входящего в город, так и исходящего из города.

22-го июня, по восходе солнца, снялся пароход и пополз своим путем из Бейрута к Сидону. Недалеко от моря высится турецкая мечеть с несколькими вокруг неё жилыми зданиями. Жители говорят, что мечеть эта воздвигнута над могилою святого пророка Ионы, который, после проповеди в Ниневии, окончил жизнь свою между Бейрутом и Сидоном.

Город Сидон раскинут на горном мысе, который живописно рассекает море; окрестности Сидона хорошо обработаны: везде сады и рощи; цитадель построена на вершине горы, город окружает ее и идет далеко по впадающей в море косе. Не даром Иисус Навин называет Сидон великим. На основании столь древнего свидетельства о существовании Сидона думают, что он основан старшим сыном Ханаана — Сидоном (Быт. X —15). Говорят, будто бы сидоняне основали город Тир. Действительно можно допустить, что сидонские искусные художники царем Тирским были высланы в Иерусалим для строения скинии завета по просьбе царя Соломона. Соломон премудрый писал к Хираму, царю Тирскому, такими словами: „тебе известно, что у нас никто не знает так умеючи древа сещи, яко-же сидоняне" (3. Царств, V. 6). Передают также, будто сидонские художники достигли механических искусств: ими изобретено было стекло, хрусталь и лучшие ткани. Можно сказать, что роскошь Сидонская соблазнила премудрого царя Соломона, который во время своего заблуждения водворил сидонских идолов в Иерусалиме, за что и был наказан Господом Адонаи, по пророчеству Иезекииля (XXVIII, 22—24). Сидон вместе с Иерусалимом ниспровержен царем Навуходоносором: меч, глад и чума опустошили его.

Впоследствии, переходя из рук в руки разных завоевателей, Сидон за 66 л. до Р. Х. подпал под владычество римлян, в 636 году по Р. Х. он сделался добычею сарацин.

Город Тир, по мнению некоторых, будто бы очень древний город; основан сыном Афета, Фирасом. Тириянам приписывают, будто они раскрыли обширность земного шара: они обогнули Африку, открыли Индию, проникли в Персидский залив и в Черное море; с другой стороны — они поднялись выше и достигли до Исландии.

Акра или Птолемаида (20 т. жителей) занимает место древнего Акхора; Акру также можно признать древностью: об Акхоре упоминается даже в книге „Судей Израилевых“. Греки называют этот город Акка, по-гречески исцеление, вследствие того, что Геркулес, ужаленный змием, вылечился близь Акки, на реке Белусе, травою, называемую местными жителями колоказия.

После этого достигли мы города Кайфы, или, как называют его арабы, Кяфа, построенного у подошвы горы Кормила. Город обнесен низкою стеною с несколькими башнями; в Кайфе до 3 т. жителей, в том числе около 500 христиан; торговля тут незначительная. Главный вывоз: хлеб, маслины, хлопчатая бумага, морские губки. Тут к нам приходил молодой человек из белых арабов, вероисповедания православного, хорошо говорит по-русски, учился грамоте в русской школе. Он нам рассказывал об этой местности; гора, под которой основан город Кяфа, называется Кармильская. Местное предание гласит, что пророк Иона был выброшен из челюстей морского великана кита на сушу у подошвы горы Кормила, там, где теперь стоит город Кайфа. На самой вершине горы виднеется скромная церковь во имя пророка Илии. На этом-то месте Илия пророк, во времена царя Ахава и жены его Иезавели, производил спор с бесстыдными священниками. Там же на вершине горы существовал некогда город Акватана или Кармил, с капищем идола Ваала. Посредством жертвоприношений Ваалу, на Кармиле исполнялись всякие желания. Влекло на эту гору даже и израильтян, которые, таким образом, совращались в идолопоклонство. В одной из многих

пещер, пестрящих ребра горы Кормила, поселился св. пророк Илия, чтобы не дать совратиться всему Израилю в поклонение бездушному Ваалу. Видя царя Ахава, отступившего от высшего Бога, под влиянием своей жены Иезавели, и за ним градоначальников и почетных людей, пророк Илия обличал царя и жену его Иезавель, виновницу всех этих совращений. Положа руки на сердце, Илия со слезами кричал израильтянам: „доколе храмлите на обе бедра ваши? Если Господь Бог силен, идите в след его, а если Ваал сильнее, то идите за ним". (Тогда на вершине горы Кормила произошло соревнование Илии и пророков Вааловых, причем Бог явил чудеса по молитве Илии и после этого пророк избил жрецов. Все это известно из библейского рассказа).

Считаю нужным обратить внимание на следующее: пророк Илия говорил: я пророк Господень остался один, а пророков вааловых 390. Между тем впоследствии Господь открыл ему, что в Израиле оставалось еще 7,000 человек верных, которые, подобно ему, не совратились в прелесть гибели. Итак, Илия, человек святой и пророк, в ревности своей к Богу высказал мнение ошибочное, будто, кроме него, не осталось уже верных Богу людей. И Бог обнаружил его ошибку. Но мы и ныне поголовно дерзаем возвышать себя и решаемся говорить, что, кроме нас, нет нигде верных. Илия был муж свят, пророк, от ангельских рук питался, с Богом беседовал, но и от него скрытые были Богом люди верные. Поэтому и мы не должны дерзать о прочих, есть или нет (верные), а только наблюдать и направлять каждый о своем спасении. После того, когда взят был Илия в огненной коляске на высоту, на горе Кармил остался наследник его благодати пророк Елисей.

Верст 15 далее — город Наблос, в котором находился царь Ахав с Иезавелью; там остались признаки (?), где ушиблась, упавши с верхнего этажа, царица Иезавель и как собаки лизали её кровь.

Этот молодой араб, после всего рассказа стал говорить с печальным видом: „Скоро ли мы здесь дождемся того времени приятных минут, когда придет царь русский, православный и освободит нас от ига турецкого. Турки нас православных здесь

считают за собак и всячески нас оскорбляют. Мы ожидали сюда Александра III, но благодатная минута воссиять на нас не могла, или время еще не достигло; теперь ожидаем Николая II. Быть может придет наш избавитель и освободит нас от ига магометанского“.

В 12 часов ночи пароход снялся с пристани Кайфы; в 12-же часов дня, *23-го июня*, пароход бросил якорь на пристани города Яффы. Город Яффа по историям замечательный. В древние времена Яффа называлась Иоппа, как сказано в библии и в паремиях, праздничных минеях: „Бысть слово Господне к Ионе пророку: встани и пойди в Ниневию, град великий, и проповеждь в нем, яко взыде вопль злобы его ко мне... чрез три дня город разорится и погибнет“. Иона вознамерился бежать от лица Господня. „И сниде (Иона) в Иоппию и обрете ту корабль, идущ в Фарсис, и даде наем свой и вниде в той отплыти с ними в Фарсис от лица Господня“. Яффа по-еврейски означает „красота“, а по финикийский — „возвышенность“. Этот город, говорят, что самый древний на земном шаре; он существовал уже до всемирного потопа, потом же снова был построен одним из сыновей праведного Ноя. Возле Яффы, на её побережьях построен был ковчег, в котором Ной праведный спасся со своим семейством от всемирного потопа. Яффа под древним именем Иоппии, упоминается и в греческих историях самых отдаленных времен. Здесь, говорят, совершил свой геройский подвиг греческий полубог Персей, освободивший дочь эфиопского царя Кифея от морского чудовища Держета, которому, как божеству, поклонялись жители Яффы, принося ежедневно в жертву по одному человеку. Из книги Иисуса Навина видно, что во времена евреев Яффа по определению досталась колену Данову; а в книге Паралипоменон означает, что в Яффе царь Тирский Хирам выгружал из Средиземного моря кедры ливанские, которые сплавлялись из Ливанских гор, и отправлял их чрез высокие, каменистые горы и глубокие овраги в Иерусалим для постройки храма Соломонова. В Яффе апостол Петр воскресил Тавифу и здесь же, проживая в доме Симона Кожевника, апостол Петр имел

видение нисходящей с неба плащеницы со всякими животными и гадами, знаменовавшей обращение в христианство не только иудеев, но и язычников. Яфские жители несколько раз подвергались крайней опасности и даже гибели. До двух раз Яффа разрушена была римлянами. В 1099 году приступом была взята крестоносцами; в 1187 году Яффу осадил Саладин, султан Египта и Сирии; однако Ричард „Львиное сердце“, король английский, поспешил вовремя на помощь и избавил город от разрушения.

Впрочем, после Ричарда, брат Саладина, Адель, овладел Яффой. В 1799 году Наполеон I взял у сарацин приступом Яффу, но в 1832 году снова подпала под власть мусульман.

На пристани Яффской к нам на пароход приехал гавас из русского консульства, с которым мы уехали с австрийского парохода на берег. Мы ему объяснили, что при себе имеем револьверы и патроны. — „Ах, дело неладно, сказал гавас, — дайте же их мне, я спрячу“. — „У нас не один, но три револьвера“. — „Ну, все скрыть мне одному немисливо“. — „Мы только вам объяснили, что имеем; во всяком случае надемся, что таможенство их при нас не найдут“. — „Ну, так ладно, все-таки дайте один рубль им, они пропустят вас“. Действительно таможенные пропустили без остановки.

Мы пришли на вокзал; в 2 часа пополудни поезд тронулся из Яффы в Иерусалим. Езды 4 часа, 83 версты. Не в дальнем расстоянии, на юго-восток от Яффы, местечко Лидда. В древности это был славный город, в настоящее время бедное, небольшое местечко, с 3 т. жителей, из коих одна треть православных христиан, а остальные все исключительно магометане. Лидда основана коленом Вениаминовым, о ней упомянуто в апостоле: „и бысть Петру, посещающему всех, снити к живущим в Лидде, обрете же тамо человека именем Енея, от семи лет лежаща на одре, иже бе расслабен. И рече ему Пётр: „Енее, исцеляет тя Иисус Христос, востани с постели твоя“, и абие воста, и видеша его вси живущии в Лидде и Ассароне, иже обратишася к Господу“.

В 415 году здесь собран был собор против Пелагианской ереси, на котором сам же Пелагий проклял свое заблуждение. В

настоящее время в Лидде есть обширная и красивая церковь во имя св. великомученика Георгия, построенная в 1872 году на великолепных остатках древней церкви, построенной еще при императоре Юстиниане (527 — 565 г.). В Лидде родился и вырос великомученик Георгий, пострадавший в Никодимии во время гонения Диоклитиана, как видно из его жития.

Далее — город Рамли или Рамла; по-арабски слово рамла означает песок, и это название дано этой местности несомненно по причине песчаной почвы. В прежние времена этот город сиял великолепностью, а в настоящее время это небольшое грязное местечко с 4,000 жителей, из коих 1/6 православных, а остальные, за весьма немногими исключениями, все мусульмане. Рамли расположен в самой середине весьма плодородной долины Саронской, от Яффы в 15-ти верстах. Жители Рамли занимаются, как и жители Яффы, торговую промышленностью, преимущественно по части вывоза местных произведений: разных фруктов и в особенности сладких крупных арбузов. Яффские, Лидские и Рамльские арбузы славятся не только в Палестине, но и по иным государствам; вкус они имеют на подобие как в Уральской области, но только крупнее и толстокожее. Из Яффы арбузы нагружаются на пароходы и отправляются Средиземным морем во все державы.

В Рамлях родился благообразный Иосиф Аримофейский и Никодим, потаенные ученики Христа Спасителя. Здесь же Самсон-богатырь отмстил филистимлянам за свою невесту, попавив у них хлеба и сады, и здесь же ослиною челюстью он убил 1,000 филистимлян.

Вправо от дороги, по которой следуют из Яффы в Рамлу, виднеется полуразрушенное селение, называемое Язур, в древности Газер — это, говорят, была столица хананеян, где Иисус Навин разбил на голову хананейского царя Орама и его союзников, о чем упоминается в книге Иисуса Навина; а в книге Паралипоменон говорится, что на этом же месте царь Давид разбил филистимлян. В этом Газере, ныне Язур, родились благочестивые и воинственные Макавеи.

Не доезжая Рамла, влево от дороги, на довольноом расстоянии виднеется деревня Петдеджан; название это весьма созвучно еврейскому Бет-Дагон (дом Дагона), о чем упоминается в книге Иисуса Навина: здесь был храм, а в нем стояла статуя Бога филистимлян Дагона; в храме этом филистимляне поставили-было кивот завета, отнявши его у израильтян; но только им это было без пользы, так как Дагон не мог терпеть кивот завета: идол упал и разбился. Затем и сами филистимляне потерпели разными болезнями и проводили обратно к израильтянам кивот завета.

26-го июня, в 6 часов вечера, приехали мы по железной дороге на вокзал, в 1-й версте от Иерусалима. Тут нас встретил гавас из черногор, служащий при дворе русскопалестинского общества, которому Яффский гавас сообщил об нас телеграммой. С вокзала мы наняли карету, на которой доехали вместе с гавасом до русской постройки. Управляющий распорядился поместить нас в общем помещении русского подворья бесплатно, но мы не пожелали быть в общем помещении, а попросили, чтобы нам дали отдельный номер III класса. В чем и были удовлетворены и поместились на 3-м этаже, в 15-м номере, за цену 50 к. в сутки, на своем продовольствии.

VI.

В Иерусалиме. — Поездка на Иордан к Мертвому морю. — Двор доброго Самарянина. — Дом богатого Закхея. — Иерихон. — Растительность. — Случай на Иордане. — Источник пророка Елисея. — Нищие. — Воскресенская церковь и гроб Господень. — Рассказ о появлении огня. — О Палестине. — Отъезд из Иерусалима.

По прибытии в Иерусалим, на другой день, 24-го июня, мы просидели в квартире безвыходно, так как сильно устали после морского пути. К тому же, за последние сутки был сильный ветер, Средиземное море нас сильно понянчило, после чего первые сутки мы были как хмельные, а на вторые — с похмелья. Только 25-го июня, в 7 часов вечера, сходили на базар и наняли карету, чтобы

съездить на Иордан к Мертвому морю. 26-го июня, в 2 часа по полуночи, приехал к нам извозчик в большой карете на тройке добрых коней, в которую мы поместились; с нами сели в карету Яков Иванов Цытренко, Черниговской губернии, временно проживающий в Петербурге, комиссионер коммерческой компании, и для разъяснения поехал с нами гавас из черногоров.

Проехав от Иерусалима верст 10, на восходе солнца, извозчик приостановился с целью, чтобы дать отдохнуть лошадям. Вышли все мы из кареты и видим: в левой стороне, саженях в пяти от дороги довольно пространный дом, двор которого обнесен каменной стеной. „Это дворец доброго самарянина, — сказал гавас, — о котором упоминается в Евангелии". Мы с любопытством обошли кругом дворца. После чего, проехав верст 20, увидели по правую сторону дороги довольно красивый обширный сад, с высоких разных пород местными фруктовыми и душистыми растениями. В середине этого цветущего сада виднеется искусно построенный дом о трех этажах, к которому извозчик подвез нас и остановился. — „Вот теперь отдохнем и закусим хлеба-соли", сказал гавас. На этом месте раньше был знаменитый и многонаселенный город Иерихон. Мне пришло на память, о нем писано в книге Иисуса Навина: когда израильтяне по исходе из Египта и по смерти пророка Моисея остановились не в дальнем расстоянии от города Иерихона, то Иисус Навин выбрал из среды своего войска искусных людей, которых отправил разведчиками. Разведчики, пройдя к городу, смекнули, что нужно им на время скрыться, пока не попали в руки врагов, и зашли к одной публичной женщине, которая согласилась их скрыть. Иерихоняне выследили их и, придя к женщине, строго требовали от неё к ней пришедших неизвестных людей. Но известно, что такие женщины привыкли увертливо отвечать на все вопросы, так и эта отвечала: „вам известно, что ко мне люди приходят в дом днем и ночью, и мне нет надобности каждого приходящего пытаться, кто он, откуда пришел и куда простирает свой путь. Верно: были такие люди и ушли задними воротами". Ответ её иерихонянам показался настолько правдоподобным, что они более не стали

разыскивать, и разведчики без препятствия вышли из города Иерихона и явились с выгодным известием к Иисусу Навину. Иисус Навин приказал приготовить семь труб и, по распоряжению его, войска расставлены были вокруг города. Когда заиграли в эти трубы, то высокие стены Иерихона развалились и началось разграбление города и истребление людей; но женщину, которая скрыла в доме своем разведчиков, приказано было не оскорблять и даже за искусную её услугу воздали ей благодарность. Где теперь стоит упомянутый выше трёхэтажный дом, во времена Христа Спасителя существовал дом богатого Закхея, который искренно пожелал видеть Христа, но, по своему малому росту, среди густой массы народа, не чаял увидеть Спасителя, почему и решился влезть на дерево, стоявшее близь его дома. Спаситель взглянул на Закхея и сказал ему (как говорится в Евангелии): „Закхее, слези, днесь подобает ми обитати в дому твоём". Дерево это, на которое влазил Закхей, и теперь стоит, по имени ягодница (смоковница), толщиной в два обхвата, аршина 4 вверх от земли имеет две ветви, между которыми, по преданию, и сидел Закхей в ожидании Христа Спасителя. Ягодница каждый месяц дает плоды, в год восемь раз поспевает на ней ягода.

Масличное дерево вид листьев имеет как верба, или молокитник; кора на нем тёмного цвета, растёт в твердость очень медленно, но зато долговечно; существует каждая маслина несколько веков. Из масличного плода вырабатывается деревянное масло, очень вкусное; в тех местах это масло употребляют во все кушанья, а то, что в России называется деревянным маслом, совсем не такое; быть может то же, но только, как говорится, семьдесят семь раз разбавлено, отчего не осталось в нем и признака масличного благовония.

Перцовое дерево коры имеет вид, как на старом молокитнике, наружная часть коры сама приподнимается, на дереве листья узко-продолговатые, но плода дает очень много.

Рожковое дерево или заморско-стручковое, толстое и курчавое, как тополь, иногда от жаркого солнечного припека

плоды не успевают созревать, отчего в них бывает большая разница.

Финиковое дерево на первый взгляд имеет вид на подобие куста камыша, только самая нижняя часть плотно вся сгрудилась, или еще похоже на широкую кугу¹⁾, корень один, а кверху раздробилась на десятки частей. Когда середина поднимается, нижние части начинают сохнуть; эти ветки срезавают, оставшиеся сучки сжимаются плотно к середине, отчего и делается твердость древесного стебля. На вершине у финика длинные ветки, числом их целые сотни; на этих ветках длинные, твердые листья, на конце листьев острые иглы, а между веток висят кисти ягод от 15 ф. до 1 и. 20 ф. весу. Украсть с финика ягоду небезопасно, так как ягода бывает очень высоко, а на листьях острые иглы, на которые человек может легко напороться. В наших местах на Урале о финиковом дереве от дедов передается рассказ, будто-бы человек, который сажает финиковое дерево, сам от него ягоды не ест, потому что финик до 70 лет не дает плода. Рассказ этот неправильный: финик плод дает очень скоро, после посадки чрез 5—6 лет.

После роздыха и покормки коней, извощик запряг твою лошадей, на которых, проехав верст 17, выехали на берег Мёртвого моря, которое образовалось на том месте, где раньше существовали Содом и Гоморра. Как известно из Священного писания, оба города за нечестие жителей поглощены были землею. Спасся только Лот с семейством, причем жена Лота за послушание превращена была в камень слан. Жены Лотовой в настоящее время уже на том месте нет, где она окаменела: ее давним-давно увезли англичане (!). Мертвое море имеет длины 90 верст и 20—25 верст ширины, вода в нем прозрачная, но вредная, не имеет в себе ничего живого; если случайно угождает сюда из Иордана рыба, то вскоре

¹⁾ Кугой на Урал называют особый вид камыша.

помирает и волнами ее выбрасывает на берег. Берег Мёртвого моря песчаный, отлогий, густо покрыт мелкой галькой от 1 ф. до 1 зол. весом. На берегу построено невзрачное здание для роздыха посетителей, на стенах виднеются надписи на разных языках; мы в свою очередь тоже подписали на стене свои имена и фамилии. После чего мы поехали на Иордан, верст за 5—6, на то место, где Христос крестился.

Иордан река ширины имеет 15—20 сажень, глубокая и обрывистая, вода бела и непрозрачна, почва иловатая. По берегу Иордана имеется мелкий лес, приятного запаха. Поклонники раньше нередко в Иордане тонули, вследствие обрывистого берега и водоворотов; в настоящее время запрещено купаться тем, которые не умеют хорошо плавать. Мы все трое купались и плавали на другую сторону берега, спутник же наш Цытренко купаться не пожелал, а только умыл лицо иорданской водой и пошел в тростник. Едва успели мы одеться, слышим, Цытренко кричит: „тону!“ Мы приняли это за шутку, но гавас пошел к нему, и вскоре мы услышали его голос: „Яков, держись!“—„Ну, не зря Цытренко в Иордане не купался, — сказал Максимищев; — по всему—он и на сухом тонет“. Минут через 5 выходят из тростника гавас и Цытренко, оба в грязи. Подошли к Иордану, скинули с себя всю одежду и стали мыть в Иордане. Мы спросили Цытренко: „Где ты отыскал такую тину в 15 саженях от берега, на суше?“— „Ох, братцы, ответил Цытренко, совсем было утонул!“— „Ты зачем же полез в такую трясину?“—спросили мы. „Никакой трясины не было заметно, а просто обыкновенная сушь. Наступил я левой ногой и почувствовал, что под ногой у меня в роде жидкости; я ускорил шагнуть вперед правой ногой, которая нисколько не приостановилась, вошла в землю, как в воду. Я хотел схватиться за тростинку, которая была у меня в правой руке, но и тростинка также вся ушла в землю. Наконец я ухватился за ветку дерева и начал вам кричать. Хорошо, что от вас было недалеко. Вот уж истинно: где не чаешь, можешь погибнуть!..“ После этого мы опять сели в карету и поехали обратно. В верстах 5 от Иордана, где проживал Иоанн Предтеча, теперь существует монастырь во имя

Иоанна Предтечи; на таком же расстоянии виднеется невзрачный монастырь во имя преподобного Герасима; кроме же этих двух монастырей здесь нет никаких жителей, как и писано, что Иоанн Креститель водворился в пустыне.

В 4 часа вечера приехали мы обратно в Иерихон, в тот же дом; гавас сказал нам, что в Иерихоне придется ночевать. Среди сада мы увидели канавку, по которой текла вода. Мы спросили монаха: „откуда это истекает вода и как называется?“— „Это называется источник Елисея пророка, ответил монах, вытекает он из горы Искушения“. Мы пошли посмотреть вершины источника. Верстах в 4—5 от Иерихона источник вытекает из подошвы „Горы искушения“; здесь находится круговидный бассейн, выложенный дикарем, откуда с шумом вытекает вода, свежая, пресная. Сажень 20 ниже бассейна построена арабами невзрачная водяная мельница, не имеющая пруда на содержание воды, а вместо коуза проведена канава, края которой выложены дикарем и по которой быстро бежит вода. На вершину горы „Искушения“ мы не входили, так как было уже поздно. На этой горе Христос молился 40 дней, и тут его искушал сатана. В полугоре виднеется греческий монастырь. В Иерихоне и Иордане очень жарко, так что во время ночи нам не пришлось уснуть от духоты. В три часа по полуночи мы уехали из Иерихона, а в 8 часов 28 июня приехали в Иерусалим.

На всех дорогах к святым замечательным местам, по тракту, сидят по обеим сторонам сотни разных родов калек, — большей частью арабов магометанского исповедания, — которые просят у поклонников милостыню. Тут и хромые, и безногие, и безрукие, собравшиеся со всех концов Палестины, из Аравии и Египта. Они кричат: „эта злепой, эта злепой“ и при этом ударяют о землю рукой или ногой, а иные, не имея движения в руках и ногах, бьются о землю головой. Подле каждого стоит чашка или иная посуда. Иные выползают на самую дорогу и, лежа вдоль и поперек, трясутся, бьются головами о землю и кричат, зашуривши глаза: „эта злепой“. Когда же в чашке его зазвенит монета, он быстро откроет глаза, посмотрит и опять зажмурится. Стоит заглядеться

на что-нибудь или заслушаться рассказов гаваса о достопримечательных местах, когда уже впереди, саженной на сто — опять такая же толпа. А когда приглядитесь, то увидите, что это те же самые, которым вы сейчас подали.

В 4 часа того же числа мы с гавасом ходили в Воскресенскую церковь, к гробу Господню. Церковь Воскресенская очень обширная, устроена на нескольких арках, в ней имеются престолы на несколько языков всех наций христианских. По левую сторону от входа, недалеко от дверей, находится постоянно сторож из магометан, который по захождении солнца встает со своего места и затворяет церковные двери. В это время разных наций народ из церкви поспешно выходит наружу, а желающие остаются на всю ночь в церкви. Турок, затворив двери и замкнув их, уходит, а поутру отмыкает дверь и снова сидит до вечера. Среди церкви часовня святого гроба, выложенная сводом из обожжённого кирпича, аршин 12 длины, 6 ширины, и аршина 3 высоты (внутри); она разделена на два помещения. Войдя в первое помещение налево и направо, в дальних стенах, имеется по одному круглому, небольшого размера, окну, или, вернее сказать, овальные отверстия. Пройдя первое помещение и спустясь по ступеням вниз, мы попали во второе помещение. В правой стороне его стоит Гроб Господень, выделанный из мрамора, на который по преданию сходит в Великую субботу торжественный огонь. Мы не имели возможности лично быть в это время и видеть, как получается иерусалимским патриархом небесный огонь, но всячески старались достигнуть и узнать от тех людей, которые присутствовали в числе прочих в Великую субботу. Два священника православного исповедания, приехавшие из Болгарии к 20 декабря 1897 года в Иерусалим, о которых передавали нам русские поклонники, что они все время находятся в Иерусалиме, присутствовали во время Великой субботы, и рассказывают так:

Рассказ о появлении торжественного небесного огня.

В Великую субботу, с раннего утра, в храм святого Гроба стекаются все находящиеся в Иерусалиме поклонники всех христианских наций, в особенности местные жители христианского исповедания едва-ли не поголовно приходят в этот торжественный день и располагаются все в разных частях Воскресенского храма, кто где место найдет для себя удобным. В храме находящиеся лампы и светильники с утра тушатся, затем приходит отряд турецкой пехоты, которая располагается вокруг св. Кувуклии и в более значительных местах храма и бдительно следят и устраивают тишину и спокойствие. Иначе могли бы произойти беспорядки при столкновении в храме множественного народу разных государств и религий. Вход в св. Кувуклию запирается и припечатывается особою печатью привратников храма. Перед началом велико-субботней заутрени, арабы, православного исповедания, совершают, дозволенный с давних лет султанским фирманом, обычай: шумною толпою они обегают вокруг св. Кувуклии, бьют в ладоши и громко восклицают на своем наречии: „нет другой веры, кроме веры православной!" В алтаре соборной церкви греков собираются патриарх иерусалимского престола со всем православным духовенством, также армянское духовенство и клирики остальных христианских наций. По наступлении местного вечернего четвёртого часа, царские врата греческого алтаря растворяются, и разоблаченный патриарх, в одном белом подризнике, со связкою восковых белых свечей, назначенной для принятия святого огня, предшествуемый всем духовенством, в полном блестящем облачении, направляется к часовне св. Гроба Господня, при пении стиховны шестого гласа: „Воскресение Твое Христе" и т. д. Процессия обходит трижды св. Кувуклию, после этого печать с дверей снимается, и патриарх иерусалимский, вместе с патриархом армянским, входят в вертеп святого Гроба, затворив за собою входную дверь, а духовенство

возвращается в алтарь соборной церкви. В эти торжественные минуты волнение от десятков тысяч присутствующих в храме затихает, все исполняется ожиданием и царствует мертвая тишина. Вдруг громовой, разноязычный крик десятитысячной толпы, потрясающий нервы, раздаётся под высокими сводами обширного храма. Святой огонь раздается через правое овальное отверстие придела Ангела патриархом иерусалимским, а в левое патриархом армянским; из правого отверстия св. огонь принимает обыкновенно знатное семейство из местных православных (вероятно староста) и переносит его в алтарь собора, где ризничий св. Гроба раздает уже всем в храме присутствующим; армяне же, копты и сириане, приняв св. огонь от патриарха армянского через левое отверстие, переносят его в свои часовни и раздают своим. Патриарха иерусалимского арабы на руках переносят обратно в соборный алтарь, где немедленно начинается великосубботняя заутреня.

Палестина.

Древнейшее название Палестины было — земля Ханаанская, от Ханаана, сына Хамова, родоначальника первых обитателей этой страны. По выходе из Египта на ней поселились евреи; хананеяне занимали страны, лежащие между Иорданом и Средиземным морем. Название Палестины употреблялось римлянами, греками, а прочие называли ее различно: земля евреев, земля израильская, земля Иудина, земля обетованная.

Поверхность Палестины гориста и по преданию очень плодородна. Моисей в (книге бытия), обращаясь к евреям, говорит: „клялся Господь отцам вашим дати им и семени их по них землю, кипящую млеком и мёдом; есть бо земля, в ню же вы идете и тамо наеледите ю, не яко земля египетская есть, отнюду же изыдоште: егда сеют семя, напояют ю ногами своими (т. е. искусственными приспособлениями), аки вертоград зеленый; земля же, в ню же входите, тамо наследите ю, земля нагорная и равная, от дождя небеснаго напояется водою". Впрочем, в

настоящее время необходимо признать, что плодородие Палестины далеко нельзя приравнять к плодородию

Палестины древней; число жителей, по-видимому, значительно уменьшилось, обильные прежде потоки и источники земли Ханаанской, о которых упоминает Моисей, иссохли, так что знаменитый святой Иерусалим остался без водицы. Жители Иерусалима, посещающие святые места, от жажды пьют дождевую воду, которая запасается следующим родом: каждый домохозяин, при постройке своего дома и прочих зданий, вначале избирает место, где сохранять ему воду, выкапывает глубокую яму, укрепляет в ней дно и стены подходящим материалом, чтобы из неё не уходила в землю вода; с крыш зданий устроены проводники (трубы) в эту 'яму. Во время зимних месяцев в Иерусалиме бывает вместо снега дождь, который с крыш по трубам стекает в яму или подвал. В случае, когда бывают зимние засухи, много народу расходится по иным местам, где усмотрят в избытке воды. Вообще теперь Палестина мало напоминает блаженную страну, которую Моисей так одобрял за плодородие. В окрестностях Иерусалима камни (дикарь) и сплошная галька.

30 июня, в 6 ¹/₂ часов утра, мы отправились в карете на вокзал железной дороги, а в 40 М. восьмого тронулся поезд направлением к Яффе (87 вёрст). Ехали 3 ч. 20 минут. С вокзала пешие извозчики понесли наш багаж на морскую пристань, а я зашел в яффское русское консульство для отметки в наших паспортах, что мы были в Иерусалиме. Нужно было сделать это в Иерусалиме, но перед выездом нашим из Иерусалима консула в канцелярии не было, вследствие двух праздников (дня Петра и Павла и воскресенья). По заявлении паспортов в русском агентстве купили пароходные билеты. Погода была ветреная, море расколыхалось, волны ходили как горы, а в яффской пристани, вследствие подводных камней, парходы не доходят версты две к берегу; надо было плыть в лодке. Наняли мы лодочника и, отъехав сажен 200 от берега, в левой стороне, не в дальнем расстоянии увидели сверх воды пароходную трубу. Спросили мы гаваса: что это такое? — „Это русский пароход, — объяснил нам гавас, — раньше подходил к

яффской пристани, но во время сильного ветра набежал на подводный камень, отчего прошибло ему дно, и пароход потонул". — „А народу много было на этом пароходе?" — спросили мы. — „Мало ли было одних паломников, но, благодаря лодочникам, спасли от гибели народ". Очень трудно было нам добраться до парохода: нас то подымало с лодкой на высоту, то опускало вниз, в ущелья между пенистых волн. Всё-таки добрались до парохода.

VII.

Отплытие из Яффы. — Молодой монах и келейница. — Порт-Саид. — Затруднение с пароходами и остановка в Порт-Саиде. — Празднование дня французской республики. — Состязания французов и англичан. — О переводчиках. — Прибытие парохода „Херсон“. -Встреча с донскими казаками. — Непреклонный капитан. — Начальник Палестинского Общества. — Неудача с „Херсоном". — Отплытие на французском пароходе—Разговоры с французами. — Картина, изображающая русско-французскую дружбу. — Суэцкий канал и Чермное море. — Предание о „фараонах", выходящих из моря. — Дельфины. — Буря в Индийском океане. — Остров Цейлон и город Коломбо.

В 4 часа пополудни пароход пошел по направлению к Александрии, с нами было 50 человек русских поклонников, в числе коих молодой монах, лет 23-х, который с младых лет посвятил себя на эту жизнь. Но в нынешнем году приехала в Иерусалим из России, в числе прочих, одна келейница, на поклонение святым местам. Но, вместо того, чтобы посещением святых и чудесных мест облегчить бремя прежде содеянных грехов, она смутила этого молодого монаха, который вознамерился попать данный перед Богом вечный обет, согласился с келейницей ехать в Россию и там на ней жениться. Достигнут ли они заветной цели, —так что за ними поручено было преследовать (следить) одному из поклонников, запасному унтер-офицеру (Пензенской губ.). Этот унтер-офицер строго следил за

всеми их движениями. Я на пароходе поместился с ним рядом, и он мне о монахе и келейнице подробно передавал. У них даже и в мыслях не бродило, что есть человек, который, не отходя за ними следит, и не стеснялись тем, что на них все пассажиры смотрят, в особенности женский пол, во весь путь про них шушукались, а матросы даже вслух смеялись и говорили келейнице: „Сестра Мария, теперь ты осветилась монашеским к тебе подвигом!" А монаху: „брат Иван, или жениться вздумал? Время!" Они, несмотря ни на что, усердно один за другим ухаживали. Унтер-офицер намерен за ними следить до Одессы, в Одессе же в монастыре находится монаху брат, который быть может отговорит своего брата от недоброй мысли.

1 июля вошли мы в гавань Порт-Саида. Тут сказали нам, что русский пароход Добровольного флота за сутки до нашего прихода ушел во Владивосток, а следующий русский пароход выступит из Одессы лишь чрез 22 дня. Услыхавши такое известие, мы вознамерились разыскать иностранный пароход, на котором поскорее уехать из Порт Саида в восточные державы. Нам указали английский пароход, который тот-же день, чрез 4 часа уходил к востоку, до острова Сингапура. Другой пароход, германский, на другой день следует в Австралию. „Уедем на английском, если успеем, говорили мы между себя; —не успеем, то завтра сядем на германский пароход“. Прежде всего нужно было сходить в русское консульство. Сошли мы на берег, прошли неизбежное градское заграничное таможенство, где отобрали у нас заграничные паспорта, которые при нас же услали в консульство, к русскому секретарю. Мы взяли переводчика из евреев, бежавшего раньше из России, который привел нас в гостиницу. Того же числа пошли мы в консульство за паспортами, а также чтобы узнать, верно ли нам сказали об русском пароходе, что он не раньше трех недель из Одессы придет. Секретарь консульства сказал: „Паспортов я вам не дам до отъезда вашего из Порт-Саида“—„Мы сегодня или завтра уедем“, —ответили мы. — „На каком пароходе?"—спросил секретарь. —„Если сегодня, то на английском, а завтра—на германском". —„Английский пойдет первоклассный до

Сингапура и будет стоить 350 р. с каждого. От Сингапура с вас возьмут тоже не дешево; а германский пойдет в Австралию и тоже с вас возьмут не дешево; в Австралию русские пароходы не ходят“. — „Но ожидать нам русский пароход долго, из Одессы сюда он будет через три недели“. — „Кто же вам сказал об этом?“ — спросил секретарь. — „Нам на пароходе сказали матросы“. — „Это вам соврали; я не знаю в точности, когда придет русский пароход, но советую подождать три дня. Я получу телеграмму и вам скажу“. Мы поблагодарили и остались ожидать телеграммы.

2-го июля у французов был табель, знаменитый праздник воспоминания, день французской республики. Выкинуто было на пароходах и в городе сотни флагов, стрельба из орудий, духовая музыка, репетиция флотских маневров, гонка с англичанами на парусных лодках и на веслах. Интересно было смотреть, когда выезжали на поединки французы с англичанами. Устройство было такое: в лодках на корме (у руля) устроены лестницы арш. 4 вышиной; на лестницах в квадратный аршин площадка, без перил, на которые взойти по одному человеку из флотских французов и англичан. В правой руке держали в виде пики, а на левой руке надеты деревянные щиты. В лодках сидело по шести гребцов. Разъехавшись на пространство сажень в 70, обратно быстро понеслись и, поравнявшись, на всем ходу поединщики ударяли пиками во всю силу один другого в щиты и падали от удара с высоты вниз головой в море. Иной вышибет своего соперника с площадки, а сам устоит на своем месте твердо и начинает фехтовать пикой, стоя на возвышенном месте, пока не выедет против него другой поединщик. Один француз до четырех англичан вышиб с площадок и сразился с пятым. На первый раз устояли оба твердо; на втором ударе англичанин покачнулся и едва устоял; на третьей стычке оба поканулись, но всё-таки удержались; в четвертый раз англичанин ударил так сильно, что француз вылетел с площадки и задом упал в море.

В ночь на 3 июля на пароходах, в лодках, на берегу и по всем улицам, в особенности на бульваре раскинуты были разного цвета сотни фонарей; пение, музыка, стрельба из орудий; в воздухе

шипели и лопались ракеты, так что воздух наполнен был разных цветов огней, грохотанием и треском. Французы, итальянцы и англичане, сидя на улицах, читали журналы.

Город Порт-Саид не древний, стоит на устье Суэцкого канала к Средиземному морю. Постройка в нем чистая, улицы обширные, грунт земли песчаный. Назван по имени жившего в этой местности мурзы Саида. Вода в город проведена в подземных трубах из великой реки Нила. На берегу моря выстроен фонтан: выделаны четыре льва на 4 стороны, у которых из ртов сильно вытекает вода и падает в каменный чан. Этой водой жители города пользуются и называют ее сладкая вода; кроме того, нильская вода проведена и в прочие значительные места.

4-го июля мы пошли к вице-консулу узнать, когда придет русский пароход. Вице-консул нам объяснил: „Я получил из Дарданелов телеграмму: через два дня придет из Одессы русский пароход, на котором вы свободно можете уехать: проезд будет стоить вам много дешевле, чем на иностранных“.

7-го июля, в 9 часов утра появился в Средиземном море трехтрубный пароход с раскинутым русским флагом. Обрадовались мы, увидавши русский пароход: надокучило уже нам празднично жить на окраине Африки. Пять недель не видавши русских, бродили и слонялись между разных народов, как полунемые. Только немного начнешь понимать местное наречие и уже уезжаешь дальше, а там уже иной народ, иное наречие. Снова требуется переводчик, необходимо записывать в памятную книжку десятка 2—3 слов с переводом наречия местных жителей, а за работу переводчику отдай, да денежки-то какие: они уже научились как нас облупать, — за границей облупают чуть не до мяса. В иных местах такие бестии: одно слово скажет—отдай деньги; потом опять спрашивай.

В 10 часов русский пароход „Херсон“, отправлявшийся во Владивосток, вошел в гавань Суэцкого канала и бросил якорь. Мы немедленно наняли лодку и поехали на пароход. Народу на пароходе битком набито: батальон стрелков, следовавшие на переселение в Уссурийский край оренбургские и донские казаки,

а также с западных губерний с семьями переселенцы во Владивосток. Оренбургский есаул признал нас по фуражкам, что мы уральские казаки, и спросил: „Из какой вы станицы?“ Мы ответили, что из разных станиц: Мустаевской, Кирсановской и Рубеженской. — „А, соседи, соседи! Далеко ли путешествуете и как давно из России?“ —

— „Путешествуем мы уже 7 недель; пришли попросить капитана свезти нас до островов Цейлона, Суматры, Сингапура и полуострова Малакки“. — „Да, хорошо бы нам вместе ехать — нескучно, только едва ли капитан примет вас на пароход: очень уж многолюдно. Впрочем, идите, обратитесь к помощнику". Помощник ответил нам, что мест нет. Мы не отставали от него: „Что же мы должны делать, заехавши в чужие государства? Уже

7-й день с восторгом ожидали вашего парохода, скитаясь между древних фараонов. Сжальтесь, ваше высокоблагородие, примите нас, троим места немного надо“. Помощник, пожимая плечами, приказал нам обратиться к капитану, который в это время находился в каюте. Мы вошли в каюту. Капитан сидит в кресле без рубахи, в одних подштанниках: пот с него так коблуком и валит, едва успевает полотенцем стирать. Он вскинул на нас круглоголубые глаза и громко спросил: „Что вы сюда пришли?“ — „К вашей милости, ваше благородие, покорнейше вас просим, поместите нас на свой пароход, хотя не на всю путину"“. — „Никак нельзя, без вас тесно“, заревел капитан. — „Сжальтесь, ваше высокоблагородие! Мы ожидали вас 7 суток, как отца и покровителя; располагали на ваше благоизволение, что вы нас не оставите долее скитаться между чужих европейцев и египтянов“. — „Я вас не просил ожидать себя, заревел капитан во все горло, и вы не спрашивали меня, как залетать в Африку! Местов для вас у меня на пароходе нет. Кроме вас уже трое находятся на пароходе сверх нормы“. — „Сжальтесь, ваше высокоблагородие, не откажите. Если вы нам отказываете, поэтому иностранные с нами уже и говорить не будут. Нам трем человекам места требуется немного, мы поместимся на палубе, только не откажите“. — „Ни под каким видом нельзя, я уже вам сказал раз: не возьму!

Ожидайте следующего парохода, через месяц, а теперь выходите из каюты". — „Через месяц могут нам отказать так же, как и вы. Сжальтесь, ваше высокоблагородие!"—„Не просите, хоть застрелитесь, не возьму“. Вышли мы из каюты и думаем, кого еще будем просить? Разве сходить к вице-консулу, чтобы он с своей стороны попросил за нас капитана. Пришли опять в консульство. —„Что вы, казаки, пришли?“ спросил вице-консул. —Попросить вас, ваше высокоблагородие: взойдите в защиту, попросите капитана, чтобы нас приняли на „Херсон“. —„Я уже просил об вас капитана, чтобы приняли вас на пароход, но капитан отказал за неимением места. Более человеку докучать не могу, скорее же вы сами попросите его“. —„Мы его просили. Хоть застрелитесь, говорит, не возьму“. — „Какая неприличная речь для капитана, — сказал вице-консул. Делать нечего, съезжу я на пароход, напояну о вас. Может быть умиласердится и увезет хоть до Цейлона. Подождите у консульства моего прихода". И с тем он поехал на пароход.

Мы подошли к наружным дверям консульства, прислонились к стене спинами и печально призадумались. Подошел к нам человек в партикулярном костюме и сказал на чисто русском наречии: „Что вы, ребята, стоите, призадумались?“ Этими словами он нас возбудил как бы от сна. —„Как же, говорим, нам не призадуматься? Залетели мы в дальние чужие государства и скоро-ли отсюда выдеремся, нам самим неизвестно. Ходили на русский пароход „Херсон“, капитан нас не принимает“. —„А вас сколько человек?"—спросил господин. „Всего только трое“. —„На вас какая это форма: малинового цвета околыш?"—„Мы уральские казаки“. —„Грамоту знаете?"—„Знаем“. —„Идите за мной, я запишу ваши имена“. Он отворил дверь и вошел в консульство, а мы за ним. В канцелярии присутствующие чиновники все встали. Господин сел на стул и начал с ними говорить по-немецки (в консульстве находились все германцы, только один вице-консул Пчелинцев, уехавший на пароход к капитану, русский). Потом говорит нам: „подождите немного, человек вернется и привезет

известие, возьмут вас на пароход или нет; если не возьмут, тогда посмотрим“.

Вышли мы из консульства, сели на тротуар и рассуждали между себя, что это за господин? Не иначе, этот человек имеет власть значительную и, жалея наше печальное положение, вознамерился ходатайствовать о нас. Видно, братцы, человек имеет добрую душу, чувствует печаль стороннего человека и старается заглушить печаль и влить порядочную долю радости, а не так как капитан на „Херсоне“. Можно было отказать нам добродушными словами, но он, как лев, ревет. Людям без того горе, а он к тому же добавляет: „хоть застрелитесь!“—Так пока судили, рядили, в это время возвратился Пчелинцев с парохода, подошел и сказал нам: „Нет возможности вас поместить на пароход; вероятно пока придется вам остаться“. И ушел в консульство.

Мы говорим втихомолку: „ступайте в канцелярию, там есть у нас защитник; по всему, он имеет железную волю“. Через две минуты выходят из консульства Пчелинцев и тот господин, быстрыми шагами направились к берегу, сели в лодку и поехали на „Херсон“. В это время пришел к нам наш переводчик (старый жид, наш обдирала) и узнал от нас, в чем дело. —„Ну, теперь господин этот, сказал переводчик, поехал капитану нос натягивать; теперь уже уедете!“—„Для чего прежде времени врать“, сказал я ему. Через полчаса Пчелинцев и господин спустились с пароходной лестницы и сели в лодку. Мы с нетерпением ожидали их с добрыми вестями, но они направились на другой русский пароход, под названием „Корнилов“, следовавший из Александрии в Россию. С „Корнилова“ Пчелинцев возвратился один и, пройдя мимо нас в консульство, не сказал ни слова. Прошло около часу, пароход дал сигнал к отъезду. „Чего теперь мы ожидаем? —говорили мы между себя, „Херсон“, через 10 минут уйдет на Владивосток, идемте, хоть проводим его“.

Проводили „Херсон“ в 6 часов вечера и пошли в гостиницу. Повстречался нам на дороге гавас из египтян, который находится при русском консульстве, и объявил нам, что требует нас вице-

консул Пчелинцев. Мы пошли. Пчелинцев спросил нас: „Знаете ли вы этого чиновника, с которым я ездил на „Херсон?“—„Никак нет, ваше высокоблагородие, не знаем”. —„Это Палестинского Общества начальник; хотел он поместит вас на „Херсон“, да очень тесно и опасаются, чтобы от стеснения людей не завелись в народе болезни. Теперь вот что: палестинский начальник приказал вам объяснить, что русский пароход придёт, сюда не раньше, как через месяц; вам здесь ожидать будет стоить дорого, лучше ехать вам обратно в Иерусалим до следующего парохода. Он хочет вас содержать у себя бесплатно. Если желаете, поезжайте к нему; впрочем, это дело ваше, как хотите, а моё дело передать“. —„Ваше высокоблагородие, если следующий пароход придет из Одессы и число народа и тяжесть груза окажется еще больше, и капитан откажет нам, как и на „Херсоне“: дескать хоть застрелитесь, не возьму, что же тогда: мы снова должны ехать в Палестину и кормиться от начальника?”

— „Ну, я вперед уже сказать не могу, возьмут вас на пароход или нет. Однажды я вас остановил ожидать русский пароход и ошибся. Теперь, как хотите.“—„Мы думаем уехать на французском пароходе, о котором говорят, будто бы придет после завтра“. —„А в какие края пароход то следует, вы слышали?“—„В Австралию, ваше высокоблагородие“. —„Хорошее дело”. — „Покорнейше просим, ваше высокоблагородие, дознайте во французском агентстве, что стоит доехать до Колумбы, Сингапура, Сайгона, Онкона, Шанхая и Нагасаки?“—„Хорошо, это всё я узнаю и надеюсь, что французы сделают вам уступку. Придите ко мне завтра, в 10 часов утра“.

8-го июля, в 10 часов утра пришли мы в консульство, и Пчелинцев объявил нам: „Вот что, казаки: до Сингапура если взять вам билеты, тогда вам до Нагасаков обойдется очень дорого: возьмут 504 франка и 90 солд с каждого“. —„Нам желательно, ваше высокоблагородие, приостановиться в Колумбе, также и в Сингапуре, посмотреть на местный народ и дознать об их религиях”. —„Дознать то о всем вы можете, пароход в Колумбе остановится и вам будет перемещение на иной пароход. Также и в

Сингапуре приостановитесь и в это время можете обо всем дознать. А если взять билет до Колумбы, с Колумбы до Сингапура и так дальше, тогда до Нагасаков у вас выйдет денег по 1000 франков с каждого". Того же числа Пчелинцев послал с нами своего гаваса в английское консульство, для обмена денет русских на английские лиры (лира или фунт 9 р. 60 к.). С тем же гавасом сходили мы во французское агентство и купили на троих билет за 1514 франков и 70 солд. Выйдя из агентства, гавас сказал нам: „ну, теперь уже можно надеяться, что уедете“. —Да, довольно насмотрелись на египтянов“, —ответили мы.

В 10 ч. утра 9-го июля, получили мы от Пчелинцева свои заграничные паспорта, а в 8 часов (вечера) рассчитались с хозяином гостиницы, наняли одного египтянина снести до пристани багаж и ожидали на берегу канала до 12 часов ночи. Пароход, не дойдя верст 10 до пристани, пустил на воздух ракету, а через полчаса кинул якорь в Суэцком канале.

Наняли мы шлюпку, положили багаж и поехали к пароходу, на который взошли по лестнице; опросили у нас билеты и дали проводника, который нас привел в столовую и отыскал в каютах свободные места. Французы подошли к нам и стали дознавать, кто мы, спрашивая на своем наречии: „англий?“—„Но“, отвечали мы. „Прус?“—„Но“. —„Итал?“—„Но Москву“, сказали мы (европейцы русских называют „Моску“). Когда французы услышали от нас слово „Моску“, то сейчас же, протягивая руки, стали с нами здороваться; принесли полдюжины бутылок виноградного вина и просили в компании с ними выпить для дружества. Мы дали им знак, что вино не употребляем. Через 15 минут все бутылки с виноградным вином оказались французами осушены, затем принесена была ими картина для показания нам. На картине означаются русский Государь и Французский Президент, войска русские и французские, среди войск русский солдат и французский протянули один другому руки и здороваются. Внизу, у них под ногами изображен змий о трех головах под названием: „Пруссия, Италия и Австрия“, которые подняли головы и с неудовольствием смотрят на дружество России с Францией.

10-го июля, в 10 ч. утра пошли мы по Суэцкому каналу к Красному морю. Суэцкий канал неширокий, не более 40 саж., в длину около 200 верст, прокопан среди сыпучих песков. Во время сильных ветров его засыпает песком, вследствие чего машина всегда расчищает канал. Каналом пароходы идут тихо и осторожно, опасаясь, чтобы не налететь на мель. При встрече пароходов один пароход подбивается к берегу и останавливается. Во время ночи, на нос парохода надевают электрический фонарь, который освещает путь вперед треугольником; позади фонаря необыкновенная темнота, а от фонаря вперед, начиная в ширину от одной сажени до одной версты, так освещает, что каждая чурка на воде означает. Свет серебристый, так что на воде ничего не может скрыться. Электрик надевается в Суэцком канале и в других опасных местах.

11-го июля выехали в Красное море, или Черное, через которое Моисей Боговидец по выходе из Египта перешел, как по суху, с шестисоттысячным израильским народом, ударением жезла совокупил воду и Фараон с войсками потонули на дне моря. Нам говорили раньше: „когда поедете Красным морем, увидите фараонов, которые вылезают из моря и кричат людям: скоро ли будет светопреставление?“ Но мы проехали вдоль с края до края Черное море и не видали ни одного водяного фараона. Видали только трех фараонов, которые, оставшись от времен Моисея на берегу, в проезд наш купались на краю моря и, увидав нас, побежали из воды в пески. А в море всплывали целыми косяками дельфины, которые по обеим сторонам быстро бежали поверх воды вместе с пароходом. И большими массами из моря вылетали также летучие рыбы, которые летят стадами без препятствия, пролетают через морские высокие волны. Погода была ветреная, но жар и духота томили народ в свою очередь, так что в каютах на койках днем невозможно было лежать. Народ выбирался на палубу, под тень натянутого над всей палубой зонта, который по утра поливают из трубной кишки водою. В каютах и на палубе также каждое утро поливают и моют для чистоты и освежения воздуха. Благодаря такой чистоте и ветреной погоде, проезд

Красным морем был не очень тягостен. На пароходе пища была лакомая. Французы дали нам волю: хочешь, бери готовую или сам для себя приготовляй; хлеб белый, как булки, также за каждым обедом дают переменные фрукты: яблоки, миндаль, сладкие лимоны, бутылка виноградного вина на каждого человека в сутки.

Почтовый пароход бежит по Красному морю ровно, не тряхнется, и мы между себя радостно рассуждали: неужели такой большой пароход (90 саж. длин. и более 10 саж. ширины) морские волны могут расколыхать. Вот теперь ветер сильный, так с ног и валит, а пароход под нами только дрожит, как на железной дороге, а от ветра более влажность: не будь ветра, —от солнечного припеку хоть задыхайся. Но когда выбежал наш летучий пароход в открытый Индийский океан— завиднелись пенистые волны, мы полагали, что это скалы или снеговые горы. Но мы быстро подвигались к ним, а волны к нам. Пароход заиграл под нами, начал с боку на бок поваливаться, так что даже борты стали черпать на палубу морскую воду. Побежали все с палубы на свои места в каюты, закрутили снасти, завили окна, и легли каждый на железные, к стенам прикрепленные койки. Волны сильно ударяют в стены, пароход сваливается с боку на бок, у людей кружение головы, кого тянет, кого рвет. Вдруг послышался стук, как гром. Все вскочили на ноги, думая, что пароход ударился о камень. Оказалось, что из буфета вылетали бутылки и всякая посуда, катаясь, как живая, по столовой. У нас был чайник, стоял в каюте с водой. Ему одному стоять показалось обидно, вдруг побежал чайник из каюты вместе с посудой разгуляться. Один из нас побежал за ним, но чайник ударился из стены в стену, наконец как-то подкатился к его ногам.

Раньше французы пели песни и за обедом не молчали; теперь каждый в каюте на койке молча лежит и головы не поднимает. Пятеро суток был сильный ветер; в течении двух дней я не ел и не пил. Тошнота теснила, слезы неудержимо катились из глаз. Нет такой тягостной болезни, как болезнь морская, не даром русская пословица говорит: „кто на море не ездил, тот с усердием Богу молился."

20 июля, в 10 часов ночи мы пристали к острову Цейлону на пристань г. Коломбо. На утренней заре, 21 июля послышался русский сигнал, мы взойшли на палубу посмотреть, где звучит голос русской трубы, и увидели на расстоянии 100 с. трехтрубный пароход „Херсон“, который вышел из Порт-Саида вперед нас за 3 суток.

Остров Цейлон богат и весьма плодороден: хлопчатая бумага, южные плоды, строевой разной породы лес, кедровые и прочие плодовые леса. Медь, серебро, железо, золото и дорогие разных цветов камни. Местные обитатели коричневого цвета, черные длинные волосы откинуты назад и скреплены на вершине головы гребнем. Большой частью ходят нагие, имея на себе кусок бязи вокруг поясицы; один конец спущен спереди между ног, а назади привязан за этот же пояс. По морю они плавают на своих длинноузких, 7-вершковых лодках; сбоку от лодки на 1 саж. пристроена 4 верш. толщиной жердь, загнутая немного кверху. Между лодкой и жердью на связях утверждены мачты из бамбука, толщиной 4 вершка. Туземцы садятся в лодку верхом, ноги висят по колени в воде, а в лодке лежит у них пойманная рыба и рыболовные снасти.

VIII.

Отплытие из Коломбо. — Остров Суматра. — Полуостров Малакка. — Сингапур. — Играющие молодые туземцы. — Поездка на „двуногой лошадке“. — Спор с извозчиком. — Русское консульство. — Разговор о православных церквях на Малакке. — Неправильность одной части рассказа Аркадия. — Сингапурский арбуз. — Отплытие из Сингапура.

21 июля, в 7 часов утра снялся пароход „Херсон“. Мы вышли на палубу и раскланились им во всю спину. С парохода смотрели на нас и откланивались нам в свою очередь. Чиновники с русского парохода смотрели в бинокли и говорили: „А ведь это раскланиваются нам с французского парохода русские люди.“ — „Да это казаки! — громко сказал один: — видите, у них малиновые околыши. Это самые те, которые приходили в Порт-Саиде и

просились на наш пароход." „Херсон“ быстро побежал от нас прочь и больше разговоров мы не слышали. Через четверть часа подошел к (нашему) пароходу катер, который перевез нас в числе прочих на другой пароход той же компании.

В 12 часов дня снялся пароход с пристани и быстро побежал от Коломбо в океан. На третьи сутки завиднелись в стороне мачты. Французы говорили, что это „Херсон“, который отстал, и к вечеру совсем его стало невидно.

24 числа, в 6 час. утра, в правой стороне завиднелся цветущий зеленый остров с возвышенными марами (холмами), покрытый густым разных пород лесом; это был остров Суматра.

В 4 часа вечера, в левой стороне представился берег с пушистым высоким лесом—это тянулся длинный полуостров Малакка. Всю ночь ехали вдоль Малакского полуострова; за Малакским проливом, на восходе солнца, 25 июля, появилось множество мелких гористых островов, покрытых густым лесом. Вероятно, этот лес не видал человека хищника, у которого сверкает в руках топор и шипит пила, а только часто слышит пароходные сигналы, которые пугают гнездящихся в этих лесах разных красивых и дорогих птиц. В особенности множество попугаев разного цвета, которые ценятся в тех местах не выше 3—4 рублей.

В 2 часа пополудни мы пристали к о-ву Сингапуру. Тут встретило нас множество молодых ребят от 9 до 17 лет, нагих обитателей Малаккской страны, в своих маленьких легких, трех аршин длины, лодках. В руках имели небольшие весла. Французы бросали с парохода звонкие монеты в море. Ребята быстро выпрыгивали из лодок, ныряли, как крохали, доставали монеты из моря и поспешно из воды впрыгивали опять в свои лодочки, не зачерпнувши даже стакана в лодку воды. И снова кричат: „але, але, капитан!“ т. е. бросай, бросай. Французы разбрасывали монеты в два три места, но ребята мгновенно кидались за ними, и ни одна монета не могла достигнуть дна моря, но все были в руках ребячьих. Французы потешались и смеялись, но наконец,

догадавшись, сколько уже перекидали денег, больше кидать не стали. Тогда мальчики тотчас вернулись на берег.

Нужно нам было в Сингапуре походить, местный народ посмотреть. Спустились мы по сходням на берет и вышли на площадь, где стояли в 4 ряда извозчики с двухколесными на рессорах экипажами американского изделия. Поместились мы вдвое с Максимычевым в одну коляску. Извозчики не имели на себе ни рубаш, ни подштанников, а только подпоясана поясница кушаком, один конец пропущен между ног и подвязан сзади за кушак; и вот его все пышное одеяние. Извозчик, немедля нисколько, сам зашел в оглобли, обратился к нам и спросил на своем наречии: „куда прикажете ехать?“ Мы догадались, чего от нас он требует, и показали ему направление. Лошадка о двух ногах с места покатила рысью; мы дивились неслыханной езде: человек запрегся в экипаж и бежал, как добрый конь, с тягостью двух людей, пробежал до города и по городу не меньше трех верст. По телу его потекли ручейки пота; вероятно сильно устал и начал частенько на бегу обращать голову к нам, ожидая от нас, что прикажем остановиться. Мы на каждое его обращение говорили ему: „русский консул" и махали рукой вперед, дальше! „Пусть бежит до края города", говорили мы между себя. Извозчик видит, что мы его не останавливаем, решил остановиться сам: добежал к дому, в котором был магазин, остановился против двери, положил оглобли на землю и, указывая пальцем на дверь магазина, сказал: „русска, русска!“ Из магазина вышел человек лет 25, высокого роста, борода и усы выбриты, тоже не имея на себе ни рубашки, ни штанов, как говорится, в чем маменька родила, сам тучный, как тюлень. Раскланялся нам в пояс и просит нас к себе и указывает на свой магазин: „русска, русска." Максимычев с улыбкой сказал мне: „Смотри, товарищ, купец богатейший, на нем драгоценная одежда никогда не изотлеет."

Извозчик в свою очередь просит у нас расчета за доставку. Вошли мы к купцу в магазин, оглядываемся на все стороны, думаем, —нет ли где русского человека по слову хозяина. Среди магазина стоит окрашенный стол, хозяин приставил к столу два

стула и попросил нас сесть. Мы сели на стулья. Извозчик подошел к нам и просит от нас деньги за доставку. „Где же русска?“ — спросил Максимычев. — „Русска, русска,“ повторяет извозчик. Я вынул золотую английскую монету (9 р. 60 к.) и подал торговцу для обмена на местные серебряные деньги. Торговец взял от меня монету, насчитал 8 сингапурских серебряных монет и подал их мне. Я попросил от него прибавить еще две монеты; купец мотает головой и дает понять, что сполна выдал нам серебра за наш золотой. Впоследствии оказалось, что купец не додал нам 1 руб. 60 коп. Я одну монету подал ему обратно и попросил разменять ее на мелкие монеты. Купец вместо одной подал мне две монеты, из которых я одну подаю извозчику. Извозчик не берет, а просит большую монету. Я опять из последних прошу принять одну монету, но извозчик взял меня за пиджак и просит настоятельно уплатить за доставку, сколько он от нас требует. Я вскочил со стула и хотел его ударить врасплах, чтобы вылетел из магазина. „Я разделаюсь с тобой по казацьи, будешь помнить, как грабить русского человека!“ Но Максимычев удержал меня: „Уплати, пожалуйста, чего требует, — говорил Максимычев, — мы с ним не рядились, ведь может—у них такая такция. Далеко мы заехали, наших кулаков здесь на всех не хватит.“

Сел я на стул и подал извозчику монету стоимостью в 1 рубль. Хозяин магазина стоял неподвижно и быстро смотрел на нас. „Есть ли здесь русские люди, или хотя бы кто мог говорит по-русски?“ — спросили мы хозяина. Купец ничего не ответил, а только пожимал плечами. Мы повторили вопрос и, разводя руками, старались всячески, чтобы он понял от нас, чего нам желательно. Через полчаса наших переговоров он понял от нас, чего нам нужно, и перевел извозчику. Тот, по просьбе купца, согласился доставить нас к русским за 60 к. Поместились в экипаж, извозчик просит деньги вперед, мы же просим его, чтобы доставил нас прежде на место. Извозчик положил оглобли на землю и просит нас слезть с экипажа. Мы плотнее усаживаемся и просим купца, чтобы он его уговорил. Купец уговаривал его, но он все требует деньги вперед. — „Напрасно мы стоим, отдай деньги!“

сказал опять Максимычев. — „Вот прекрасно, отдай ему деньги, а он за них один квартал провезет, положит оглобли на землю и также попросит нас слезть с экипажа. Не дам деньги, пока не доставит нас куда нужно!“—ответил я товарищу.

Наконец, купец упросил извозчика, который плюнул на землю, взял оглобли и побежал рысью вдоль улицы. Пробежав ста четыре сажень, он остановился, положил оглобли и указывал на высокий дом, который виднелся впереди, в саженях тридцати. „Русска, русска!“ сказал он и протягивает руку за расчётом. Мы взглянули на этот дом; на нем виднелась надпись по-русски. Я выдал извознику 50 к.

Подошли к дому, пред которым был обширный подъезд. На дворе стоял окрашенный стол, за которым на стуле сидел человек.

— „Вероятно русские?“—сказал он. — „Да“, ответили мы. — „На каком пароходе приехали сюда?“— „На французском“. —Он поставил стулья. “Садитесь, пожалуйста. Сколько вас человек?“ — „Нас трое. Впрочем, есть, кроме нас, один господин русский на этом же пароходе, который едет из Марсели.“— „Это какая на вас форма?“— „Мы уральские казаки. — „Куда же вы едете?“

В это время подошли еще мужчина и женщина, сели на стульях и приняли участие в разговоре.

— „Мы разыскиваем русский народ, который вышел из России давным-давно, ста два лет и более тому назад. Нет ли где на этих островах русского православного народа?“

— „Я в этой стране нахожусь уже семь лет, —сказала женщина, —получаю сведения и ведомости с прочих островов, но не слыхала, чтобы здесь, на островах проживали русские, кроме того, как и мы, где двое, трое. Не токмо быть здесь православным, но даже нет и верующих в Распятого, кроме острова... (название ему я запомнил). На нем есть армяне. А вот где есть православные: против Адена, —зашедшие лет пять тому назад, об них у нас есть сведения. Этим христианам доставлены были из России церковные принадлежности.

— „Мы разыскиваем не тех людей, которые из России вышли по одиночке лет 10—20 тому назад; но мы хотим напасть на след

тех людей, о которых в России между старообрядцами распространен слух, будто бы уже два века и более тому назад вышедшие из России сотни людей с духовными лицами теперь обитают на восточных индокитайских островах и имеют до 40 церквей русских. На этих же де островах находится на сирском языке множество народу и церквей; имеют епископов даже и патриарха антиохийского постановления.

— „Чего вы разыскиваете, здесь этого нет. Не токмо 40 церквей, — если бы была одна церковь православная, и о той было бы известно. Если на котором острове мы сами не были, то людей со всех островов часто видим и спрашиваем, какие люди там проживают и каких вероисповеданий. Если на каком острове есть один человек русский, и он нам известен. Разве, как вы объясняете, что уже два века тому назад зашедшие, то из них уже старые померли, а молодые соединились в один тип с местными жителями и теперь признать их невозможно.“

— „А религия и церкви то где?“ сказали мы.

— „Да, это должно быть при них... Но нет, о православных здесь и слуху нет“.

Закончивши разговор, пошли на базар купить чего-нибудь съестного. На базаре фрукт много, но все нам не знакомые. Наконец подошли к арбузам. „Вот этот овощ нам известный и лакомая наша пища,“ — сказал Максимычев. Спросили арбузам цену, купили один за 25 коп., вышли на средину улицы, сели на извозчика и поехали обратно на пристань. Ехали и разговаривали между себя: с чего же распространились рукописанные маршруты, которые указывают на восточно-океанские острова, на них де живут люди русские и сирские с полным духовенством православно-кафолического исповедания. Но теперь мы самовидцы океанских островов и видим на них обитателей, что они поклонники разных богов... Теперь как-бы достигнуть Беловодии и Индокитайского полуострова, на которую местность указывает архиепископ Аркадий, под названием Беловодский.

Так пока между себя разговаривали, двуногая лошадка примчала нас к морской пристани, положила оглобли на землю,

просит за доставку деньги. Я дал ему 30 к. Извозчик, протягивая ко мне руку, требует прибавки. Я попросил от него обратно выданные деньги и вместо них хотел дать 50 коп., но извозчик, не понявши мое намерение, а предполагая, что я и последние деньги у него отбираю обратно, не дал их и с тем от нас ушел. Вот, что делает незнание чужих местных наречий: с пристани до места уплатили мы 1 р. 50 коп., а обратно проехали всего только за 30 коп.

Товарищ наш Барышников с нетерпением ожидал нашего возвращения. — „Ну, что, братцы, есть ли что доброе? " Рассказали ему все подробно; выслушал все Барышников и сказал: „Поедьте дальше, не нападём ли на след того, о чем рассказывал архиепископ Аркадий Беловодский". — „Необходимо нужно!" — подтвердил Максимычев. — „А это что у вас в сумке-то?" — „Гостинец", ответили мы и вынули из сумки арбуз. Я попробовал запустить в арбуз ножик и почувствовал, что арбуз недобрый. Все-таки вырезал из него маленький кусочек; цвет арбуза оказался необыкновенной красноты, словно облит кровью, и думаю себе, что вкус вероятно будет отвратительный; лизнул и дважды плюнул на пол. „Вот какой привередливый, говорит Максимычев, заграничный арбуз есть не хочет, даже плюет. Арбуз красный, таких у нас на Урале никогда не бывает". — „Да, братцы, попробуйте вы, чем пахнет", — сказал я, и подал кусок Барышникову. Он тоже лизнул языком и подал его Максимычеву, который также лизнул, и оба плевали до трех раз. Барышников сдержался и не отплевывался сразу, вероятно для того, чтобы вткнуть в пробу и Максимычева. Я взял кусок, приложил к арбузу и бросил его в пароходное окно, в океанские волны.

26-го июля, в 10 часов утра, вышли с пристани Сингапура направлением вокруг полуострова Малакки, к Сиаму. Целый день продолжали мы разговор об Аркадии, и когда стали вспоминать, что рассказывал он нам поодиночке, то оказалось, что рассказы его не сходятся.

IX.

Прибытие к гор. Сайгону. — Колокольный звон на заре. — Новые надежды. — Поездка по Сайгону на звон колоколов. — Католическая церковь. — Блуждание по городу. — Неудобства незнания языков. — Счастливая встреча с французом. — Французское консульство. — Мена денег; ошибка менялы, желавшего обмануть иностранцев. — Удивление жителей при виде русских. — Умная обезьяна. — Встреча с господином Куликовским и его объяснения. — Убеждение в самозванстве Аркадия укрепляется. — Случай из прошлого. — Отплытие из Сайгона. — Буря.

На 28-е число, в ночь, достигли мы до Камбоджских проранов (протоков), всю ночь блуждали меж островков реки Камбоджи и, довольно поднявшись по широкой реке, на утренней заре подъехали к пристани города Сайгона. На восходе солнца раздался по густому пушистому лесу звон колокола.

— „Слышите, церковный звон! — сказал Барышников; — уже не верны ли рассказы архиепископа Аркадия?“

— „Нужно поспешно бежать на этот звон, — говорил я, — дознать, какие люди находятся здесь и какая ихняя вера?“—Мы с Максимычевым вдвоем спустились по сходням. На пристани толпились такие же двуногие лошадки, как и в Сингапуре, только здесь возят в экипажах по одному человеку. Поместились мы на двух бегунков и поехали в город на звон колокола. Бегунки сначала бежали на звон, как будто знают, чего нам нужно. Прибежали на просторную площадь, остановились и, протягивая руки, просят от нас вознаграждения за потные свои труды. Но нам желательно было, чтобы они нас поскорее доставили, где звучит колокол, а разъяснить им не можем, только, сидя в экипажах. говорим: „дон, дон, дон!“ указывая им в ту сторону. Извозчики смотрят один на другого и смеются; наконец действительно потребовали от нас расчёта. Волей-неволей вылезли мы из

экипажа, вознаградили их за труды, а сами поспешно зашагали в ту сторону, где слышался звон, который уже прекратился.

Постройка города Сайгона чисто-каменная. Дома с двух трёх этажах, улицы все устланы щебнем, по улицам, по обеим сторонам в два ряда посажены пушисто-высокие деревья, шумящие от ветра. Через полчаса попали мы в ту улицу, по которой издали виднелась церковь, и подошли к ней. На паперти стояли трое мужчин, по физиономии, угадывали мы, должны быть эти люди из французов. Максимычев спросил их: „православная или католическая?“ указывая рукой на церковь. Французы поняли вопрос и ответили: „католическая“.

— „Где же православная?“—спросил я, разводя руками. — „Православной нет“, ответили они, т. е. нет. Спросили мы их: „нет ли здесь русских?“ Французы пожимали плечами, по всему— понять нас не могут. Мы стали часто повторять: „руска, руска! Москву, Москву!“ Один из них поднял руку, как будто понял, махнул рукой и пошел с нами вдоль улицы. Пройдя ста два сажень, подошел к полицейскому, что-то ему передал об нас и указал нам на полицейского, а сам ушел по другой улице. Полицейский пошел вместе с нами. „Ну, теперь полицейский доведет нас до места!“— сказал Максимычев. „Не знаю, насколько француз понял нас“, ответил я. Пройдя с нами три квартала, полицейский приостановился и дал нам понять, что дальше продолжать с нами путь не может. Недалеко стояли извозчики. Я махнул им рукой, подбежали к нам трое извозчиков. Мы попросили полицейского, чтобы передал извозчикам, чего нам нужно. Полицейский передал им что-то, а что именно нам неизвестно, только извозчики кивнули головами, как будто поняли. Поместились мы по одному в экипаж, побежали по улицам и переулкам и попали опять на обширную площадь. Остановились возчики, положили оглобли на землю, и приказывают нам вылезать из экипажа и уплатить за проезд. Мы не слезаем и деньги не отдаем, просим их, чтобы везли нас, куда нам нужно. На площади толпилось более десятка извозчиков, услышали шум, подбежали к нам и спросили, в чем дело. Извозчики передали что-то на своем наречии и снова стали теснить нас, чтобы

мы им уплатили деньги. Мы просим их, чтобы везли нас в консульство, говорим: „русска, русска! Моску, моску!“ Прочие извозчики смотрят на нас, смеются и между собой что-то толкуют. Наконец подняли оглобли и повезли нас дальше. Встретился нам опять француз, самый тот, который от церкви с нами до полицейского дошел. Я приостановил его и намекнул ему, что нас по городу возят бесполезно. Француз приостановил наших извозчиков, велел везти шагом и сам пошел с нами рядом. Пройдя не более 70 саж., он указал извозчикам на углу большой дом, а сам вернулся и пошел своим путем.

Извозчики помчались в припрыжку, вероятно обрадовались, что скоро с нами развяжутся. Пробежали сажень 200, повернули направо, подвезли к большому дому, положили оглобли на землю и указывают на высокий дом, т. е. дают знак, что представили к тому месту, куда приказал француз. Слезли мы из экипажей, уплатили за потные труды деньги и вошли в этот дом. В первом отделении стояли пять столов, за каждым сидели по три человека, занятые письмом. Можно было понять, что это какое-то присутственное место, народ без исключения все французы. При входе нашем все обратились лицом к нам. Старший чиновник что-то спросил нас на французском наречии. Мы в ответ сказали ему: „консул Моску!“ „Моску консул — но. Франси консул!“ И он указывал пальцем на свое правление. С тем и вышли мы от них.

—„Теперь в какую сторону пойдём?“—сказал я.—„Дойдем до базару, может быть чего увидим для нас нужное“, —ответил Максимычев. Пришли на базар, где нам потребовалось мелких местных денег. Подошли мы к столу меняльщика, я подал ему золотую монету 7 р. 50 к. Он насчитал серебряных денег 8 р. 20 к. и подал мне. Вероятно, русскую монету он признал за английскую, которая ценится 9 р. 60 к. Малаец полагал, что меня обманул на 1 р. 40 к., но между тем передал мне 70 коп. —„Не всегда же им нас обманывать, вдулся и сам по своей неправде“, сказал я. Подошли к торговцам, купили овощ в виде репы, вкусом превосходнее. Подал я торговке серебряные 25 коп. и попросил на них сдать мелкими. У торговли местные деньги, на которых в середине

четырёх угольные дыры, все надеты на шнурок. Долго считала она дырчатые деньги, наконец отдала мне всю вязанку. — „Ничего, за одну монету дала фунтов 7 овощу и вязанку денег“, сказал я.

Местный народ ходят нагие, как и в Сингапуре, но только здесь носят на голове широкие шляпы, как зонтики. Во рту у них имеется какой-то состав, в виде крови; часто плюют. Базар и все улицы оплеваны; можно подумать, что какое-нибудь животное, крепко раненое, бежало здесь и облило кровью. Употребляют в пищу всяких нечистых животных: в лавках для продажи висят копченые кошки, собаки, крысы и т. и.

С базару пошли мы обратно к пароходу. На пути местные жители смотрели на нас, как на каких чудовищ. Дети (и подростки) от 8 до 20 л. толпились и шли за нами. Мы заметили, что в их глазах кажемся страшными, и шли с целью мешкотно, не один раз приостанавливаясь. Ребята сначала старшие младших подталкивали к нам ближе, которые со слезами от нас бежали без оглядки. Наконец осмелились некоторые: при остановке нашей подходили к нам, глядели нам в лицо. Один, лет 20, ощупал руками наши бороды и под бородой глазами оглядел наши шеи. Чего искал туземец под нашими бородами? Или думал он, что под бородами на месте горла нет ли у нас другого рта? Вероятно, этот народ не видал русского человека, поэтому они и дивились.

Вышли из города. На пути попало место болотистое и лесное, но дорога набучена щебнем. Невдалеке от дороги (сажень 10) на пеньке срубленного дерева сидела обезьяна. Максимычев бросил в нее грецким орехом. Орех упал у самого пенёка; обезьяна спрыгнула с пенёка и, взявши орех, начала его разгрызать, потом положила его на землю и ударяла в него камнем. Но так как местность была болотистая, то орех забивался в землю; обезьяна снова взяла его, положила в воду мочить и, вынув его из воды, начала грызть. Подивились мы её смыслу и пошли своим путем к пароходу.

Весь день пробродивши по Сайгону, не смогли мы найти человека, который мог бы нам разъяснить, какая это страна и народ какого вероисповедания? Вернувшись на пароход, передали

обо всем Барышникову. Барышников вспомнил, что на этом же пароходе есть один господин русский; при разговоре назвался прокурором морского ведомства, по фамилии Куликовский, который ехал из Марсели. Обратились мы к Куликовскому с просьбой, как он знал хорошо французский язык. Куликовский рад был нам, так как русских давно не видал. Спросили мы, как страна эта называется и народы какого вероисповедания. Страна эта называется в простом наречии: Восточно-Китайский полуостров, местные жители Малаккцы, буддийского вероисповедания. Мы обрадовались. Думаем себе, что достигли до Беловодии, на которую местность указывали часть рукописных маршрутов, и Аркадий архиепископ в своем рассказе также упоминал этот полуостров.

— „Есть ли здесь город Левек?“ — спросили мы.

— „Не слышал я название такого города. На что же он вам?“

— „Мы ездим, разыскиваем русских людей, по распространившимся между старообрядцами рукописным маршрутам под именем инока Марка (Топозерской обители). Он будто-бы с двумя товарищами путешествовал на восток через Сибирь, в Китайскую империю. Пройдя городе Пекин, достиг страны

Восточно-Индокитайского полуострова, где и находится Беловодия, по островам большим и малым в окрестностях Японии. На тех островах народы обитают христианского вероисповедания, частью от проповеди апостола Фомы, но есть и выходцы из Сирии, зашедшие от гонения Папы римского и бежавшие из России от времен патриарха Никона. Все эти народы имеют епископов и архиепископов, до 40 церквей русских, а Сирских до 70 церквей и имеют Патриарха Антиохийского поставления. Двое спутников инока Марка пожелали остаться навсегда в этой стране, а Марк возвратился в Россию и свое путешествие подтверждает с клятвою. На эту же страну указывает и Аркадий архиепископ, под названием Беловодский, который явился в Россию лет 35 тому назад, приняв архиепископство от тамошнего патриарха. Мы проехали острова Цейлон, Суматру, Сингапур и проч., обогнули

Малаккский полуостров, но не только русских 40 церквей, но даже и людей русских мало видали, и те лет семь выехали из России. Спрашивали их мы о русских людях и какие люди находятся на Филиппинских островах. Они нам сказали, что-де, нет на этих островах православного народа, ни церквей, ни русских людей. Теперь, где же город Левек и где православный народ с духовенством и церквами?"

— „Я вам истинно говорю: нет здесь города Левека, и не бывали православно-русские народы. Не желаете ли -посмотреть карту в пространной черте этого полуострова?"

— „Очень желаем”, —ответили мы и пошли вместе с г-м Куликовским смотреть карту, на которой надписи по-французски. Куликовский прочитал все города и урочища. Нет города Левека.

— „Не верно ли говорил я вам, что города Левека нет, и в этой местности никогда не бывали русские люди. И теперь русские пароходы сюда не заходят, и здешние народы русских никогда не видали.

— „Что же такое? Неужели это все ложное? —сказал Максимычев, —как письменные маршруты под именем инокa Марка, так, в особенности, архиепископ Аркадий? Этот человек и теперь жив и находится в Пермской губ., временно приезжал и к нам на Урал. Что же заставляет его врать и носить на себе чин самозванства?"

— „Это очень просто, —говорил Куликовский. —Однажды ему взбрела дурная такая мысль принять на себя чин самозванный, и он выдал себя ложно за Беловодского архиепископа. Теперь ему уже трудно говорить правду, когда он привык врать“.

Когда Куликовский высказал про самозванство Беловодского Аркадия, мне один случай подобно такой же взошел на память. Это было лет 35 тому назад, когда я был 13—14 лет; в декабре месяце, во время багрeнного¹⁾ нашего рыболовства (этот промысел

¹⁾ Зимний лов по льду, причём рыбу достают баграми. На багрeнное рыболовство выезжает все уральское войско.

на Урале чуть ли не поголовный: начиная от пяти до 80-лет, всех везут на первый день багрить рыбу). Я в то время проживал в Ранненском поселке, 90 верст выше г. Уральска. Вот в числе прочих и я поехал с покойным родителем на багренье. Приехали в г. Уральск на квартиру к казаку Ивану Алексеевичу Сладкову; вошли к хозяину в комнату; я разделся, влез на печь погреться, а отец мой подошел к умывальнику, обрывая с бороды и усов намёрзшие от сильного холода ледяные сосульки и бросал их под умывальник в таз.

— „Терентий Григорьевич, — говорил Иван Алексеевич, — вы разыскиваете истинное священство, да не найдете. Священник есть в Петербурге у купца (фамилию и имя купца я запомнил) и церква у него в дому, но только никто не знает“.

— „Если никто не знает, — ответил отец, — Вы как же узнали?“

— „Мне сказал человек, который много раз был у этого купца и в домашней церкви при священнике Богу молился и на духу у него был“.

Отец мой по этой части был ревнитель, подошел к Ивану Алексеевичу и сел с ним рядом. — „Ну, говорит, теперь, пожалуйста, скажите имя этого человека, который Вам рассказывал?“

— „Гвардеец прошлой осенью пришел со службы из Петербурга, не простой казак, а урядник, врать уже не будет. Проживает в г. Уральске в Новоселках, фамилия его Изюмников. Был он у меня в гостях, сидели с ним, выпивали водку. Речь у нас зашла о священстве, он и рассказывал мне, как молился у купца в церкви и был на духу у священника“.

— „Иван Алексеевич, (говорит отец) как бы послать за этим урядником?“ Иван Алексеевич вышел из комнаты на двор и закричал: „Кузька, запряги гнедка в багрёные сани поскорее!“ Сам вошел в комнату и сказал: „сейчас привезем урядника“. Поскакал Кузька за Изюмниковым. Иван Алексеевич отворил шкаф. — „Не знаю, есть-ли у меня водка“. Вытаскивает четвертную бутылку. Вскоре урядник Изюмников вошел в комнату, помолился Богу,

раскланялся хозяину и сказал: „Вы, Иван Алексеевич, требуете меня повелительно, словно наказный атаман“.

— „Выпить я захотел, — отвечал хозяин, — а одному пить не весело“.

— „Как мол одному? У вас есть гости“.

— „Ну, эти гости не умеют держать в руках рюмку, а вы знаете. Мы с вами выпивали все под дёнушко“.

— „Да, верно: я не помню, как и уехал от вас домой, — говорил Изюмников. — Ночью проснулся и думаю, где я теперь лежу, не знаю, дома или в гостях у кого“.

— „Ну, садись-ка за стол, приударим также, как и раньше“.

— „Нет, Иван Алексеевич, нужно поберегаться: ведь завтра рано нужно бежать на ятовь, а у нас головы будут болеть. Нет, не нужно пить“.

— „Дело ваше, как хотите, а я выпью. Завтра, что Бог даст!“ Хозяин налил в стакан водки, перекрестился и потянул досуха. — „По-нашему вот как“ — сказал хозяин, налил в чайный стакан и поднес Изюмникову.

— „Не напрасно-ли, Иван Алексеевич?“ — сказал Изюмников.

— „Нет, нет, выпей, потом начнем дело, для чего я вас пригласил!“ Гость более не стал уклоняться, взял в левую руку стакан, пожелал хозяину всего хорошего и вытянул из стакана насухо; вероятно, в Питере научился, как со стаканом обращаться.

— „Вот этот человек, говорит хозяин, указывая на моего отца, — моей жене родной брат, а мне шурин. Они много лет стараются, где бы добыть себе старообрядческого священника. Я передал им, что есть священник в Питере у купца. Шурин мой ухватился за мой рассказ и пожелал видеть вас лично и выслушать от вас виденное вами. А вы расскажите ему без стеснения, как и мне сказывали.“

— „Да, Бога ради, не утаите, — сказал мой отец Изюмникову, — скажите все подробно: как имя купца, чей по фамилии, с которого времени находится у этого купца священник и где он взял священника?“

Изюмников не ожидал таких вопросов и не приготовился на них отвечать. Он облокотился локтем на стол, ладонь прислонил ко лбу; по всему было заметно, что в эти минуты Изюмников растерялся, —сказать ли то, что это он, гвардеец, да к тому же унтер-офицер, говорил неправду, или начинать врать....

Но много рассуждать было уже не своевременно и Изюмников решился врать дальше.

В это время и нам было заметно, что он растерялся, но поняли мы наоборот. Наше понятие было, что он стеснялся раскрыть купца и священника: узнает правительство, придет полиция к купцу в дом, возьмут у него священника, а самого купца посадят в тюрьму.

— „Иван Алексеевич, сказал Изюмников, налей-ка мне еще стакан водки, я выпью и потом начну рассказ”. —Раньше уклонялся от первого стакана, а теперь сам напрашивается, вероятно для смелости. По всему, не привык врать... Выпил и крикнул. „Водка, очень хорошая“, —сказал он; вероятно, ему хотелось, чтобы хозяин налил третий стакан, да не осмелился.

Прокашлявшись немного, начал говорить: —„Да, я служил в Питере три года. На втором году моей службы пришлось мне случайно познакомиться с купцом (называет его имя, отчество и фамилию). Уверился купец, что я старообрядец, и изволил тайно мне открыться, что есть у него в доме церковь и в ней служит старообрядческий священник. Разговор об этом был с купцом декабря, а какого дня, —дай Бог памяти“. —Изюмников ухватил левой рукой себя за голову, немного подумал и сказал: „22 декабря, за сутки до Рождества Христова”.

В это время опять можно было заметить, что он врал: сказал 22 декабря и за сутки до Р. Х. Впрочем, больной человек верит всякой деревенской бабке, только получить бы поскорее здоровье.

—„Я пожелал—продолжал он, —на праздник Христов в его домашней церкви помолиться Богу. Купец мне не отказал, велел приходить, только попросил меня, чтобы я никому не сказывал. Я дал ему честное слово. От вахмистра выпросил я на сутки себе увольнение. 24 декабря, когда заблаговестили в церквях, я и пошел

к купцу в дом. В воротах у купца стоял человек, который меня приостановил и спросил, как мое имя и фамилия; вероятно ему было обо мне сказано, и он указал мне дверь. Взошел я в комнату (в это время были уже на молитве), домашние указали мне, где ход в церковь. Когда я взошел в церковь, хозяин увидел меня, подошел к священнику, чего-то шепнул ему на ухо, и вместе подошли ко мне. — „Помолиться Богу пришёл?“ — спросил меня священник — „Да, благослови батюшка“, — ответил я. — „Добре, добре, чадо! Бог всех требует ко спасению“. Прочитал священник мне прощение, приказал за вечерней стоять мне просто, не креститься.

„Я так и исполнил: стоял, не крестился, а слезы у меня одна за другой катятся; не удержусь от радости, что Бог привел меня сподобиться видеть истинного священника“.

При этих словах, у покойного моего родителя потекли из глаз слезы. Он приткнулся локтями на стол, ладонями закрыл глаза, но слезы у него неудержимо текли, проникали между пальцев и капали на стол. Я сидел с ними, слушал рассказ Изюмникова, и меня также сердечно тронуло, покатались слезы. Мне сделалось совестно, мальчишке, плакать, чтобы видели люди; я вскочил со стула, выбежал в другую комнату, уткнулся лицом в кроватьную постель и втихомолку поплакал. Потом обтер кулаком глаза, подошел к зеркалу, поглядел на свое лицо и заметил, что лицо у меня отекло и глаза покраснели. Как войду в горницу? — себе думаю. — Дядя Иван спросит у меня: что у тебя, Гринька, глаза-то покраснели? Подошел я к умывальнику, умыл лицо, пополоскал глаза. У зеркала висело полотенце, которым я утерся и снова вышел к ним.

Считаю не лишним обратиться ко всем поповцам. Лушковцы, окружники, полуокружники и противокружники, духовные и мирские, грамотные и неграмотные лица приняли за привычку говорить нам в укоризну: „вы не имеете при себе священства от нерадения и бесстрашия вашего. Хотите жить своевольно и безнаказанно на всю жизнь; не обличаете тяжких своих грехов священнику, к тому же подтверждаете, что можно спастись и без священника, указывая на некие случайные бытия“.

Однако, если признают в нас нерадение, что же тогда побудило моего отца испустить неудержно теплые слезы только при выслушании рассказа, что есть священник, к которому можно достигнуть? Бесстрашие-ли тронуло 13-ти летнего мальчика убежать от числа людей в уединенное место, удариться на подушку вниз лицом переплакаться? Были-ли слезы неудержны моего отца от радости, что проникает ясный слух о священнике, или о том, что по неизвестной судьбе давно лишились мы обещанных даров—сказать не умею. Или скажут и это нерадение, что в случае, когда проникнет туманный слух о том, что есть-де в такой-то удаленной стране народ и имеет при себе истинное священство, тогда мы съезжаемся, обсуждаем и снаряжаем депутацию. Одни щедро уболаговоряют деньгами, от пота и тяжких трудовых добытыми, другие оставляют без призрения свое домашнее хозяйство и, лишаясь своих жен и детей, решаются ехать в отдаленные и неизвестные места? Придется-ли возвратиться и видеть своих домашних или закроются глаза на море-океане и послужат могилой волны, а гробом дно океана!.. Да, —нужно судить, положи руку на сердце и применить на это место себя, а не говорить легко: „что им? или: денег мол набрали им много!“ А сколько в сущности, знают немногие люди, которые при отъезде нашем сдавали нам их счетом.

Чем же кончился рассказ Изюмникова? Выше сказано было, вечерню он молился не крестясь, а заутреню позволили уже молиться с ними вместе. После этого, говорил он, ходил я молиться всегда, когда был свободен. Дважды был у священника на духу и принимал святые тайны. Священник— человек кроткий, находится у купца уже 30 лет, от роду имеет лет восемьдесят.

— „Пожалуйста, напишите адрес, как купцу имя и фамилия? —попросил отец, —не забудьте также прописать, на какой улице дом купца“.

— „С удовольствием“, ответил Изюмников. Иван Алексеевич достал из шкапа два листа бумаги и подал Изюмникову, который написал карандашом имя купца, фамилию и проспект, после чего подал адрес моему отцу.

„В случае мы (говорил мой отец) пошлем людей в Петербург, тогда, пожалуйста, Вы напишите от себя купцу письмо, чтобы он не опасался наших посланных людей, открылся бы им простой душой—это необходимо“. —„Напишет, напишет“, сказал Иван Алексеевич. Изюмников несколько позамялся, но наконец ответил тихо, сквозь зубы: „можно“.

В течении багреного рыболовства, рассказ Изюмникова хоть и шепотком, но разлетелся по всему уральскому войску, а между старообрядцами даже с большими прибавками. Закончивши багреное рыболовство, собрались наши отцы и деды в Ранневском поселке, в доме нашем на обсуждение к снаряжению депутации в Петербург. Народ съехался со всех сторон, множество людей теснились в 10 арш. комнате. В сенях от тесноты были сильные капли.

Когда, в услышание всем, передали рассказ урядника Изюмникова, народ в один голос сказали: нужно безотлагательно, по вскрытии ранней весны, ехать в Петербург. На другой день сошлись в этот же дом ранневские жители чуть ли не все, так что дом, сени и двор наполнены были народом. Я в это время от тесноты сидел на печи, с удовольствием прилежно слушал говор народа. Но вдруг народ в избе что-то засуетился и стал выходить вон. Поспешно со стола собрали книги и поклали их в мешки. Я спросил у своей старшей сестры о причине суеты народа. Сестра мне сказала, что подано известие, будто-бы приехал из Январцева дистанции начальник и намерен отобрать все книги, а стариков арестовать. На деле вышло совсем не то: в это время богатый человек женил сына и послал приглашать богатых людей, но, к удивлению, приглашать было некого: мужчины все были на беседе. Богатый человек крепко призадумался. Пришел к нему его сродник, казак Павел Мирошкин, хозяин и рассказал ему свою неудачу... „Где же ваш народ?“—спросил Мирошкин. —„На духовном собрании в доме Терентия Хохлова“. —„Ну, не печалься, я их всех разгоню, —сказал Мирошкин. —Ты готовь поболее стульев да вина“. —„Это все готово“. —Мирошкин в это время был приказным и исправлял должность поселкового

начальника. Он с целью прислал человека передать старикам, чтобы побереглись на время, иначе будет им дурно. Народ разъехался, жители разошлись по домам и тем богатому человеку осчастливилось созвать гостей.

По вскрытии весны депутация отправилась в Петербург. Давал ли Изюмников депутации от себя письмо к купцу или нет— сказать не могу; по всему вероятно не дал, а ограничился только одним адресом. Депутация ходила по Петербургу день, два, проходила целую неделю, но по адресу, данному Изюмниковым, купца во всем Петербурге не оказалось. Ходили и в адресную контору, но и там его не значилось. С тем и приехали обратно на Урал.

Протекло это Лето, наступила зима. В декабре месяце поехали опять на багренное рыболовство; окончили первый день багренья, обратились в г. Уральск. Когда мы ехали по большой Михайловской улице, к счастью нашему навстречу попался Изюмников. Отец мой остановил его и попросил, чтобы он сел к нам в сани. Изюмников сел. Мы ему передали, что депутация ездила в Петербург и по его адресу не могла найти купца.

— „Об этом я слышал—ответил он, —удивляюсь что такое! Я ему посылал в презент осетра и вчера получил от него письмо с благодарностью за гостинец".

— „Я к вам побываю”, —сказал мой отец, — „вы его, пожалуйста, мне прочитайте".

— „С удовольствием. Приходите не раньше, как часов в 5 вечера". Затем он пошел домой. К вечеру отец отправился к Изюмникову и застал его дома. С первых же слов Изюмников достал из сундука письмо и оговорился, что конверт затерял; да, впрочем, что нам конверт, когда письмо у нас в руках. Начал читать письмо; в первой строке упоминает свое имя отчество, затем прочитывает благодарность за осетра. Прочитал до конца, положил письмо на стол, а отец мой протянул руку и взял его. „Вы уж, пожалуйста, письмо уступите мне на время“, а сам кладет его в карман. Изюмникову отдавать письмо вероятно не хотелось и отказать не сумел, да притом письмо уже лежало у отца в кармане.

— „Ладно, говорит, возьмите, только не затеряйте, как только прочитаете его в Ранних, пришлите мне обратно“.

— „Сохраним как зеницу ока“, — ответил мой отец.

Когда приехали в Ранние, в первый же праздничный день собрались в дому у казака Ивана Кондратьевича Малоземова и прочитали письмо. У старшего сына Малоземова, Григория Ивановича, сохранилось письмо, раньше писанное Изюмниковым своеручно. Иван Кондратьевич приказал сыну принести письмо и, когда сличили его с письмом купца, то оказалось на деле, что письма чертила одна рука. Этим ясно и открылось ложное показание.

Что же заставляло его врать? Ничем он от этого воспользоваться не мог, а людей заставил беспокоиться, принять немало трудов и ущерб денег. Метнул человек неосторожно языком, а слово, как говорит пословица, не воробей: вылетит не поймашь!

Подобно этому могло случиться и с Аркадием: налезло ему на разум (когда он был молод) выдать себя за архиепископа, под названием Беловодскаго, и уже затянулся навсегда.

30 июля, в 6 час. утра мы снялись с пристани Сайгона. На пути настигла нас погода ветреная, шум морских волн, стоны людей. Воздух в каютах сперся—голова кажется с плеч катилась. Открыть окна для освежения воздуха было невозможно. Волны ударяли в стены и плескали на палубу парохода. Трое суток лежал я, не ел хлеба и не пил воды.

Х.

Гонг-Конг. — Белая вода в море и новые гадания о Беловодии. — Река Кианга (Ян-тсе-Кианг) и китайский город Шанхай. — Чайные плантации. — Приготовление чая. — Грязные топталышки. — Вераования китайцев: многобожие. — Жертва (поддельные деньги). — Сечение богов. — Десять заповедей. — Праздник Дракона. — Нравы. — Рассказ казака Плюснина о китайцах-христианах. — Албазинцы (окитаевшиеся казаки). — Посещение русского консульства и

расспросы. — Русских церквей на китайских островах нет. — Переезд в Японию—Город Нагасаки. — Посещение Нагасацкого консульства и разговор в русском пароходном агентстве. — На японских островах старинных русских церквей нет —О японцах.

2 августа, в 10 ч. утра бросили якорь на пристани у гор. Ионкона¹⁾ (колония английская). В Ионконе народ тот же, как и в Сайгоне: индокитайцы и малайцы. Ходили мы в разные европейские консульства, спрашивали о русских людях и о прочих христианского исповедания: получали ответ, что нет ни русских, ни вообще православных христиан.

На берегу моря, на крутой возвышенности, устраивается англичанами крепость. С морской пристани на круто-высокую гору положены рельсы, по которым тихо двигаются вагоны с тягостью материалов на возвышенность горы. На горе под закрытием утверждена машина, которая работает и посредством ремня поднимает по рельсам вагоны. Порожние вагоны утверждены на другом конце того же ремня и спускаются по другим рельсам на морскую пристань.

3 августа выехали из Ионкона, а 4 заметили мы, что цвет морской воды изменился: во всех морях вода тёмного цвета, но прозрачная, тут же цвет морской воды белый и непрозрачный. „Не эта ли самая местность называется Беловодией?“—говорили мы между собой, —„так как вода совсем от прочих вод отменная, — белая на большое пространство?“—„Почему здесь морская вода белая?“—спросили мы. —„Эта вода проникает от великой реки Кианга“, —ответили нам. Мы опять стали спрашивать о русских и прочих православных христианах, но получили также в ответ: нет здесь ни православных христиан, ни русских людей.

5 августа, в 2 часа пополудни поднялись великой рекой Киангой к г. Шанхаю.

¹⁾ Ионконом автор, по созвучию называет, очевидно, Гонг-Конг, небольшой остров у вост. берега Китая, с гл. городом Викторией.

Шанхай и Ханьков (Хань-Коу) имеет знаменитые чайные плантации, в которых отдельно имеются европейские постройки; в них живут приказчики знаменитых купцов, которые приготавливают и отсылают в Европу чай. Вот как приготавливают владельцы плантаций черный чай у себя дома: чай, принесенный в корзинах, рассыпается на циновках, приблизительно три сажени длиною и 1 1/2 ширины. Ему дают подвднуть на солнце; рассыпка и сушка продолжается вместе 1 час 10 минут. При этом вес листьев уменьшается наполовину. Затем чай собирается в кучи, и его сбивают в комья в 1/2 арш. по окружности. Комья эти кладут на доски с перилами. Рабочие, держась за перила, начинают мять чайные комья ногами. Обыкновенно двое рабочих становятся вместе и топчут чай изо всех сил, так что из него течет зеленый липкий сок, смачивающий всю массу и текущий ручьем в сторону.

Трудно представить себе занятие более неэстетичное (sic): грязные китайцы, обнаженные, мокрые от пота, покрытые сыпями, лишаями или другими кожными, даже иной раз сифилитического характера, болезнями. Грязными ногами, покрытыми черной корою, мнут они зеленую, мокрую массу; с самих китайцев от теплого климата и от прилежной работы ручьями льется пот, начиная от их ушей и до самых пят. Около 1/2 часа они мнут эту сочную массу, чтобы затем опять рассыпать ее на циновки и сушить на солнце. При такой сушке чай чернеет и приобретает запах сена; зеленоватыми остаются только самые крупные, грубые листья. Сушка кончилась; листья опять собрали в кучу, всунули в плетеный из бамбуковых листьев кувшин, покрытый тряпкой, и оставляют на солнце для брожения. Это продолжается часа два, после чего чай становится уже совершенно черным. Если бы в чаю все еще остались теперь зеленые листья, то это значило бы, что чай не перебродил. По окончании брожения листья еще расстилают на солнце, пока они не сделаются совершенно сухими. Тогда „мао — чай“, готов. Вот и все пресловутые работы по приготовлению чая.

Между нашим народом распространен слух, будто бы китайцы при упаковке чая в коробки, во-первых, приносят по своему жертву и окропляют чай змеиным салом, после чего

упаковывают в ящики. Об этом мы в точности дознать не могли. В Ханькове живут русские купцы, из коих один, Семен Васильевич Литвинов, в Китае находится уже 22 года. Мы спрашивали его об этой скверности, и Литвинов признает это неправдой. Что же касается до обнаженных работников, с лыющими по черным ногам потом, попадающим в чай, то об этом и Литвинов подтверждает.

Чайные сорта все решительно дает один и тот же куст, различие же зелёного и чёрного чая зависит только от способов приготовления. В продаже чаи носят разные названия, при чем наши русские названия измышляются уже в России.

Семена чайные одни и те же; разница бывает в почве земли и времени уборки. Цветочный чай обирается (цвет) с куста, пока не образовались листья. Чем раньше обирают листья, тем лучше бывает чай, зато весом его получается меньше.

По религиозным верованиям китайцы буддисты; религия их признает сотни богов.

Китайские боги—это те же люди, но живущие в загробном мире, люди со всеми достоинствами и недостатками. Китайцы говорят, что здесь не люди созданы по подобию божию, но боги—по образу и по подобию людей. В губернских городах Китая есть храмы богу солнца, Небу, Земле, но простому народу до них нет дела, —им служат чиновники. Боги простого народа — это духи его отцов и дедов; в загробном мире они исполняют те же должности, что и люди; их можно подкупать и задабривать, им приносят в жертву деньги (бумажки под видом денег), сжигая их на блюде. Деньги не настоящие, но китайцы верят, что, сожженные с должными обрядами, в загробном мире эти деньги превратятся в истинные. Есть боги шпионы, как и на земле, —где за деятельностью каждого чиновника следит шпион. Каждый околоток имеет такого бога, который: доносит старшему богу обо всем происходящем.

Есть бог, который управляет дождем. Когда бывают засухи, китайцы начинают молиться и просить его, чтобы дал дождя и влажности. Если в продолжительное время просьба не убаготворяется, тогда всходят к нему в кумирницу, берут бога за шею, вытаскивают из кумирницы на площадь, секут его плетьюми и обратно втаскивают в кумирницу, но ставят его уже не на почетное место. Так стоит без призрения, пока не будет дождя; после дождя его снова stanovят на возвышенное место и жгут перед ним хлопок, чтобы обратил на них внимание.

Есть бог и в кухне каждого домохозяина, только кухонный бог большой ябедник: он доносит обо всем, происходящем в семье. Каждый новый год, чтобы он не болтал слишком много, ему перед отправлением (?) рот замазывают кашей; после нового года кашу отмывают теплой водой, а когда нужно обратить на себя его внимание, перед ним тоже жгут хлопок.

Невежественный и дикий, полный суеверия, деревенский народ соблюдает все эти церемонии.

У китайцев есть десять заповедей, из коих только пять обязательны для мирян, пять же даны монахам. Гласят они следующее: 1) не убивай, 2) не воруй, 3) не прелюбодействуй, 4) не лги, 5) не пей крепких напитков, 6) не ешь ничего вне установленных сроков, 7) не употребляй украшений и духов, 8) не садись на высокие седалища, 9) не танцуй, не пой, не играй и не ходи на зрелища, 10) не давай в долг и не бери ни золота, ни серебра.

Главными праздниками в Китае считаются первые три дня нового года. Один или два дня весною, когда почитают могилы предков, дни солнцестояний и великий праздник дракона (змия).

Дракон по китайскому убеждению — самый злейший каратель; проживает он в земле, поэтому китайцы строго запрещают раскапывать землю. В китайских пределах много земляного угля и золота, но разрабатывать его правительством запрещено. Китайцы говорят, что, если допустить разработку золота и угля, то дракон сильно обидится и в ярости будет неумолим: пошлет на людей злейших духов, будут давить народ и уязвлять всякими болезнями.

Во время праздника дракона, празднуемого по всему Китаю, устраиваются на реках гонки в особых узких лодках. Масса женщин и детей усеивают берега рек. Затем устраивают из бумаги великого Дракона. Во время ночи внутри дракона утверждаются огни, и носят его на носилках с почестью по всем улицам.

Китайцы едят всяких скверных животных: собак, кошек, крыс, карбышов (?), даже и червей. Ложек не имеют, вместо ложек употребляют палочки; пищу варят не соленую, хлеба пекут пресные.

Рассказывал мне забайкальский казак Леонтий Плюснин, ехавший вместе с нами из Китая: „Я сотенным командиром, говорил Плюснин, препровожден был по статье в Пекин, с целью проехать вместе с почтою просёлочной дорогой через Китайскую империю по песчаной пустыне Гоби (Шамо) в Россию.

Задержан в Пекине был на 15 дней, в течении которых я находился у казаков, служивших при чиновниках русского посольства. Познакомился с выкрещенными китайцами (выкрещенных называю я китайцами, потому что различить их от китайцев невозможно, так как они принимают христианскую религию с условием—носить им косу, китайскую одежду и не воспрещать есть китайскую лакомую пищу; лакомство у китайцев: кошка, собака). С трудом признаешь, когда он взойдет в христианскую церковь, что он христианин (в Пекине есть православная церковь, священник, дьякон и дьячок). Вот я ходил на дом к одному знакомцу; раза три приводилось мне у него обедать. В одно прекрасное время пришлось мне войти к нему в чулан, в котором висело телячье мясо; от мяса запах был довольно отвратительный; под мясом стоял ушат с водой. С мяса падали в ушат крупные черви. „Для чего ушат с водой поставили под мясо?“—спросил я.—„Эй, Лёвка! черви самая лакомая наша пища“, —ответил хозяин. Вышел я у него с двора. Не накормил ли меня такими червями? —подумал себе. Сделалась со мной тошнота и меня вырвало, после чего перестал я уже обедать у знакомого. И другой случай был, — продолжал Плюснин. —Казаки убили блудную собаку и велели повару из выкрещенных отнести

ее в овраг. В этот же день случайно пришлось казакам взойти к повару на кухню и что казаки увидали? У повара в особом котле варилась убитая ими собака. — „Что ты делаешь, негодяй!" — закричали казаки, — „или псиной нас хочешь накормить?"—„Нет, мы ее сами есть будем“, —ответил повар. Казаки подняли таганную ножку и вылили из котла варившуюся псину.

В Китае есть пленные из русских, под названием албазинцы. От Благовещенска сот на шесть верст, вверх по реке Амуру, с правой стороны впадает в Амур река Албазиха. На устье Албазихи была казачья крепость, под названием Албазин¹⁾. Вольные казаки боролись с китайцами за обладание побережьем реки Амура, и при этом сот до двух казаков попало в плен китайцам в 1685 году, а спустя довольно времени китайцы многочисленным войском осадили казачью крепость Албазин. Жителям Албазина дозволили выйти в Нерчинск, но при этом до 25 семей, по их согласию, увели в Китай. Китайское правительство поселило всех русских, под именем русской сотни, на окраине Пекина, и для совершения богослужения уступило им один языческий храм. В русской сотне был один священник, именем Максим, который языческий храм освятил на церковь, где и совершали богослужение. Спустя много лет, в 1695 г., Игнатий, митрополит тобольский, отправил в Пекин русским: антиминс, миро, богослужебные книги и утварь. Спустя немного времени священник Максим умер, русские оставались без священника около десяти лет. Крещение детям совершали простолюдины, браки совершались без венчания, с одним только благословением родителей, исповедь делали при крайнем времени в услышание всем или вздыханием из глубины сердца и горькими слезами каялись перед образом Божиим. К прискорбию ихнему, китайцы, видя их печальное положение, стали увещавать их в буддийскую религию, отчего русские возмутились и потребовали от китайского правительства, чтобы вытребовали для них из

¹⁾ Казачья станица Албазин существует и теперь.

России священника. Китайцы, подозревая возмутителей, осудили немногих к казни и до пятидесяти более бунтовавших высланы в Кульджу. Наконец всё-таки китайский император, через русского торговца Худякова и своего посла Одагоду, просил сибирского губернатора, князя Гагарина, прислать в Китай искусного учителя для русских христиан. Князь Гагарин, по совещанию с митрополитом тобольским, отправил туда якутского архимандрита с священником, дьяконом и семью певчими и служителями.

В настоящее время албазинцы хотя носят имя христиан, но физиономиями сущие китайцы: всегда раскрытые зубы, длинно-широкие рукава, прихлупнутый, широкий нос, длинная коса. Редкий из них немного знает по-русски говорить.

Что же было с высланными в Кульджу? Долго они страдали, находились без священника, но наконец проникли к ним католические миссионеры, которые обратили, по их незнанию, что есть между православными и католиками несогласие в догматах, албазинцев в католичество и ввели богослужение на китайском языке, ставшем родным для этих русских.

В 1871 году русские войска заняли город и область Кульджу. При этом в Кульдже оказалось до ста христиан обоего пола, имевших домовую церковь и священника католического (последний незадолго перед тем скрылся или погиб в междоусобии). Кульджинские христиане суть потомки русских, сосланных два века тому назад из Пекина.

К сожалению, присланный томским архиереем, к епархии коего относилась на первых порах и Кульджа, первый православный священник для новых поселенцев русских, по своему незнанию китайского языка и другим причинам, не мог найти к себе сочувствия от бывших русских.

Лет 12 тому назад товарищ наш, Барышников в числе троих был в Кульдже и видел старые признаки христианства. Не мало удивлялись они, что местность эта принадлежала идолопоклонникам, а между тем тут встречались несомненные признаки христианских людей.

В Шанхае опять сами извозчики запрягаются в легкие двухколесные экипажи. Надо было явиться к русскому консулу. — „Зачем вы приехали?“—спросил нас секретарь. — „Мы разыскиваем по островам русский народ. Нет ли здесь по слухам русских?“ — „Нет, я даже и не слышал, чтобы в этой стране находились на каком-нибудь острове русские люди. А на что же вам их?“

— „По распространившимся рукописным маршрутам, будто бы давно вышедшие из России русский народ с духовенством находятся поныне на восточных островах, сохраняют древнее благочестие. Лет 35 тому назад явился в России человек, который выдал себя в чине архиепископа под названием Беловодскаго, принял-де хиротонию от патриарха на восточном Индокитайском полуострове, в Канбайском царстве, в г. Левеке. Мы достигли этого полуострова. Ездили и по Камбодже, но города Левека там не оказалось.

— „Вот где есть старая вера, занесенная уральскими казаками (сказал нам секретарь), — в Сибири, в одном месте их до 40 человек. Есть ли при них духовенство—не знаю. Я с своей стороны предлагаю вам ехать к ним, а здесь хоть не ищите и деньги напрасно не тратьте: рукописанные при вас маршруты — это ложь, а явившийся архиепископ, выдавший себя за Беловодскаго, будет мошенник и обирало. Здесь местные жители, как на полуострове, и на островах—идолопоклонники буддисты.“

6-го августа, в 9 часов утра, снялись мы с пристани Шанхая и направились в Японию.

7-го августа, в 6 час. вечера, приехали в Японскую империю, в г. Нагасаки, поместились в гостинице у одного еврея, выехавшего из Румынии и твердо знающего русский язык.

8-го августа, в 9 час. утра, вышли на площадь, сели на извозчика (извозчики и здесь на себе возят) и направились в русское консульство.

В правлении консула и секретаря не было, и находился только один писарь из японцев, хорошо знает говорить по-русски. Спросили мы его о консуле и секретаре. „Консул уехал на другой

остров, а секретарь через полчаса придет в правление”, — ответил нам писарь. После этого спросили мы и у

него: „Есть ли христиане на островах Японии, давно зашедшие русские люди?“

— „Нет, есть выкрещенные из японцев католического исповедания, а не совсем давно много выкрестилось в православное вероисповедание. Но о русских, давно зашедших, я не слыхал“.

К этим словам взошел секретарь. — „Вероятно русские?“ сказал он. — „Да, ваше благородие“. — „На каком пароходе приехали?“ — „На французском“. — „Далеко ли путешествуете?“ — „Мы проехали уже местностей много, а чего нам нужно найти не можем. Разыскиваем русских людей, вышедших из России ста два и более лет тому назад, кои будто бы теперь проживают на островах Филиппинских и Сандвичевых“. — „На Сандвичевых островах—сказал секретарь, —народ поселился из евреев. Впрочем, года три тому назад, русские поехали на эти острова с целью откупать земли и селиться там. Только при них духовенства нет. И на Японских островах русских нет. Лет 35 тому назад приехал в Японию молодой священник, по имени Николай, который в течении двух-трех лет твердо выучился по-японски говорить, после чего стал между японцев проповедовать евангелие. И вот, в настоящее время (он?), уже епископом; из японцев приняли православие до 25 тысяч душ обоего пола. Католическая миссия в Японию проникла много раньше и обратила в католичество до 50 тысяч душ. Слыхал я: в одном месте Сибири занесли уральские казаки старую веру; есть ли при них попы или нет—не знаю“.

С тем мы вышли из русского консульства.

Того же числа ходили мы в агентство русской компании спросить, когда прибудет пароход „Херсон“. Агент ответил: „Вам соврали, что скоро прибудет сюда „Херсон“. Я за двое суток получу телеграмму, поэтому придется ожидать. Ступайте в иностранные агентства, там уедете скорее“.

На другой день поехал я на извозчике в английское агентство спросить, не пойдут ли какие пароходы из Японии во Владивосток. В агентстве мне сказали, что пароход отходит через два часа, билет до Владивостока стоит 40 руб. (с троих 120 р.). Завтра пойдет иной пароход, билет будет стоить 7 руб.; на нем езды до Владивостока 5—6 суток, а отходящий сегодня в двое суток будет уже во Владивостоке. И с тем обратился я в гостиницу; в это время с морской пристани пришел Максимычев.

— „Я видел в гавани флаг русского парохода“, — сказал Максимычев. Немедленно пошли мы в русское добровольное агентство купить на проезд до Владивостока билеты. Агент

принял нас и занялся с нами довольно продолжительным разговором.

— „Удивляюсь, говорил агент: —вчера в бухту пришел русский пароход, а сегодня я получил о пароходе телеграмму, которая должна бы получиться мною вперед за двое суток“.

Спросили мы у агента: „Нет ли на островах Японии, Филиппинских и Сандвичевых русского народа?“ — „Нет, откуда они сюда угодят?“—говорил агент. —„Впрочем, года два три тому назад, поехали русские на Сандвичевы острова, в предмет—купить там себе место и поселиться. Только, я думаю, они там все пропадут: климат очень жаркий. Русскому человеку там не житье“.

Мы рассказали ему о рукописных маршрутах под именем инока Марка, и о вновь явившемся архиепископе Аркадии Беловодском. Выслушав нас, он сказал: „Боже! какие сказки! Можно ли верить таким баснословиям? Здесь, на островах не только быть церквам староверческим, но даже одной семьи староцев не слыхать. Если бы были на дне моря, —и там были бы известны: европейцы не оставили ни одного пятна земли на Окияне-море, чтобы (было) неизвестно. Даже дно моря измерено и измеряется, знают, где есть подводные камни, косы и подводные зыби“.

Затем выдал пароходные билеты, за которые уплатили ему по 13 рублей за билет. Мы поблагодарили его за разъяснение о всех народах, находящихся на островах.

Японцы невысокого роста, плотного телосложения, гладкостриженная голова, белые незастегнутые пиджаки надевают на голое тело; на ногах деревянные, тонко выделанные колодки, (подвязанные) с помощью ремня. Идет по улице, под ногами у него хлобыстают колодки. Женщины также небольшого роста, замечательно убранные гладко головы, ничем не покрытые, на ногах носят такие же сандалии, как и мужчины.

XI.

Отплытие из Японии. — Смерч. — Прибытие во Владивосток. — Случай с двумя офицерами. — Встреча с казачьим офицером оренбургского войска. — Где истинная вера? — Бедствующий отряд уральцев под Владивостоком. — Неудачное переселение и бунт. — Хабаровск. — Позднее расследование о пригодности земель для поселения. — Плавание по Амуру. — Китайский город Айгун. — Благовещенск. — Рассказы о грабежах и убийствах. — Гилуй. — Хищники золота. — Как было бы лучше устроить золотую промышленность.

В 4 часа вечера разочлись мы с хозяином гостиницы, наняли двух японцев довести багаж до пристани и взошли на русский пароход. На пароходе японские таможенные осмотрели наш багаж. Поместились мы в третьем классе.

На пароходе препровождалось много переселенцев с западных губерний; донские и оренбургские казаки также следовали в Уссурийский край на переселение, сотня забайкальских казаков следовала в отпуск из крепости Порт-Артура.

11 числа в 6 ч. утра „Херсон“ снялся с пристани. В 3 часу вечера капитан парохода заметил, что быстро подвигался к нам смерч (водяной вихрь) и приказал машинисту, чтобы дал ход на все пары. Пароход бежал так быстро, что всем пассажирам быстрота хода была заметна, и таким ходом могли избежать от грозящей гибели.

13 августа, в 8 ч. утра, достигли мы Владивостокской гавани. Не, дойдя до берега на 300 саж., брошен был якорь. С берега к пароходу приехали на лодках, в числе прочих, двое обер-офицеров для встречи своих жен. В это время народ на пароходе без исключения выступил на палубу, и один из офицеров (штабс-капитан), подъехавши плотно к пароходу, спросил стоящую массу народа: „Нет-ли в числе вас такой-то госпожи?“ Что ему ответили на вопрос, я не слыхал, только увидел, что офицер заплакал, присел на колени, лицом приклонился в лодку, на разостланный ковер. Мы поняли так, что господин этот получил известие о смерти жены; наконец оказалось, что он увидел свою супругу и заплакал от радости. Другой господин разговаривал, сидя в лодке к одному краю и смотрел на палубу. Закружилась у него голова или пошатнулась лодка, и офицер упал в море одетый и сапоги на ногах. С трудом выкарабкался он из глубины, и к счастью скоро подоспела к нему лодка, и его ухватили за капюшон. Его семейство, стоящее на палубе, увидали, когда он упал в море вниз головой. Жена схватилась руками за голову и упала без памяти, дети ревели во весь голос. Когда же утопавшего вытащили в лодку и уверили их, что он жив, — плач затих, отерши слезы, быстро смотрели в лодку. Доктор приказал ему ехать на берег.

Оренбургского казачьего войска офицер, препровождавший казаков на переселение в Уссурийский край, сказал нам: „Я вас видал, кажется, в Порт-Саиде, когда вы приходили на пароход и просились у капитана. Наверно вы истинную веру ищите? Да, Россия приняла христианскую веру от греков, а видали вы, как греки истинную веру растрепали?“— „Видали“, ответили мы. — „Истинная, правая вера осталась только там“— указал рукой к небу. — „По всему так, ваше благородие“, ответили мы.

В 10 ч. утра сошли с парохода на берег, на вокзале железной дороги оставили багаж, затем пошли дознать о добровольцах (уральских казаках), которые служат на охранных постах железной дороги. Недалеко от г. Владивостока, на возвышенном месте, виднелись густо расставленные палатки.

— „Кто в этом лагере находится?“—спросили мы идущего солдата.

— „Это казаки переселенцы“, —ответил солдат. Пришли мы к переселенцам, которые, из донских и оренбургских казаков, раньше, года 2—3 тому назад, вызвались охотниками на переселение в Уссурийский край, получили от правительства по 600 рублей ссудных денег на обзаведение хозяйством на новых местах. По дороговизне в тех местах скотины и всех продуктов, казаки в скором времени истратили полученные деньги, не могли обзавестись добрым хозяйством, решились покинуть места своих поселений и с семьями приплыли во Владивосток, а теперь ходатайствуют, чтобы возвратиться им в войсковые свои области. Правительство с нового поселения их не отпускает, требуют с них, чтобы уплатили обратно по 600 рублей, взятые ими на ссуду. Казаки, не имея средств к пропитанию, обносились до наготы; в летних худых палатках проживают на возвышенном месте. Подкатила зима, затрещал мороз, захрустел снег, одежды на них нет—хоть ложись да умирай. Правительство распорядилось дать им теплое помещение, отвели им казармы, в которых они жили только два месяца зимы. Генерал Духовской распорядился выгнать их из казарм на поля. Жителям г. Владивостока воспретили пускать их на квартиры, даже с угрозами: кто впустит на квартиру переселенцев (казаков), хотя бы на одну ночь переночевать, того подвергнуть штрафу до 50 рублей. Теперь бедные (когда приходили мы к ним) находятся без всяких промысловых занятий, в ветхих палатках, иные не имеют никакой кровли, под открытым небом с грудными детьми и восьмидесяти лет стариками. Нудятся подать на Высочайшее имя просьбу, но посланные от них прошения и телеграммы приказано приостанавливать и не пускать в ход до Петербурга. Что поделают с ними?..

Того же числа, в 4 ч. вечера, на поезде железной дороги, уехали мы в Хабаровск. На пути видали своих казаков (добровольцев), находящихся на постах по 4—5 человек. Из Владивостока до Хабаровска дорога проложена сначала по

склонам гор, дальше трясинами, с густым, разной породы лесом, наполненным зверями.

15 августа, в 8 ч. утра, приехали на вокзал г. Хабаровска. В это время посланы были из казачьих войск донские, кубанские, оренбургские и уральские казаки для рассмотрения Уссурийского края, касательно переселения. Вероятно, (к этому) побудили взбунтовавшиеся прежде заселенные казаки, которые не захотели жить на местах своего поселения. Спросили мы: „где находятся разведчики земель?“—„В пересыльных казармах“. Мы подрядили ломового извозчика до казарм и приехали к своим станичникам; ходили на базар, купили хлеба и говядины (хлеб 10—12 к. фунт, говядина 18—20 к.).

В 12 ч. дня купили пароходные билеты до Благовещенска. В 1 часу снялись с пристани и поехали вверх по реке Амуру. Выше Хабаровска на расстоянии двух верст, с правой стороны в Амур впадает река Уссури, которой делится граница русская от китайской.

Река Амур широкая, от устья вверх на 1200 верст, поподробнее Волге; на ней имеется много небольших островов. Выше же Амур прошел между скалистых высоких гор, покрытых густым лесом: дуб, сосна, осина, пихта, кедровник, ильма, липа черная и белая береза, пробковое (дерево) и проч., которые тянутся по высоким берегам Амура. Горы эти на расстоянии 150 верст, между которых Амур в ширину совсем уничтожился, не шире двухсот сажень.

Выше Хабаровска 250 в. впадает в Амур с правой стороны река Сунгари, по которой ходят пароходы. По ней разбросаны добровольческие посты для охраны. Пройдя эти горы, Амур снова виднеется обширный. Правая сторона реки Амура тут принадлежит Манчжурии.

Недалеко от реки по местам открыты манджурами золотые прииски, к которым манзы русский народ не допускают к разработкам; китайцы же допущены к приискам в русских пределах. Китайцу доверяют более, чем русскому человеку,

вследствие чего с приисков большая часть золота переходит в Китай, нежели к нам в Россию.

22 августа доехали до китайского города Айгуна (из которого впоследствии, в 1900 г. китайцы бомбардировали г. Благовещенск, в 35 верст. ниже Благовещенска). В Айгуне всегда находится китайское войско. Народонаселения 20 тысяч с небольшим.

На левом берегу Амура раскиданы амурских казаков небольшие поселки. Бедные постройки, большая дороговизна на хлеб и говядину.

Того же числа, в 2 часа пополудни приехали в г. Благовещенск, наняли извозчика и поехали в гостиницу, в которой не оказалось свободного номера. Извозчики повезли нас в другую гостиницу, в ней также свободной комнаты не оказалось. Наконец привезли нас уже не в гостиницу, но в дом, для этого приготовленный. Я вошел в дом узнать, есть ли свободная комната. Мне указали комнату, в которой одна половина была занята и перегороджена японской ширмой. Свободного места (оставалась) квадратная сажень, на которой стоял маленький стол и один стул.

— „Что стоит за сутки с каждого человека?“—спросил я.— „Два рубля 50 коп“—ответила содержательница. Вышел я и объяснил товарищам о тесноте комнаты и дороговизне, словно за границей. — „Не на площади ночевать!“—ответили мне товарищи. Поместились в этой комнате, в ожидании попутного парохода.

Г. Благовещенск построен на мысе между двух рек: Амура и Зеи. Постройка за последние 10 лет чисто и роскошно оправилась. По рассказам временно проживающих лиц, а также одного полицейского, жители многие обогатились случайно: люди, работающие на золотых приисках, нередко находят куски самородки, которые скрывают при себе и уходят с приисков в г. Благовещенск погулять. Тут за ними следят: пришли несвоевременно с приисков и роскошно гуляют, вероятно много золота принесли, думает злодей. Напоит странника допьяна, оберет, что есть при нем, а не то укладет навсегда, —на это у тамошнего народа рука не дрогнет и совесть не зазрит. В дальней

Сибири есть поговорка: десять белок поймать всего три рубля, а человека самого бедного успокоить (убить)—при нем и на нем окажется более трех рублей.

Река Зея впадает в Амур под Благовещенском. По ней ходят пароходы кверху на 900 верст. От устья Зеи на 260 верст выше, с левой стороны, впадает река Силимжа, по которой также ходят пароходы на 300 верст. Народонаселения не имеется, кроме золотых приисков. От Благовещенска в 700 верстах в Зею впадает река Гилюй. От её устья в 150 верстах (так) называемый „миллионный ключ", где случайно в 1896 г. найдено хищниками золото, к которому набралось их более 3000 человек. В течение двух месяцев выработано ими более ста пудов золота, после чего правительство попросило их уйти с этого урочища, —с целью отобрать найденное ими золото. Хищники вооружились против правительства и продолжали разработку. Некоторые догадались, что не выстоять им против власти, и с большим количеством золота они тайно разошлись и передали добытое золото китайцам. Правительство вынуждено было употребить силу оружия и разбило на голову оставшихся хищников, и найденное при них золото было передано в казну.

Если бы была вольная сдача в казну каждым человеком найденного золота (говорят тамошний народ), то и не могло тогда быть хищничества и передачи российского золота в Китай и Японию; с Миллионного ключа добытое золото все было бы в России.

Золотые прииски разрабатываются от богатых людей, с выправлением документов. Хищники, в свою очередь, шайками обогащаются, добытое золото сбывают за границу. Богатые люди, хотя и выправляют документы, но также нередко передают золото китайцам. Хищничество выходит оттого, что нет вблизи приисков (правительственной) конторы для приема золота, а по сдаче золота в казну не скоро, через 4—5 месяцев получают деньги. Богатый, истощив на рабочих свою казну, вынужден бывает проводить золото за границу: необходимо ему нужны деньги для расходов.

Когда устроены будут конторы в недалеком расстоянии от золотых приисков и разрешат всякому человеку, добывшему золото, без препятствия сдавать в контору за известную цену и (тут-же) не отходя, получать деньги, тогда в России вырабатываться будет золота двойное число.

ХП.

Продолжение плавания по Амуру. — На пароходе „Граф Игнатъев“. — На Чернеевском перекате. — „Услуга господам“. — Плавание на „Бурлаке“. — Албазиха. — Слобода Покровская. — Усть-Кара. — Шилкинская крепость. — Встреча со ссыльным уральцем. — На лошадях в Нерчинск. — Чита. — Верхнеудинск. — Байкал. — Удачное предсказание погоды. — Иркутск. — Ссылные уральцы. — Красноярск. — Возвращение домой. — Переписка с Константинопольским патриархатом.

В Благовещенске были мы двое суток. 24-го августа, в 8 час. вечера, выехали из Благовещенска на почтовом пароходе „Граф Игнатъев“. В числе пассажиров были господа: генерал-майор Мелик-Гайказов (кавказский), генерал Кобылин (прокурор Иркутской судебной палаты), Кнорринг (инженер Владивосточной жел. дороги), Ющенко, войсковой старшина Донского казачьего войска (находится в Владивостоке) и, кроме них, были штаб и обер офицеры.

26-го августа, в 5 час. вечера, подъехали к белым горючим горам, выше Благовещенска на 300 верст, на левом берегу Амура; называются белыми горючими горами, потому что постоянно горят. Горелая земля обваливается и падает в Амур.

28-го августа доехали до станицы Чернеевой. Тут к нам на пароход присовокупили побилетных солдат, нагрузили дров и пошли дальше на Чернеевский перекат (от поселка на расстоянии трех вёрст). На перекате впереди нас один пароход силился пробраться через мель (три фута глубины), но не мог пробраться и дал задний ход. После него на перекат вступил наш пароход, смело

и осторожно стал двигаться вперед и так пробрался до половины переката, несколько раз давал задний ход и снова полный ход вперед. Наконец, пароход навалило на берег и поломало колесо. Дали задний ход и обратились в Чернееву, где скопилось уже до десяти пароходов, которые пытались перескочить опасный Чернеевский перекат.

Через двое суток, два парохода, под названием „Владимир Мономах" и „Батрак" сняли с пароходов довольно груза, оставив всего по 3000 пуд., и пароходы освободились, (поднявшись до осадки) в $2\frac{1}{2}$ фута. К тому же от дождя на полфута прибыло в Амуре воды (и пароходы) один за другим, настойчиво пошли чрез перекат; канатом с помощью пассажиров и лебедки прошли перекат. После этого и остальные все пароходы стали пытаться по одиночке, но, как сидели грузно ($2\frac{3}{4}$ фута), к тому же и вода уже сбывала в Амуре, то пройти не могли. Наш пароход, исправив колесо, совался к перекачу дважды, но пройти не мог.

Мы могли бы уехать на пароходе „Мономах" или „Батрак“, но нас обнадежили чиновники: иной кто останется, а вы не останетесь, —с собой вас заберем. —„Я телеграфировал, говорил Кнорринг, чтобы выслали инженерский для меня пароход, на котором уедем. Именно: генерал-прокурор с секретарем, генерал-майор Мелик-Гайказов с семейством, два полковника, войсковой старшина и купец Литвинов (который проживал в Китае, в г. Ханькове 22 года на чайных плантациях и с нами выехал в Россию).

Чиновникам мы услужили случайно. В одно прекрасное время, когда стояли все пароходы в Чернеевской станице, командир почтового парохода купил два осетра и приказал повару (китайцу) приготовить их для кушанья. Повар распластал осетров на берегу Амура, из коих один оказался икряной. Повар потроха и икру бросил в Амур. Барышников увидел, сказал мне. Я в это время был на палубе, сбежал по сходням на берег и спросил китайца: „Для чего бросил икру в Амур?“—„Нам ее не нужно“, — ответил мне повар. Бросился я в холодный Амур, достал со дна икру и принес на пароход. Максимычева в это время на пароходе

не было, он был в Чернеевой. Когда он пришел на пароход, мы рассказали ему, как бросил повар икру в Амур и как поспешили мы достать ее из воды.

Максимычев, способный на все мастерские художества: столяр, плотник, слесарь и хороший кузнец. — „Что же (сказал он) нужно икру устроить?“ — „Да дело за вами“, говорил я: — Барышников увидал, я из воды достал, а вам очередь приготовить ее к ужину“. Максимычев положил икру в чашку и усмотрел, что икра начинала уже перемолошниться; немедленно ее немного посолил, с помощью ножей изготовил грохотку, а в это время солью икра скрепилась.

Пропустили мы ее сквозь грохотки и подготовили. Вышла икра удачна, чего и не думали.

Когда генералам и чиновникам в столовую принесли ужин, сели они за стол. Мы принесли в большой тарелке икры и с почтением просили их закусить нашего изделия.

Генералы и чиновники приветливо и радостно благодарили нас за дорогой для них гостинец и спросили нас: „Где вы эту икру взяли?“ — Мы рассказали, как повар бросил ее в Амур и как мы достали со дна Амура. Господа закусывали икру и между себя говорили: „Человек бросил в воду, признал ее неспособной. А вот люди из неё устроили замечательную закуску!“ А более обратили внимание на то, что сами не ели, а догадались угостить людей совсем им незнакомых. За ужином господа выпивали и закусывали икрой и продолжали речь о нас и о всех уральских казаках: „Это ихнее родное изделие. Да не в том дело, что устроили изрядную закуску, а имеют быструю сметливость, как сознакомиться с каждым человеком. Как придет инженерский пароход, заберем их с собой для охраны“.

На другой день погода была приятная, и господа после завтрака вышли из каюты на палубу разгуляться. Мы находились с прочими пассажирами на корме. Не успели мы снять с головы фуражки, а господа уже с нами раскланиваются. „Что значит икра!“ — говорили мы втихомолку. Итак, каждый день занимались с нами разговором, спрашивали нас о путешествии нашем, а

иногда спрашивали об уральских казачьих промыслах. Мы рассказывали им, как во время осеннего рыболовства плаваем ярыгами и как бывает багренное рыболовство. Указываем примерно, вода багор вверх и вниз, поддеваем осетров и белуг. Господа с жадностью нас выслушивали. Прочие пассажиры, отпускные солдаты и с золотых приисков народ удивлялись тому, что господа приветливо с нами обращались. Мы еще более стали следить за каждым движением и старались к ихним услугам. Господа пойдут с ружьями на охоту стрелять птицу, и мы идем за ними, моментально сбросим с себя верхнюю одежду и рубаху, бросаемся в холодную воду и достанем застреленную птицу.

Когда пришел инженерский пароход, Кнорринг велел быть нам готовыми к пересадке на его пароход. Мы и все чиновники приготовились, связали каждый свой багаж. Я побежал в Чернееву купить на дорогу хлеба. Но в это время Кнорринг получил телеграмму, в которой телеграфировали, чтобы на пароход садилось не более пяти человек, так как пароход этот дойдет до известного места, а там встретит его пароход, иной, маленький, а этот обратно пойдет в Благовещенск. Получив эту телеграмму, Кнорринг не знал, кого с собой брать и кого оставлять. Наконец, решил взять генерал-прокурора с секретарем и одного большого полковника с женой. Генерал Мелик-Гайказов с семейством, Ющенко, Литвинов и мы остались скучать в Чернеевой. На каждый день ожидали мы: вот придут маленькие пароходы и нас увезут, или вода прибудет, — и на этих уедем. Ждали 4 дня и ничего не дождались. На 5-й день пришел пароход сверху, который увез инженера Кнорринга с прочими и сдал их на маленький пароход; сам обратился в Благовещенск. Командир предложил генералу Мелик-Гайказову ехать с ним в Благовещенск. Гайказов решил ехать обратно в Благовещенск и уже оттуда чрез Владивосток морем до Кавказа. Нам предлагал Гайказов ехать вместе обратно морями. „Амуром вследствие мелководья не проедете, — говорил нам Гайказов. — Вы напрасно и поехали через Сибирь: вам лучше бы из Японии направиться через Америку и тогда скорее могли бы доехать на Урал. Теперь

вам не пробраться через Сибирь — наверно зазимуете в Чернеевой станице".

Смутились мы и не знали, что делать: ехать ли с генералом обратно, или ожидать удобного времени и пробираться через Сибирь. Наконец, вспомнили слово, сказанное Кноррингом. Когда он отъезжал от нас, то сказал: „Вы, уральцы, остаетесь, жаль мне вас, но все-таки держитесь за Литвинова!" Мы предчувствовали, что рано или поздно выедем с Литвиновым, а не зазимует. На предложение генерала мы не пожелаали. „Нет, Ваше Превосходительство, обратно морями не поедем. Быть может случайно придется и пешком следовать. Не излишне посмотреть нам и сибирские места“.

Генерал уехал обратно. Мы остались в Чернеевской обдумывать, какими судьбами пробираться нам восвояси. Купить лодку и тянуться? Берега словно осыпаны сплошной галькой. Сухопутием пробираться, —нет тележной езды, только небольшая тропинка извилисто тянется по горам и оврагам, покрытым густым лесом, по которой от времени до времени верховые вооруженные казаки возят простые пакеты, пока Амур не покроется льдом и лед не окрепнет, после чего езда бывает Амуром, а леса остаются непроходимыми; по ним только блуждают бродяги, бежавшие с Сахалина острова и прочих каторжных работ. Мы вознамерились (все-таки) ехать этой тропинкой верхом и стали подряжать опытного казака провести нас тайгой до Сретенска, 837 верст. Казак просил за проезд 1 рубль с каждой версты. Ющенко предлагал купить лодку и тянуться лямкой берегом; Литвинов— верхом ехать и в лодке тянуться не согласен, опасаясь бродяг. Пока судили и рядили, каким путем пробираться восвояси—получилось известие, что правительство принимает меры к приисканию мелководных пароходов для передвижения вверх по Амуру, как почты, так и народа. Находящиеся на пароходе пассажиры конечно радостно услышали это известие и стали иметь надежду, что на пароходах скоро доставят до Покровки. Прошел день, прошел другой и третий. Пассажиры от нечего делать разнесли одно слово по каменистому берегу. Пока несется это слово

обратно, откуда оно вышло, —оказывается к нему уже пришито девять слов таких. „Правительство теснит компании пароходов, на которых мы приехали, —говорили пассажиры, —чтобы выплатили пассажирам все убытки: кто купил хлеба, кто мяса, кто чего иного“. Вследствие скопления множества на пароходах народа—цены на все продукты в Чернеевой очень повысились: хлеб по 17 к. и тот неудачный (пресный). Мясо и по 20 коп. за фунт дай, да его нет.

В ожидании мелководных пароходов народ утешался этими баснословиями. Наконец из Благовещенска пришел пароход. Толпившийся на берегу Амура народ повалил к пришедшему пароходу. Спросили, идут ли мелкоходные пароходы для передвижения всех пассажиров из Чернеева к Сретенску? —„Нет, —ответил командир парохода, —даже об этом ничего неизвестно. Идет только небольшой пароход под названием „Зейка“ для снятия с „Игнатьева" парохода почты (который мы обогнали два дня тому назад). Ход его очень тихий— придет сюда не раньше—через два дня. Вам располагать на него надежды нельзя, потому что пароход „Зейка“ очень маленький, его одна почта загрузить“.

Это известие командир пришедшего парохода влил людям на сердце, как ушат холодной воды. В это время один пароход „Бурлак" выгрузил часть товару и вознамерился пройти до Сретенска. Народ потянулся вереницей к „Бурлаку“. При пароходе находился сам хозяин Машкович, из евреев. Машкович принимал народ по 4 рубля с человека, —довести до Покровки. Мы также вознамерились уехать на „Бурлаке“. Ющенко и Литвинов наше решение одобрили. „В случае мы вас на „Зейке“ нагоним, говорили они, и будет место, то мы попросим командира принять вас к себе. А если вам не ехать на

„Бурлаке", а на „Зейке" может не окажется для вас места, как уже и было при отъезде Кнорринга: не токмо остались вы, даже генералу и нам не пришлось уехать".

После чего поместились мы на „Бурлаке". Снялись с пристани и отошли сажень сто, подан был с почтового парохода знак, чтобы остановились. „Бурлак" дал задний ход, подошли к почтовому

пароходу. Командир стал просит Машковича принять с почтового парохода 70 человек отпускных солдат. Машкович согласился, принял солдат известной ценою до Покровки; тронулись в ход. Подошли к перекату, послалились через него шагнуть, но не тут-то было: нас ударило на мель, насилу сорвались с неё и невесело поехали обратно в Чернеевку, чтобы снять часть тягости. Когда подъехали к пристани, то на этом месте стоял вновь пришедший из Николаева пароход „Михаил Архистратиг“, который тоже снимал часть груза. Машкович приказал бросить якорь, выставили сходни. Пока выгружали товар, сделалась опять ночь. По утру снова тронулись, вслед за нами пошел и почтовый пароход. Но и на этот раз вышла неудача, и оба вернулись в Чернеевку. Наконец пароход „Михаил Архистратиг" сложил еще больше груза и стал принимать к себе пассажиров только без багажа. Мы в числе народу поместились на нем. Литвинов также стал просить командира парохода принять его, но как у него багажу было более 10 пудов, поэтому его на пароход не принимали. „Мы свой товар выгрузили, говорил командир, а чужую тягу будем принимать— этого нельзя. Без багажу, на легких идите. Иначе нельзя“. — „Совестно будет вашему хозяину Шустову, когда я его увижу в Сретенске“, — сказал Литвинов. — „Почему так?“—спросил командир. — „Потому что ваш хозяин раньше находился у нас лет пять в приказчиках и по милости нашей стал знаменитый купец, а вы меня не принимаете на пароход“.

„Ну, если так, то поместим. Садитесь скорее, чрез четверть часа пойдём в ход“.

9-го сентября, в 10 ч. утра, снялись с пристани и опять подошли к перекату. Пассажиров с парохода высадили на берег, вытянули канат, дали ход вперед во все пары. Задели на лебедку и канатом, с помощью всех людей, пароход потянулся кверху. Машинист и лоцман употребляли все искусство, несколько раз делали задний ход и опять давали на всех парах ход вперед. Пассажиры, в свою очередь, изо всех сил тащили за канат; и так с великим трудом перешли этот препятственный перекал и

постепенно на перекатах, где на лебедку, где шестами, с помощью народа подвигались вперед.

Пройдя 200 верст, на левом берегу Амура—станция Албазиха. С правой стороны в Амур впадает река Албазиха, против её устья виднеются признаки бывшей казачьей крепости, из которой (как уже говорилось), более 200 лет назад, часть казаков уведена китайцами в плен. От Албазихи, пройдя более 200 верст, встретил нас пароход, шедший из Сретенска, того же купца Иннокентия Яковлевича Шустова, под названием „Батрачек“. Он принял всех пассажиров с „Михаила Архистратига" и обратился в Сретенск, а „Михаил" обратился в Благовещенск. Проехали верст 70. С левой стороны впадает в Амур река Ольдой. Поднявшись выше по р. Амуру 100 в., впадает река Амазар. Пройдя 35 в. выше у Покровской станции сошлись две реки: левая называется Шилка, а правая Аргунь.

Покровской станицей закончилась Амурская область. С этого урочища вверх по рекам начинается уже Забайкальская область. Поднявшись верст 100 рекой Шилкой, недалеко от берега реки Шилки виднеется крепость Усть-Кара, известная бывшая злая каторга, где изгibli десятки тысяч народу, работавших под землей. Пройдя еще 12 верст, „Бурлачек" залез на мель, и командир объявил народу, что дальше продолжают путь не в силах. Вылезли мы на берег и пошли по горному берегу в Шилкинскую крепость (5 в. — также бывшая каторга) в числе 5 человек: с нами шел Литвинов и Пензенской губернии татарин. В Шилкиной наняли лодку за 50 рублей и на двух лошадях тянули ее до Сретенска 100 верст. Не доехали версты 2 до Сретенска, —И. Я. Шустов, узнав, что Литвинов едет с нами в лодке, выехал на тарантасе встретить Литвинова и, въехав на тарантасе в воду, просил Литвинова из лодки сесть к нему в тарантас. —„Доеду до пристани“—сказал Литвинов. Когда пристали к берегу, Шустов вылез из тарантаса, подошел к Литвинову и до трех раз его поцеловал. Литвинов сел на тарантас к Шустову и уехали. Но через полчаса приехал и за нами на берет человек от Шустова. Для нас

очищен был флигель, в котором поместились мы втроем. Татарин, ехавший с нами, поместился у купца из татар.

У Шустова находился человек, который признался: Я был Уральского войска казак, Кирсановской станицы, Григорий Петров Рашков. Лет 35 тому назад, был на службе в форте Александровском, у Каспийского моря; сделал преступление, за что сослан был на 12 лет в каторгу и отработал свой срок в Усть-Каре. На Урале остались отец, мать, жена и дети. „Знаете ли вы их и есть ли кто из них жив?“—спросил он меня.

— „Слыхал я, что отец ваш и мать померли, а жену и дочь вашу не знаю, —ответил я, —так как живем мы в разных посёлках". Я незнанием ответил потому, что после его ссылки жена вскоре же вышла замуж за казака Антона Ч—ва и дочь была выдана замуж.

Из Сретенска Литвинов подавал телеграмму в Ханькоу своим товарищам; получил ответ, что по его отъезде гор. Ханькоу (китайская часть) сгорела и более 3,000 душ сгорело китайцев.

В Сретенске пробыли мы 4 суток.

25-го сентября, в 3 ч. дня, на ямских двух тройках выехали мы с Литвиновым из Сретенска. 26-го приехали в Нерчинск (от Сретенска до Нерчинска 103 версты).

Не доезжая 110 верст до Читы, на станции Кайдаловой переходит реку Ингоду маньчжурская железная дорога.

29-го приехали в Читу, областной город Забайкальской Области. Город Чита окружен густым хвойным лесом, почва земли песчаная.

1-го октября выехали из Читы, 4-го приехали в Верхнеудинск, 5-го октября, в 8 ч. утра, выехали из Верхнеудинска на четверке в одном экипаже. Литвинов направился в Кяхту, и после того мы его уже не видали.

Из Верхнеудинска вместе с нами выехали в трех экипажах двое инженеров, полковник и капитан из Манчжурии. Полковник — председатель военно-судной комиссии. С этими господами мы ехали вместе до Байкала.

На станции Бояровке сконилось множество народу, по двое суток ожидавших почтовых лошадей.

Ехавшие с нами господа подорожные имели по казенной надобности, которым дали лошадей без задержки. Мы, как проезжали частно, (то) нам приходилось ожидать очереди; но господа не захотели оставить нас (как вместе с ними ехали 700 верст) и разобрали нас по одному человеку в свои экипажи. Я поместился к полковнику-инженеру. На пути, не доехавши верст 10 до Байкала, полковник сказал мне: — „Хохлов!" — „Чего изволите, ваше высокоблагородие? — „Хорошо бы нам сегодня переехать через Байкал". — „Или что замечаете вы, ваше благородие?" — „Да, завтра будет сильный ветер". Я улыбнулся на ответ, ничего ему не сказавши. — „Не веришь ты мне, что я говорю?" — „Может быть, сказали вы правду, но я в вашей правде могу убедиться только завтра", — ответил я.

6-го октября, в 9 ч. утра приехали в Мысовую, подъехали к пристани, спросили: пойдет ли сегодня пароход через Байкал в Лиственничную? — Нет, ответили нам. Мы поместились в гостинице на берегу. Погода была тихая. На утренней заре (следующего дня) я встал посмотреть, есть ли ветер или нет. Погода была тихая и ясная. „Его высокоблагородие не угадали о погоде", — сказал я товарищам. Инженер в это время встал и вышел в коридор умыться. — „Что ты говоришь, казак?" — спросил меня полковник. — „Ошиблись вы; сказали, что будет сильный ветер, а погода сегодня тихая". — „Не торопись, а вот, что будет к 10 часам". Я на время прикусил язык. В 8 ч. утра потянул с востока ветер, на Байкале заиграли волны, к 12 часам так сильно разыгралось, что баржа, (которую вел на буксире пароход), от волн разбилась, а чай, которым она была нагружена, (до 3 т. пудов), разнесло по Байкалу. — „Ну, не правду ли я тебе сказал, казак, что будет ветер? — „Верно, не ошиблись, ваше высокоблагородие", — ответил я.

Действительно, ветер весь день не затихал, и пароход остановился до другого дня.

На утренней заре 8-го октября, народ потянулся на пароход. Мы тоже купили пароходные билеты. В 6 ч. утра, пароход снялся. Ветер хотя затихал, но Байкал, расколыхавшийся довольно, бушевал. Переехавши глубокий Байкал (до 500 с. глубины), (прибыли мы) на пристань Лиственичную, где таможенство осматривают все заграничные товары и берут пошлину: за чай 49 к. с фунта, за шелковые японские товары 16 р. с фунта.

В Восточной Сибири, на расстоянии 4000 верст, русские и инородцы чай употребляют ценою 20 коп. за фунт. Переехавши Байкал, в Иркутске, этот же чай будет стоить 75 к. за фунт. Пройдя через таможеню, мы пересели на другой пароход, который вышел из Байкала в Ангару. К вечеру приехали в г. Иркутск, от Байкала 60 верст.

В Иркутске находятся до 40 человек наших уральцев, высланных по введению нового положения в Уральском казачьем войске 1874 г., о которых нам сказывали в Шанхае и в Нагасаках. Вот мы приехали неожиданно к своим бывшим уральцам. В числе их есть наши станичники и родственники. Погостили мы у них 4 суток.

12-го октября, в 9 ч. вечера из Иркутска выехали по железной дороге, а 16-го, в 10 ч. утра, подъехали к реке Енисею, через который переехали на пароходе в Красноярск. 22-го, в 10 ч. утра приехали в Кинель. а 23 октября в Новосергиево.

Из Новосергиева наняли извозчика, который нас доставил к Барышникову на хутор. 24-го октября, на утренней заре, выехал я на паре лошадей от Барышникова до Ранневского поселка, а в 7 ч. вечера был в Январцеве, где меня ожидало на каждый день мое семейство.

11-го декабря 1898 года я послал письмо в Константинопольский патриархат на имя секретаря вселенской патриархии, на которое получил ответ следующего содержания:

„Почтенный

Григорий Терентьевич!

Письмо ваше от 11 декабря я получил вчера вечером и спешу ответить вам, хотя, к сожалению, ответ мой будет не таким, каким

бы вы его ожидали, после такого долгого времени. С назначением нового председателя¹⁾ комиссии по вашему вопросу можно было надеяться, что дело скоро придет к концу. Однако, до сих пор ничего почти не сделано. Причина этого — множество обязанностей, возложенных на председателя, помимо вашего вопроса. Поэтому я советовал бы вам обратиться с новым прошением к патриарху, на русском языке, и попросить об ускорении дела. Может быть, такое напоминание вызовет какое-нибудь более практическое решение синода, чем назначение комиссии.

Комиссии всегда работают медленно, особенно у нас, где члены их обременены многими и разнообразными обязанностями.

Приветствую вас с наступающим праздником Рождества Христова и с наступающим новым годом и прошу передать поклон вашим товарищам, с которыми я познакомился.

Сейчас пойду в телеграф и, если скажут мне, что можно отправить телеграмму по указанию в вашем письме, пришлю вам таковую, иначе, я ограничусь этим письмом.

Ваш друг
Христо-Папаиоанн“.

24-го декабря 1898 г.

Товарищ мой, Барышников, в первых числах декабря того же года подавал из Оренбурга телеграмму на имя Вселенского патриарха, на которую я получил ответ от секретаря следующего содержания:

„Господин Григорий Терентьевич!

На днях получена из Оренбурга телеграмма на имя его Святейшества патриарха, которою просят уведомить телеграфным путем о ходе поданного вами 3-го июня 1898 г. прошения. Телеграмма эта прочитана была в Св. Синоде, откуда

¹⁾ После отбытия Анхимальского митрополита Василия в свою епархию, председателем комиссии назначен митрополит Родосский Константин. (Прим. автора.)

препровождена была в комиссию, существующую по вашему вопросу. Что же касается требуемого телеграфного ответа, то этой просьбы решено было не удовлетворять, а отложить всякий ответ до окончания дела комиссии. Но когда это будет, никто не знает. Все зависит от усердия председателя комиссии, который, заваленный многими более неотложными делами, до сих пор не мог заняться серьезно вашим вопросом. Во всяком случае, я советовал бы вам не тратить напрасно деньги на телеграммы, а если нужно, посылайте лучше повторительное прошение об ускорении дела.

Обо всем этом я счел нужным уведомить вас, чтобы вы знали, в каком положении находится ваше дело.

Христо-Папаиоанн “.

Константинополь.

4-го февраля 1899 г.

По получении этого письма я отнесся просительным письмом на имя Вселенского патриарха такого содержания:

„Ваше Святейшество!

В июне месяце 1898 года я, вместе с другими моими товарищами, имел счастье передать на Ваше благосклонное разрешение несколько вопросов об Амвросии, митрополите Босносараевском. Вопросы эти были переданы в особую комиссию на обсуждение, но почему-то до сих пор разрешение их замедлилось. Между тем разрешение их для нас имеет громадный религиозный интерес, и разрешения этих вопросов ждут тысячи людей. Эти изложенные соображения заставляют меня утруждать Вас, Ваше Святейшество, просьбою, не найдется ли возможным ускорить разрешение выставленных мною вопросов. Об этом прошу я и масса народа, которые до воследования этого решения будут пребывать в религиозном сомнении.

Вашего Святейшества покорнейший слуга, казак Григорий Терентьев Хохлов“.

На прошение это ответа не получал и по сие время.

К о н е ц .

А. Белослюдов
К ИСТОРИИ «БЕЛОВОДЬЯ».

Вести о беспредельных просторах Сибири и о соседних с нею долинах неведомых странах давно проникли в Россию, и гонимые за веру старообрядцы создали в своем воображении где-то в далеком пространстве географический пункт Беловодье, присвоив ему свои желанные мечты. Для того, чтобы реализовать его, они составили даже маршрут с радужным описанием привольного жития там о Христе подражателей. Из России нужно было пробраться «на Екатеринбург, да Томск, на Барнаул, вверх по реке Катурне на Красный Яр, деревня Ака, тут часовня и деревня Устьба. В Устьбе спросить странноприимца Петра Кириллова, зайти на фотеру. Тут еще множество фотер. Снеговые горы: оные горы за триста верст от Алама стоят во всем виде. За горами Дамасская деревня, в той деревне часовая, настоятель схимник Иоанн. От той обители есть ход сорок дней с роздыхами, через Кижисскую землю, потом четыре дни ходу в Тотанию, там Опоньское государство; живут в избе океана моря: место называемое беловодие и озером Ловом, а на нем сто островов, а на них горы, а на горах живут о Христе подражатели христовой церкви, православные христиане. А там не может быть антихрист и не будет. И в оном месте леса темные, горы высокия, разседлины каменные, а там народ именно, варварств никаких нет и не будет, а ежели-б все китайцы били христиане, то-б и не едина душа не погибла» (Андерсен. Старообрядцы и сектанты).

Руководствуясь подобными маршрутами в поисках Беловодья, пробираются они через леса и степи в Северные предгорья Алтая, в верховье реки Бахтармы, трудными горными тропами переваливают ВЫСИ гор, проходят пустыни, забираются

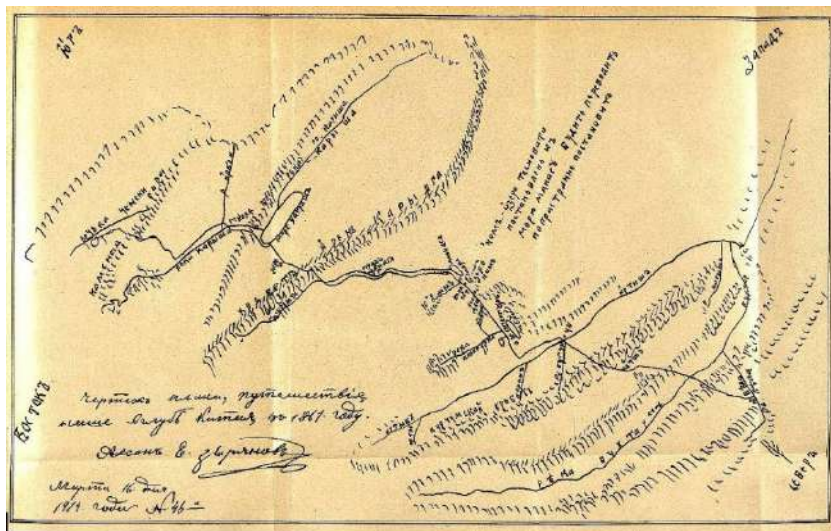
вглубь Китая на берега Лоб-Нора, идут дальше, гибнут, — оставляя после себя легенды.

Об одном из таких путешествий рассказал мне Ассон Зырхлов, глава раскольников долины Бахтармы». В 1861 г., когда ему было лет двенадцать, он сам ходил на Беловодье. Маршрут этот, не был еще напечатан. Ниже мы прилагаем и подлинный чертеж пути, составленный Ассоном Зыряновым.

Рано утром, поднялась деревня. Вой подняли бабы. Все побросали, — дома, скотину... Взяли только лишь то, что нужно было в дальнюю дорогу. Верхами с ружьями мужчины, за ними бабы, ДЕТИ, лошади с тюками, и опять мужчины, - всего сто тридцать человек поехали на Беловодье. Поднялись на увал, простились со своей деревней Белой. И перебрались за Бухтарму.

Перевалили черев Нарымский хребет. Спустились к Чёрному Иртышу. Близь устья Бурчума перебрались через Иртыш. Прошли близь озера Улюнгуга. Встретились с начальником торгоуцким: три пера имеет у себя на шапке Отец Ассона, Емельян, такой же самоучка как и Ассон сам, не раз уже бывавший в монголии и знавший, по словам сына, языки - китайский, монгольский и манжурский, развернул перед начальником заготовленную дома еще грамоту, расписанную никому на земле непонятными каракулями, с раскрашенными внизу печатями, и заявил по торгоутски, что они «индейцы» идут в Индию и просят указать им путь. Начальник был весьма любезен; направил их на Урумчи, предупреждая чтоб не уклонились в сторону, к востоку, потому что там пустыня. Распростившись с торгоутским начальником «индейцы» наши двинулись дальше. Прошли тропами от колодца к колодцу до озера Ном и озера Манас. Через китайскую деревню прошли в город Манас, отсюда двинулись на Урумчи. Из Урумчей на юг, перевалили высокие горы со снежными вершинами -Ирень - Кабарга. Прошли через китайскую деревню к озеру Бограш, через

которое протекает река Карыша. Перебили на берегах этой реки в кустарниках много маралов, свернули к югу и оставив, по мнению Ассона, озеро Лоб-Нор на запад от себя, зашли в болото. Здесь в камышах убили триста пятьдесят кабанов, прожили два месяца на берегах какого-то озера и двинулись дальше. Зашли в пустыню. От жары люди стали помирать, воды в запасе было так мало, что давали людям только на язык. Похоронив в пустыне нескольких товарищей добрались наконец к подножию высоких черных гор.



Перевалив через эти страшные, высокие каменные горы, вышли на ровную каменистую степь. Дошли по степи до речки Чмень. Видели в степи и охотились за куланами, дикими яками, и дикими верблюдами. Прошли за речку Чмень. Увидели впереди ледяные вершины высоких гор, держали совет и решили вернуться обратно. Разделились на две партии. Мужчины все обрили и решили назваться кемчугами. Одна партия пошла прямо на Турфань, другая по старому пути. Встречаясь с китайцами отец Ассона заявлял, что они кемчуги. Но когда проходили по улице

Манаса китайцы кричали: «урус». Подходя к озеру Улюнгур издали увидели большую гору, отец Ассона называл ее Ильиной горой, потому что в передний путь у подошвы этой горы делали дневку в Ильин день. Обратно в Белую вернулись немногие и те в большинстве пешком. Из партии ушедшей на Турфань не вернулся никто. Путешествие тянулось более двух лет и Ассон Зырянов предполагает, что пройдено было не менее пяти тысяч верст. Это одно из путешествий на далёкое Беловодье. Другие путешествия кончались почти тем же. Надежды найти Беловодье вдали - рушились, но зато ходившие на Беловодье увидели привольные места вблизи, куда по возвращении и сбивали переселяться своих односельчан. Беловодцы, таким образом, являлись искателями лучших мест, лучшей жизни. Это древние стихийные путешественники, невольные соглядатаи. Беловодье, это живой осколок древней старины. В настоящее время на Бухтарме уже не верят в существование Беловодья, хотя не редкость встретить еще старца, который свято-веря расскажет вам, что на Беловодье, на море, на островах живут святые люди, что, если попасть туда, то можно живьем сделаться святым и взойти на небо; добавит даже, что святых людей видели ходившие на Беловодье; святые люди верхом на конях по водам подъезжали к ним и звали, но кони ходивших на Беловодье тонули и святые люди уезжали обратно. Кроме этого в верховьях Бухтармы рассказывали мне, что великий князь Константин Николаевич, увидя, что неправда на Руси царит, ушел на Беловодье, на острова, и увел туда с собой сорок тысяч мужских и женских и что теперь этот народ живет там и: податей не платит.

16 августа 1915.

г. Омск

Из истории старообрядческого раскола в Пермской епархии

*Лжеархиепископ Аркадий, представитель священства,
именуемого «Беловодским»*

В жизни русских старообрядцев, особенно поповщинского согласия, встречаются такого рода факты, которые, с одной стороны, свидетельствуют о крайнем невежестве русских старообрядцев, а с другой об искреннем желании их выйти из своего незавидного в церковном отношении положения, иметь в своем обществе епископов и всю полноту церковной иерархии и тем самым придать ему вид Христовой церкви. Попытки со стороны старообрядцев поповщинского согласия найти для себя архиерея встречаются, как свидетельствует история русского старообрядчества, почти с первых лет их отдельного от православной церкви существования и продолжают до настоящего времени. Простотою и невежеством старообрядцев и желанием их иметь своего архиерея не редко пользовались ловкие проходимцы, выдавали себя за архиереев и других священных лиц, были принимаемы с радостью некоторыми старообрядческими обществами и своим пребыванием у них производили соблазн и смуту во всем старообрядчестве. Для примера в этом отношении можно указать на иеродиакона Афиногена, объявившего себя пред Стародубскими старообрядцами епископом Лукою. Это было в половине XVIII века. В сороковых годах настоящего столетия старообрядцам удалось отыскать для себя архиерея, именно Амвросия: возникла так называемая Белокриницкая иерархия. Но эта иерархия многих старообрядцев не удовлетворила: Амвросий был грек из Еноса, и возникновение Белокриницкой иерархии, или Австрийского

священства, было сопряжено с различными каноническими нарушениями. На православие греков старообрядцы смотрели подозрительно, а нарушения канонические при возникновении Белокриницкой иерархии были небезызвестны им. Поэтому многие³ из старообрядцев отшатнулись от новой раскольнической иерархии, и их снова стала тревожить мысль найти и иметь у себя епископа «древляго благочестия», тем более, что среди старообрядцев за долго до появления Австрийского священства было распространено мнение, что в «Опонском (Японском) царстве» находится страна Беловодье, где существует полная благочестивая церковь («асирского языка 179 церквей, имеют патриарха православного, антиохийского постановления, и четыре митрополита. А российских до сорока церквей, тоже имеют митрополита и епископов, асирского поставления»...). Таким тревожным состоянием старообрядцев и мыслию о существовании мифического Беловодья с православной в нем церковь воспользовался один ссыльный, бежавший из Сибири, объявил себя Пермским старообрядцам архиепископом Аркадием из Беловодья, и многие из Пермских старообрядцев, не смотря на чувствительные уроки в этом отношении предыдущей истории старообрядчества, не смотря на заявление его в 1876 году Пермскому окружному суду, что он Петербургский купеческий сын Павел Александров Михайлов, признали его за настоящего архиепископа.

Случай, обнаруживший существование этого лжеархиерея, был следующий. Пермский епархиальный миссионер, священник С. Луканин в один из праздничных дней, в зале при часовне Братства св. Стефана Велико-Пермского, в марте 1888 г. вел беседу со старообрядцами. Предметом беседы было рассмотрение законности Австрийского священства. Ознакомив слушателей с происхождением Австрийского священства, о. миссионер указал им и на причины, побудившие старообрядцев в сороковых годах во что бы то ни стало основать свою иерархию; при этом о.

миссионер заметил, «что из всех сект раскольнических счастливее других, в своем смысле, может считаться секта австрийского священства, как имеющая теперь некоторым образом полную свою иерархию и как не нуждающуюся более в переманивании к себе попов православной церкви». В это время из числа старообрядцев встал молодой человек и сказал: «напрасно вы так говорите, о. миссионер, что епископов имеют в старообрядчестве только одни христиане австрийского согласия; вот мы совершенно отдельные от них христиане, а имеем также у себя епископов и священников». После этого между о. миссионером и старообрядцем произошла следующая беседа.

Миссионер. «Где же у вас епископ и как его зовут?»

Старообрядец. «У нас есть архиепископ, зовут его Аркадием; по происхождению это архиерейство называется Беловодским».

Миссионер. «Где же у вас архиепископ проживает и видали ли вы его лично?»

Старообрядец. «Проживает он с нами; да вам можно кажется помнить, как его поймали в Юго-Кнауфском заводе... вот этот и есть наш Аркадий архиепископ».

Миссионер. «В Юго-Кнауфском заводе поймали австрийского Геннадия».

Старообрядец. «Геннадия поймали раньше и того я не могу помнить; а нашего Аркадия поймали после, кажется в 1876 году».

Миссионер. «Кажется вы, молодой человек, ошибаетесь, говоря об архиепископе Беловодском. Ведь о Беловодье давно в старообрядчестве толкуют, но такой страны или земли нет на белом свете, это одна выдумка ловких проходимцев для оболыщения простого народа и для более удобной наживы обманщикам. Что пишут, или рассказывают о Беловодье ваши бродяги, у меня есть; не хотите ли я вам сейчас прочту об этом».

Старообрядец. «Послушать о Беловодии повести какие есть у вас мне весьма желательно, думаю, и все собрание от того не откажется; но что наш архиепископ есть особое лицо от

австрийского Геннадия, или какого еще другого, так это я вам несомненно докажу и сегодня же. А теперь потрудитесь нам прочитайте, что у вас есть о Беловодии».

Миссионер. «Благоволите выслушать две повести о Беловодии; они не обширны, но интересны, как плод фантазии наших старообрядческих сочинителей. Повесть первая: «О разыскании сокровенного священства».

«Не далеко от Ветки находится монастырь Лаврентиев. Настоятель онаго старец Аркадий повествует, что есть де в дальних странах места сокровенныя, где старая вера соблюдена в целости и чистоте. Там она непорочная невеста среди басурман яко светило сияет. Первое такое место по Райской реке Ефрате, промеж рубежей турского с Перским. Другая страна за Египтом зовется Емакал, в земле Фиваидской. Третье место за Сибирью в сокровенном Опоньском государстве. Есть, говорит Аркадий, в крайних восточных пределах за Сибирью Христоподрожательная древняя церковь ассирского языка. Там в Опоньском царстве, на Беловодье, стоит сто восемьдесят церквей без одной церкви, да кроме того российских древняго благочестия церквей сорок. Имеют те российские люди митрополита и епископов Ассирского поставленья. А удалились они в Опоньское государство, когда на Москве изменение благочестия стало. Тогда из честныя обители Соловецкой, да из многих других мест много народу туда удалилось. И светского суда в том Опоньском государстве они не имеют, всеми людьми управляют духовныя власти. В семером пошли мы к Беловодью. Дошли из Лаврентиева монастыря в Сибири до реки Катуня и нашли тамо христоролюбивых странноприимцев, что русских людей за камень в Китайское царство переводят. Там множество пещер тайных, в них странники привитают, а немного подале снеговья горы, верст за триста коли не боле их видно. Перешли мы снеговья горы и нашли там келью, да часовню, в ней двое старцев пребывают, только не нашего были согласу, священства они не приемлют,

однако путь к Беловодью нам показали и проводника по малом времени сыскали... Шли мы великую степь Китайским государством сорок и четыре дня сряду. Чего мы там ни натерпелись; каких бед, напастей не испытали? Сторона не знакомая-чужая, и совсем как есть пустая, ни где человеческого лица не увидишь, одни звери бродят по той пустыне. Двое наших путников теми зверями при нашем видении заедены были. Воды в этой степи мало, иной раз дни два идем, хоть бы калужинку какую встретить; а как увидишь издали светлую водицу, бежишь к ней бегом, забывая усталость. Так однажды, увидавши издали речку, побежали мы к ней водицы напиться, бежишь, а из камышей как прыгнет на нас зверь дикий, сам полосастый и ровно кошка, а величиной с медведя, двух странников растерзал в одно мгновение ока... Много было бед... много напастей... Но дошли таки мы до Беловодья. Стоит там глубокое озеро, да большое, ровно как море какое и зовут то озеро Лопонским и течет в нее от запада река Беловодье. На том озере большие острова есть, и на тех островах живут русские люди старой веры. Только и они священства не приемлют, нет у них архиереев и никогда не бывало».

Вторая повесть. Проход в Апонское государство.

«Чрез Екатеринбург на Томск, на Кананейск, на Барнаул в верх по реке Катурме, на Красной Яр; тут есть деревня Устьба, в ней часовня, еще спросить странноприимца Петра Кириллова, стать на квартиру: тут пещер множество. От пещер снеговые горы на триста верст, от Адама стоят в своем виде никогда не тают. За горами деревня Дакойнское. В той деревне часовня и обитель; настоятель инок схимник Иосиф. От той обители есть ход на сорок дней чрез Китайскую землю. Потом, четыре дня ходу в Апонское государство. Тут живут в губе окияна моря, место называемое Беловодье, на нем семьдесят островов, и острова есть по пяти сот верст, на их горы. А в горах живут о Христе подражатели соборной церкви православные христиане. А там не может быть

антихрист и не будет, ежели-бы были христиане тамо и того боле, то бы ни единая душа не погибла от антихриста, в сем прельщении непрельстились. Веру имите любители Христовы, грядите вышеозначенною стезею. Вы поверьте святого Иоанна Богослова глаголам испустит змий воду яко реку, но не потопит в реке. И даны будут жене криле орла великаго, яко огненна и да парит в пустыню и питана будет время и полвремени на сорок два месяца (Апокал. гл. 12), с нами она есть и будет, хотя еретики и толкуют на противу Христа. Ассирийстии христиане, гонимые от папы, из своей земли отлучились более пяти сот лет, а отъискали им эти места два старца. А церковей Ассирийских сто; сущих христианских. У них святейший патриарх и четыре митрополита, и все духовныя чины существуют от святых апостол. Вера неизменно стоит и не нарушимо сохраняется. Есть Российския христианския церкви сорок четыре. У них занялись митрополиты от Ассирийского патриарха. Российские отлучились от своих мест, от гонения Никона Патриарха. А проход их был от Изосимы и Савватия Соловетских чудотворцев, кораблями чрез ледовое море. И таким образом, отцы были посылаемы проискивать от Изосимы и Савватия. Там леса темны, горы высоки, разселены каменны. А народ... именно христиана! воровства никакого нет и не бывает. Сей памятник писал, сам там бывший, имя мое, многогрешный инок Михаил, со всею о Христе братиею. Аминь».

Кончивши чтение повестей, о. миссионер спросил старообрядца: «не этого ли Беловодия ваш архиепископ Аркадий? А если он сказывается сам, что он из Беловодья, то верьте, что это не архиерей, а какой нибудь беглец из Сибири».

Старообрядец. «Есть или нет Беловодие на белом свете, я этого ничего не знаю; а как раннее, так и теперь утверждаю только одно, что не одни австрийцы-христиане имеют епископов; но вот и у нас, христиан Беловодской религии, есть свой архиепископ Аркадий. А что я истину говорю и не с чужих слов, то на это я вам скажу здесь одно: я состою уставщиком и голосовщиком при

Аркадие... более этого я вам, о. миссионер, ничего не скажу. Если желаете знать о нем подробно, то я зайду к вам на квартиру и там порасскажу более; а здесь мне не место об Аркадии говорить».

Миссионер. «Приходу вашему буду очень рад и вам, в свою очередь, постараюсь быть полезным».

Затем, беседа опять пошла своим порядком, с указанием на канонические нарушения, при которых возникло австрийское священство.

Через несколько времени, действительно, прибыли к о. миссионеру в квартиру известный уже молодой старообрядец и его тесть, попечитель Беловодского священства, которые много сообщили ему интересного о существовании в их заводе (Юго-Камском), архиепископа Аркадия, о его служении и о посвящении диаконов и священников... При прощании старообрядцы просили о. миссионера приехать к ним в Юго-Камский завод и произвести миссионерскую беседу.

Испросив благословение Владыки, о. миссионер 13-го апреля прибыл в Юго-Камский завод. Аркадия, архиепископа Беловодского, в заводе в это время не было; он 12 числа отправился в Очер. Зная, что для Юго-Камского завода Аркадий рукоположил во священника Павла Ильича Нечаева, человека хорошей нравственности, достаточного по состоянию и уважаемого всем обществом, о. миссионер решил не приглашать его на публичную беседу, но послал к нему записку, в которой просил его пожаловать к нему в квартиру и келейно поговорить о Беловодском священстве. Такая мера очень понравилась Павлу Ильичу, он пришел очень скоро и между ними произошла душевная беседа. Во время этой беседы Павел Ильич сообщил миссионеру, что он, действительно, рукоположен Аркадием во священника, на что выдана ему и грамота. На просьбу о. миссионера показать ему ставленную грамоту, Павел Ильич согласился и во второй свой приход к нему захватил с собою и свою ставленную грамоту. Ставленная грамота была подписана

смирным Аркадием, архиепископом Новаго-города, и Великих лук, и Пскова, Киевским, С.-Петербургским, Олонецким, Вологодским, Архангельским, Вятским, Велико-Пермским, и всея России, и Сибири, и Якутския земли. В низу под грамотой приложена и печать Аркадия: «в круге евангелие, осмиконечный крест, костыль и внизу две буквы А. А., т.е. архиепископ Аркадий». Когда о. миссионер выразил удивление по поводу ставленной грамоты и высказал убеждение, что Аркадий не архиепископ, а обманщик; то Павел Ильич на это заметил что у Аркадия есть грамота, из которой видно, от кого и когда он поставлен был во епископа. При этом Павел Ильич вынул из бокового кармана своего подрясника копию с этой грамоты (о ставлении Аркадия в архиепископы), передал ее о. миссионеру для просмотра и дозволил о. миссионеру снять с нее копию.

Из бесед с Павлом Ильичем, а также из вечерней миссионерской беседы, веденной в училище, о. миссионер многое узнал об лжеархиепископе Аркадии и Беловодском священстве. Не ограничиваясь одной этой поездкой, по делу собрания точных и верных сведений о степени распространения Беловодской секты, о. миссионер в мае месяце предпринял другую поездку, оказавшуюся весьма плодотворною, был в Очерском заводе, приобрел опять несколько важных документов и грамот об Аркадии, вошел в тесную дружбу с некоторыми лицами Беловодского священства, и чрез них, как доверенных людей, собрал много интересных сведений о действиях Аркадия, которые и помещаются в настоящее время почти без изменений на страницах Епархиальных Ведомостей.*

*) За собранные и представленные в редакцию сведения о лжеархиепископе Аркадии из «Беловодья», редакция Пермских Епархиальных Ведомостей приносит священнику С.А. Луканину, Пермскому епархиальному миссионеру, свою искреннюю благодарность.

Знакомство Аркадия с Пермскими старообрядцами.

Лжеархиепископ Аркадий познакомился прежде всего со старообрядцами Юго-Камского завода Пермской губернии. Знакомство произошло в 1858 году, когда он шел в партии арестантов из Динабургской крепости в Сибирь на поселение. В деревне Полуденной, отстоящей от Перми в 50, а от завода в 3-х верстах, арестанты на этапе остановились на дневку. Аркадий, узнавши от местной команды, что в Юго-Камском заводе есть старообрядцы беглопоповского согласия, написал им записку, в которой просил христоробцев послать ему милостыню и свеч, и выразил желание свидеться с настоятелем их. Павел Дементиевич Батуев, главный настоятель часовенной секты, в это время находится под эпитимией у своего братства за то, что выдал дочь свою Параскеву за православного крестьянина деревни Чуваковки Павла Петрова Коскова. По получении записки, на этап пошли с милостыней и для свидания с Аркадием заступающий место настоятеля Николай Иванов Замараев, двое братьев Димитрий и Яков Чернышевы и Анна Федорова Аликина. Принимая милостыню, Аркадий на расспросы старообрядцев о себе ответил, что он древняго благочестия архиепископ Аркадий и, страдая за старую веру, идет в Сибирь на поселение. Этот разговор слышали той же партии два арестанта поморского согласия и сказали принесшим милостыню: «не верьте ему, он вас обманывает». Этим первое знакомство Юго-Камцев с Аркадием и кончилось.

В 1874 году лжеархиепископ Аркадий убежал из Сибири, остановился на несколько дней в Екатеринбурге у купца В.М. Бородин и заявил также о себе, что он архиепископ Аркадий из Беловодского государства и послан в Россию, рукоположившим его патриархом.

Мелетием для поставления христианам, хранящим останки древняго благочестия, диаконов и пресвитеров, в уверение чего

представил Екатеринбургским старообрядцам следующую ставленную свою грамоту:

«БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ

Аз смиренный Мелетий патриарх Славяно-Беловодский, Ост- Индский, и Юст-Индский, и Фест-Индейский, и Англо-Индейский и Японских островов.

Божиим изволением, по благодати Всесвятаго и Всесильнаго, и Животворящаго и Покланяемаго Духа и по данной мне власти от вышняго архиерея Господа нашего Иисуса Христа, приятої от святых апостол, их преемников и аз сопрестольник апостольский от Антиохии Сирийския церкви патриарх, на основании правил святых апостол и вселенских учителей хиротонисал со священным собором с четырьмя митрополитами сирскаго языка сего преосвященнаго Аркадия во епископа Словенским градовом, Тавризию и Турхилину, да поставит диаконы и пресвитеры и всякий чин церковный по правилам святых восточных кафолических церкви Сирскаго и Словянскаго и прочим языком вселенных, неотступая правил православно-восточных апостольских и вселенских святых соборов, утвержденных, да храня я сохранить свято и нерушимо, яко же в патриархии нашей, идеже святое и божественное евангелие проповедуется и во других странах земли и градах и селех и весех. Тако да поставит церкви Христовы умножить, их же врата ада неодолеют во веки. И мы сего преосвященнаго Аркадия избрахом и поставихом епископа в лето от сотворения мѣра 7355 (1847 от Р. Х.), месяца декабря в 25-й день; а возведен во архиепископа богоспасаемому граду Божду-Карану Японскому острову и послахом мирно и отпустихом со властью архиерейства в Российское государство в лето от сотворения мѣра 7358, месяца марта в 20-й день, да и тамо поставить христианом православным хранящим останки древняго благочестия диаконы же и пресвитеры; в чем свидетельствую нашу патриаршею рукою и освященнаго собора, подписом четырех митрополитов Сирскаго

языка и приложением печати святого собора. Напечатана в лето от сотворения мира 7358 месяца марта в 21-й день в церкви Пресвятыя Богородицы честнаго Ея живоноснаго источника в царствующем граде Славяно-Бело-Водскаго царства Беловодско-Трапезангуште.

Божиею милостию смиренный патриарх Мелетий Славяно-Бело-Водский, Ост-Индийский, Юст-Индийский, и Фест-Индийский, и Англо-Индийский и Японских островов.

Смиренный митрополит Никола Корейский и Японский. Смиренный митрополит Илья Дельский, Англо-Индийский и Норский.

Смиренный митрополит Израиль Американский и Мексиканский.

Смиренный митрополит Иона Африканский и Индиянский Сирскаго языка».

Собравшиеся после этого на совет Екатеринбургские старообрядцы спросили, под крестным знаменем, Аркадия, где он рукоположен во святительский сан? на что он ответил: «в Беловодие». Тогда старообрядцы принесли книги и всей земли планы (географические карты) и ни где не нашли такой страны. Потом, посоветовавшись между собой, сказали: «не надо нам его; он обманщик, бросить его в воду». Аркадий, сохранив присутствие духа, сказал: «чем бросать меня в воду, так я сам уйду, и не будет на вас греха». И ушел в Пермь.

Из Екатеринбурга, чрез Пермь, Аркадий в октябре месяце пришел в деревню Чуваковку, остановился в доме у старой девки Матрены Назаровой и отсюда стал собирать сведения о старообрядцах Юго-Камского завода. Потом сноха Матрены Назаровой, Агафья Егорова, свела его в завод к настоятелю часовенной секты Павлу Дементиеву Батуеву, у которого он и остановился пожить.

С подобающей таинственностью и под условием великого секрета Аркадий открыл Батуеву, что он никто другой, как

бегствующий Христа ради и спасения древле православных христиан архиепископ. Аркадий верно рассчитал на гостеприимный прием у главы здешних старообрядцев и нимало не ошибся. Для Батуева нисколько не показалось сомнительным, что такой великий светильник скитается под видом странника, претерпевая холод и голод и прикрываясь рубищем.

На 28-е октября Батуев приглашен был на служение молебна в дом старообрядца, крестьянина Осипа Андреева Реутова, у которого жена Парасковья была именинница. Батуев взял с собой на молебен и Аркадия, чтобы он посмотрел на их моление. По окончании молебна св. великомученице Параскеве и Ангелу хранителю, и после того, как Батуев познакомил братию со своим гостем, представив и почестив дивного гостя чернеца, Аркадий с заискивающим смирением заметил Батуеву и всем богомольцам, почему они не прикладывались после молебна к иконе? и испросив дозволение у всех, пожелал сам отслужить молебен тем же святым. Конечно, все это делалось с предварительного соглашения с Батуевым. Пока шли приготовления к новому молебну, Батуев посоветовал Реутову пригласить еще *кого можно* к себе из братии. Народу набралось довольно, так как сказано было, что прибыл какой то дальний чернец, чуть ли де не священник и их согласия. Аркадий предварительно испросил у собравшегося братства прощения, если он нечто не так будет исправлять, и в смирении своем заявил, что он благодарен будет и за то, если они постоят да посмотрят, как он служить будет, а молиться предоставляет на волю каждого, кому будет «несумнительно». Потом он попросил принести два медных подсвечника и, очистив их, оградил крестным знаменiem и стал вставлять в них желтого воска большие свечи, в один вставил три, а в другой две свечи. Народ на все это смотрел с недоумением и ждал, что будет дальше. Устроив трикирий и дикирий, Аркадий, прикрыв голову камилавкой с каптырем, в простом чернеческом балахоне, с лестовкой, положил начало и потом взял в обе руки

возженные трикирий и дикирий, обратясь к народу, благословил его, пропевши: «тон деспотин, ке архиереа имон...». Присутствующее все догадались, что это не простой священно-инок служит, а чуть ли не сам архиерей. Батуев первый поклонился служащему, за ним некоторые и из братии, из чего прямо узнали, что Павел Дементиевич привел архиерея им показать. Молебен все простояли с умилением, и Аркадий отслужил его «шипко ловко, видно что дело у рук бывало».

После молебна начались обычные беседы и угощение у именинницы, Батуев в расчетах не ошибся. Первый молебен Аркадия весьма понравился старообрядцам часовенного согласия, тем более, что они никогда не слышали при служениях в своих молельнях эктений и священнических возгласов, а также священных действий: благословения десницею, крестом и наконец трикирием и дикирием. Этим первым, и удачным служением Аркадий приобрел полное право на тепленький уголок в Юго-Камском заводе и мог жить, сколько угодно.

Принятие Аркадия в сане архиепископа в Юго-Камском заводе.

С течением времени, ознакомившись более с прибывшим странствующим архиереем, полюбив его смиренное и благоговейное служение, умильный взгляд на иконы, не редко со слезами, и пленившись его представительностью и выразительным лицом, настоятель Павел Дементиевич Головшин и Павел Ильич Нечаев совершенно предалися Аркадию, вверились в него, как в благодарованного архипастыря. Мысль, что они приобрели архиерея до того овладела ими и так много хорошего в скором будущем обещала им, что они не задумались, при первом собрании всех членов своего согласия, объявить решительное свое намерение принять Аркадия. Мнение свое о принятии Аркадия на общем соборе своего согласия они выразили в следующих решительных и сильных словах: «братие о Иусе

Христе! хоть вы принимайте, хоть не принимайте преосвященного владыку Аркадия, а мы его принимаем; ибо без священства жить нельзя!» На это заявление Никола Иванов Замараев и некоторые более рассудительные старики сказали: «принять мы его не отказываемся; а есть ли у него ставленная грамота?» потом Замараев, обратясь к Батуеву, сказал: «посмотрика Павел Дементиевич правило святых Апостол, что оно гласит на счет принятия странного священника или епископа, да прочитай-ко в слух нам всем!» Батуев взял Кормчую и, сотворив на себе крестное знамение, начал читать: «От Кормчии книги, *правило святых Апостол тридесять и третье*: чужд пресвитер без ставленного писания неприятен. Аще же имать, да испытается, аще правоверен есть, аще ли ни потребная на путь взем да отпустится. *Толкование*. Без ставленного писания не подобает чуждаго пресвитера приимати, ставильное же писание ситцево есть, котораго града епископ, и како имя ему, и како имя пресвитеру и по святым ли правилом поставил его, и с миром ли отпустил, аще же и таковое писание носит, то и тако подобает вопрошати и испытати его, и аще без всякаго извета правоверен обрящется, прияти того достойно, аще ли некая противная правоверию глаголет и творит, подобает таковому потребная на путь вдати и отпустить его». Кончивши чтение правила с толкованием, Батуев сказал собранию: «это есть истое правило по нашей потребе; владыка Аркадий при себе ставленную грамоту имеет. Я эту грамоту у него брал и читал и теперь нисколько не сомневаюсь на счет его правильного рукоположения. Грамота у владыки столь великолепная, что это и уму нашему непостижимо!»

Собрание попросило сейчас же показать ее и прочесть, дабы не было ни какого сомнения. Батуев сходил домой и выпросил у Аркадия ставленную грамоту. Явившись с бумагами в собрание, Батуев, прежде чем начал читать грамоту, объяснил собранию, что «сущая грамота преосвященного Аркадия

напечатана на Индо- Сирско-Арабском языке, которую здесь никому не прочесть, даже в Перми и Казани нет таких людей, чтобы могли ее прочесть, а только ее разве могут прочесть в Петербурге при Посольской Палате. А эта грамота есть точная копия с той и для русского языка христиан переведена на наш язык словенский, удобства понятия ради». Все притихли и Батуев, сотворив на себе «с утверждением двумя персты» крестное знамение, медленно и раздельно начал читать (мы приводим дословно ставленную грамоту Аркадия, как интересную по подписям вымышленных иерархических лиц):

«БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ*

Смиренный Мелетий патриарх Славяно-Бело-Водский, Индостанский, Индийский, Камбайский, Японский, Англо-Индийский, Ость-Индии, и Юсть-Индии, и Фест-Индии, и Африки, и Америки, и земли Хили, и Магелланския земли, и Бразилии и Абиссинии. Благоволением Святыя, Живоначальная Троицы, Отца и Сына, и содействием Святаго Духа, и соопастным испытанием испытан сей, благоговейный муж, священно-архимандрит свято-спасо-богородицкаго монастыря Аркадий, испытан чрез его отца, духовнаго, священноиерея Иоанна, свято-духовной церкви, что у Морат, свидетельствует о нем яко достоин быти епископскаго достоинства, и поставлен бысть епископом граду Ясомциону в Парагвае, муж благ, во священных законах воспитан и в молитвах, и в чистоте жития известен. По благодати, данной нам от Пресвятаго Животворящаго Духа единодушно со всеми священными отцы согласившися и разсудивше всяко, яко неудобь таковому светильнику, проуготовану в пути Господни проповеди под спудом сокровенну быти и иного в того место, яко звезду некую ко просвещению святыя церкви восприяти нужно

*) Копия переведена из Индо-Сирскаго-Арабскаго языка на Славяно-Русский.

вменихом. И скорбь не мала в душа наша вниде, да не церковь Божия такового пастыря улишится, паче же сего ради судихом вси вообще, и молихом того, яко быти тому, по искусству разума, чистоты жития, и добродетели церкви, предстателю нам же обычная поставления уготовавшим и нареченному архиепископу поставление его благовестившим, и яже о Святем Дусе, с сыновы и сослужебники нашего смирения довольно молиствовавшим, и по чину вся, яко-же достоин совершившим возведом прежде помяновеннаго святейшаго Аркадия на высочайший престол архиепископский великия руссийския церкви, и по благодати данной нам от Пресвятаго и Животворящаго Духа рукоположихом и освятихом и поставихом того с известным разсуждением, во еже быти тому, яко светильнику на свещнице горящу, и никогда-же благочестивых учении велениями угасающу, могуща украсити престол святя Божия церкви, еже и бысть во славу и честь великаго православия и в соблюдения Христова стада словесных овец и от инудуже от врагов ненаветны и всячески пользовати и истерзати и изводити могущу из глубины греховныя погибших души и от всякия прелести и смущения сохранити и того божественным разумом, и духовным наставлением сочетавати, и к вечной славе, и безсмертному житию совокупляти, и Всесвятаго Духа благодатию, совещевати-же повелевати всем под тою священною паствою, о душевных вкупе и телесных пользе тщатися и творити я. Себе-же отвсюда чиста соблюдать от всякого зазора и елико возможно вместити человеческому немощному естеству. Понеже убо вси изыдохом в мир сей на позор ангелом и человеком, и сего ради убо ныне каждо смотряяй себе въявитися хотящем веще узрит: наипаче же блюсти и хранити общия предания святя Апостольския церкви, неподвижно и непреткновенно, и ничто-же инако творити, ниже совносити кроме предании святых Апостол и святых отец, канон и правил. Превосходящее же и превысочайшее всех, еже подвиг имети о евангельских заветании, и едино в разуме сих соблюдать, о них

же поучение имети непрестанно, на спасение врученных тому душам, и не о себе едином пещися, но и о всех вкупе, якоже и Владыка наш Христос, не за себе единого пострада, иже греха не сотвори, ни обретесе леть во устех его, но и нас ради вся исполни; и за ны предадеса. Сего бо ради и молихом того превысокаго мужа, и познахом того, яко достоин есть честное от недостойнаго производить по реченному духовдвижных пророк (Иерем. 15). Изводяй бо рече честное от недостойнаго, яко уста моя суть. И сего ради, Аз-же, вси яже о Христе возлюблены братие и сынове нашего смирения боголюбивии митрополиты, архиепископы и епископы, и весь освященный собор, просим вас христолубивии боярове и князие, и богобоязливии людие российского народа, хранящии древле-православное благочестие христианския веры греческаго закона, и ногам вашим касаемся яко да храните, соблюдайте ко оному новопоставленному во святейших Аркадию, Божию милостию архиепископу, всея руси и Сибири любовь, милость, щедроты, благое подаяние, наипаче же святительства ради в духовных вещех, повиновение яко отцу и учителю, в телесных же послушание и покорение, и всегда имети главу пастыря и отца чадолюбива, ко спасению того промышляюща и пекущася, яко лепо бе по превосходящему святительству и Тебе Великому Самодержцу и Высокому покровителю Тишайшему Государю и Царю и Повелителю Самодержавнейшему, Великаго Московскаго святаго всея Руси, и Казанскаго и Астраханскаго вашего царств и Государств, Царя и Самодержца и Повелителя всех северных, и восточных и западных стран обладателя, просим и молим и ног царских светлейших касаемся, да утвердиши своим повелением, сего новопоставленнаго святейшаго Аркадия, Божию милостию архиепископа упомянутым градом Велику-Нову-Граду и Пскову, Киеву и Московии и Владимиру, Санкт-Петербургу, Олонцу, и Вологде, Ярославлю, Костроме, Нижнему Нову-Граду, Симбирску, Вятке, Велико-Перми и Тобольску и Иркутску и всея Руси и Сибири и Якутския земли в твоём святом

царстве Российском, в святительском достоинстве и почтеша его, как пастыря словесных овец Христовых, хранящих древле-православное христианское благочестие греческого закона и все прежде бывшиа обычаи до лет от Христа Вас, о благороднии вельможи и честнии в Сигклите царскому российскаго государства пребывающии, в царевом воинстве исправляющая царская потребности и все яже о Христе многонародное христолюбивое множество, воспоминаем и завещаем, со всяцем покорением священному сему мужу; ныне же благодатию Божиею вашему отцу и учителю и вождю вашего спасения предложить тому душа ваша со всяцем смирением и послушанием, а ничесоже о таковом безместно что помышляюще, но яко же самому владыце Христу служаще и повиноватися, по божественному того речению (Лук. 51): слушая рече вас, мене слушает и отменяя вас, мене отменяется, отменяется мене, отменяется пославшаго мя. И паки: иже чтит иерея; чтит вышняго бога, понеже иерейская честь на бога восходит, да аще убо тако к простым иереом завещание и повиновение подобает соблюдать, кольми паче ко превосходящим честию, наипаче сему ныне святопомазанному превысокому архиепископу отцем отцу и крайнему святителю, его же сана святительства не точию zde, но и в самом небеси мощен есть по Божественному Спасову речению: иже бо (Матф. 76) аще свяжете рече на земли, связан будет на небеси, а иже разрешите на земли на небеси разрешено будет, да никто же речет яко ко Апостолом единым сие реша суть, но и ко всех хотящим быти преемником сих, иже убо от Апостол и до ныне хранимо соблюдаемо в православных ненаветно: ему же милостивый Христе буди соблюдатися и хранитися до второго твоего и страшнаго пришествия. Твое же превосходящее святительство боголюбивый отче и брате нашего смирения преосвященнейший господин Аркадий Божиею милостию архиепископ всея Руси и Сибири молим и завещаем, да соблюдаеши истинную святую православную нашу веру, якоже и

обещался еси пред мноземи свидетели, наипаче же пред тьмами ангел, и пред самым всеильным и вседержащим в Троице славимым Богом нашим, да и той соблюдет тя во веки, и славы своея присносушныя явит тя наследника и со ангелы предстателя, и да не когда оскудеваешь в молитвах о Благородном и Самодержавнейшем Российском Царе и Государе, и о всей палате и о исправляющих повеление Его, и о всех воех Его, и богоснабдивом христианском народе, хранящим древле-православное благочестие его, на себо преуготован и избран, и поставлен еси, яко предстатель и слуга Божии верен, яко не точию человеки мировати устроиши, но и Бога милостива человеком исходатайствуеши молитвами вашего святительства с ними-же купно и мое недостоинство в честных ваших молитвах молю, да не предаси забвению, паче же и сего ради, яко сподобихся рукоположити тя. Твое же святительство, по преданию св. Апостол, паче же по благодати святого и Животворящаго Духа, да поставляеши сущих под тобою в рустей области честных митрополитов и архиепископов и епископов и прочих, яже церкви повелевает, могущих пасти христоименитое стадо без порока, и к вечным обителем возводить и сочетовати. А мы недостойнии zde в нашем царстве, обще со всеми священными отцы, по иных странах наших, с митрополиты и архиепископы и епископы и со всеми тамо пребывающими должны есми непрестанныя молитвы возсылати ко всемогущему Богу, о вашем великом святительстве, и всероссийском Царе и воех Его и о всех христоименитых людех, яко да сохранит Бог святую нашу православную веру, святого греческаго закона и святую Божию Апостольскую церковь, соблюдет непоколебиму, и от враг ненаветну, яко же весть святая его воля, а понеже разсудихом во священном писании, и советом священных митрополитов, и архиепископов, и епископов, яко единого согласившеся, подаша власть превысочайшаго Российскаго престола архиепископа, поставляти своими, митрополиты, не токмо архиепископы поставляти, но поставити и

патриарха, и митрополиты, и архиепископы, и епископы преподаваю Аз в род и род и ни како же отреваю паче же и молю соблюдатися сему непременно до скончания века. Самому же высокопреосвященнейшему Аркадию архиепископу, поставляти сущу под ним Русския земли, и Сибирския области митрополитов, и архиепископов и епископов, и прочих священных муж, яко же церковь прият, по Апостольскому преданию и святых отец правилом. К большому утверждению, ныне нам новопоставленнаго архиепископа Аркадия, и прочих хотящих по нем быти, аз смиренный Мелетий Божиею милостию патриарх Славяно-Бело-Водский, Индостанский, Индийский, Камбайский, Ость-Индии, и Юсть-Индии, и Фест-Индии, и Африки, и Америки, и земли Хили, и Магеланския земли, и Бразилии и Абиссинии. И митрополиты и архиепископы и епископы и честнейшия архимандриты и игумены, посудихом сие наше писание записати на хартии, и подписати руками нашими, и печатями затвердити яко да будет к поставлению архиепископства, свидетельствовано и утверждено во веки и никем же пременяемо. Аминь.

Писано в царствующем граде Левеке Камбайскаго царства (королевства) лета от создания міра 7358 месяца декабря в 28 день. В государствие наше 43 а в патриарство святейшаго патриарха отца и богомольца нашего в духовном чину Кир Мелетия Славяно-Беловодского в 28-е.

Божиею милостию Мелетий патриарх Славяно-Бело-Водский, Индостанский, Индийский, Камбайский, Японский, Англо-Индийский, Африки, Америки, Ость-Индии, и Фест-Индии, Юсть-Индии, и Терра Фирме и Парагвае и земли Хили, и Магелланския земли под Патагонами и Бразилии и Абиссинии. Божиею милостию мы Григорий Владимирович царь и краль Камбайскаго царства, Индии и Магелланския земли. Смиренный митрополит, Александр Лагоря города западнаго полуострова Индии. Смиренный Грементин митрополит Пуны града.

Смиренный митрополит, Калькутты града столицы Бенгала Евфимий. Смиренный Ермоген митрополит Гоа града. Смиренный Василий, митрополит Нью-Йорка града. Смиренный Софроний, митрополит Старо Мексики града. Смиренный Варлаам, митрополит Куско града в земли Инков. Смиренный Виталий, митрополит Лаплаты града. Смиренный Герасим митрополит Балдави града в земли Хили. Смиренный Иерофей, митрополит Потази града. Смиренный Илиодор, митрополит Клигитао града в Японии. Смиренный Матвей, митрополит Банкона града восточного полуострова Индии. Смиренный Геласий, митрополит Кехо града королевства Тонкинскаго. Смиренный Кассиан, митрополит Новаго Орлеана града. Смиренный Дионисий, митрополит Циналоа града. Смиренный Иона, митрополит Акупала града южного моря. Смиренный Вассиан, митрополит Бастона града. Смиренный Митрофан митрополит Нанкина града. Смиренный Иов, митрополит Калликутты града королевства Заморина. Смиренный Герман, митрополит Бенароса града, западного полуострова Индии. Смиренный Каллист, митрополит Канонара града. Смиренный Иаков, митрополит Калликутта града королевства Зиморина. Смиренный Паисий, митрополит Сингона града Китайскаго. Смиренный Нектарий, митрополит Маниллы града Японскаго. Смиренный Илия, митрополит Тофилета града в Африке и Варварии. Смиренный Азарий, митрополит Мозалквир града королевства Камбайскаго. Смиренный Гавриил, митрополит Сего града в Гвинее. Смиренный Григорий, митрополит Кано Карса града. Смиренный Порфирий, митрополит Камбари града в королевстве Бенин. Смиренный Геласий, митрополит Гана, в королевстве Томбуте в Ингриции. Смиренный Феодосий, митрополит Катны града в королевстве Афну. Смиренный Никита, митрополит Лоанго града в королевстве Кончи. Смиренный Фома, митрополит Цинбебо града в земле Кафров. Смиренный Протасий, митрополит Порто Браия града на

Африканских островах. Смиренный Лука, митрополит Тамерия града на острове Сукотор. Смиренный Гурий, митрополит Плаценции града в Америке на остр. Тефра- Неве. Смиренный Ананий, митрополит Лунебурга града на острове Кан-Бретоне. Смиренный Иоиль, митрополит Балтимора града. Смиренный Иов, митрополит Ричмонда града. Смиренный Мисаил, митрополит Пенса-Кола града. Смиренный Аркадий архиепископ всея Руси и Сибири и Якубския земли. Смиренный Силивестр, архиепископ Сантафе града. Смиренный Моисей архиепископ Вера- Круса града севернаго моря. Смиренный Дорофей, архиепископ Сента Богота града в Терри Фирме. Смиренный Игнатий, архиепископ Порто-Белла града. Смиренный Киприян, архиепископ Карфагена града. Смиренный Митрофан, архиепископ Квито града в Перу. Смиренный Максим, архиепископ Магелланския земли над Патагонией. Смиренный Мокий архиепископ Вила Рика града в Парагвае. Смиренный Парфений, архиепископ Олинда града в Бразилии. Смиренный Геннадий, архиепископ Тринконана града в Японии. Смиренный Власий, архиепископ Магазакии града в Японии. Смиренный Захарий, архиепископ Амеака града в Галлии. Смиренный Иамвлих архиепископ Толона града. Смиренный Георгий, архиепископ Равенны града. Смиренный Корнилий, архиепископ Анжерскаго града. Смиренный Иоаким, архиепископ Лагоса града в королевстве Ангариин в Швейцарии. Смиренный Василиск, архиепископ Словии града в Испании. Смиренный Марк, архиепископ Карфагена града в Мурции. Смиренный Конон, архиепископ Бергама града в Италии. Смиренный Коприй, архиепископ Эрзерума града при Ефрате в Туркомании. Смиренный Вениамин, архиепископ Гвинее града во Афинии. Смиренный Сергей, архиепископ Мазука града в Фесане во Варварии. Смиренный Валентин, архиепископ Тофилета града в Билледугераде. Смиренный Анемнодист, архиепископ Момбаса града в Зангвебаре. Смиренный Зифор, архиепископ Белоаграда в

Перу-Американск. мысе. Смиренный Лавр, архиепископ Квебека града в Канаде. Смиренный Логгин, архиепископ Пенсокола града во Флориде. Смиренный Акенсин архиепископ Олимпа града. Смиренный Доримедонт, архиепископ Кастро града в Хилое Острове. Смиренный Даниил, архиепископ Гаванны града на остр. Америки. Смиренный Иосаф, епископ Делоаида града в королевстве Анголы в Кионге. Смиренный Мокий, епископ Софала града в земли Кафров. Смиренный Павел, епископ Ассенциона града в Парагвае. Смиренный Агапи, епископ Сальвадора града в Бразилии. Смиренный Пелагий, епископ Олимпицы града в Моравии. Смиренный Фотий, епископ Цюриха града в Швецарии в Гельветической республике. Смиренный Иосиф, епископ Коара града в Кантоне Григоне. Смиренный Трофим, епископ Аргау града в Аргаву. Смиренный Никодим, епископ Люцерны града при р. Руса. Смиренный Симеон, епископ Альтдорфа града не далеко от горы Готгарда. Смиренный Ксенофонт, епископ Сиона града в Маловаженской республике. Смиренный Галактион, епископ Лавардена града в Фризе в Галлии. Смиренный Климент, епископ Лагоса града в королевстве Ангариин. Смиренный Иларий, епископ Ангра града в Португалии. Смиренный Мельхиседек, епископ Воллодолиды града в Испании. Смиренный Афоний, епископ острова Сардинии. Смиренный Евлампий, епископ Аравии Египетския. Смиренный Досифей, епископ Маската града, в счастливой Варварии. Смиренный Арсений, епископ Суеца града в Среднем Египте. Смиренный Сисений, епископ Туниса града в Варварии. Смиренный Димитрий, епископ Гвидона града. Смиренный Дамаскин, епископ Савакема града в Нубии. Смиренный Анатолий, епископ Амума града в Абиссинии. Смиренный Конон, епископ Мелинды града в Зегвебаре Португалии. Иоаникий архимандрит Свято-Никольскаго монастыря в Индианских туственях. Поликарп архимандрит Покровскаго Богородскаго монастыря в Китайской татарии. Исаакий архимандрит Спасо-

Преображенского монастыря в Парагвае. Петр, архимандрит Троицкого монастыря близ Нового Орлеана. Дионисий, архимандрит Сретенского монастыря близ южного моря. Клеопа, архимандрит Христорождественского монастыря близ города Маскоты. Азан, архимандрит Васильевского монастыря близ Аркаты. Онисифор, архимандрит Михайловского монастыря в Альгари. Гаия, архимандрит Скорбященского Богородицкого монастыря на острове Терез. Аркадий, архимандрит Рождества-Иоанно-Крестителя монастыря близ Тулона града. Антоний, архимандрит монастыря Знамения Пресвиты Богородицы близ Лила. Полиевкт, архимандрит Флеровского монастыря близ Брикселя града. Марой, архимандрит Космо-Дамианского монастыря близ Малиня града в Британии. Гурий, архимандрит Алексеевского монастыря на острове Бель-Иль и Олероме. Иоанн, архимандрит Кресто-Воздвижения монастыря на острове Корсики. Евстафий, архимандрит Антониева монастыря близ града Бастилии. Далмат, архимандрит Арсеньева монастыря в нижней Андалузии. Лукилиан, архимандрит Евфимиева монастыря в Арагонии. Амвросий, архимандрит Рождество-Богородицкого монастыря в новой Кастилии. Поликарп, архимандрит Петро-Павловского монастыря в старой Кастилии. Варлаам, архимандрит Михаила-Малеина монастыря в Леоне. Горгоний, архимандрит Анастасиева монастыря близ града Ангра. Пелагий, архимандрит Прокопьевского монастыря на острове Азорском. Иларион, архимандрит Гликириева монастыря на острове Мишель. Кесарь, архимандрит Афанасиево-Онуфриева монастыря в провинции Аленштейжа. Дамиан, архимандрит Спасо-Всемилоствиваго монастыря в верхней Андалузии. Иакинф, архимандрит Богословского монастыря что у Морат. Серафим, архимандрит Божоявленского монастыря за великой стеною в Китае. Авраамий, архимандрит Успенского Богородского монастыря в королевстве Заморина. Кирилл, архимандрит Введенского Богородского монастыря в пределах Аракана.

Артемий, архимандрит Покровского Богородицкого монастыря в Мурацы во Испании. Нил, архимандрит Борисо-Глебского монастыря в Бискаии. Леонид, архимандрит Успенского Богородицкого монастыря на острове Майорка. Рафаил, архимандрит Благовещенского Богородицына монастыря близ города Пармы. Моисей, архимандрит Софониева монастыря на острове Ивиса Неаполитанского. Стефан, архимандрит Варваринского монастыря близ града Ливорна в королевстве Этруском. Аполлос, архимандрит Евфимиевского монастыря близ града Бергама. Азат, архимандрит Никольского монастыря близ града Модена. Павлин, архимандрит Саввина монастыря близ града Савойи в Лигурии. Фавст, архимандрит Мелетиевского монастыря в Корфу на Ионических островах. Власий, игумен Андропова монастыря в Абисинии. Иоанн, игумен Софийского монастыря в Гвьяне. Андроник, игумен Знаменского-Богородицкого монастыря в Гоа. Аполлоний, игумен Димитриевского монастыря в Гудзонове. Исидор, игумен Параскевиево-Пятницкого монастыря в Калифорнии. Леодор, игумен Екатерининского монастыря в Перу. Никола, игумен Паисиевского монастыря в Парагвае. Парфений, игумен Свято-Мироносицкого монастыря в Хили. Христофор, игумен Одигитриевского Богородицына монастыря в Гвьяне. Авраамий, игумен Климентова монастыря на острове Бермудском. Антонин, игумен Кресто-Воздвиженского монастыря в Хилки. Модест, игумен Никитинского монастыря в Америке на остров. Лукайских. Анемаид, игумен Трифоновского монастыря в Америке на остров. Лукайских. Силуан, игумен Александровского монастыря в Америке на остров. Лукайских. Салафиил, игумен Агриппинского монастыря в Америке на островах Лукайских. Иегудиил, игумен Никольского монастыря на остров. Малдина. Карп, игумен Богородицкого-Взыскание-Погибших монастыря в Хилое. Варлава, игумен Златоустовского монастыря в Хилое. Тит, игумен Умиления-Богородицкого

монастыря на Фернадских островах. Внифантий, игумен Огненно Богородицкого монастыря на Фернадских островах. Нифонт, игумен Умеления злых сердец Богородицкого монастыря на Фернадских островах. Кассий, игумен Утоли моя печали Богородицкого монастыря на Фернадских островах. Горгоний, игумен Мины мученика монастыря на острове Терране. Теонист, игумен Воскресенского монастыря в Аркадии. Тарасий, игумен Ризо-положенского Богородицына монастыря в Кан-Бретоне. Евстафий, игумен Входа-Иерусалимского монастыря в Калифорнии. Борис, игумен Ильинского монастыря в Луизиани. Клеопатр, игумен Григориевского монастыря в Гвиене. Дий, игумен Всех-Святых монастыря близ города Куско. Иассон, игумен Кирико-Улитского монастыря близ Калликутты в Бенгалии».

Ставленная грамота Аркадия, прочитанная с чувством Батуевым, произвела на все собрание самое благоприятное впечатление. Большинство собравшихся содержание грамоты, разумеется, было совершенно не понято, и слух его услаждался только церковной речью, вещавшею об Аркадии; но все собрание поражено было прочитанными подписями такого наслышанного сонма святителей, ото всея вселенныя собравшихся и утвердивших назначение преосвященного Аркадия для восстановления древняго благочестия в Российском государстве. Заподозрить эту грамоту в подложности никто и помыслить не смел, так как она скреплена и утверждена была руками святых отец ото всех земель, царств и градов собравшихся, о которых они не слыхивали и не читывали... Теперь окончательно решено было признать преосвященного Аркадия за истинного архипастыря. Старшенствующими из старообрядцев было произнесено принятие, а за ними провозгласили и все прочие: «и мы владыку Аркадия приемлем и слушать его обещаемся!» В заключение ответ был молебен Всемилоствому Спасу.

С этого времени Аркадий совсем водворился среди Юго-Камских старообрядцев и сделался духовною главою бывшего часовенного братства. Относительно родословия своего, Аркадий, как-бы с неохотою, открыл старообрядцам, что он сын Кавказского генерала, в мире Антоний Савелиевич Пикульских, а в иночестве Аркадий, и потомок князей Урусовых; что он в числе 60 благочестивых дворянских детей, знатных фамилий, ушел из России в Бело-Водское христианское царство, где они и поселились спасения ради; а его в сане архиерейском «из послушания» послали в Россию позаботиться о душах древле-православных христиан, живущих в России без священства, и сподобить их таковым к славе Божией и душевному их спасению.

Приняв к себе Аркадия, старообрядцы прежде всего позаботились снабдить его приличным его сану одеянием, для чего Павел Дементиевич купил ему шелковой материи на мантию и рясу. Так как эти одежды были не обычны для Юго-Камских старообрядцев и сшить их никто не умел, то присудили взять для сего обращик с мантии инока Пафнутия, проживавшего в деревне Пашне. К Пафнутию за рясой и мантией выискался съездить Илья Адрианович Аликин. Когда привезен был обращик, то сшить мантию и рясу взялись две старые девицы Ульяна Саввишна Ощепкова и Параскева Семеновна Щукина. Аркадий, обряженный в архиерейские одежды и возложивший на себя панагию с крестом, стал служить литургии с большой важностью. Посох архиерейский сначала Аркадий сделал сам, но за неуклюжеством скоро заменен был другим —столярной работы. Заказывал было Аркадий одному кузнецу сделать себе костыль металлический, с четырьмя яблоками, какой пишется у св. Иоанна Новгородского на иконе, но не мог дожидаться этого. Омофор велел сшить по подобию того, какой пишется на иконе у святителя Николы Мирликийского чудотворца. Митру для Аркадия приготовили, немного спустя времени, в селе Ильинском тоже

старообрядки, дочери крестьянина Платона. Андреева Малахова - девицы Евфросиния и Мариамна. Митра была вышита весьма изящно и украшена четырьмя живописными иконами по сторонам и пятою—св. Троицы наверху. До приготовления митры Аркадий служил в скуфье, с красным кантом, которую надевал вместо черного обычного клобука. Митро Аркадий приготовил довольно просто: он написал реестр на покупку разных благовонных веществ, за которыми послал в г. Пермь попечителя Беловодской иерархии Илью Адриановича Аликина, в магазин купца К. А. Мичурина, давши ему на это два рубля, — и из купленных веществ сварил миро, без всяких молитвословий. Любил Аркадий и сам спрыскиваться регальным маслом, чтоб от него пахло святыней, „яко бы от кипарисной иконы“. К деньгам, по-видимому, он относился с пренебрежением и называл их черепками, не брал в руки за совершение исповеди и других таинств; но тем не менее, ради любостяжания, не давал приходскому священнику совершать все эти требы, не исключая и венчания, и деньги все забирал лично для себя.

Вскоре, после принятия Юго-Камцами Аркадия, случилось прибыть из Вятской губернии, Глазовского уезда в Юго-Камск и Пермь, по торговым делам, крестьянину Самойлу Андрееву, настоятелю часовенного согласия. Высмотревши на служении Аркадия, Самойло Андреев вскоре полюбил Аркадия за кроткое обхождение, назидательность, глубокую начитанность в писании и за благочестивую жизнь. Съездивши в Пермь, Самойло Андреев снова остановился в Юго-Камске и опять стал присматриваться к Аркадию и его качествам. Аркадий же употребил все свое искусство, чтобы показаться истинным — благословенным архиереем Божиим, пустил в ход всю свою ловкость и лесть, чтобы пуще „подластиться" к Андрееву и получить приглашение прибыть с ним в Глазов. Ухаживанье Аркадия за Андреевым не осталось втуне. При прощании Андреев высказал Аркадию, что, по прибытии домой, он первым делом предложит своему

братству, — не пожелает-ли оно принять Преосвященного Аркадия верховным архипастырем к себе, и если пожелает и дело состоится, то он чрез две недели пришлет двух человек с приглашением прибыть к ним. После Рождества Христова из Глазовского уезда действительно прибыли два посла и стали приглашать Аркадия ехать с ними. Он согласился, и поездка вскоре устроилась. Юго-Камцы провожали Аркадия за 15 верст до города Оханска. В Вятской губернии Аркадий прожил до 2-х месяцев и приобрел до 2000 человек последователей. Настоятеля Самоила Авдреева и некоего Кузьму Журавлева он рукоположил во священники и после этого возвратился в Юго-Камск с богатыми подающими. Впрочем, упомянутые священники вскоре изменили Аркадию, одновременно с переменою его счастья, и перешли в Австрийскую секту.

Прибывши с деньгами в Юго-Камский заводъ, Аркадий на другой же день отправился в Пермь и там накупил себе всякой утвари для служения литургий, дорогих архиерейских одежд, трикирии и дикирии, — словом все нужное для служения по-архиерейски. Книги богослужебные ранее были заведены при часовне Батуева. Потом Аркадий устроил в доме крестьянина Киприяна Семенова Чупина церковь, поставил иконостас, престол, жертвенник и стол, по освящении, служить в ней литургии и прочие службы. Это была первая церковь в Пермской губернии. Пока Аркадий не рукоположил священников, то служил один с протодиаконом, как простой священник, и только не опустительно осенял народ трикирием и дикирием, где подобало, и сам пел: „Ис полла эти деспота“... и „тон деспотин...“, говоря, что без этого не может служить никакой архиерей. Протодиакона же своего, крестьянина Юго-Кнауфского завода — Ивана Аггеева Ситникова — сколько ни учил петь — „Ис полла“, и „тон деспотин...“ — не мог научить. „Тупица у меня протодиакон и толстозычен“, говаривал после этого, смеясь, Аркадий. Этот протодиакон впоследствии заключен был в Осинский острог, по

делу убийства православного священника Юго-Кнауфского завода Ильи Суворова, и там умер. Потом Аркадий стал рукополагать во священники. Для Юго-Камского завода рукоположил уставщика прежней часовни Павла Ильича Нечаева, человека кроткого, хорошей нравственности и довольно богатого; Павла же Дементьевича Батуева рукоположил во диакона. Для других приходов кандидатов выбирал на священство попечитель Беловодской иерархии Илья Адрианович Аликин и представлял их к Аркадию для поставления. Так, для Очерского завода, Оханского уезда им избран был и посвящен Аркадием во священники некто Алексей Степанович Пашихин, человек неглупый, сын которого служит волостным писарем в местном правлении.

В Осинский уезд, для Верх-Буевского общества, в деревню Пильву попечитель Аликин избрал священником крестьянина Пимена Яковлева Лямзина, которого и рукоположил Аркадий. Этот пастырь не отличался ни умственными, ни сердечными качествами, а только был на редкость „брадат и космат“. Пред рукоположением Аркадий ставленому не делал ни исповеди, ни допроса, ни присяги, — словом — формальностей ни каких у него не соблюдалось, да и самое поставление было просто: Аркадий точно шутку над старообрядцами творил; когда водил ставленника около престола, то говаривал ему: „а ты иди проворней за мной, небойсь; чай в кругах то хаживал!“ — За то ставленников своих Аркадий снабжал такими грамотами, каких едва ли кто и видел. Мы здесь приводи точную копию с грамоты, выданной Аркадием священнику Юго-Камского завода Павлу Ильичу Нечаеву, которая доставлена была о. миссионеру С. Луканину самим Нечаевымъ. Грамота написана рукой самого Аркадия и гласит следующие:

„БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ

Смиренный Аркадий Архиепископ Новаго-Града, и Великих Лук, и Пскова, Киевский, С.-Петербургский, Олонецкий, Вологодский, Архангельский, Вятский, Велико-Пермский, и Всея России и Сибири, и Якутския земли.

По благодати и дару всесвятаго и покланяемаго и животворящаго Духа, и по данной мне Власти от Великаго Архиерея Господа нашего Иисуса Христа со опасным испытанием испытан, сей благоговейный муж Павел, чрез отца его духовнаго, протоирея Иоанна Воскресенскаго, Свято-Духовской церкви. Свидетельствует, что сей благоговейный муж, Павел Ильич, достоин иерейства, поставлен и освящен во свлщенноиерея в церковь, иже во святых отца нашего Николы Архиепископа Мирликийскаго чудотворца, поставихом его в лето от сотворения мира 7388 в 28 день Маия. Таже дана благодать святаго Духа ему, Иерею Павлу, крестить, миром помазывать, венчать, литоргисать, исповедывать, и причащать, и маслом освящать, решить и вязать, по силе и рассмотрению, якоже повелевают, священная правила святых Апостол и святых отец. Тако же он Иерей Павел должен вести себя добропорядочно, якоже пишет Апостол Ктимофею, подобает быти Епископу такоже и презвитеру, непорочну, единой жене муж, трезвену, целомудрену, благоговейну, честну, страннолюбиву, учительну, не пианице, ни бийце, несребролюбиву, несварливу, не мшелоимцу но кротку, смиренну, независтливу, своего дома добре правяще, чада имущу в послушании, со всякою чистотою, о церкви божией прилежен, в псалмопении и молитвах и посте, нераслабно, и в коленопреклонениях, неизменно, не в козлогласовании и не пестропении, первым входящим и в последни исходящимъ, и в поучении слова божия. Поподобает ему же, Павлу, без нашего повеления, и благословения, нетворить ничего, и без воли и повеления своего епископа, никуда неотлучатися, и ни в чем

неослушаться своего епископа, но во всем повиноваться ему, и без воли его на другую паству непереходить, а за преслушание будет подлежать, по божественным правилом и законам извержению сана. В чем свидетельствую в рукоположении, святой хиротонии, что он посвящен в сан священно-иерея, в лето, от сотворения мира семь тысящъ триста восемьдесят восьмое, а от воплощения Бога Слова, в тысяща, восемь сот, восьмидесятое, месяца Маия в 28 день. Свидетельствую, своим, подписом, и приложением печати. Дана грамота сия в царствующем, и богоспасаемом, Великом Нове-Граде“.

Поездка Аркадия в Юго-Кнауфский завод.

Пронесшаяся молва о новоприбывшем с востока, из Беловодия архиерее древнего благочестия возбудила сильный интерес между старообрядцами часовенного согласия и в заводе Юго-Кнауфском. Вскоре из этого завода прибыла депутация и просила Аркадия прибыть в Юго-Кнауфский завод. Аркадий, испытав их неллицемерное желание и обеспечив свою безопасность приводом в свидетели со стороны депутатов святителя Николая Чудотворца, согласился съездить. Он отправился туда со своей свитой, около первых чисел марта. Квартира ему приготовлена была у волостного старшины Даниила Филиппова Лямзина, что и было ручательством за безопасность Аркадия в Юго-Кнауфске. Прибытие архиерея Беловодского ставления подняло на ноги весь Юго-Кнауфск. Аркадию не давали покоя; старообрядцы день и ночь приезжали посмотреть на архиерея, а главные раскольничьи коноводы день и ночь возили его к себе по домам. В короткое время Аркадий побывал, как дорогой гость, в следующих семействах: у Ивана Васильева Четина, Лариона Андреева Утятникова, Михаила Григорьева Коробейникова, Тимофея Авдреева Смирнова. Филиппа Яковлева Торопова, Тимофея Архипова Шилова, Ивана Никитина

Курочкина, Ивана Ефимова Рукавицына, Сергея Иванова Рукавицына, Данила Власова Половодова, Фотия Абрамова Чернякова и Максима Иванова Суханова. У старшины Лямзина — единоверца Аркадий окрестил двух сыновей Петра и Василья. На 6-е число марта Аркадий служил всенощное бдение в моленной единоверца крестьянина — Степана Косьмина Заплата, на котором присутствовало множество старообрядцев, единоверцев, православных и последователей Австрийской секты. Сочувствие к Аркадию было самое горячее со стороны часовенных, — многие даже из последователей Австрийского согласия изъявили намерение перейти к нему. Но сочувствие этих последних только повредило Аркадию.

Арест Аркадия.

Коноводы и заправилы Австрийской секты в заводе Юго-Кнауфском, опасаясь большего ущерба для своего толка, за переходом многих к новому архиерею, решились выдать Аркадия в руки правительства и стали приискивать такое лицо, которое бы своим предательством не набросило на них этого позора. Не чувствуя собиравшейся грозы над головой Аркадия, — часовенные привели дело о принятии Аркадия почти к концу и назначили на 9-е марта служение и затем открытие собора, на котором решились торжественно признать Аркадия своим архипастырем и избрать кандидатов для рукоположения во священники для Юго-Кнауфского завода. Видя и зная это, последователи Австрийского согласия сообщили о проживании Аркадия в их заводе приставу и другим лицам, в особенности постаралось поставить в известность о прибытии и о проживании в заводе Аркадия местное духовенство через крестьянина Андрея Лукианова Реброва. Тогда духовенство обратилось за содействием к полиции и, при посредстве волостного писаря Алексея Иванова Колесова, судебный следователь первого

участка Осинского уезда г. Городецкий захватил Аркадия у крестьянина Николая Смирнова. Здесь, неизвестно для какой цели, Аркадий переименовал свое имя и назвался Паисием, архиепископом Московского Рогожского монастыря. При Аркадии найдены были подризник, епитрахиль, поручи, саккос, омофор, палица, крестильный ящик с елеем и анисовым маслом (мнимое миро), двумя кисточками и ножницами, Евангелие, требник и разные рукописные сочинения. Все эти вещи были спрятаны в подполье в мешке и зарыты в картофель. Вместе с Паисием были арестованы два лица, один в качестве его протодиакона, а другой инодиякона; первый на допросе показал, что он крестьянин Юго-Камского завода Семен Реутов, а второй был знакомый уже нам, Павел Батуев. Лже-архиепископ был отправлен в Осинский острог, а протодиакон и уставщик Паисия отосланы в места их жительства, для водворения их, или опознания соседями. Из рапорта местных священнослужителей Юго-Кнауфского завода, от 7 марта 1875 года за А» 32, стало известно, что Паисий прибыл в Юго-Кнауфский завод около 1 марта, по виду имеет около 40 лет, говорит бойко и, не стесняясь, называет себя архиепископом Паисием, — проезжающим из - Екатеринбурга в Москву. Вскоре после сего на имя Преосвященного архиепископа Пермского и Верхотурского Антония, от 17 марта 1875 года, от Начальника губернии последовало отношение о поимке 6-го марта в Юго-Кнауфском заводе трех неизвестных лиц, из коих один себя называет Паисием, архиепископом Московского Рогожского монастыря. От 16 марта 1875 года за Л» 276, последовал рапорт от благочинного 2-го Осинского округа, свящ. Михея Позднякова архиепископу Антонию, в котором он доносит, что судебным следователем 1-го уч. Осинского уезда, г. Городецким захвачен раскольничий архиерей, по имени Паисий, в мире, как он показал сам о себе, Петербургский купеческий сын — Павел Александров Михайлов. На основании всех этих сообщений Пермская

духовная консистория, особым журналом, от 21 марта, постановила: просить г. Начальника губернии, найденные при архиепископе Паисие относящиеся к богослужению вещи и архиерейские облачения, на основании указа Св. Синода, от 30 апреля 1858 года за № 590, препроводить на рассмотрение в консисторию. Причем консистория не упустила присовокупить следующее интересное дополнение: „А так как в 1859 году в том же Юго-Кнауфском заводе пойман был лжеепископ Геннадий (Австрийской секты) и был при пересылке в Кунгурский острог подменен другим лицом, а именно крестьянином Кудряковым, а после Геннадий оказался в Екатеринбурге — просить г. Начальника губернии принять меры против подобных действий раскольников Юго-Кнауфского завода и в отношении лжеархиепископа Паисия, при пересылках его из одного места в другое“. Преосвященный Антоний рапортом своим, от 26 марта 1875 года за № 123, донёс Св. Синоду о поимании лжеархиепископа Паисия, а секретарь консистории г. Обер-Прокурору. В этой переписке заслуживает внимания то обстоятельство, что судебный следователь в донесении своем Преосвященному Антонию, между прочим, упомянул, с показания арестованного, что „сей Паисий посвящен в сан архиепископа за границей в Беловодии — в Ост-Индии, Патриархом Мелетием к 1845 году. На этот же год указывают и все вышеприведённые грамотны, выданные Аркадием в уверение о себе, что он есть истинный архиепископ древнего благочестия, поставленный Патриархом Мелетием в Беловодии.

Арест Аркадия на сколько был желательными для православного населения Юго-Кнауфского завода, на столько же, если не больше, он обрадовал и Австрийскую общину. Пропаганда его была так успешна, что, если бы он подольше остался на свободе, то увлек-бы за собой множество беглопоповцев, безпоповцев, единоверцев и даже православных. Австрийской-же общине он нанес бы сильный удар, потому что

она по новости своей и по происхождению своей иерархии от греко-восточной церкви не пользовалась большим доверием; лучшие из последователей австрийской общины хорошо понимали, что Митрополит Амвросий нисколько не лучше и не святее всякого беглого попа, — гнилой корень, а потому и все священство гнилое, а Аркадий происходит от непорочного священства из Беловодия и поставлен Мелетием,—содержателем древнего благочестия... Здесь нельзя не упомянуть и о следующем приёме Аркадия, которым он хотел возвысить своих последователей в глазах всего старообрядческого мира, что отчасти им и достигалось, именно: он от поступающего в Беловодскую религию, сверх проклятия ересей по требнику, требовал еще публичного произнесения следующей грозной формулы: „Аще к отрещению помыслию и отрещися от Христа и Его святой веры и церкви восхощу, в ней же до исхода живота пребыти обещахся, то да приидет ва меня в сей жизни вечная слепота и трясение, и да буду я проклят при животе, и при смерти, и по смерти, а душа моя да будет вчинена с сатаною и с лукавыми бесы его в муке вечной и геенне огненной, во тьме крошечной и тартаре вечном. Аминь“.

Попытка раскольников выкупить Аркадия из тюрьмы.

Внезапный арест Аркадия положил предел его успехам и побудил преданных Аркадию людей искать меры и средств к освобождению его из тюрьмы. Об аресте Аркадия первым делом дано было знать в Юго-Камск, как митрополию Беловодской иерархии. В Юго-Камске незамедлили явиться защитники его свободы: собрали много денег, меду, белой рыбы, полотна, полотенцев и платков два ящика, и все это отправили в Юго-Кнауфск. Но подарки, хотя и привезены были вовремя, не были приняты и Аркадий отправлен был в Осинский острог. Неугомонные сторонники и приверженцы после первой своей

неудачи не отказались от своего намерения. Они с большими подарками отправились в Осу. Там, по словам Ильи Адрианова Аликина, тюремный смотритель взял чрез подчастка тысячу рублей и прочие все приношения и обещался откинуть Аркадия в вывозимом из острога снеге, для чего велено было им караулить каждый раз, как повезут снег из острога па отвал. Но все было напрасно: сколько раз они ни разрывали кучи со снегом, вывезенные из острога, Аркадия однако не находили.

После восьмимесячного заключения, Аркадий из Осы переведён был в Пермский острог. В следующем 1876 году в мае месяце судьба Аркадия была решена Пермским окружным судом. На отношении Пермской консистории, в котором спрашивалось о положении дела об Аркадии, окружной суд, от 11 июля 1876 года за № 4796, ответил следующее:

„Вследствие сообщения, от 28 мая за № 493, окружной суд имеет честь уведомить Пермскую духовую консисторию, что дело о неизвестного звания человека, именующем себя купеческим сыном Павлом Александровым Михайловым решено судом 19 мая сего года и приговором заключено, неизвестного звания человека, именующегося купеческим сыном Павлом Александровым Михайловым 45 лет на основании 950, 951 § V пр. 2 к ст. 70, прим. 977, 976, 3 ст. 33, 2 н. 134, 1 отд. 296, 4 ст. 31 и 2 п. 152 ст. улож. о наказ. и 774 ст. уст. угол. суд.— отдать в исправительное отделение на один год, а в случае неимения достаточного помещения в этом отделении, или неспособности к работам в означенном отделении заключить его в рабочий дом или тюрьму, также на один год, по прошествии же сего срока сослать для водворение в Восточную Сибирь. В том же случае, когда не только в исправительном арестантском отделении, но и в рабочем доме или тюрьме не будет достаточного помещения, послать его прямо в Восточную Сибирь для водворения, с употреблением там в работы по усмотрению и распоряжению местного начальства, на основании правил, постановленных в

уставе о ссыльных“. Такое решение суда об Аркадии кажется несколько странным, так как на суде не было речи об его преступлении „в присвоении сана архиерейства“, по-видимому Пермский суд отнесся слишком слабо к поступкам Аркадия. Но это решение развяжется вторым отношением Пермского окружного суда духовной консистории, от 19 июля того же года за № 5908, где он консисторию уведомляет, что „следствие по обвинению неизвестного человека, именующего себя купеческим сыном Павлом Александровым Михайловым в присвоении сана архиепископа, распространении раскола и порицании церкви Казанскою судебною палатою прекращено; а что другие лица, взятые вместе с Михайловым — Семен Реутов и Павел Батуев, привлечённые к делу, по обвинению их в том, что они были протодиаконами при Михайлове, суду окружного суда преданы не были“.

Из дальнейшей судьбы Аркадия видно, что он того же года был отправлен в Восточную Сибирь. В сообщении, данном Пермской консистории экспедицией о ссыльных, от 26 июля 1876 года за №504, — значится: „Паисий или Аркадий сослан был из Перми под именем бродяги Павла Александра Михайлова при статейном списке здешней экспедиции о ссыльных и отправлен из Перми в Сибирь на водворение 30 того же июля в партии под № 91. При этом экспедиция о ссыльных присовокупляет, что распределение арестантов по Сибири зависит от Тюменского приказа о ссыльных“. Тюменский приказ от 31 августа 1877 г. за № 5000 уведомил на отношение Пермскую духовную консисторию, что арестант Павел Михайлов, или что-тоже Аркадий, назначен в Канский уезд Енисейской губернии“. Пермская духовная консистория, неусыпно следя за дальнейшим пребыванием в Сибири лже-архиепископа Аркадия, на отношения свои получила еще следующие сообщения. Устьяновское волостное правление, Канского уезда, сообщило Пермской духовной консистории, от 11 октября 1877 года за № 5424, что

поселенец Павел Александров Михайлов находится на проживании в здешней волости в деревне Курьшимской. Наконец Пермская духовная консистория отношением своим, от 16 ноября 1877 года за № 989, спрашивала Енисейскую духовную консисторию о месте пребывания Аркадия и с тем вместе давала понять, какого свойства этот ссыльный, дабы иметь над ним бдительный надзор, — не будет-ли он и там пропагандировать свои заветные мечты. Енисейская духовная консистория, от 14 июля 1878 года за № 2869, уведомила, что благочинный города Канска, протоиерей Иоанн Серебренников донес ей, что без вида проживает поселенец Павел Александров Михайлов в селе Бражном, называя себя негласно архиепископом Паисием, постриженным в иночество и рукоположенным в архиепископа Антиохийским патриархом Мелетием, проживающим в Индии. Раскольнической Австрийской иерархии не признаёт. В Сибири служений не производит, а св. дары при себе на смертный час имеет.

Второй побег Аркадия из Сибири.

Пробывши около четырех лет в Сибири, со всеми переходами и встретив сочувствие своей горькой судьбе в лице Канского протоиерея о. Иоанна Серебренникова, у которого за последнее время он состоял как-бы на поруках и пользовался его благодеяниями, как извещал об этом Аркадий в своих письмах в Юго-Камск, давая попятить этим, что и в Сибири добрые и благочестивые люди чтут в нем носимое им архиерейство и готовы дать ему свободу и возвращение к своей пастве. В январе 1879 года в Юго-Камске получено было письмо от Аркадия, в котором он просил Юго-Камцев послать ему на дорогу до 60 рублей и обещался непременно прийти к Троице в завод; при чем деньги и письмо просил адресовать в город Канск купцу Григорию Павловичу Рыбкину, его же, Аркадия, имени на адресе

не упоминать. Юго-Камцы так и сделали. В три раза Аркадию Юго-Камцами переслано было более 120 руб.

К Троице Аркадий действительно выбрался из Сибири (в 1879 г. Троица была 16 мая) и снова появился в Юго-Камске. С этого времени Аркадий почти исключительно жил в Юго-Камске, как самом безопасном месте, жил он на полной свободе; и только раз привелось ему напугаться воображаемой какой-то за ним погоней и ночевать осеннею порою под стогом сена, куда свез его Кирилл Савельич Ощепков. Из Юго-Камска Аркадий ездил в Москву, Новгород и Ржев. Однажды в городе Осташкове он попал в руки полиции, но поплатился только своим саквояжем, в котором находилась его ставленая грамота, а сам успел ускользнуть от ареста. По ставленной грамоте сделана была о нем публикация, как о бежавшей темной личности в епископском сане. На основании этой публикации на него обратили внимание сами раскольники и всюду стали его разыскивать. Так в Юго-Камск приезжали три донских казака, останавливались у попечителя Беловодской иерархии Ильи Адриановича Аликина и потом увезли Аркадия с Павлом Ильичом Нечаевым в Бугульму и Черный ключ, Самарской губернии. Пред выездом Аркадия из города Оханска телеграммой дано было знать в Самару о скором прибытии Аркадия, и старообрядцы стали стекаться со всех сторон, чтобы посмотреть, а затем и принять к себе Аркадия. Такое движение старообрядцев обратило на себя внимание полиции, почему она стала следить за беглым архиереем. При обыске одного места, где был Аркадий с Павлом Нечаевым, Аркадий чуть было не попался в руки полиции, но догадливые христолюбцы прежде обыска посадили их в огородную овощную яму и забросали отверстие навозом, где они и просидели обыск. Но потом один из последователей Беловодской иерархии выдал Аркадия полиции, и он с Павлом Нечаевым увезен был в Бугульму.

До суда Аркадий находился в остроге, а Нечаев, как имевший законный паспорт, остался вне всякого преследования и в скором времени возвратился домой. Суд приговорил Аркадия на месяц к аресту в остроге. Так как Аркадий на суде объявил себя дворянином и указал между прочим на Новгород, где проживает его мачеха, то из Бугульмы суд снашивал его мачеху в Новгороде Параскеву Яковлеву Пикульских, точно-ли он её пасынок (от первой жены князя Кирилла Димитриевича Урусова)? Она отвечала утвердительно — (князь Урусов после первого брака в глубокой старости женился на Параскеве Яковлевне, которая по смерти князя вышла за военного чиновника на кавказ). Потом Аркадий был выпущен на свободу, уплатив до 100 рублей судебных издержек. В Ржеве Аркадию выдано было трехмесячное свидетельство на приход в Новгород, а в Новгороде Аркадий из полицейского управления получил свидетельство навсегда с именем (Его Высокоблагородия) Дворянина Антона Савеллиева Пикульских. Пробираясь с выданным из Новгородского полицейского управления свидетельством в Пермскую губернию—в Юго-Камск, Аркадий был захвачен приставом и понятыми в Осинском уезде в деревне Жуланах на моление и отправлен в город Осу, в полицию. Отсюда предполагалось отправить его, как беспаспортного, в Новгород, — но он послал телеграмму мачехе в Новгород, чтобы ему выслала свидетельство на свободное проживание. Мачеха телеграммой ответила, что таковое свидетельство послано, и он действительно чрез несколько времени: получил его и отпущен был на свободу. Из Осы Аркадий прибыл снова в Жуланы, а оттуда в первых числах декабря и в Юго-Камск. 9-го числа был на именинах у внучки Юго-Камского беловодского священника Павла Ильича Нечаева — Анны. После 10 декабря 1887 года Аркадий ездил в Самарскую губернию, в Крым-Сарай со старообрядцем девственником — Иваном Осиповым Стуловым, потом в Василь — Черный Ключ и в Кабаевку. Оттуда возвратился в Юго-Камск 8-го апреля сего

1888 года с новым свидетельством, на свободное проживание, где пожелает. Для удостоверения-же своих последователей в том, что он, Аркадий, не смотря на перемену своего имени из Аркадия на Паисия, не смотря на все светские его виды и пачпорты, кои он употребляет в ограждение своей внешней безопасности, — есть истинный архиепископ Беловодскаго священства, и что он действительно рукоположен в архиепископа для Всея России Мелетием Патриархом в Индии, — Аркадий на этот раз привёз из Москвы грамоту, на неизвестно каком языке писанную, и выдал ее своим последователям, как свой документ. Грамота эта к вернейшей копии имеется у о. миссионера, свящ. С. Луканина.

Пермские епархиальные Ведомости

№№ 14,15,20,23 1890 г

Библиография

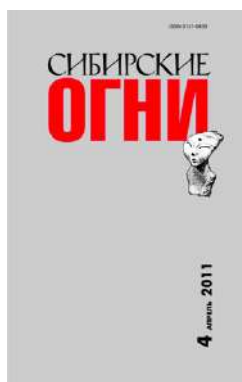
Г.Д.Гребенщиков. Сокровенное сказание о Беловодье:
“Оккультизм и йога” №20, Асунсион. Парагвай.



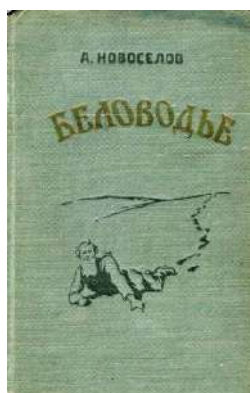
Лев Гумилевский. Белые земли: Москва Ленинград: “Молодая гвардия” 1930г.(художественная библиотека приключений, краеведения и научной фантастики).Иллюстрации- С. Шор.



Михаил Плотников. Беловодье: «Сибирские огни» 2011, №4



Александр Новоселов. Беловодье: Барнаул: Алтайское книжное издательство. 1957 г.



В.Я.Шишков. Алые сугробы и другие рассказы: М.: Г.из.
Художественная литература, 1954 г.



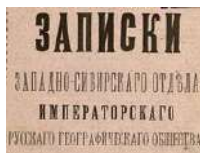
Г.Т.Хохлов. Путешествие уральских казаков в Беловодское царство: Записки Русск. Геогр. О-ва, по отд. этнографии, т. XXVIII, в. 1, СПб., 1903



Из истории старообрядческого раскола: Пермские епархиальные Ведомости №№ 14,15,20,23 1890 г.



Белослюдов А.Н. К истории Беловодья. Записки Зап.-Сиб. отд. Русск. Геогр. О-ва, т. XXXVIII, Омск, 1916.



«Путешественник, сиречь маршрут в Опоньское царство, писан действительным самовидцем иноком Марком, Топозерской обители, бывшим в Опоньском царстве. Его самый путешественник»: К. В. Чистов. легенда о Беловодье. Труды Карельского филиала Академии Наук СССР
Выпуск 35 Вопросы литературы и народного творчества 1962 г.

Биографии

Гребенщиков Георгий Дмитриевич

(6 мая 1883 или 1884 — 11 января 1964)

— русский писатель, критик и журналист, общественный деятель.

[24.IV(6.V).1883, с. Николаевский рудник Томской губ., — 11.I.1964, США, штат Флорида, Лейкленд] — рус. писатель. Род. в крест. семье. С 1906 в сиб. газетах помещал бытовые очерки, зарисовки, рассказы. В 1906—10 в Томске принимал участие в организации лит.-худож. журн. "Молодая Сибирь" и "Сибирская новь". В 1912—13 редактировал газ. "Жизнь Алтая" (Барнаул). С 1912 выступал в журн. "Современник" и "Летопись" М. Горького. В 1920 эмигрировал во Францию, потом в США. Первые сб-ки рассказов и повестей "В просторах Сибири" вышли в Петербурге (т. 1—2, 1913—15), затем последовали кн. "Змей Горыныч" (1916), "Степь да небо" (1917), "Волчья жизнь" (1918), "Любава" (1919). В начале творчества Г. — художник-реалист, тяготеющий к ясным классич. формам. Лучшие его произв. — рассказ "В полях" (1912), повесть "Ханство Батырбека" (1913), первые тома романа "Чураевы" (тт. 1—6, 1913—1936) — отличаются пластичностью образов, демократич. направленностью; в точных и живописных пейзажах запечатлена красота сиб. природы, ее запахи и краски. Хорошо зная жизнь и быт старой Сибири, ее людей, писатель поэтизировал крест. труд ("Весною", "У хлебов"), рисовал трагедию честного труженика, к-рый не может выбиться из нужды ("Дело одинокое"), и бедствия киргизов-кочевников ("Ханство Батырбека"), раскрывал "нутро" деревенских "властителей" — священника и торговца ("Свора").

Есть у Г. и рассказы малосодержательные, идейно-расплывчатые, окрашенные религ. настроениями. Книги, написанные за границей, чаще всего проникнуты пессимизмом, враждебностью к революции. Роман "Чураевы", задуманный как крупное реалистич. полотно, превратился, в конце концов, в живописание бытового, хоз. и религ. уклада семьи Чураевых, лишенное глубокого осмысления историч. процессов, происходивших в рус. обществе.

Соч.: Собр. соч., т. 1—6, Париж, 1922—23; Чураевы, т. 1—6, [Париж, Нью-Йорк], 1922—36; Путь человеческий. Рассказы, Берлин, 1922; Родник в пустыне. Рассказы, Париж, 1923.

Лит.: Горький М., Письма Г. Д. Гребенщикову, в сб. Горький и Сибирь, Письма, воспоминания, Новосиб., 1961; Правдухин В., Чураевы, "Сиб. огни", 1922, No 5; Береговой Ф., Родник в пустыне. Путь человеческий, "Сиб. огни", 1923, No 5—6; Якушев И., Г. Д. Гребенщиков (По поводу двадцатилетней лит. деятельности), "Славянская книга", 1926, No 3; История рус. лит-ры конца XIX — начала XX века. Библиографич. указатель, под ред. К. Д. Муратовой, М. — Л., 1963.

Лев Иванович Гумилевский

(1 марта 1890 — 29 декабря 1976)

— советский писатель. Родился 1 марта 1890 года в городе Аткарске Саратовской губернии в семье бухгалтера. Отец рано умер, и шестерых детей воспитывала мать, зарабатывавшая надомным шитьём.

В 1901 году окончил начальное трехклассное училище, поступил во вторую мужскую гимназию Саратова, которую окончил с серебряной медалью (1909). После гимназии поступил на юридический факультет Казанского университета, из которого

был исключен со 2-го курса за неуплату. Закончил Саратовский сельскохозяйственный институт. В 1914 переехал в Петроград. Много печатался в журналах. После Октябрьской революции редактировал журнал «Вольный плуг» (вышло 7 номеров). Осенью 1918, спасаясь от голода, уехал в Саратов, работал в местных «Известиях», в журнале «Приволжский красный путь», в театральном отделе губоно, преподавал литературу на пехотно-пулемётных курсах, вёл занятия по художественной прозе в Литературных мастерских. Дважды был арестован ЧК по доносам, но оба раза вскоре выпущен.

В феврале 1923 переехал в Москву. Повесть „Собачий переулоч“ (1927), послужившая поводом к дискуссии о проблемах морали, подверглась критике в печати за натуралистическое изображение любви и быта молодежи в годы НЭПа. Гумилевского перестали печатать, и М.Горький устроил его в редакцию серии «Жизнь замечательных людей». Умер 29 декабря 1976. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Плотников Михаил Павлович

(1892-1953),

поэт и прозаик, фольклорист и этнограф, публицист, служивший в редакциях газет «Красноярский рабочий», «Советская Сибирь», журнале «Забайкальский таежник» в Чите и др.

Подвергался репрессиям (в 1938 г. арестован, а затем осужден за контрреволюционную деятельность и местничество во время Гражданской войны), после освобождения заведовал сектором традиционных промыслов Красноярского краевого управления сельского хозяйства.

Печататься М. Плотников начал в 1914 г. Из «Словаря псевдонимов» И.Ф. Масанова следует, что М. Плотников

(псевдоним — М. Хелли) сотрудничал в изданиях «Ленские волны» (1914—1916), «Новый журнал для всех» (1915), «Сибирский архив» (1916), «Сибирский рассвет» (1919), «Сибирские записки» (1916—1919) и др. В журнале «Сибирские записки» (ред. В.М. Крутовский), выходившем в Красноярске в 1916—1919 гг. под флагом областничества, печатались стихи и рассказы М. Плотникова «Божьи олени» (1916, № 4), «На оленьем холме» (1918, № 1). В течение 1918—1919 гг. были опубликованы девять первых песен поэмы «Янгал-Маа».

Новоселов Александр Ефремович

(5 ноября 1884, пос. Железинский Павлодарского
округа Семипалатинской области — 23 сентября 1918)

— русский писатель, этнограф, государственный и политический деятель. Писал под псевдонимом А. Невесов. Род. в середине 80-х гг. В Февральскую революцию был комиссаром временного правительства по Акмолинской области. Был членом временного правительства Автономной Сибири (так наз. правительство Дербера во Владивостоке). В сентябре 1918 делегирован в состав временного сибирского правительства в Омске. Тогда же убит черносотенцами. Первые выступления Н. в печати относятся к 1909-1910 (в сибирских изданиях); в большую литературу вошел перед самой революцией, когда в горьковской «Летописи» появились его наиболее значительные вещи [«Жабья жизнь» (1916) и «Беловодье» (1917)]. Н. принадлежал к группе так наз. «молодой сибирской литературы» (Гребенщиков, Гольдберг, Шишков, Исаков и др.), оформившейся и окрепшей в период между двумя революциями [1905-1917]. Эта «молодая сибирская литература» с ярко выраженным народническим областническим характером

была мелкобуржуазной по своей классовой основе. Как типичный представитель этой группы Н. отражал в своих произведениях жизнь и быт сибирской деревни и сибирского крестьянства, в частности быт алтайской кержацкой деревни, мир крепких сибирских старожил. Наиболее ярко проявились художественные интересы Н. в «Беловодье». Н. работал также как краевед-этнограф. Его неопубликованные записи этнографического и фольклорного материала Алтая использованы им в художественном творчестве.

Библиография: I. Исишкина мечта, сб. «Жертвам войны», Омск, 1915; Жабья жизнь, «Летопись», 1916, XI; Беловодье, «Летопись», 1917, VII — X, и отдельно — Барнаул, 1919; Санькин марал, Барнаул, 1918; Лицо моей родины, «Сибирские огни», 1923, № 5-6, 1924, № 2. II. Крутовский Вл., Тяжелые утраты (некролог), «Сибирские записки» (Красноярск), 1918, IV; Березовский Ф., А. Е. Новоселов, «Сибирские огни», 1922, I; Вяткин Г. А., Памяти Новоселова, там же, 1928, VI; Азадовский М., Литература сибирская, «Сибирская энциклопедия», т. III, [М., 1933]. М. Азадовский. {Лит. энц.}

Шишков Вячеслав Яковлевич

(1873, Бежецк — 1945, Москва) — российский и советский писатель, инженер.

Вячеслав Яковлевич Шишков, известный русский писатель, инженер-исследователь Чуйского тракта, родился 3 октября 1873 года в Бежецке, небольшом городке Тверской губернии. В 1981 г. на тот момент еще только будущий писатель окончил Вышневолоцкое техническое училище, после чего отправился служить в Томский округ путей сообщения. Через несколько лет Шишков успешно сдал экзамены и получил возможность

возглавлять экспедиционные партии. На протяжении следующих 15 лет он исколесил почти всю Сибирь: совершил 9 экспедиций по Иртышу, Енисею, Бие, Лене, Ангаре, Катуню.

Первый раз Алтай Шишков посетил в 1909 году. Он проводил научное исследование реки Бия от города Бийска до Телецкого озера. Описание, составленное Шишковым, до сих пор является одним из самых подробных и качественных планов реки, куда занесены пороги, бомы, препятствующие судоходству камни, скорость течения, проставлены глубины реки. Свои впечатления от этого путешествия Шишков постоянно записывал и впоследствии оформил как путевые записки, опубликовав их в Томской газете.

В 1913 г. В. Я. Шишкову было поручено руководство строительством Чуйского тракта. На протяжении почти двух лет будущий писатель постоянно ездил по тракту, проверял, контролировал работу отрядов. В этих поездках родились замыслы изданных позже очерков «По Чуйскому тракту».

Одним из ключевых событий в жизни В. Я. Шишкова стала его встреча с Григорием Николаевичем Потаниным в 1911 г. Григорий Потанин, известный на тот момент русский путешественник, собирал у себя всю творческую интеллигенцию Сибири того времени. Во время этих встреч будущий писатель познакомился с художником Григорием Чорос-Гуркиным, композитором и этнографом Андреем Анохиным.

Решение об изменении рода своей деятельности Шишков принимает осенью 1914 года: он переезжает в Петроград и посвящает все свое время только литературе. Однако путешествие на Алтай не прошло бесследно, впоследствии он напишет: *«Я люблю Алтай крепко, с каждым годом любовь моя растет, и я не знаю, чем возмещу ту радость и счастье, которым он меня наделяет каждый день, каждую минуту».*

Даже после переезда в Сибирь, и в частности Алтай, оставалась одной из основных тем его творчества.

В. Я. Шишкову, которому открылось все очарование местного края, посвящено несколько объектов Алтайской земли. В честь писателя названа Алтайская краевая библиотека, хранящая его произведения и литературу, посвященную жизни и творчеству знаменитого гостя. В самом начале Чуйского тракта существует улица В. Я. Шишкова. На берегу Катунь установлен памятник писателю, возвышающийся так же величественно, как и окружающие его Алтайские горы.

Белослюдов Алексей Николаевич
(1887-1939)

- краевед, учитель.

Алексей Николаевич Белослюдов родился 16 марта 1887 года в городе Семипалатинске в семье небогатого чиновника из сибирских казаков. Окончил 7 классов Семипалатинской мужской гимназии и был исключен из нее в 1906 году за участие в работе нелегальных кружков. В это время Алексей Николаевич много занимался самообразованием и в 1908 году сдал экзамены на звание учителя начальной школы.

С 1908 по 1915 год он преподавал в Весело-Ярском, Лаптево-Логовском, Змеиногорском и Быковском начальных училищах.

Деревня Быково располагалась в Бухтарминской долине. Сюда в 1913 году приехал учительствовать Алексей Николаевич Белослюдов. Он был очарован богатством природы края. Здесь особенно ярко проявился талант собирателя. За зиму 1913/14 учебного года Алексей Николаевич услышал и записал множество сказок. Особенно он любил слушать старейшего жителя деревни Федора Первова. В государственном архиве Восточно-Казахстанской области хранится тетрадь с черновыми

записями сказок, стихов, записанных Алексеем Николаевичем в разных местах.

С 1916 года Алексей Николаевич работал в народном хозяйстве края: статистиком сельскохозяйственной переписи, техником по борьбе с вредителями растений, инструктором уездного и губернского отделов образования, заведующим сельскохозяйственным отделом губернского Союза, заведующим историко-археологическим отделом музея.

С 1930 по 1935 годы Алексей Николаевич работает на преподавательской работе в средних специальных учебных заведениях г. Семипалатинска. Затем семья переезжает в Алма-Ату, где в октябре 1939 года он умирает от туберкулеза легких. Похоронен - в Алма-Ате.

На протяжении всей своей жизни Алексей Николаевич занимался краеведением. Еще, будучи гимназистом, Алексей посещал Семипалатинский музей, помогал оформлять экспозиции, разбираться в фондах. Тогда же он познакомился с известным краеведом отцом Борисом Георгиевичем Герасимовым, который приобщил его к краеведческой работе. Совместно со своими братьями в 1906 году Алексей Николаевич открыл домашний музей, который был известен в Семипалатинске как музей братьев Белослюдовых. Братья Белослюдовы с большим упорством собирали коллекции. В окрестностях Семипалатинска ими было собрано большое количество археологических находок: ножей, кувшинов, наконечников стрел, украшений, старинных монет. По степени значимости экспонатов музей братьев Белослюдовых не уступал Семипалатинскому городскому музею. В нем были сформированы следующие отделы: геологии и минералогии, палеонтологии и антропологии, доисторической археологии, старинных вещей (книги, рисунки рукописи), нумизматика,

этнография, картинная галерея. Особенно богаты были отделы нумизматики - более 1000 монет и доисторической археологии - свыше 600 предметов. Всего в музее насчитывалось свыше 4000 предметов. Музей пользовался большой популярностью у горожан. На первой Западно-Сибирской выставке музей братьев Белослюдовых награжден Малой серебряной медалью. Впоследствии часть коллекции музея была передана в Семипалатинский областной музей. В государственном архиве Восточно-Казахстанской области хранится хронологический каталог коллекций и инвентарная книга экспонатов музея братьев Белослюдовых.

Собирание памятников материальной культуры и этнографии предполагает участие в экспедициях. Алексей Николаевич совершал неоднократно различные экспедиции. В 1909 году братья отправляются в этнографическую экспедицию в район озера Зайсан. Летом 1910, 1911 годов он принимал участие в археологической экспедиции в окрестностях Усть-Каменогорска и Зайсана возглавлял, которую Каменский В.И., заведующий отделом археологии Российской Академии наук. Целью этой экспедиции было нанесение на двухверстной карте всех археологических памятников этого громадного региона, раскопки мелких курганов, эстампирование древних надписей на памятниках, обследование древних пещерных жилищ, обследование чудских копей. Участие в экспедиции примет Четыркин и местный археолог Белослюдов.

А.Н. Белослюдов увлекался собиранием фольклора. Им было записано более 200 сказок, 97 загадок, больше 100 песен. Собранный материал публиковался в сибирских газетах «Жизнь Алтая», «Сибирская жизнь». Так в газете «Жизнь Алтая» за 1913 год опубликовано несколько публикаций под общим названием «Наброски с Бухтармы». Здесь же появлялись и публикации

сказок записанных Алексеем Николаевичем. Печатался
А.Н.Белослюдов под псевдонимами «Бродяга»,
«Семипалатинец», «А.Б.».

Оглавление

Г. Гребенщиков. Сокровенное сказание о Беловодье	4
М. Плотников. Беловодье	19
Л. Гумилевский. Белые земли	54
В. Новоселов. Беловодье	254
В. Шишков. Алые сугробы	360
Приложение	404
Библиография издания	578
Биографии	582

Электронное
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

LXVII

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА



LEO

593